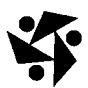
СОЧИНЕНИЯ

АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО

А. АВЕРЧЕНКО · ЗАЙЧИКИ НА СТЕНЕ


Аркадій
Аверченко
Сатириконцы
въ Европѣ

АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО



собрание сочинений

ЗАЙЧИКИ НА СТЕНЕ

издательство



МОСКВА 2012

УДК 882
ББК 84 (2Рос=Рус)1
А19

Составление, подготовка текста и комментарии
С.С. Никоненко

Аверченко А.Т.

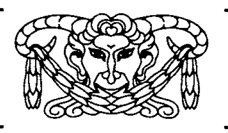
А19 Собрание сочинений: В 13 т. Т 2. Зайчики на стене / Сост., подг. текста и комментарии С.С. Никоненко. — М . Изд-во «Дмитрий Сечин», 2012. — 464 с.

ISBN 978-5-904962-15-9

Во второй том собрания сочинений входят книги: «Зайчики на стене. Рассказы (юмористические) Книга вторая» (1910), «Рассказы (юмористические). Книга третья» (1911), «Экспедиция в Западную Европу сатириконцев: Южакина, Сандерса, Мифасова и Крысакова», а также «Одесские рассказы» (сборник печатается полностью впервые спустя век после первой публикации).

ISBN 978-5-904962-11-1 (Общ.)
978-5-904962-15-9 (Т 2)

УДК 882
ББК 84 (2Рос=Рус)1



ЗАЙЧИКИ НА СТЕНЕ
РАССКАЗЫ
(ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ)
КНИГА ВТОРАЯ (1910)

зайчики на стене



Светлому моему другу —
Софье Наумовне

ПРЕДИСЛОВИЕ

Всякий раз, когда я просыпаюсь ясным солнечным утром — на стене и на потолке над моей кроватью весело дремлют желтые солнечные зайчики. Я долго, не отводя глаз, гляжу на них и чувствую широкую беспричинную радость, а мысль в это время работает и создает веселые замысловатые образы... Но иногда ветер хлопнет оконной рамой, зайчики тревожно и пугливо перепрыгнут на другое место, а я благодарно улыбнусь им и сейчас же весело спешу к письменному столу.

Так и написались «зайчики на стене».

Когда я выпустил свою предпоследнюю книгу, кое-кто задал мне вопрос:

— Не слишком ли много я пишу? Не много ли это — в один год три книги?

Я тогда промолчал, потому что знаю хороший тон, потому что знаю — не принято автору вступать в полемику со строгими угрюмыми критиками.

Теперь же, возражая критикам в настоящем предисловии, я не рискую заслужить упрек в бестактности, потому что начинаю *первый*... И вот мои возражения:

Если все мои книги и выпущены в текущем году, то писались они в течение трех лет.

А сроку их выхода я не придавал никакого значения... Дело не в этом. Хорошие это книги — их прочтут; плохие — бросят.

Упрек в многописании — если в него вдуматься — упрек, не имеющий под собой никакой солидной почвы. И вот почему: я пишу только в тех случаях, когда мне весело. Мне часто очень весело. Значит, я часто и пишу.

Канарейка веселится и поет еще чаще, но никому не придет в голову заткнуть ей глотку; наоборот, всякий, кто слушает ее пение, не упустит случая похлопать ее поощрительно по плечу и сказать ласково:

— Молодец, птичка Божья. Старайся!

Прямая противоположность канарейке — дверные петли, которые, наоборот, поют очень скупо и редко; но даже и эта умеренность не спасает их от нареканий. Самые музыкальные натуры морщатся, хмурятся и ворчат:

— Неужели никакой черт не догадается их смазать, что ли, чтобы они не скрипели?!

Вот пример, который, по моему мнению, доказывает ясно и просто всю неосновательность упреков в многописании...

Все дело, таким образом, сводится только к чутью и искренности критического определения: кто автор? Веселая ли певчая птица или — дверь, пение которой вызывает неутолимое желание заткнуть ей глотку.

Аркадий Аверченко



ОТЕЦ

Стоит мне только вспомнить об отце, как он представляется мне взбирающимся по лестнице, с оживленным озабоченным лицом и размашистыми движениями, сопровождаемый несколькими дюжими носильщиками, обремененными тяжелой ношей.

Это странное представление рождается в мозгу, вероятно, потому, что чаще всего мне приходилось видеть отца взбирающимся по лестнице, в сопровождении кряхтящих и ругающихся носильщиков.

Мой отец был удивительным человеком. Все в нем было какое-то оригинальное, не такое, как у других... Он знал несколько языков, но это были странные, не нужные никому другому языки: румынский, турецкий, болгарский, татарский. Ни французского, ни немецкого он не знал. Имел он голос, но когда пел, ничего нельзя было разобрать — такой это был густой, низкий голос. Слышалось какое-то удивительное громыхание и рокот до того низкий, что казался он выходящим из-под его ног. Любил отец столярные работы, но тоже они были как-то ни к чему — делал он только деревянные пароходики. Возился над каждым пароходиком около года, делал его со всеми деталями, а когда кончал, то, удовлетворенный, говорил:

— Такую штуку можно продать не меньше чем за пятнадцать рублей!

— А материал стоил тридцать! — подхватывала мать.

— Молчи, Варя,— говорил отец.— Ты ничего не понимаешь...

— Конечно,— горько усмехаясь, возражала мать. — Ты много понимаешь...

Главным занятием отца была торговля. Но здесь он превосходил себя по странности и ненужности — с коммерческой точки зрения — тех операций, которые в магазине происходили.

Для отца не было лучшего удовольствия, как отпустить кому-нибудь товар в долг. Покупатель, задолжавший отцу, делался его лучшим другом... Отец зазывал его в лавку, поил чаем, играл с ним в шашки и бывал обижен на мать до глубины души, если она, узнав об этом, говорила:

— Лучше бы он деньги отдал, чем в шашки играть.

— Ты ничего не понимаешь, Варя,— деликатно возражал отец.— Он очень хороший человек. Две дочери в гимназии учатся. Сам на войне был. Ты бы послушала, как он о военных порядках рассказывает.

— Да нам-то что от этого! Мало ли кто был на войне — так всем и давать в долг?

— Ты ничего не понимаешь, Варя,— печально говорил отец и шел в сарай делать пароход.

Со мной у него были хорошие отношения, но характеры мы имели различные. Я не мог понять его увлечений, скептически относился к пароходам, и, когда он подарил мне один пароход, думая привести этим в восторг, я хладнокровно, со скучающим видом потрогал какую-то деревянную штучку на носу крошечного судна и отошел.

— Ты ничего не понимаешь, Васька,— сказал, сконфузившись, отец.

Я любил книжки, а он купил мне полдюжины каких-то голубей-трубачей. Почему я должен был восхищаться тем, что у них хвосты не плоские, а трубой, до сих пор считаю невыясненным. Мне приходилось вставать рано утром, давая этим голубям корм и воду, что вовсе не увлекало меня. Через три-четыре дня я привел в исполнение адский план — открыл дверцу голубиной будки, думая, что голуби сейчас же улетят. Но проклятые птицы вертели хвостами и мирно сидели на своем месте. Впрочем, открытая дверца принесла свою пользу: в ту же ночь кошка передушила всех трубачей, принеся мне облегчение, а отцу горе и тихие слезы.

Как все в отце было оригинально, так же была оригинальна и необычная его страсть — покупать редкие вещи.

Требования, которые предъявлял он к этого рода операциям, были следующие: чтобы вещь приводила своим видом всех окружающих в удивление, чтобы она была монументальна и чтобы все думали, что вещь куплена за пятьсот рублей, когда за нее заплачено только тридцать.

* * *

Однажды на лестнице дома, где мы жили, послышалось топанье многочисленных ног, крики и кряхтенье. Мы выбежали на площадку лестницы и увидели отца, который вел за собою несколько носильщиков, обремененных большой, странного вида вещью.

— Что это такое? — с беспокойством спросила мать.

Лучезарное лицо отца сияло гордостью и скрытой радостью человека, замыслившего прехорошенький сюрприз.

— Увидите, — дрожа от нетерпения, говорил он. — Сейчас поставим его.

Когда «его» поставили и носильщики, облагодетельствованные отцом, удалились, «он» оказался колоссальной величины умывальником с мраморной лопнувшей пополам доской и красным потрескавшимся деревом.

— Ну? — торжествующе обратился отец к окружающим. — Во сколько вы оцените эту штуку?

— Да для чего она? — спросила мать.

— Ты ничего не понимаешь, Варя. Алеша, скажи-ка ты — сколько, по-твоему, стоит сей умывальник?

Алеша — льстец, гиперболист и фальшивая низкопоклонная душонка — всплеснул измазанными чернилами руками и ненатурально воскликнул:

— Какая прелесть! Сколько стоит! Четыреста двадцать пять рублей!

— Ха-ха-ха! — торжествующе захохотал отец. — А ты, Варя, сколько скажешь?

Мать скептически покачала головой.

— Да что ж... рублей пятнадцать за него еще можно дать.

— Много ты понимаешь! Можете представить — весь этот мрамор, красное дерево и все — стоит по случаю всего двадцать пять рублей! Вот сейчас мы его попробуем! Марья! Воды.

В монументальный рукомойник налили ведро воды... Нажатая ногой педаль не вызвала из крана ни одной капли жидкости, но зато, когда мы посмотрели вниз, ноги наши были окружены целым озером воды.

— Течет! — сказал отец. — Надо позвать слесаря. Марья! Сбегай.

Слесарь повозился с полчаса над умывальником, взял за это шесть рублей и, уходя, украл из передней шапку.

Умывальник поселился у нас.

Когда отца не было дома, все с наслаждением умывалась из маленького стенного рукомойника, но если это происходило при отце, он кричал, ругался, заставлял всех умываться из его покупки и говорил:

— Вы ничего не понимаете!

У всех было основание избегать большого умывальника. У него был ехидный отвратительный нрав и непостоянство в симпатиях. Иногда он обнаруживал собачью привязанность к сестре Лизе и давался умываться из него нормальным, обычным способом. Или дружился с Алешей, был предупредителен к нему — покорный, как ребенок, лил прозрачную струю на черные Алешины руки и не позволял себе непристойных выходок.

Со всеми же другими поступал так: стоило только нажать на педаль, как из крана со свистом вылетала горизонтальная струя воды и попадала неосторожному человеку в живот или грудь; потом струя моментально опадала и, притаившись, ждала следующего нажатия педали. Человек нагибался и подставлял руки, надеясь поймать проклятую струю в том самом месте, куда она била.

Но струя не дремала.

Увидя склоненные плечи, она взлетала фонтаном вверх, обрушивалась вниз, обливала голову и затылок доверчивого человека, моментально пропадала и, нацелившись на ноги, орошала их так щедро, что человек, побежденный умывальником, с проклятием отскакивал в сторону и убегал.

Иногда же умывальник вертел струей, как змея головой, поворачивал ее, кривлялся, и тогда нужно было бегать вокруг этой монументальной дряни, чтобы поймать руками ускользающую увертливую струю. Потом уже мы придумали делать на нее форменную облаву: становились вокруг,

протягивали десяток рук, и загнанная струя, как ни изворачивалась, а кому-нибудь попадала...

* * *

Однажды на лестнице раздался знакомый топот и кряхтенье... Это отец, предводительствуя армией носильщиков, вел новую покупку.

То была странная процессия.

Впереди три человека тащили громадный четырехугольник с отверстием посередине, за ними двое несли странный точеный стержень, а сзади замыкали шествие еще два человека с каким-то подобием громадного глобуса и стеклянным матовым полушарием, величиной с крышу небольшого сарайчика.

— Что это? — с тайным страхом спросила мать.

— Лампа,— весело отвечал отец.

— А я думала — тумба для афиш.

— Не правда ли,— подхватил отец,— прегромадная вещь. Я и торговался полчаса, пока мне не уступили.

Лампу установили рядом с умывальником. Она была ростом под потолок и вида самого странного, на редкость неудобного — тяжелая, некрасивая, похожая на какое-то чудовищное африканское растение.

— Ну, как думаешь, Алеша... Сколько она стоит?

— Три тысячи! — уверенно сказал Алеша.

— Ха-ха! А ты что скажешь, Варя?

Мать, севши в уголку, беззвучно плакала.

С отца весь восторг сразу слетел, и он, обескураженный, подошел к матери, нагнулся и нежно поцеловал ее в голову.

— Эх, Варя! Ты ничего не понимаешь!.. Васька! Сколько, по-твоему, должна стоить такая лампа?

— Семь тысяч,— сказал я, обойдя вокруг лампы.— По крайней мере, я дал бы за нее столько, лишь бы ее отсюда убрали.

— Много ты понимаешь! — растерялся отец.

Лампа оказалась из одного семейства с умывальником. Керосин (четырнадцать фунтов), налитый в нее, потек, отравил воздух, а когда слесарь исправил ее (тот самый, который украл шапку), то лампа втянула в себя громадный черный фитиль и ни за что не хотела выпустить его. Вытащенный какими-то щипцами, фитиль загорелся, но так начадил, что соседи пришли спасать нас от пожара,

предлагая бесплатные услуги по выносу вещей и тушению огня.

А громадная необъятная лампа горела маленьким микроскопическим огоньком, таким, какой теплится в лампадке у икон, тихо потрескивала и язвительно прищелкивала своим крохотным красным язычком.

Отец стоял перед ней в немом восторге.

* * *

Однажды на лестнице послышался такой же шум, грохот и крики.

— Что еще? — выскочила мать.

— Часы,— счастливо смеясь, сообщил отец.

Это было самое поразительное, самое неслыханное из всего купленного отцом.

По громадному циферблату стремительно носились две стрелки, не считаясь ни с временем, ни с усилиями людей, которые вздумали бы удержать их от этого. Внизу грозно раскачивался колоссальный маятник, делая размах аршина четыре, а впереди весь механизм хрипло и тяжело дышал, как загнанный носорог или полузадушенный подушкой человек...

Кто их сделал? Какому пьяному, ненормальному, воспаленному алкоголем мозгу явилась мысль соорудить этот безобразный неуклюжий аппарат, со всеми частями, болезненно, как в бреду, преувеличенными, с ходом без логики и с пьяным отвратительным дыханием внутри, дыханием их творца, который, может быть, околел уже где-нибудь под забором, истерзанный белой горячкой, изглоданный ревматизмом и подагрой.

Часы стали рядом с умывальником и лампой, перемигнулись и сразу поняли, как им вести себя в этом доме.

Маятник стремительно носился от стены к стене и все норовил сбить с ног нас, когда мы стремглав проскакивали у него сбоку... Механизм ворчал, кашлял и стонал, как умирающий, а стрелки резвились на циферблате, разбегаясь, сходясь и кружась в лихой вакхической пляске...

Отец вздумал подчинить нас времени, показываемому этими часами, но скоро убедился, что обедать придется ночью, спать в полдень и что нас через неделю исключат из училищ за появление на уроки в одиннадцать часов вечера.

Часы пригодились нам как спортивный, невиданный доселе нигде аппарат... Мы брали трехлетнюю сестренку Олю, усаживали ее на колоссальный маятник, и она, уцепившись судорожно за стержень, носилась, трепещущая, испуганная, из стороны в сторону, возбуждая веселье окружающей молодежи.

Мать назвала эту комнату «Проклятой комнатой».

Целый день оттуда доносился удушливый запах керосина, журчали ручейки воды, вытекавшей из умывальника на пол, а по ночам нас будили и пугали страшные стоны, которые испускали часы, перемежая иногда эти стоны хриплым зловещим хохотом и ржаньем.

Однажды, когда мы вернулись из школы и хлынули толпой в нашу любимую комнату повеселиться около часов, мы отступили, изумленные, испуганные: комната была пуста, и только три крашеных четырехугольника на полу показывали те места, где стояли отцовы покупки.

— Что ты с ними сделала? — спросили мы мать.

— Продала.

— Много дали? — спросил молчавший доселе отец.

— Три рубля. Только не они дали, а я... Чтобы их унесли. Никто не хотел связываться с ними даром...

Отец опустил голову, и по пустой комнате гулко прошелся его подавленный шепот:

— Много ты понимаешь!

Теперь он умер, мой отец.

ГОРОДОВОЙ САПОГОВ

Ялтинский городовой Сапогов получил от начальства почетное, полное доверия к уму и такту Сапогова поручение: обойти свой участок и проверить всех евреев — занимается ли каждый еврей тем ремеслом, которое им самим указано и которое давало такому еврею драгоценное, хрупкое право жить среди чудесной ялтинской природы...

Проверять хитрых семитов Сапогову было приказано таким образом: пусть каждый семит сделает тут же, при Сапогове, на его глазах, какую-либо вещь по своей ремесленной специальности и тем докажет, что бдительное начальство не введено им в заблуждение и недостойный обман.

— Ты только держи ухо востро,— предупредил Сапогова околоточный.— А то — так тебя вокруг пальца и обкрутят!

— Жиды-то? Меня-то? Да Господи ж.

И пошел Сапогов.

— Здравствуйте! — сказал Сапогов, входя к молодому Абраму Голдину.— Ты это самое, как говорится: ремесло свое... Сполняешь?

— А почему мне его не исполнять? — удивился Абрам Голдин.— Немножко кушаю себе хлеб с маслом. Знаете — фотография, конечно, такое дело: если его исполнять, то и можно кушать хлеб с маслом. Хе-хе! На здоровьичко...

— Та-ак,— нерешительно сказал Сапогов, переминаясь с ноги на ногу.— А ты вот что, брат... Ты докажи! Проверка вам от начальства вышла...

— Сделайте такое одолжение,— засуетился Абрам Голдин,— мы сейчас из вас сделаем такую фотографию, что вы сами в себя влюбитесь! Попрошу вас сесть... Вот так. Голову чуть-чуть набок, глаза сделайте, прошу, немножко интеллигентнее... рот можно закрыть! Закройте рот! Не делайте так, будто у вас зубы болят. Нос, если вам безразлично, можно пока рукой не трогать. Потом, когда я кончу, можно его трогать, а пока держите руки на грудях. Прошу теперь не шевелиться: теперь у вас за-ме-ча-тель-но культурный вид! Снимаю!! Готово. Спасибо! Теперь можете делать со своим носом, что вам угодно.

Сапогов встал, с наслаждением расправил могучие члены и с интересом потянулся к аппарату.

— А ну — вынимай!

— Что... вынимать?..

— Что там у тебя вышло? Покажь!..

— Видите ли... Сейчас же нельзя! Сейчас еще ничего нет. Мне еще нужно пойти в темную комнату проявить негатив.

Сапогов погрозил Голдину пальцем и усмехнулся.

— Хе-хе! стара штука! Нет, брат, ты мне покажи сейчас... А этак всякий может.

— Что это вы говорите?! — встревоженно закричал фотограф.— Как же я вам покажу, когда оно не проявлено! Нужно в темную комнату, которая с красным светом, нужно...

— Да, да...— кивал головой Сапогов, иронически поглядывая на Голдина.— Красный свет, конечно... темная комната... Ну до чего же вы хитрые, жидова! Учитесь вы этому где, что ли... Или так,— сами по себе? Дай мне, говорит, темную комнату... Ха-ха! Не-ет... Вынимай сейчас!

— Ну, я выну — так пластинка будет совершенно белая!.. И она сейчас же на свету пропадет!..

Сапогов пришел в восторг.

— И откуда у вас что берется?! И чтой-то за ловкий народ! Темная, говорит, комната... Да-а. Ха-ха! Мало, чего ты там сделаешь, в этой комнате... Знаем-с. Вынимай!

— Хорошо,— вздохнул Голдин и вынул из аппарата белую пластинку.— Смотрите! Вот она.

Сапогов взял пластинку, посмотрел на нее — и в его груди зажглась страшная, тяжелая, горькая обида.

— Та-ак... Это, значит, я такой и есть? Хороший ты фотограф. Понимаем-с!

— Что вы понимаете?! — испугался Голдин.

Городовой сумрачно посмотрел на Голдина...

— А то. Лукавый ты есть человек. Завтра на выезд получишь. В 24 часа.

Сапогов стоял в литографской мастерской Давида Шепшелевича, и глаза его подозрительно бегали по странным доскам и камням, в беспорядке наваленным во всех углах.

— Бонжур,— вежливо поздоровался Шепшелевич.— Как ваше здоровьице?

— Да так. Ты ремесленник будешь? А какой ты ремесленник?

— Литографический. Ярлыки разные делаю, пригласительные билеты... Визитные карточки делаю.

— Вот ты мне это самое и покажи! — сказал, подмигивая, Сапогов.

— Сколько угодно! Мы сейчас, ваше благородие, вашу карточку тиснем. Как ваше уважаемое имя? Сапогов? Павел Максимович? Одна минутка! Мы прямо на камне и напишем!

— Ты куда? — забеспокоился Сапогов.— Ты при мне, брат, пиши!

— Да при вас же! Вот на этом камне!

Он наклонился над камнем, а Сапогов смотрел через его плечо.

— Ты чего же пишешь? Разве так?

— Это ничего,— сказал Шепшелевич.— Я на камне пишу сзаду наперед, а на карточке оттиск выйдет правильный.

Сапогов засопел и опустил руку на плечо литографа.

— Нет, так не надо. Я не хочу. Ты, брат, без жульничества. Пиши по-русски!

— Так оно и есть по-русски! Только это ж нужно, чтобы задом наперед.

Сапогов расхохотался.

— Нужно, да? Нет, брат, не нужно. Пиши правильно! Слева направо!

— Господи! Что вы такое говорите! Да тогда обратный оттиск не получится!

— Пиши, как надо! — сурово сказал Сапогов.— Нечего дурака валять.

Литограф пожал плечами и наклонился над камнем.

Через десять минут Сапогов сосредоточенно вертел в руках визитную карточку и, нахмурив брови, читал:

— Вогопас Чивомискам Левап.

На сердце у него было тяжело...

— Так... Это я и есть такой? Вогопас Чивомискам Левап. Понимаем-с. Насмешки строить над начальством — на это вы горазды! Понимаем-с!! Хороший ремесленник! Отметим-с! Завтра в 24.

Когда он уходил, его добродушное лицо осунулось.

Горечь незаслуженной обиды запечатлелась на нем.

— Вогопас,— думал, тяжело вздыхая, городовой, — Чивомискам!

Старый Лейба Буцкус, сидя в уголку сквера, зарабатывал себе средства к жизни тем, что эксплуатировал удивительное изобретение, вызывавшее восторг всех окрестных мальчишек... Это был диковинный аппарат с двумя отверстиями, в одно из которых бросалась монета в пять копеек, а из другого выпадал кусок шоколада в пестрой обертке. Многие мальчишки знали, что такой же шоколад можно было купить в любой лавчонке без всякого аппарата, но аппарат именно и привлекал их пытливые молодые умы...

Сапогов подошел к старому Лейбе и лаконически спросил:

— Эй, ты! Ремесленник... Ты чего делаешь?

Старик поднял на городового красные глаза и хладнокровно отвечал:

— Шоколад делаю.

— Как же ты его так делаешь? — недоверчиво покосился Сапогов на странный аппарат.

— Что значит — как? Да так. Сюда пятак бросить, а отсюда шоколад вылезет.

— Да ты врешь, — сказал Сапогов. — Не может этого быть!

— Почему не может? Может. Сейчас вы увидите.

Старик достал из кармана пятак и опустил в отверстие. Когда из другого отверстия выскочил кусок шоколада, Сапогов перегнулся от смеха и, восхищенный, воскликнул:

— Да как же это? Ах ты, Го-осподи. Ай да старикан! Как же это оно так случается?

Его изумленный взор был прикован к аппарату.

— Машина, — пожал плечами апатичный старик. — Разве вы не видите?

— Машина-то — машина, — возразил Сапогов. — Да как оно так выходит? Ведь пятак-то медный, твердый, а шоколад сладкий, мягкий... как же оно так из твердого пятака может такая скусная вещь выйти?

Старик внимательно посмотрел своими красными глазами на Сапогова и медленно опустил веки.

— Электричество и кислота. Кислота размягчает, электричество перерабатывает, а пружина выбрасывает.

— Ну-ну, — покрутил головой Сапогов. — Выдумают же люди. Ты работай, старик. Это здорово.

— Да я и работаю! — сказал старик.

— И работай. Это, братец, штука! Не всякому дано. Прощевайте!

И то, что сделал немедленно после этого слова Сапогов, могло быть объяснено только изумлением его и преклонением перед тайнами природы и глубиной человеческой мысли: он дружеским жестом протянул старому шоколадному фабриканту руку.

На другой день Шепшелевич и Голдин со своими домочадцами уезжали на первом отходящем из Ялты пароходе.

Сапогов по обязанностям службы пришел проводить их.

— Я на вас сердца не имею,— добродушно кивая им головой, сказал он.— Есть жид правильный, который без обману, и есть другой сорт — жульнический. Ежели ты, действительно, работаешь: шоколадом или чем там — я тебя не трону! Нет. Но ежели — Вогопас Чивомискам Левап — это зачем же?

ГРАФ КАЛИОСТРО

I

У кого из нас не сжималось сердце и не хмурились страдальчески брови при чтении в газетах краткого, но выразительного сообщения:

— «Дикая расправа. Вчера обыватель города Мымры избил палкой газетного корреспондента».

Кто из нас не качал печально головой и не говорил со стоном отчаяния:

— Какая темнота! Боже, какая косность!

И рисовался нам облик затравленного, замученного носителя и проводника света и культуры, откуда-то глядели страдающие недоуменные глаза газетного корреспондента с застывшим в них вопросом:

— За что?

— За что? Теперь я знаю, за что.

С самых ранних лет меня до глубины души волновала и возмущала человеческая несправедливость. И до глубокой старости я буду негодовать на человеческую односторонность и близорукость в тонких деликатных вопросах.

Таким тонким деликатным вопросом я считаю многовековую исконную вражду между провинциальным журналистом и провинциальным обывателем, и меня всегда удивляло, что никто до сих пор не мог разобраться как следует в вышеупомянутом деликатном вопросе.

Все, как будто сговорившись, согласным хором восклицали по прочтении телеграммы об избиении обывателем провинциального журналиста:

— Какая ужасающая тьма! Что за дикари!

И, конечно, всю вину обрушивали на обывателя.

Вероятно, многим известно, что у обывателя часто бывает совершенно противоположное отношение к провинциальному журналисту. Обыватель патриотичен, он гордится своим городом, своей газетой, своим журналистом, и нередко с его уст срываются такие одобрительные слова:

— Читали вы сегодня в «Мымринском Курьере» статью графа Калиостро (провинциальные журналисты избирают себе самые звучные, красивые псевдонимы)? Читали? Ах, шельма! Ах, собака! Попадись такому на язычок... Как это он ловко отбрил сегодня помощника заведующего городскими скотобойнями... А вчера — тоже: «известно ли», говорит, «кому это надлежит ведать, что ямы, выкопанные для посадки деревьев, залило водой и затянуло грязью?» Очевидно, говорит, «городские деньги идут не на благоустройство города, а для наполнения ям зловонной водой?» Так и колет! Так и брызжет ядом! И откуда что берется?!

Обыватель гордится своим фельетонистом, восхищается им.

Когда граф Калиостро, с гордым, независимым видом, шагает по городскому саду, обыватели почтительно уступают ему, как существу высшему, дорогу, а сзади слышится тихий заглушенный шепот:

— Смотрите, смотрите!.. Это граф Калиостро! Который вчера порядки в городской библиотеке похваливал.

— Ах, какой интересный!

И шагает, шагает граф Калиостро, с загадочной улыбкой на лице, таинственный в своем могуществе, до краев наполненный неограниченными возможностями прохватить, разнести и продернуть всех, кто является врагом культуры и общественности.

Ни у кого тогда ни на минуту не появляется мысль поколотить графа Калиостро или причинить ему какую-либо другую неприятность — он, как коронованная особа среди своих почтительных подданных, в полной безопасности...

И долго работает он так, окруженный всеобщим уважением и тихим удивлением, бичуя пороки и неправду. И кажется, что Россия благоденствует под мирным тактичным управлением знатных титулованных иностранцев: в городе Мымрах борется с городскими скотобойнями граф Калиостро, в Звенигороде бичует думские порядки суровый непреклонный князь Серебряный, а Елабугу защищает от на-

тиска тьмы и спячки Железная Маска или какой-нибудь Марк Аврелий, или граф Монте-Кристо...

Так борется и работает эта титулованная нация.

И вдруг — среди безоблачного неба появляется странное, неожиданное, страшное сообщение:

— «Мымры. Обыватель Коренастов поколотил палкой журналиста Балкашкина, пишущего под псевдонимом — граф Калиостро».

Это является каким-то зловещим сигналом.

Подданные восстают на своих королей, и звенигородский обыватель начинает очертя голову колотить своего князя Серебряного, в чем от него не отстает елабужец, неожиданно набрасывающийся без всякого милосердия на Железную Маску, Марка Аврелия или даже на самого сурового, загадочного Монте-Кристо.

И рисуется перед глазами облик свергнутого с пьедестала, затравленного поборника светлых идеалов и носителя культуры, и откуда-то издалека звучит страдальческий недоуменный вопрос Марка Аврелия:

— За что?

Пожалуй, ответить на этот вопрос будет не так трудно.

II

Разворачивая местную газету, обыватель Коренастов всегда полон истерического любопытства: что-то сегодня она принесет ему интересного?

Просмотрев одним глазом телеграммы, набрасывается на фельетон и с замирающим сердцем читает:

«В страшное время мы живем!

В человеке глохнет все хорошее, светлое.

Мы возвращаемся к первобытным временам:

— Зверства и жестокости!

Вчера мы были свидетелями следующего факта: измученная лошадь тащила под гору тяжелый воз, а ломовик осыпал ее ударами, кричал, ругался и всячески оскорблял беззащитное животное, не могущее ответить ему теми же словами.

Что же делает наше общество покровительства животных?

Оно спит?

— Покойной ночи, господа!

Если вам нужны подушки — не возьмете ли вы их у гласных нашей городской думы?

Ха-ха!

Да...

Глубокую истину высказал великий Островский:

— «Жестокие, сударь, у нас нравы».

Фельетон производит на Коренастова ошеломляющее впечатление.

— Ловко, шельма! Как это он здорово ввернул Островского.

Бедный Коренастов не знает, что ни одно произведение графа Калиостро не обходится без трех цитат:

1) Жестокие, сударь, у нас нравы.

2) Всякое бывало, как говорит Бен-Акиба.

3) Поживем — увидим.

Первая принадлежит Островскому, вторая — Гуцкову, а третья — неизвестно кому. Вероятно, Марку Аврелию или Железной Маске...

Коренастов доволен, Коренастов кивает головой и переходит к хронике.

Хроника такая:

— «Вчера закончено рытье ям для посадки деревьев на Павловской улице. Можно сказать меткими словами великого русского поэта Никитина:

...Вырыта заступом яма глубокая»...

— В последние дни наступили неожиданные холода с ветром и дождями. «Холодно, холодно, холодно»,— как говорили три сестры в пьесе Чехова того же названия».

Нравится Коренастову и хроника. Написана она бойко, живо, с цитатами и ссылками на популярных авторов. Видно, что писал интеллигентный человек.

Прочитывает Коренастов и театральную рецензию.

— «Шедшая вчера пьеса популярного сатирика Гоголя «Ревизор» была разыграна очень недурно, с ансамблем. Все исполнители были на своих местах. Не удовлетворила нас только Макбетова. Петров провел свою роль с огоньком. Побольше бы таких хороших пьес! Публики было немного. Скоро антреприза заканчивает сезон и уезжает. «Негр сделал свое дело, негр может уходить»...

Коренастов в восхищении.

III

На другое утро Коренастов снова разворачивает газету. Читает фельетон:

— «Городская дума до сих пор ничего не сделала с приказчичьим отдыхом.

Почему?

Она спит? Не нужна ли ей подушка? Пусть она возьмет ее в обществе покровительства животных!

А приказчики пока что — работают, как лошади...

Да... Жестокие, сударь, у нас нравы!

Мы не будем удивлены, если этот вопрос пролежит под сукном еще десять лет.

— Всякое бывало! — как говорил мудрец Бен-Акиба в «Уриель-Акосте» популярного Гуцкова.

Поживем — увидим».

Коренастов молчит. Не выводит его из молчания и задумчивости даже хроника:

— «Вчера закрылись за прекращением эпидемии холерные бараки». «Негр сделал свое дело, негр может уходить».

Безмолвно прочитывает Коренастов театральную рецензию:

— «Шедшая вчера пьеса популярного автора Шекспира «Гамлет» была разыграна очень недурно, с ансамблем. Все исполнители были на своих местах. Не удовлетворила нас только Макбетова. С большим огоньком провел свою роль тени отца Гамлета Петров. Почаще бы ставить такие чудные пьесы! Публики было мало. «Мало слов, а горя реченька»,— как говорил пупулярный певец гражданской скорби Н. А. Некрасов».

Молчит Коренастов.

IV

Снова и снова разворачивает по утрам Коренастов «Мымринский Курьер». Снова и снова читает он графа Калиостро. И снова бичует неугомонный граф лавочников, которые нагружают мальчишек тяжелыми кульками.

Снова подкрепляет он это обвинение цитатой:

— Жестокие, сударь, у нас нравы. Впрочем, поживем — увидим.

Хроника по-прежнему пишется бойко, интеллигентно:

«Вчера отбыл с курьерским поездом в Москву податной инспектор Косолапов». «В Москву, в Москву», – как говорили три сестры Чехова в пьесе того же названия.

И снова, как и прежде, несчастная Макбетова не может удовлетворить капризного графа Калиостро, хотя она и пытается играть Лизу в нашумевшей в свое время пьесе драматурга Грибоедова, так трагически, безвременно погибшего под ножами убийц (жестокие, сударь, и т.д.).

Коренастов дочитывает газету, и брови его сжаты, и на лице написана мрачная решимость, страдание и боль, а плечи нервно подергиваются.

Молча встает он, приглаживает волосы и, глядя куда-то в угол, сдержанно говорит жене:

– Жена! Дай мне сюртук. Вернусь через час.

Отыскивает палку, шляпу и уходит.

Через час возвращается, ставит палку в угол и, не промолвив ни слова, ложится в постель.

Спит тревожно.

А на другой день, как удар грома, появляется в газете неожиданное бессмысленное, дикое сообщение:

– «Обыватель Коренастов избил палкой нашего сотрудника графа Калиостро (А.М. Балкашкина). Жестокие, сударь ты мой, у нас нравы!»

И поднимается сразу целый лес всплескивающих рук:

– Боже! Где мы живем? Среди дикарей? Какая косность... какое мракобесие...

До глубокой старости буду я негодовать на человеческую односторонность и близорукость в тонких, деликатных вопросах.

ЯД

(*Ирина Сергеевна Рязанцева*)

Я сидел в уборной моей знакомой Рязанцевой и смотрел, как она гримировалась. Ее белые гибкие руки быстро хватали неизвестные мне щеточки, кисточки, лапки, карандаши, прикасались ими к черным прищуренным глазам, от лица порхали к прическе, поправляли какую-то ленточку на груди, серьгу в ухе, и мне казалось, что эти руки преданы само-

му странному и удивительному проклятию: всегда быть в движении.

«Милые руки,— с умилением подумал я.— Милые, дорогие мне глаза!»

И неожиданно я сказал вслух:

— Ирина Сергеевна, а ведь я вас люблю!

Она издала слабый крик, всплеснула руками, обернулась ко мне, и через секунду я держал ее в своих крепких объятиях.

— Наконец-то! — сказала она, слабо смеясь.— Ведь я измучилась вся, ожидая этих слов. Зачем ты меня мучил?

— Молчи! — сказал я.

Усадил ее на колени и нежно шепнул ей на ухо:

— Ты мне сейчас напомнила, дорогая, ту нежную, хрупкую девушку из пьесы Горданова «Хризантемы», которая — помнишь? — тоже так, со слабо сорвавшимся криком «наконец-то» бросается в объятия помещика Лаэртова. Ты такая же нежная, хрупкая и так же крикнула своим милым сорвавшимся голоском... О, как я люблю тебя.

На другой день Ирина переехала ко мне, и мы, презирая светскую условность, стали жить вместе.

* * *

Жизнь наша была красива и безоблачна.

Случались небольшие ссоры, но они возникали по пустяковым поводам и скоро гасли за отсутствием горючего материала.

Первая ссора произошла из-за того, что однажды, когда я целовал Ирину, мое внимание привлекло то обстоятельство, что Ирина смотрела в это время в зеркало.

Я отодвинул ее от себя и, обижаясь, спросил:

— Зачем ты смотрела в зеркало? Разве в такую минуту об этом думают?

— Видишь ли,— сконфуженно объяснила она,— ты немного неудачно обнял меня. Ты сейчас обвил руками не талию, а шею. А мужчины должны обнимать за талию.

— Как... должен? — изумился я.— Разве есть где-нибудь такое узаконенное правило, чтобы женщин обнимать только за талию? Странно! Если бы мне подвернулась талия, я обнял бы талию, а раз подвернулась шея, согласись сама...

— Да, такого правила, конечно, нет... но как-то странно, когда мужчины обвивают женскую шею.

Я обиделся и не разговаривал с Ириной часа два. Она первая пошла на примирение.

Подошла ко мне, обвила своими прекрасными руками мою шею (мужская шея — узаконенный способ) и сказала, целуя меня в усы:

— Не дуйся, глупый! Я хочу сделать из тебя интересного, умного человека... И потом... (она застенчиво поежилась) я хотела бы, чтобы ты под моим благотворным влиянием завоевал бы себе самое высокое положение на поприще славы. Я хотела бы быть твоей вдохновительницей, больше того — хотела бы сама завоевать для тебя славу.

Она скоро ушла в театр, а я призадумался: каким образом она могла бы завоевать для меня славу? Разве что сама бы вместо меня писала рассказы, при условии, чтобы они у нее выходили лучше, чем у меня. Или что она понимала под словом «вдохновительница»? Должен ли я был всех героев своих произведений списывать с нее, или она должна была бы изредка просить меня: «Владимир, напиши-ка рассказ о собаке, которая укусила за ногу нашу кухарку. Володечка, не хочешь ли взять темой нашего комика, который совсем спился, и антрепренер прогоняет его».

И вдруг я неожиданно вспомнил. Недавно мне случилось видеть в театре пьесу «Без просвета», где героиня целует героя в усы и вдохновенно говорит: «Я хочу, чтобы ты под моим влиянием завоевал себе самое высокое положение на поприще славы. Я хочу быть твоей вдохновительницей».

— Странно,— сказал я сам себе.

А во рту у меня было такое ощущение, будто бы я раскусил пустой орех.

* * *

С этих пор я стал наблюдать Ирину. И чем больше наблюдал, тем больший ужас меня охватывал.

Ирины около меня не было. Изредка я видел страдающую Верочку из пьесы Лимонова «Туманные дали», изредка около меня болезненно, с безумным надрывом веселился трагический тип решившей отравиться куртизанки из драмы «Лучше поздно, чем никогда»... А Ирину я и не чувствовал.

Дарил я браслет Ирине, а меня за него ласкала гранд-кокет, обвивавшая мою шею узаконенным гранд-кокетским способом. Возвращаясь поздно домой, я, полный раскаяния за опоздание, думал встретить плачущую, обиженную моим равнодушием Ирину, но в спальне находил, к своему изумлению, какую-то трагическую героиню, которая, заломив руки изящным движением (зеркало-то — ха-ха! — висело напротив), говорила тихо, дрожащим, предсмертным голосом:

— Я тебя не обвиняю... Никогда я не связывала, не насиловала свободы любимого мною человека... Но я вижу далеко, далеко...— Она устремила отуманенный взор в зеркало и вдруг неожиданно громким шепотом заявила: — Нет! Ближе... совсем близко я вижу выход: сладкую, рвущую все цепи, благодетельницу смерть...

— Замолчи! — нервно говорил я.— Кашалотов, «Погребенные заживо», второй акт, сцена Базаровского с Ольгой Петровной. Верно? Еще ты играла Ольгу Петровну, а Рафаэлов — Базаровского... Верно?

Она болезненно улыбалась.

— Ты хочешь меня обидеть? Хорошо. Мучай меня, унижай, унижай сейчас, но об одном только молю тебя: когда я уйду с тем, кто позовет меня по-настоящему,— сохрани обо мне светлую, весеннюю память.

— Не светлую,— хладнокровно поправил я, стаскивая с ноги ботинок и расстегивая жилет,— а «лучезарную». Неужели ты забыла четвертый акт «Птиц небесных», седьмое явление?

Она молча, широко открытыми глазами смотрела на меня, что-то шептала страдальчески губами и, неожиданно со стоном обрушиваясь на постель, закрывала подушкой голову.

А из-под подушки виднелся блестящий, красивый глаз, и он был обращен к зеркалу, а рука инстинктивно обдергивала конец одеяла.

* * *

Однажды, когда я после какой-то размолвки, напившись утреннего чаю, встал и взялся за пальто, предполагая прогуляться, она обратила на меня глаза, полные слез, и сказала только одно тихое слово:

— Уходишь?

Сердце мое сжалось, и я хотел вернуться, чтоб упасть к ее ногам и примириться (все-таки я любил ее), но тотчас же спохватился и выругал себя беспамятным идиотом и разиней.

— Слушай! — сказал я, укоризненно глядя на нее. — Прекратится ли когда-нибудь это безобразие?.. Вот ты сказала одно лишь слово — всего лишь одно маленькое словечко, и это не твое слово, и не ты его говоришь.

— А кто же его говорит? — испуганно прошептала она, инстинктивно оглядываясь.

— Это слово говорит графиня Добровольская («Гнилой век», пьеса Абрашкина из великосветской жизни, в четырех актах, между вторым и третьим проходят полтора года). Та самая Добровольская, которую бросает негодяй князь Обдорский и которая бросает ему вслед одно только щемящее слово: «Уходишь?» Вот кто это говорит!

— Неужели? — прошептала сбитая с толку Ирина, смотря на меня во все глаза.

— Да конечно же! Ты же сама еще и играешь графиню. Ну, милая! Ну, не сердись... Будем говорить откровенно... На сцене, — пойми ты это, — такая штука, может быть, и хороша, но зачем же такие штуки в нашей жизни? Милая, будем лучше сами собой. Ведь я люблю тебя. Но я хочу любить Ирину, а не какую-то выдуманную Абрашкиным графиню или слезливую Верочку, плод досугов какого-то Лимонова! Я говорю серьезно: будем сами собой!

На глазах ее стояли слезы. Она бросилась мне на шею и, плача, крикнула:

— Я люблю тебя! Ты опять вернулся!

Так как она в неожиданном порыве обняла меня под мышками (способ непринятый), я многое простил ей за это. Даже подозрительные слова: «Ты опять вернулся», — пропустил я мимо ушей.

* * *

Когда примирение состоялось, я с облегченным сердцем уехал по делам и вернулся только к обеду.

Ирина была неузнаваема.

Театральность ее пропала. Заслышав мои шаги в передней, она с пронзительным криком: «Володька пришел!» — вы-

скочила ко мне, упала передо мной на колени, расхохоталась, а когда я, смеясь, нагнулся, чтобы поднять ее, то она поцеловала меня в темя и дернула за ухо (способы ласки диковинные и на сцене мною не замеченные).

А когда я за обедом спросил ее, не сердится ли она на меня за утренний разговор, она бросила в меня салфеткой, сделала мне своими очаровательными руками пребольшой нос и подмигнув сказала: «Молчи, старый, толстый дурачок!»

Хотя я не был ни старым, ни толстым, но мне это нравилось больше прежнего: «О, свет моей жизни! О, солнце, освещающее мой путь!»

Вечером она уехала в театр, а я сел за рассказ. Не писалось.

Тянуло к ней, к этому большому, изломанному, но хорошему в некоторых порывах ребенку.

Я оделся и поехал в театр. Шла новая комедия, которой я еще не видел. Называлась она «Воробушек».

Когда я сел в кресло, шел уже второй акт. На сцене сидела Ирина и что-то шила, а когда зазвенел за кулисами звонок и вошел толстый, красивый блондин, она вскочила, засмеялась, шаловливым движением бросилась перед ним на колени, потом поцеловала его в темя, дернула за ухо и радостно приветствовала:

— Здравствуй, старый, толстый дурачок!

Зрители смеялись. Все смеялись, кроме меня.

* * *

Теперь я счастливый человек.

Недавно, сидя в столовой, я услышал из кухни голос Ирины. Она с кем-то разговаривала. Сначала я лениво прислушивался, потом прислушивался внимательно, потом встал и прильнул к полуоткрытой двери.

И по щекам моим текли слезы, а на лице было написано блаженство, потому что я видел ее, настоящую Ирину, потому что я слышал голос подлинной, без надоевших театральных вывертов и штучек Ирины.

Она говорила кому-то, очевидно, прачке:

— Это, по-вашему, панталоны? Дрянь это, а не панталоны. Разве так стирают? А чулки? Откуда взялись, я вас

спрашиваю, дырки на пятках? Что? Не умеете — не беритесь стирать. Я за кружево на сорочках платила по рубль двадцать за аршин, а вы мне ее попортили.

Я слушал эти слова, и они казались мне какой-то райской музыкой.

— Ирина,— шептал я,— настоящая Ирина.

* * *

А впрочем... Господа! Кто из вас хорошо знает драматическую литературу? Нет ли в какой-нибудь пьесе разговора барыни с прачкой?..

НЕЗАМЕТНЫЙ ПОДВИГ

I

Я приближался к городу Калиткину — цели моего путешествия. И по мере моего приближения — я начинал интересоваться им, городом Калиткиным.

За шесть станций до Калиткина я спросил одного из соседей по вагону:

— Вы знаете город Калиткин? Что в нем находится замечательного? Есть ли там какие-либо памятники, музеи, красивые виды?

— Доподлинно вам не могу сказать,— поразмыслив немного, отвечал сосед.— Кажется, что там нет ни музеев, ни памятников. Знаю только одно,— что там живет знаменитый гражданин.

— Какой гражданин?

— Доподлинно вам не могу сказать. Ни имени его не упомнил, ни причины его известности... Знаю только, что очень знаменитый.

За три станции до Калиткина я, заинтересованный, обратился к другому соседу:

— Вы не знаете, что это за знаменитый гражданин, живущий в Калиткине?

— Знаю. Феоктист Иваныч Барабанов.

— Да?! А чем же он, извините меня за беспокойство, знаменит?

— Точно не могу вам сказать. Знаю только, что он, Барабанов, человек чрезвычайно знаменитый. Даже за пределами Калиткина!

За одну станцию до Калиткина я пристал с расспросами к третьему пассажиру.

— Кто такой Барабанов?

— Феоктист Иваныч? Он же спас Россию.

— Неслыханно! Как же это он сделал?!

— Доподлинно я этого не знаю. Известно только, что...

Поезд споткнулся и остановился. Это был город Калиткин — местопребывание загадочного знаменитого гражданина Барабанова, спасшего Россию.

Я выскочил из вагона, сел на извозчика и поехал в гостиницу, самую лучшую в городе. Она же была и средняя гостиница и самая худшая в городе, потому что была она единственная во всем Калиткине.

Умывшись в номере, я позвал хозяина гостиницы и, полный лихорадочного интереса к знаменитому гражданину, спросил:

— Барабанова знаете?

— Господи!!!

— Он спас Россию?

— А как же!

— Как же он ее спас?

— От немцев — вот как.

— От каких немцев?

— От войны с Германией он ее спас — вот от чего!

— Как же он это сделал?

— Доподлинно не скажу, но что он ее спас — так уж будьте покойны. Уж это верно. Весь город знает об этом.

— Да он чем был в то время, когда спасал Россию? Посланником, что ли?

— Нет, не посланником.

— Министром?! Королем дружественной державы?!!!

— Барабанов? Уездным землемером он был в то время, Барабанов.

— Чудеса! Ступайте.

Хозяин с гордым самодовольным выражением лица вышел из номера, а я, наскоро одевшись и расспросив дорогу в клуб, последовал за ним.

В клубе мне необходимо было видеть нескольких лиц, а кроме того, я надеялся выяснить, наконец, полную таинственности и загадок историю землемера Барабанова...

II

Старшина записывал меня в какую-то книгу, а я в это время, горя нетерпением, спросил его:

— Кто Барабанов?

— Он? Спас Россию.

К этому подвигу Барабанова в Калиткине, очевидно, все привыкли и говорили о нем без тени волнения и радости. Старшина сказал эту великую громоподобную фразу таким хладнокровным тоном, каким сообщают:

— А я только что выпил рюмку водки.

Человек быстро со всем свыкается. Я уверен, что современники и знакомые Пушкина говорили о нем приблизительно в таком тоне:

— А Саша опять какую-то штуковину написал. Не помню, как она называется... «Борис Годунов», что ли.

Слуга великого Гоголя чистил каждый день сапоги барину безо всякого душевного трепета и даже (о, я хорошо знаю слуг) частенько поплевывал на эту существенную часть туалета творца «Мертвых душ». Ему, бедняге, и в голову не приходило, что его барину, в конце концов, поставят на каждой свободной площади по памятнику.

Я возразил старшине:

— Спас-то он спас. Я уже слышал об этом. Но как?

— Он? Он предотвратил войну между Германией и Россией. А в тот год эта война была бы гибельна для России. Не знаю даже, остались ли бы мы с вами живы.

— Что же он сделал для этого?! — с легкой нервностью в голосе воскликнул я.

— Сделал? Он чего-то, именно, и не сделал. Не сделал чего-то такого, что,— если бы было им сделано — повело бы за собой ужасную войну с Германией... Согласитесь сами, что, в этом случае,— сделал, не сделал — одно и то же!

— Как же вы сами не знаете, что это такое ужасное, чего Барабанов не сделал или что это героическое, что им было проделано?!

Старшина развел руками.

— Да он сам редко об этом рассказывает. А я слышал от других.

— Где Барабанов? — отрывисто спросил я.

— Он сейчас здесь, в клубе. Сидит в читальне. Он теперь почти не выходит оттуда. Читает в газетах политические известия и изучает по каким-то книгам историю народов. О войнах каких-то читает. За-ме-ча-тель-ный человек!!

Я не мог больше выдержать. Я пошел к Барабанову.

III

Передо мной сидел в низеньком кресле немолодой человек в черных очках, с бледным истощенным лицом, и внимательно читал толстую большую книгу.

Я, с весьма понятным чувством волнения и почтительности, рассматривал его, этого нового Ивана Сусанина, сидевшего так скромно и незаметно в читальне маленького провинциального клуба, вместо того чтобы греметь в столице, быть осыпанным деньгами, почестями и орденами...

Передо мной сидел человек, спасший Россию — громадную страну, одна губерния которой по площади больше всей Франции и Италии!

Я приблизился к креслу и прерывающимся от волнения голосом спросил:

— Бара-банов?..

— Я Барабанов,— сказал знаменитый землемер, опуская книгу.— Здравствуйте. Что такое?

— Меня интересует один вопрос...— переступив с ноги на ногу, смущенно начал я.— Каким образом вы спасли Россию? Об этом все говорят, трубит весь город, но как это сделано — никто толком не знает.

Барабанов положил книгу на стол и тихо отвечал:

— Да, я спас Россию.

— Это так... поразительно... что я бы хотел... поподробнее.

— О! это длинная история... В кратких словах она такова: я сделал один шаг, который предотвратил кровопролитную войну между Германией и Россией,— совершенно тогда не подготовленной и потерпевшей бы, наверное, ряд страшных поражений, вплоть до полного падения и разрушения великого государства...

— И вы сделали в предотвращение этого один только шаг?! Какой же это шаг?! Что это за святой, гениальный, проникновенный шаг?

Землемер Барабанов скромно улыбнулся.

— С первого взгляда — шаг этот очень простой: двенадцать лет тому назад, пятого сентября, я не поехал в Петербург, хотя и собирался туда. Не знаю — что меня толкнуло, но я не поехал. Мог бы поехать, даже должен был поехать — но не поехал!

Я оглянулся. Нас окружало до двадцати человек именитых граждан Калиткина, постепенно набравшихся в читальню и слушавших теперь наш разговор с редким вниманием и благоговением.

— Вы не поехали в Петербург!.. — пораженный, воскликнул я.— А что бы было, если бы вы туда поехали?!

— Что? А я вам скажу — что. У меня там живет зять Дудукаев — человек крайне любопытный, горячий и вспыльчивый. Я, признаться, к нему и ехал. Ну-с... А вы знаете, милостивый государь, что как раз в то же время в Петербург приезжал германский кронпринц с целью нанести нашему Государю визит и ознакомиться с Россией? Знаете ли вы об этом?

Горя нетерпением, я машинально ответил:

— Знаю. Что же дальше?

— Дальше? А дальше было бы вот что... Как я вам уже сказал — зять мой Дудукаев был человек истерически любопытный и грубо, до потери сознания, вспыльчивый. Кроме того, был он близорук. Если бы я в то время приехал в Питер — он обязательно потащил бы меня смотреть кронпринца и, конечно, по своей близорукости, лез бы в самую гущу толпы, поближе к кронпринцу... Конечно, полицейские, видя его странную настойчивость и стремительность, отпихнули бы его, он, не стерпевши, дал бы кому-нибудь в ухо и, конечно, произошла бы грандиознейшая свалка, в самом центре которой оказался бы ничего не подозревавший кронпринц. Вы знаете, господа, что во время драки дерущиеся не разбирают ни сана, ни положения человека и, как всегда бывает в таких случаях,— кронпринцу влетело бы больше всех! Остальное понятно. Возгорелся бы крупный международный конфликт, а так как в то время русским министром иностранных дел был человек бездар-

ный, бестактный, напыщенный и грубый,— ненавистник немцев,— то дело немедленно получило бы страшный для России оборот. Министр вовлек бы Россию в пагубную для нее войну, и я не знаю...

Барабанов обвел толпу калиткинцев задумчивым взором:

— ...И я не знаю — многие ли среди присутствующих были бы сейчас живыми и здоровыми.

— Да здравствует Барабанов! — крикнула толпа.

IV

Пораженный, не знающий, что подумать, стоял я перед землемером и смотрел ему прямо в глаза:

— И это все сделали вы?!..

— Конечно. Подумайте, если бы я поехал в Петербург...

— Черт возьми! — воскликнул я.— А чем же вы докажете, что все это было бы так, если бы вы приехали?

Барабанов прищурился.

— А чем вы докажете, что этого бы не было?

Один из калиткинских дураков подошел к Барабанову и ободряюще похлопал его по плечу.

— Правильно, Барабанов! Под это уж не подкопаешься.

— Да,— сказал кто-то сзади.— Это уж, как по писаному.

Я видел ясно, что Барабанов дурачит меня и всех присутствующих. Но как я мог уличить его во лжи? Ведь он говорил то, что могло бы быть...

Я хотел повернуться и уйти, но неожиданная, прекрасная мысль удержала меня на месте.

— Да... Пожалуй, вы, действительно, спасли Россию... А скажите: что же удержало вас от поездки в Петербург? Неужели только предчувствие? Или еще что-нибудь было?

Не замечая той страшной западни, которую я ему готовлю, Барабанов простодушно отвечал:

— Отчасти предчувствие, а главным образом, то, что я не получил от матери из Киева ожидаемых денег. Она в то время попала нечаянно под какой-то экипаж, сломала руку и лежала в больнице, почему и не могла выслать денег.

— Стойте! — торжествующе закричал я.— Так это, выходит, не вы спасли Россию, а я!!!

— Почему?! — закричали все, придвигаясь ближе.

— Да потому, что я и есть тот самый человек, экипаж которого наехал на вашу матушку.

— Предположим... Но... При чем же здесь Россия? — презрительно усмехнулся Барабанов.

— При чем?! А при том, что, если бы я не наехал на вашу матушку, она выслала бы вам деньги, а вы бы потащились в Петербург и устроили бы там мировой скандал. Значит, я и спас Россию — нашу великую, любимую, прекрасную родину!!

— Постойте! — крикнул сзади тот человек, к которому я приехал по делу.— Постойте! Выходит, что и не он даже спас Россию, а я. Я к нему тогда собирался в Киев, но не поехал. А если бы поехал — он, наверное, не раздавил бы матери Барабанова. Не поехал же я потому, что гулял на свадьбе дочери Бумагина.

Бумагин был тут же. Он ударил себя в грудь и сказал:

— Значит, не ты спас Россию, а я. Дочь-то ведь моя!

— Значит, она и спасла ее! — сказал кто-то сзади.

— Нет, жених! Если бы он не женился...

— При чем здесь жених... Тетка его, после смерти...

— Значит, тетка?!

Поднялся страшный крик и спор.

Через полчаса выяснилось, что Россию спасла та русская неграмотная баба, служанка тетки жениха, которая вкатила по ошибке несчастной тетке двойную, смертельную дозу какого-то лекарства.

Тут же решили выделить из среды калиткинцев депутацию — с поручением разыскать эту служанку и принести ей благодарность за спасение России.

Когда ее отыскали — она оказалась существом исключительной скромности: она даже не знала о совершенном ею подвиге — спасении от гибели великой, прекрасной, дорогой каждому из нас родины!

ГЕРАКЛ

I

На скамейке летнего сада «Тиволи» сидело несколько человек...

Один из них, борец-тяжеловес Костя Махаев, тихо плакал, размазывая красным кулаком по одеревенелому лицу обильные слезы, а остальные, его товарищи, с молчаливым участием смотрели на него и шумно вздыхали.

— За что?..— говорил Костя, как медведь, качая головой.— Божжже ж мой... Что я ему такого сделал? А?.. «Тезей! Геракл!»...

Подошел член семья «братья Джакобс — партерные акробаты». Нахмурился.

— Э... Гм... Чего он плачет?

— Обидели его,— сказал Христич, чемпион Сербии и победитель какого-то знаменитого Магомета-Оглы.

— Борьбовый репортер обидел его. Вот кто.

— Выругал, что ли?

— Еще как! — оживился худой, пренесчастного вида борец Муколяйнен.— Покажи ему, Костя.

Костя безнадежно отмахнулся рукой и, опустив голову, принялся рассматривать песок под ногами с таким видом, который ясно показывал, что для Кости никогда уже не наступят светлые дни, что Костя унижен и втоптан в грязь окончательно и что праздные утешения друзей ему не помогут.

— Как же он тебя выругал?

Костя поднял налитые кровью глаза.

— Тезеем назвал. Это он позавчера... А вчера такую штуку преподнес: «сибиряк, говорит, Махаев,— борется, как настоящий Геракл».

— Наплюй,— посоветовал член семейства Джакобс. — Стоит обращать внимание!

— Да... наплюй. У меня мать-старушка в Красноярске. Сестра три класса окончила. Какой я ему Геракл?!

— Геракл...— задумчиво прошептал Муколяйнен,

— Тезей — еще так-сяк, а Геракл, действительно.

— Да ты знаешь, что такое Геракл? — спросил осторожный победитель Магомета-Оглы.

— Черт его знает. Спрашиваю у арбитра, а он смеется. Чистое наказание!..

— А ты подойди к репортеру вечером, спроси — за что?

— И спрошу. Сегодня еще подожду, а завтра прямо подойду и спрошу.

— Тут и спрашивать нечего. Ясное дело — дать ему надо. Заткни ему глотку пятью целковыми и конец. Ясное дело — содрать человек хочет.

Костя приободрился.

— А пяти целковых довольно? Я дам и десять, только не пиши обо мне. Я человек рабочий, а ты надо мной издеваешься. Зачем?

Он схватился за голову и простонал, вспомнив все перенесенные обиды:

— Господи! за что? Что я кому сделал?!

Лица всех были серьезны, сосредоточенны. Около них искренно, неподдельно страдал живой человек, и огрубевшие сердца сжимались жалостью и болью за ближнего своего.

Был поздний вечер.

По уединенной аллее сада ходил, мечтательно глядя на небо, спортивный рецензент Заскакалов и делал вид, что ему все равно: позовет его директор чемпионата ужинать или нет?

А ему было не все равно.

Из-за кустов вылезла массивная фигура тяжеловеса Кости Махаева и приблизилась к рецензенту.

— Господин Заскакалов,— смущенно спросил Костя, покашливая и ненатурально отдуваясь.— Вы не потеряли сейчас десять рублей? Не обронили на дорожке?

— Кажется, нет. А что?

— Вот я нашел их. Вероятно, ваши. Получите...

— Да это двадцатипятирублевка!

— Ну, что ж... А вы мне дайте пятнадцать рублей сдачи — так оно и выйдет.

Заскакалов снисходительно улыбнулся, вынул из кошелька сдачу, бумажку сунул в жилетный карман и снова зашагал, пытливо смотря в небо.

— Так я могу быть в надежде? — прячась в кустах, крикнул застенчивый Костя.

— Будьте покойны!

Прошла ночь, наступил день. Ночь Костя проспал хорошо (первая ночь за трое суток), а утро принесло Косте ужас, мрак и отчаяние.

В газете было про него написано буквально следующее:

«Самой интересной оказалась борьба этого древнегреческого Антиноя — Махаева с пещерным венгром Огай. В искрометной схватке сошелся Махаев, достойный, по своей внешности, резца Праксителя, и тяжелый железный венгр.

Как клубок пантер, катались оба они по сцене, пока на двадцатой минуте страшный Геракл не припечатал пещерного венгра».

Опять днем собрались в саду, на той же самой скамейке, и обсуждали создавшееся невыносимое положение...

Ясно было, что грубый, наглый репортер ведет самую циничную кампанию против безобидного Кости Махаева, и весь вопрос только в том — с какою целью?

Сначала решили, что репортера подкупили борцы другого, конкурирующего чемпионата. Потом пришли к убеждению, что у репортера есть свой человек на место Кости, и он хочет так или иначе, но выжить Костю из чемпионата.

Спорили и волновались, а Костя сидел, устремив остановившийся, страдальческий взгляд на толстый древесный ствол, и шептал бледными, искривленными обидой губами:

— Геракл... Так, так. Антиной! Дождался. «Достойный резца»... Ну, что ж — режь, если тебе позволят. Ешь меня с хлебом!.. Пей мою кровь, скорпиён проклятый!

Костя заплакал.

Все, свесив большие, тяжелые головы, угрюмо смотрели в землю, и только толстые, красные пальцы шевелились угрожающе, да из широких мясистых грудей вылетало хриплое, сосредоточенное дыхание...

— Антиноем назвал! — крикнул Костя и сжал руками голову.— Лучше бы ты меня палкой по голове треснул...

— Ты поговори с ним по душам,— посоветовал чухонец.— Чего там!

— Рассобачились они очень,— проворчал поляк Быльский.— Вчера негра назвал эбеновым деревом, на прошлой неделе про него же написал: сын Тимбукту... Спроси — трогал его негр, что ли?

— Негру хорошо,— стиснув зубы, заметил Костя,— он по-русски не понимает. А я прекрасно понимаю, братец ты мой!..

Долго сидели, растерянные, мрачные, как звери, загнанные в угол.

Думали все: и десятипудовые тяжеловесы, и худые, изможденные жизнью, легковесы.

Жалко было товарища. И каждый сознавал, что завтра с ним может случиться то же самое...

III

Вечером Костя опять выследил спортивного рецензента и, когда тот всматривался в неразгаданное небо, заговорил с ним.

— Слушайте,— сосредоточенно сказал Костя, беря рецензента за плечо.— Это с вашей стороны нехорошо.

Рецензент поморщился.

— Что еще? Мало вам разве? — спросил он.

Кровь бросилась в лицо Косте.

— А-а... ты вот как разговариваешь?! А это ты видел? Как это тебе покажется?

Вещь, относительно которой спрашивали рецензентова мнения, была большим жилистым кулаком, колеблющимся на близком от его лица расстоянии.

Рецензент с криком испуга отскочил, а Костя зловеще рассмеялся.

— Это тебе, брат, не Тезей!!!

— Да, Господи,— насильственно улыбнулся рецензент.— Будьте покойны!.. Постараюсь.

И они разошлись...

Разошлись, не поняв друг друга. Широкая пропасть разделяла их.

Снаружи рецензент не показал виду, что особенно испугался Кости, но внутри сердце его похолодело...

Идя домой, он думал:

— Ишь, медведь косолапый. Дал десятку и Антиноя ему мало. Чем же тебя еще назвать? Зевесом, что ли? Попробуй-ка сам написать...

И было ему обидно, что его изящный стиль, блестящие образы и сравнения тратятся на толстых, неуклюжих людей, ползающих по ковру и не ценящих его труда. И душа болела.

Была она нежная, меланхолическая, полная радостного трепета перед красотой мира.

В глубине души рецензент Заскакалов побаивался страшного, массивного Кости Махаева и поэтому решил в сегодняшней рецензии превзойти самого себя.

После долгого обдумывания написал о Косте так:

«Это было грандиозное зрелище... Мощный Махаев, будто сам Зевс борьбы, сошедший с Олимпа потягаться

силой с человеком, нашел противника в лице бронзового сына священного Ганга, отпрыска браминов, Мохута. Ягуар Махаев с пластичными жестами Гермеса напал на терракотового противника и, конечно,— Гермес победил! Не потому ли, что Гермес лицом — Махаев, в борьбе делается легендарным Гераклом? Мы сидели и, глядя на Махаева, думали: и такое тело не иссечь? Фидий, где ты со своим резцом?»

Вечером Заскакалов пришел в сад и, просмотрев борьбу, снова отправился в уединенную аллею, довольный собой, своим протеже Махаевым и перспективой будущего директорского ужина ....

....

Быстрыми шагами приблизился к нему Махаев, протянул руку и — не успел рецензент опомниться, как уже лежал на земле, ощущая на спине и левом ухе сильную боль.

Махаев выругался, ткнул ногой лежащего рецензента и ушел. Рецензентово сердце облилось кровью.

— А-а,— подумал он.— Дерешься?.. Хорошо-с. Я, брат, не уступлю! Не запугаешь. Тебе же хуже!.. Теперь ни слова не напишу о тебе. Будешь знать!

На другой день появилась рецензия о борьбе, и в том месте, где она касалась борьбы Махаева с Муколяйненом, дело ограничилось очень сухими скупыми словами: «Второй парой боролись Махаев с Муколяйненом. После двадцатиминутной борьбы победил первый приемом «обратный пояс».

Махаева чествовали.

Он сидел в пивной «Медведь», раскрасневшийся, оживленный и с худо скрытым хвастовством говорил товарищам:

— Я знаю, как поступать с ихним братом. Уж вы мне поверьте! Ни деньгами, ни словами их не проймешь... А вот как дать такому в ухо — он сразу станет шелковый. Заметьте это себе, ребята!

— С башкой парняга,— похвалил искренний серб Христич и поцеловал оживленного Костю.

СУХАЯ МАСЛЕНИЦА

I

Знаменитый писатель Иван Перезвонов задумал изменить своей жене. Жена его была хорошей доброй женщиной, очень любила своего знаменитого мужа, но это-то, в конце концов, ему и надоело.

Целый день Перезвонов был на глазах жены и репортеров... Репортеры подстерегали, когда жена куда-нибудь уходила, приходили к Перезвонову и начинали бесконечные расспросы. А жена улучала минуту, когда не было репортеров, целовала писателя в нос, уши и волосы и, замирая от любви, говорила:

— Ты не бережешь себя... Если ты не думаешь о себе и обо мне, то подумай о России, об искусстве и отечественной литературе.

Иван Перезвонов, вздыхая, садился в уголку и делал вид, что думает об отечественной литературе и о России. И было ему смертельно скучно.

В конце концов писатель сделался нервным, язвительным.

— Ты что-то бледный сегодня? — спрашивала жена, целуя мужа где-нибудь за ухом или в грудобрюшную преграду.

— Да,— отстраняясь, говорил муж.— У меня индейская чума в легкой форме. И сотрясение мозга! И воспаление почек!!

— Милый! Ты шутишь, а мне больно... Не надо так...— умоляюще просила жена и целовала знаменитого писателя в ключицу или любовно прикладывалась к сонной артерии...

Иногда жена, широко раскрывая глаза, тихо говорила:

— Если ты мне когда-либо изменишь — я умру.

— Почему? — лениво спрашивал муж.— Лучше живи. Чего там.

— Нет,— шептала жена, смотря вдаль остановившимися глазами.— Умру.

— Господи! — мучился писатель Перезвонов.— Хотя бы она меня стулом по голове треснула или завела интригу с репортером каким-нибудь... Все-таки веселее!

Но стул никогда не поднимался над головой Перезвонова, а репортеры боялись жены и старались не попадаться ей на глаза.

II

Однажды была масленица. Всюду веселились, повесничали на легкомысленных маскарадах, пили много вина и пускались в разные шумные авантюры...

А знаменитый писатель Иван Перезвонов сидел дома, ел домашние блины и слушал разговор жены, беседовавшей с солидными, положительными гостями.

— Ване нельзя много пить. Одну рюмочку, не больше. Мы теперь пишем большую повесть. Мерзавец этот Солунский!

— Почему? — спрашивали гости.

— Как же. Писал он рецензию о новой Ваниной книге и сказал, что он слишком схематизирует взаимоотношения героев. Ни стыда у людей, ни совести.

Когда гости ушли, писатель лежал на диване и читал газету.

Не зная, чем выразить свое чувство к нему, жена подошла к дивану, стала на колени и, поцеловав писателя в предплечье, спросила:

— Что с тобой? Ты, кажется, хромаешь?

— Ничего, благодарю вас, — вздохнул писатель. — У меня только разжижение мозга и цереброспинальный менингит. Я пойду пройдусь...

— Как, — испугалась жена. — Ты хочешь пройтись? Но на тебя может наехать автомобиль или обидят злые люди.

— Не может этого быть, — возразил Перезвонов, — до сих пор меня обижали только добрые люди.

И, твердо отклонив предложение жены проводить его, писатель Перезвонов вышел из дому.

Сладко вздохнул усталой от комнатного воздуха грудью и подумал:

— Жена невыносима. Я молод и жажду впечатлений. Я изменю жене.

III

На углу двух улиц стоял писатель и жадными глазами глядел на оживленный людской муравейник.

Мимо Перезвонова прошла молодая, красивая дама, внимательно оглядела его и слегка улыбнулась одними глазами.

— Ой-ой,— подумал Перезвонов.— Этого так нельзя оставить... Не нужно забывать, что нынче масленица — многое дозволено.

Он повернул за дамой и, идя сзади, любовался ее вздрагивающими плечами и тонкой талией.

— Послушайте...— после некоторого молчания сказал он, изо всех сил стараясь взять тон залихватского ловеласа и уличного покорителя сердец.— Вам не страшно идти одной?

— Мне? — приостановилась дама, улыбаясь.— Нисколько. Вы, вероятно, хотите меня проводить?

— Да,— сказал писатель, придумывая фразу попошлее.— Надо, пока мы молоды, пользоваться жизнью.

— Как? Как вы сказали? — восторженно вскричала дама.— Пока молоды... пользоваться жизнью. О, какие это слова! Пойдемте ко мне!

— А что мы у вас будем делать? — напуская на лицо циничную улыбку, спросил знаменитый писатель.

— О, что мы будем делать!.. Я так счастлива. Я дам вам альбом — вы запишете те прекрасные слова, которыми вы обмолвились. Потом вы прочтете что-нибудь из своих произведений. У меня есть все ваши книги!

— Вы меня принимаете за кого-то другого,— делаясь угрюмым, сказал Перезвонов.

— Боже мой, милый Иван Алексеевич... Я прекрасно изучила на вечерах, где вы выступали на эстраде, ваше лицо, и знакомство с вами мне так приятно...

— Просто я маляр Авксентьев,— резко перебил ее Перезвонов.— Прощайте, милая бабенка. Меня в трактире ждут благоприятели. Дербалызнем там. Эх, вы!!

IV

— Прах их побери, так называемых, порядочных женщин. Я думаю, если бы она привела меня к себе, то усадила бы в покойное кресло и спросила — отчего я такой бледный, не заработался ли? Благоговейно поцеловала бы меня в височную кость, а завтра весь город узнал бы, что Перезвонов был у Перепетуи Ивановны... Черррт! Нет, Перезвонов... Ищи женщину не здесь, а где-нибудь в шантане, где публика совершенно беззаботна насчет литературы.

Он поехал в шантан. Разделся, как самый обыкновенный человек, сел за столик, как самый обыкновенный человек, и ему, как обыкновенному человеку, подали вина и закусок.

Мимо него проходила какая-то венгерка.

— Садитесь со мной,— сказал писатель.— Выпьем хорошенько и повеселимся.

— Хорошо,— согласилась венгерка.— Познакомимся, интересный мужчина. Я хочу рябчиков.

Через минуту ее отозвал распорядитель.

Когда она вернулась, писатель недовольно спросил:

— Какой это дурак отзывал вас?

— Это здесь компания сидит в углу. Они расспрашивали, зачем вы сюда приехали и о чем со мной говорили. Я сказала, что вы предложили мне «выпить и повеселиться». А они смеялись и потом говорят: «эта Илька всегда напутает. Перезвонов не мог сказать так!»

— Черррт! — прошипел писатель.— Вот что, Илька... Вы сидите — кушайте и пейте, а я расплачусь и уеду. Мне нужно.

— Да расплачиваться не надо,— сказала Илька.— За вас уже заплачено.

— Что за глупости?! Кто мог заплатить?

— Вон тот толстый еврей — банкир. Подзывал сейчас распорядителя и говорит: «За все, что потребует тот господин,— плачу я! Перезвонов не должен расплачиваться». Мне дал пятьдесят рублей, чтобы я ехала с вами. Просил ничего с вас не брать.

Она с суеверным ужасом посмотрела на Перезвонова и спросила:

— Вы, вероятно... переодетый пристав?..

Перезвонов вскочил, бросил на стол несколько трехрублевок и направился к выходу.

Сидящие за столиками посетители встали, обернулись к нему, и — гром аплодисментов прокатился по зале... Так публика выражала восторг и преклонение перед своим любимцем, знаменитым писателем.

Бывшие в зале репортеры выхватили из карманов книжки и, со слезами умиления, стали заносить туда свои впечатления. А когда Перезвонов вышел в переднюю, он наткнулся на лакея, который служил ему. Около лакея толпилась публика, и он продавал по полтиннику за штуку окурки папирос, выкуренных Перезвоновым за столом. Торговля шла бойко.

V

Оставив позади себя восторженно гудящую публику и стремительных репортеров, Перезвонов слетел с лестницы, вскочил на извозчика и велел ему ехать в лавчонку, которая отдавала на прокат немудрые маскарадные костюмы...

Через полчаса на шумном маскарадном балу в паре с испанкой танцевал веселый турок, украшенный громадными наклеенными усами и горбатым носом.

Турок веселился вовсю — кричал, хлопал в ладоши, визжал, подпрыгивал и напропалую ухаживал за своей испанкой.

— Ходы сюда! — кричал он, выделывая ногами выкрутасы. — Целуй менэ, барышна, на морда.

— Ах, какой вы веселый кавалер, — говорила восхищенная испанка. — Я поеду с вами ужинать!..

— Очин прекрасно, — хохотал турок, семеня возле дамы. — Одын ужин — и ныкаких Перезвонов!

Было два часа ночи.

Усталый, но довольный Перезвонов сидел в уютном ресторанном кабинете, на диване рядом с хохотушкой-испанкой и взасос целовался с ней. Усы его и нос лежали тут же на столе, и испанка, шутя, пыталась надеть ему турецкий нос на голову и на подбородок.

Перезвонов хлопал себя по широким шароварам и пел, притоптывая:

— Ой, не плачь, Маруся — ты будешь моя!

Кончу мореходку, женюсь я на тебя...

Испанка потянулась к нему молодым теплым телом.

— Позвони человеку, милый, чтобы он дал кофе и больше не входил... Хорошо?

Перезвонов потребовал кофе, отослал лакея и стал возиться с какими-то крючками на лифе испанки...

VI

В дверь осторожно постучались.

— Ну? — нетерпеливо крикнул Перезвонов, — нельзя!

Дверь распахнулась, и из нее показалась странная процессия... Впереди всех шел маленький белый поваренок, неся на громадном блюде сдобный хлеб и серебряную солонку с солью. За поваренком следовал хозяин гостиницы,

с бумажкой в руках, а сзади буфетчица, кассир и какие-то престарелые официанты.

Хозяин выступил вперед и, утирая слезы, сказал, читая по бумажке:

— «Мы счастливы выразить свой восторг и благодарность гордости нашей литературы, дорогому Ивану Алексеичу, за то, что он почтил наше скромное коммерческое учреждение своим драгоценным посещением, и просим его от души принять по старорусскому обычаю хлеб-соль, как память, что под нашим кровом он вкусил женскую любовь, это украшение нашего бытия»...

В дверях показались репортеры.

VII

Вернувшись домой, Перезвонов застал жену в слезах.

— Чего ты?!

— Милый... Я так беспокоилась... Отчего ты такой бледный?.. Я думала — ушел... Там женщины разные!.. Масленица... Думаю, изменит мне...

— Где там! — махнув рукой, печально вздохнул знаменитый писатель.— Где там!

ПО ТУ СТОРОНУ...

Мир таинственного и загадочного — мир прекрасный, привлекательный и в то же время страшный, именно этой своей загадочностью и таинственностью.

Немногие могут заглянуть за страшную завесу неизвестного, а те, кто заглянул, на всю жизнь сохраняют в душе холодный ужас, а на голове много лишних прядей седых волос.

В моей жизни было всего три случая таинственных, непонятных явлений, которые находятся всецело по ту сторону человеческого постижения и при воспоминаниях о которых сердце мое наполняется удивлением и страхом, а по спине пробегает легкая, холодная дрожь.

Первый случай был давно, во дни моей молодости.

Однажды, когда я прогуливался по пустынному полю, ко мне подошла старая цыганка и, пытливо взглянув в лицо, сказала:

— Барину скоро предстоит дорога.

— Откуда ты знаешь? — удивленно вскричал я.

— Старая Любка все знает,— зловеще сказала цыганка.

Пораженный этим странным предсказанием, я дал цыганке двугривенный, и она исчезла.

Прошло года три. Я уже стал забывать о своей прогулке, встрече с цыганкой и ее словах, как однажды осенью на мое имя пришла телеграмма, чтобы я экстренно выезжал в N, где жил мой дядя.

Полный тяжелых предчувствий, поехал я в N и на вокзале, встретив тетку, узнал печальную новость: дядя вчера умер!

— А какое у нас сегодня число? — спросил я.

— Десятое.

— Поразительно! — подумал я.— Ровно три года и десять дней со времени моей встречи с цыганкой... Откуда она могла знать о предстоящей смерти дяди и теткиной телеграмме?

Рассказывая о последних минутах дяди, тетка сообщила, что старик за десять минут до смерти был еще жив...

Эта странность еще больше утвердила меня в мысли, что между двумя рассказанными случаями: предсказанием цыганки и смертью дяди была какая-то загадочная, не разрешимая человеческим пониманием связь...

Второй случай был совсем недавно. До сих пор я не могу прийти в себя, и если до сих пор я не верил в необъяснимое в природе, то этот случай с категорической ясностью мог поколебать мой скептицизм.

Был солнечный светлый день, исключавший всякую возможность предположения о чем-нибудь таинственном, что случается только в страшные, темные осенние ночи... Мне нужно было сделать кое-какие покупки. Я нанял по часам извозчика — молодого, безусого парня (я это хорошо запомнил). Мы заезжали в несколько мест, и я, думая о своих делах, совершенно забыл об извозчике и его ординарной наружности.

Последнее место, куда я заехал, был банк. Закончив в несколько минут свои дела, я вышел на улицу, вскочил в пролетку и приказал извозчику ехать домой. Он ударил по лошадям и, пошевелившись на козлах (я никогда не забуду этой минуты...), медленно обернул ко мне свое лицо.

— Куда прикажете? — спросил извозчик, глядя на меня исподлобья.

Я вскрикнул и закрыл в ужасе лицо руками: на меня смотрело бородатое, старообразное лицо с длинными усами и морщинами на щеках.

До сих пор я твердо помню, что между тем, как я впервые нанял этого извозчика, и страшным моментом его поворота ко мне прошло не более двух часов... Откуда же могла взяться эта большая борода, усы и морщины у моложавого безусого парня?! Что случилось за это время в природе? Пронеслось ли над нашими головами несколько никем не замеченных десятков лет, украсивших парня всеми атрибутами зрелого возраста, или... сам дьявол сидел на козлах, меняя по своему желанию личину извозчика?

Удивительнее всего, что старый извозчик уже не помнил улицы, с которой он впервые взял меня, и странными мне показались его преувеличенные поклоны и благодарность, когда я уплатил ему условленные два рубля за время.

Кто был мой извозчик? Тайна по-прежнему окутывает этот страшный вопрос непроницаемым покровом... Разрешится ли она когда-нибудь? Бог весть.

Третий случай я считаю самым страшным.

Однажды прислуга сообщила мне, что в новолуние на чердаке появляется какая-то белая фигура, пугающая всех своим зловещим видом.

— Вздор,— улыбаясь, сказал я.— Почему именно в новолуние? Если она является, то может явиться, когда угодно.

Но прислуга стояла на своем.

— Хорошо,— сказал я.— Я проверю это. Теперь как раз не новолуние, и я посмотрю — явится ли твое привидение?

В ту же ночь я, с замирающим сердцем, и не слушая уверений прислуги, что раз нет новолуния, не будет и привидения, отправился на чердак ....

....

Рано утром, бледный, с перекошенным от ужаса лицом, я еле сполз с чердака вниз. На все вопросы у меня только и хватило пролепетать:

— Прислуга была права... Новолуния не было, привидение, действительно, не появилось. Ясно, что в новолуние, значит, оно является.

После этого необъяснимого случая прошло много времени... Я тогда же немедленно настоял на переезде с ужасной квартиры, но даже и теперь, когда я вспоминаю о ночи на чердаке, волосы мои шевелятся, и я стараюсь изгнать из памяти эту ночь, убедившую меня в существовании таинственных, призрачных существ загробного мира...

МАГНИТ

I

Первый раз в жизни я имел свой собственный телефон. Это радовало меня, как ребенка. Уходя утром из дому, я с напускной небрежностью сказал жене:

— Если мне будут звонить,— спроси — кто и запиши номер.

Я прекрасно знал, что ни одна душа в мире, кроме монтера и телефонной станции, не имела представления о том, что я уже восемь часов имею свой собственный телефон, но бес гордости и хвастовства захватил меня в свои цепкие лапы, и я, одеваясь в передней, кроме жены, предупредил горничную и восьмилетнюю Китти, выбежавшую проводить меня:

— Если мне будут звонить,— спросите — кто и запишите номер.

— Слушаю-с, барин!

— Хорошо, папа!

И я вышел с сознанием собственного достоинства и солидности, шагал по улицам так важно, что нисколько бы не удивился, услышав сзади себя разговор прохожих:

— Смотрите, какой он важный!

— Да, у него такой дурацкий вид, что будто он только что обзавелся собственным телефоном.

II

Вернувшись домой, я был несказанно удивлен поведением горничной: она открыла дверь, отскочила от меня, убежала за вешалку и, выпучив глаза, стала оттуда манить меня пальцем.

— Что такое?

— Барин, барин, — шептала она, давясь от смеха. — Подите-ка, что я вам скажу! Как бы только барыня не услыхала...

Первой мыслью моей было, что она пьяна; второй, что я вскружил ей голову своей наружностью и она предлагает вступить с ней в преступную связь.

Я подошел ближе, строго спросив:

— Чего ты хочешь?

— Тш... барин. Сегодня к Вере Павловне не приезжайте ночью, потому ихний муж не едет в Москву.

Я растерянно посмотрел на загадочное, улыбающееся лицо горничной и тут же решил, что она по-прежнему равнодушна ко мне, но спиртные напитки лишили ее душевного равновесия, и она говорит первое, что взбрело ей на ум.

Из детской вылетела Китти, с размаху бросилась ко мне на шею и заплакала.

— Что случилось? — обеспокоился я.

— Бедный папочка! Мне жалко, что ты будешь слепой... Папочка, лучше ты брось эту драную кошку, Бельскую.

— Какую... Бельс-ку-ю? — ахнул я, смотря ей прямо в заплаканные глаза.

— Да твою любовницу. Которая играет в театре. Клеманс сказала, что она драная кошка. Клеманс сказала, что, если ты ее не бросишь, она выжжет тебе оба глаза кислотой, а потом она просила, чтобы ты сегодня обязательно приехал к ней в шантан. Я мамочке не говорила, чтобы ее не расстраивать, о глазах-то.

Вне себя я оттолкнул Китти и бросился к жене.

Жена сидела в моем рабочем кабинете и держала в руках телефонную трубку. Истерическим, дрожащим от слез голосом она говорила:

— И это передать... Хорошо-с... Можно и это передать. И поцелуи... Что?.. Тысячу поцелуев. Передам и это. Все равно уж заодно.

Она повесила телефонную трубку, обернулась и, смотря мне прямо в глаза, сказала странную фразу:

— В вашем гнездышке на Бассейной бывать уже опасно. Муж, кажется, проследил.

— Это дом сумасшедших! — вскричал я.— Ничего не понимаю.

Жена подошла ко мне и, приблизив свое лицо к моему, без всякого колебания сказала:

— Ты... мерзавец!

— Первый раз об этом слышу. Это, вероятно, самые свежие вечерние новости.

— Ты смеешься? Будешь ли ты смеяться, взглянув на это?

Она взяла со стола испещренную надписями бумажку и прочла:

— № 349–27 — «Мечтаю тебя увидеть хоть одним глазком сегодня в театре и послать хоть издали поцелуй».

№ 259–09 — «Куда ты, котик, девал то бриллиантовое кольцо, которое я тебе подарила? Неужели заложил подарок любящей тебя Дуси Петровой?»

№ 317–01 — «Я на тебя сердита... Клялся, что я для тебя единственная, а на самом деле тебя видели на Невском с полной брюнеткой. Не шути с огнем!»

№ 102–12 — «Ты — негодяй! Надеюсь, понимаешь».

№ 9–17 — «Мерзавец — и больше ничего!»

№ 177–02 — «Позвони, как только придешь, моя радость! А то явится муж, и нам не удастся уговориться о вечере. Любишь ли ты по-прежнему свою Надю?»

Жена скомкала листок и с отвращением бросила его мне в лицо.

— Что же ты стоишь? Чего же ты не звонишь своей Наде? — с дрожью в голосе спросила она.— Я понимаю теперь, почему ты с таким нетерпением ждал телефона. Позвони же ей — № 177–02, а то придет муж, и вам не удастся условиться о вечере. Подлец!

Я пожал плечами.

Если это была какая-нибудь шутка, то эти шутки не доставили мне радости, покоя и скромного веселья.

Я поднял бумажку, внимательно прочитал ее и подошел к телефону.

— Центральная, № 177–02? Спасибо. № 177–02?

Мужской голос ответил мне:

— Да, кто говорит?

— № 300–05. Позовите к телефону Надю.

— Ах, вы № 300–05. Я на нем ее однажды поймал. И вы ее называете Надей? Знайте, молодой человек, что при встрече я надаю вам пощечин... Я знаю, кто вы такой!

— Спасибо! Кланяйтесь от меня вашей Наде и скажите ей, что она сумасшедшая.

— Я ее и не виню, бедняжку. Подобные вам негодяи хоть кому вскружат голову. Ха-ха-ха! Профессиональные обольстители. Знайте, № 300–05, что я поколочу вас не позже завтрашнего дня.

Этот разговор не успокоил меня, не освежил моей воспаленной головы, а, наоборот, еще больше сбил меня с толку.

III

Обед прошел в тяжелом молчании.

Жена за супом плакала в салфетку, оросила слезами жаркое и сладкое, а дочь Китти не отрываясь смотрела в мои глаза, представляя их выжженными, и, когда жена отворачивалась, дружески шептала мне:

— Папа, так ты бросишь эту драную кошку — Бельскую? Смотри же! Брось ее!

Горничная, убирая тарелки, делала мне таинственные знаки, грозила в мою сторону пальцем и фыркала в соусник.

По ее лицу было видно, что она считает себя уже навеки связанной со мной ложью, тайной и преступлением.

Зазвонил телефон.

Я вскочил и помчался в кабинет.

— Кто звонит?

— Это № 300–05?

— Да, что нужно?

Послышался женский смех.

— Это говорю я, Дуся. Неужели у тебя уже нет подаренного мною кольца? Куда ты его девал?

— Кольца у меня нет,— отвечал я.— И не звони ты мне больше никогда, чтоб тебя дьявол забрал!

И повесил трубку.

После обеда, отверженный всей семьей, я угрюмо занимался в кабинете и несколько раз говорил по телефону.

Один раз мне сказали, что если я не дам на воспитание ребенка, то он будет подброшен под мои двери с соответствующей запиской, а потом кто-то подтвердил свое обещание выжечь мне глаза серной кислотой, если я не брошу «эту драную кошку» — Бельскую.

Я обещал ребенка усыновить, а Бельскую бросить раз и навсегда.

IV

На другой день утром к нам явился неизвестный молодой человек с бритым лицом и, отрекомендовавшись актером Радугиным, сказал мне:

— Если вам все равно, поменяемся номерами телефонов.

— А зачем? — удивился я.

— Видите ли, ваш номер 300–05 был раньше моим, и знакомые все уже к нему привыкли.

— Да, они уж очень к нему привыкли,— согласился я.

— И потому, так как мой новый номер мало кому известен, происходит путаница.

— Совершенно верно,— согласился я.— Происходит путаница. Надеюсь, с вами вчера ничего дурного не случилось? Потому что муж Веры Павловны не поехал ночью в Москву, как предполагал.

— Да? — обрадовался молодой человек.— Хорошо, что я вчера запутался с Клеманс и не попал к ней.

— А Клеманс-то собирается за Бельскую выжечь вам глаза,— сообщил я, подмигивая.

— Вы думаете? Хвастает. Никогда из-за нее не брошу Бельскую.

— Как хотите, а я обещал, что бросите. Потом тут вам ребенка вашего хотел подкинуть № 77–92. Я обещал усыновить.

— Вы думаете, он мой? — задумчиво спросил бритый господин.— Я уже, признаться, совершенно спутался: где мои — где не мои.

Его простодушный вид возмутил меня.

— А тут еще один какой-то муж Нади обещался вас поколотить палкой. Поколотил?

Он улыбнулся и добродушно махнул рукой.

— Ну уж и палка. Простая тросточка. Да и темно. Вчера. Вечером. Так как же, поменяемся номерами?

— Ладно. Сейчас скажу на станцию.

V

Я вызвал к нему в гостиную жену, а сам пошел к телефону.

Разговаривая, я слышал доносившиеся из гостиной голоса.

— Так вы артист? Я очень люблю театр.

— О, сударыня. Я это предчувствовал с первого взгляда. В ваших глазах есть что-то такое магнетическое. Почему вы не играете? Вы так интересны! Вы так прекрасны! В вас чувствуется что-то такое, что манит и сулит небывалое счастье, о чем можно грезить только в сне, которое... которое...

Послышался слабый протестующий голос жены, легкий шум, все это покрылось звуком поцелуя.

ИХНЕВМОНЫ

Редактор сказал мне:

— Сегодня открывается выставка картин неоноваторов, под маркой «Ихневмон». Отправляйтесь туда и напишите рецензию для нашей газеты.

Я покорно повернулся к дверям, а редактор крикнул мне вдогонку:

— Да! забыл сказать самое главное: постарайтесь похвалить этих ихневмонов... Неудобно, если газета плетется в хвосте новых течений и носит обидный облик отсталости и консерватизма.

Я приостановился.

— А если выставка скверная?

— Я вас потому и посылаю... именно вас,— подчеркнул редактор,— потому что вы человек добрый, с прекрасным, мягким и ровным характером... И найти в чем-либо хорошие стороны — для вас ничего не стоит. Не правда ли? Ступайте с Богом.

Когда я, раздевшись, вошел в первую выставочную комнату, то нерешительно поманил пальцем билетного контролера и спросил:

— А где же картины?

— Да вот они тут висят! — Ткнул он пальцем на стены. — Все тут.

— Вот эти? Эти — картины?

Стараясь не встретиться со мной взглядом, билетный контролер опустил голову и прошептал:

— Да.

По пустынным залам бродили два посетителя с испуганными, встревоженными лицами.

— Эт-то... З-забавно. Интер-ресно, — говорили они, пугливо косясь на стены. — Как тебе нравится вот это, например?

— Что именно?

— Да вот там висит... Такое, четырехугольное.

— Там их несколько. На какую ты показываешь? Что на ней нарисовано?

— Да это вот... такое, зеленое. Руки такие черные... вроде лошади.

— А! Это? Которое на мельницу похоже? Которое по каталогу называется «Абиссинская девушка»? Ну, что ж... Очень мило!

Один из них наклонился к уху другого и шепнул:

— А давай убежим!..

Я остался один.

Так как мне никто не мешал, я вынул записную книжку, сел на подоконник и стал писать рецензию, стараясь при этом использовать лучшие стороны своего характера и оправдать доверие нашего передового редактора.

— «Открылась выставка «Ихневмон», — писал я. — Нужно отдать справедливость — среди выставленных картин попадается целый ряд интересных удивительных вещей»...

«Обращает на себя внимание любопытная картина Стулова «Весенний листопад». Очень милы голубые квадратики, которыми покрыта нижняя половина картины... Художнику, очевидно, пришлось потратить много времени и труда, чтобы нарисовать такую уйму красивых голубых квадратиков... Приятное впечатление также производит верхняя часть картины, искусно прочерченная тремя толстыми черными

линиями... Прямо не верится, чтобы художник сделал их от руки! Очень смело задумано красное пятно сбоку картины. Удивляешься — как это художнику удалось сделать такое большое красное пятно».

«Целый ряд этюдов Булюбеева, находящихся на этой же выставке, показывает в художнике талантливого, трудолюбивого мастера. Все этюды раскрашены в приятные темные тона, и мы с удовольствием отмечаем, что нет ни одного этюда, который был бы одинакового цвета с другим... Все вещи Булюбеева покрыты такими чудесно нарисованными желтыми волнообразными линиями, что просто глаз не хочется отвести. Некоторые этюды носят удачные, очень гармоничные названия: «Крики тела», «Почему», «Который», «Дуют».

«Сильное впечатление производит трагическая картина Бурдиса «Легковой извозчик». Картина воспроизводит редкий момент в жизни легковых извозчиков, когда одного из них пьяные шутники вымазали в синюю краску, выкололи один глаз и укоротили ногу настолько, что несчастная жертва дикой шутки стоит у саней, совершенно покосившись набок... Когда же прекратятся, наконец, издевательства сытых, богатых самодуров-пассажиров над бедными затравленными извозчиками! Приятно отметить, что вышеназванная картина будит в зрителе хорошие гуманные чувства и вызывает отвращение к насилию над слабейшими»...

Написав все это, я перешел в следующую комнату.

Там висели такие странные, невиданные мною вещи, что, если бы они не были заключены в рамы, я бился бы об заклад, что на стенах развешены отслужившие свою службу приказчичьи передники из мясной лавки и географические карты еще не исследованных африканских озер...

Я сел на подоконник и задумался.

Мне вовсе не хотелось обижать авторов этих заключенных в рамы вещей, тем более что их коллег я уже расхвалил, с присущей мне чуткостью и тактом. Не хотелось мне и обойти их обидным молчанием.

После некоторого колебания я написал:

«Отрадное впечатление производят оригинальные произведения гг. Моавитова и Колыбянского... Все, что ни пишут эти два интересных художника, написано большей частью кармином по прекрасному серому полотну, что, конечно,

стоит недешево и лишний раз доказывает, что истинный художник не жалеет для искусства ничего».

«Помещение, в котором висят эти картины, теплое, светлое и превосходно вентилируется. Желаем этим лицам дальнейшего процветания на трудном поприще живописи!»

Просмотрев всю рецензию, я остался очень доволен ею. Всюду в ней сквозила деликатность и теплое отношение к несчастным, обиженным судьбою и Богом людям, нигде не проглядывали мои истинные чувства и искреннее мнение о картинах — все было мягко и осторожно.

Когда я уходил, билетный контролер с тоской посмотрел на меня и печально спросил:

— Уходите? Погуляли бы еще. Эх, господин! Если бы вы знали, как тут тяжело...

— Тяжело? — удивился я.— Почему?

— Нешто ж у нас нет совести, или что?! Нешто ж мы можем в глаза смотреть тем, кто сюда приходит? Срамота, да и только... Обрываешь у человека билет, а сам думаешь: и как же ты будешь сейчас меня костить, мил-человек?! И не виноват я, и сам я лицо подневольное, а все на сердце не хорошо... Нешто ж мы не понимаем сами — картина это, или што? Обратите ваше внимание, господин... Картина это? Картина?! Разве такое на стенку вешается? Чтоб ты лопнула, проклятая!..

Огорченный контролер размахнулся и ударил ладонью по картине. Она затрещала, покачнулась и с глухим стуком упала на пол.

— А, чтоб вы все попадали, анафемы! Только ладонь из-за тебя краской измазал.

— Вы не так ее вешаете,— сказал я, следя за билетеровыми попытками снова повесить картину.— Раньше этот розовый кружочек был вверху, а теперь он внизу.

Билетер махнул рукой.

— А не все ли равно! Мы их все-то развешивали так, как Бог на душу положит... Багетщик тут у меня был знакомый — багеты им делал — так приходил, плакался: что я, говорит, с рамами сделаю? где кольца прилажу, ежели мне неизвестно, где верх, где низ? Уж добрые люди нашлись, присоветовали: делай, говорят, кольца с четырех боков — после разберут!.. Гм... Да где уж тут разобрать.

Я вздохнул.

— До свиданья, голубчик.

— Прощайте, господин. Не поминайте лихом — нету здесь нашей вины ни в чем!..

— Вы серьезно писали эту рецензию? — спросил меня редактор, прочтя исписанные листки.

— Конечно. Все, что я мог написать.

— Какой вздор! Разве так можно трактовать произведения искусства? Будто вы о крашеных полах пишете или о новом рисуночке ситца в мануфактурном магазине... Разве можно, говоря о картине, указать на какой-то кармин и потом сразу начать расхваливать вентиляцию и отопление той комнаты, где висит картина... Разве можно бессмысленно, бесцельно восхищаться какими-то голубыми квадратиками, не указывая — что это за квадратики? Для какой они цели? Нельзя так, голубчик!.. Придется послать кого-нибудь другого.

При нашем разговоре с редактором присутствовал неизвестный молодой человек, с цилиндром на коленях и громадной хризантемой в петлице сюртука. Кажется, он принес стихи.

— Это по поводу выставки «Ихневмона»? — спросил он.— Это трудно — написать о выставке «Ихневмона». Я могу написать о выставке «Ихневмона».

— Пожалуйста! — криво улыбнулся я.— Поезжайте. Вот вам редакционный билет.

— Да мне и не нужно никакого билета. Я тут у вас сейчас и напишу. Дайте-ка мне вашу рецензию... Она, правда, никуда не годится, но в ней есть одно высокое качество — перечислено несколько имен. Это все, что мне нужно. Благодарю вас.

Он сел за стол и стал писать быстро-быстро.

— Ну вот, готово. Слушайте: «Выставка Ихневмон». В ироническом городе давно уже молятся только старушечья привычка да художественное суеверие, которое жмурится за версту от пропасти. Стулов, со свойственной ему дерзостью большого таланта, подошел к головокружительной бездне возможностей и заглянул в нее. Что такое его хитро-манерный, ускользающе-дающийся, жуткий своей примитивностью «Весенний листопад»? Стулов ушел от Гогена, но его не манит и Зулоага. Ему больше по сердцу мягкий серебристый Манэ, но он не служит

и ему литургии. Стулов одиноко говорит свое тихое, полузабытое слово: «Жизнь».

«Заинтересовывает Булюбеев... Он всегда берет высокую ноту, всегда остро подходит к заданию, но в этой остроте есть своя бархатистость, и краски его, погашенные размеренностью общего темпа, становятся приемлемыми и милыми. В Булюбееве не чувствуется тех изысканных и несколько тревожных ассонансов, к которым в последнее время нередко прибегают нервные порывистые Моавитов и Колыбянский. Моавитов, правда, еще притаился, еще выжидает, но Колыбянский уже хочет развернуться, он уже пугает возможностью возрождения культа Биллитис, в ее первоначальном цветении».

«Примитивный по синему пятну «Легковой извозчик» тем не менее показывает в Бурдисе творца, проникающего в городскую околдованность и шепчущего ей свою напевную, одному ему известную, прозрачную, без намеков, Сказку»...

Молодой человек прочел вслух свою рецензию и скромно сказал:

— Видите... Здесь ничего нет особенного. Нужно только уметь.

Редактор, уткнувшись в бумагу, писал для молодого господина записку на аванс.

Я попрощался с ними обоими и устало сказал:

— От Гогена мы ушли и к Зулоаге не пристали... Прощайте! Кланяйтесь от меня притаившемуся Моавитову, пожмите руку Бурдису и поцелуйте легкового извозчика, шепчущего прозрачную сказку городской околдованности. И передайте Булюбееву, что если он будет менее остро подходить к бархатистому заданию — для него и для его престарелых родителей будет лучше.

Редакатор вздохнул. Молодой господин вздохнул, молча общипывая хризантему на своей узкой провалившейся груди...

ЖЕНА

I

Когда долго живешь с человеком, то не замечаешь главного и существенного в его отношении к тебе. Заметны только детали, из которых состоит это существенное.

Так, нельзя рассматривать величественный храм, касаясь кончиком носа одного из его кирпичей. В таком положении чрезвычайно затруднительно схватить общее этого храма. В лучшем случае можно увидеть, кроме этого кирпича, еще пару других соседних — и только.

Поэтому мне стоило многих трудов и лет кропотливого наблюдения, чтобы вынести общее заключение, что жена очень меня любит.

С деталями ее отношения ко мне приходилось сталкиваться и раньше, но я все никак не мог собрать их в одно стройное целое.

А некоторые детали, надо сознаться, были глубоко трогательны.

Однажды жена лежала на диване и читала книгу, а я возился в это время с крахмальной сорочкой, ворот которой с ослиным упрямством отказался сойтись на моей шее.

«Сойдись, проклятое белье,— бормотал я просящим голосом.— Ну, что тебе стоит сойтись, чтоб ты пропало!»

Сорочка, очевидно, не привыкла к брани и попрекам, потому что обиделась, сдавила мое горло, а когда я, задыхаясь, дернул ворот, петля для запонки лопнула.

«Чтоб ты лопнула! — разозлился я.— Впрочем, ты уже сделала это. Теперь, чтобы досадить тебе, придется снова зашить петлю».

Я подошел к жене.

— Катя! Зашей мне эту петлю.

Жена, не поднимая от книги головы, ласково пробормотала:

— Нет, я этого не сделаю.

— Как не сделаешь?

— Да так. Зашей сам.

— Милая! Но ведь я не могу, а ты можешь.

— Да,— сказала она грустно.— Вот именно, поэтому ты и должен сам сделать это. Конечно, я могла бы зашить эту петлю. Но ведь я не долговечна! Вдруг я умру, ты останешься одинок — и что же! Ничего не умеющий, избалованный, беспомощный перед какой-то лопнувшей петлей — будешь ты плакать и говорить: «Зачем, зачем я не привыкал раньше к этому?..» Вот почему я и хочу, чтобы ты сам делал это.

Я залился слезами и упал перед женой на колени.

— О, как ты добра! Ты даже заглядываешь за пределы того ужасного, неслыханного случая, когда ты покинешь этот мир! Чем отблагодарю я тебя за эту любовь и заботливость?!

Жена вздохнула, снова взялась за книгу, а я сел в уголку и, достав иголку, стал тихонько зашивать сорочку. К вечеру все было исправлено.

Не забуду я и другого случая, который еще с большей ясностью характеризует это кроткое, любящее, до смешного заботливое существо.

Я получил от одного из своих друзей подарок ко дню рождения: бриллиантовую булавку для галстука.

Когда я показал булавку жене, она испуганно выхватила ее из моих рук и воскликнула:

— Нет! Ты не будешь ее носить, ни за что не будешь!

Я побледнел.

— Господи! Что случилось?! Почему я не буду ее носить?

— Нет, нет! Ни за что. Твоей жизни будет грозить вечная опасность! Эта булавка на твоей груди — слишком большой соблазн для уличных разбойников. Они подсмотрят, подстерегут тебя вечером на улице и отнимут булавку, а тебя убьют.

— А что же мне... с ней делать? — прошептал я обескураженно.

— Я уже придумала! — радостно и мелодично засмеялась жена.— Я отдам ее переделать в брошку. Это к моему синему платью так пойдет!

Я задрожал от ужаса.

— Милая! Но ведь... они могут убить тебя!

Лицо ее засияло решительностью.

— Пусть! Лишь бы ты был жив, мой единственный, мой любимый. А я — что уж... Мое здоровье и так слабое... я кашляю...

Я залился слезами и бросился к ней в объятия. «Не прошли еще времена христианских мучениц»,— подумал я.

Я видел ее заботливость о себе повсюду.

Она сквозила во всякой мелочи. Всякий пустяк был пронизан трогательной памятью обо мне, во всем и везде первое было — ее мысль о том, чтобы доставить мне какое-нибудь невинное удовольствие и радость.

Однажды я зашел к ней в спальню, и первое, что бросилось мне в глаза,— был мужской цилиндр.

— Смотри-ка,— удивился я.— Чей это цилиндр?

Она протянула мне обе руки.

— Твой это цилиндр, мой милый!

— Что ты говоришь! Я же всегда ношу мягкие шляпы...

— А теперь — я хотела сделать тебе сюрприз и купила цилиндр. Ты ведь будешь его носить как подарок маленькой жены, не правда ли?

— Спасибо, милая... Только постой! Ведь он, кажется, подержанный! Ну конечно же, подержанный.

Она положила голову на мое плечо и застенчиво прошептала:

— Прости меня... Но мне, с одной стороны, хотелось сделать тебе подарок, а с другой стороны, новые цилиндры так дороги! Я и купила по случаю.

Я взглянул на подкладку.

— Почему здесь инициалы Б.Я., когда мои инициалы — А.А.?

— Неужели ты не догадался?.. Это я поставила инициалы двух слов: «люблю тебя».

Я сжал ее в своих объятиях и залился слезами.

II

— Нет, ты не будешь пить это вино!

— Почему же, дорогая Катя? Один стаканчик...

— Ни за что... Тебе это вредно. Вино сокращает жизнь. А я вовсе не хочу остаться одинокой вдовой на белом свете. Пересядь на это место!

— Зачем?

— Там окно открыто. Тебя может продуть.

— О, я считаю сквозняк предрассудком!

— Не говори так... Я смертельно боюсь за тебя.

— Спасибо, мое счастье. Передай-ка мне еще кусочек пирога...

— Ни-ни... И не воображай. Мучное ведет к ожирению, к тучности, а это страшно отражается на здоровье. Что я буду без тебя делать?

Я вынимал папиросу.

— Брось папиросу! Сейчас же брось. Разве ты забыл, что у тебя легкие плохие?

— Да одна папир...

— Ни крошки! Ты куда? Гулять? Нет, милостивый государь! Извольте надевать осеннее пальто. В летнем и не думайте.

Я заливался слезами и осыпал ее руки поцелуями.

— Ты — Монблан доброты!

Она застенчиво смеялась.

— Глупенький... Уж и Монблан... Вечно преувеличит!

Часто задавал я себе вопрос: «Чем и когда я отблагодарю ее? Чем докажу я, что в моей груди помещается сердце, действительно понимающее толк в доброте и человечности и способное откликнуться на все светлое, хорошее».

Однажды, во время прогулки, я подумал:

«Отчего у нас никогда не случится пожар или не нападут разбойники? Пусть бы она увидела, как я, спасший ее, сам, с улыбкой любви на устах, сгорел бы дотла или с перерезанным горлом корчился бы у ее ног, шепча дорогое имя».

Но другая мысль, здравая и практическая, налетела на свою пылкую безрассудную подругу, смяла ее под себя, повергла в прах и, победив, разлилась по утомленному непосильной работой мозгу.

«Ты дурак и эгоист,— сказала мне победительница.— Кому нужно твое перерезанное горло и языки пламени. Ты умрешь, и хорошо... Но после тебя останется бедная, бесприютная вдова, нуждающаяся, обремененная копеечными заботами...»

— Нашел! — громко сказал я сам себе.— Я застрахую свою жизнь в ее пользу!

И в тот же день все было сделано. Страховое общество выдало мне полис, который я, с радостным, восторженным лицом, преподнес жене...

Через три дня я убедился, что полис этот и вся моя жизнь — жалкая песчинка по сравнению с тем океаном любви и заботливости, в котором я начал плавать.

Раньше ее отношение и хлопоты о моих удовольствиях были мне по пояс, потом они повысились и достигали груди, а теперь это был сплошной бушующий океан доброты, иногда с головой покрывавший меня своими теплыми волнами, иногда исступленный. Это была какая-то вакханалия забот-

ливости, бурный и мощный взрыв судорожного стремления украсить мою жизнь, сделать ее сплошным праздником.

— Радость моя! — ласково говорила она, смотря мне в глаза.— Ну, чего ты хочешь? Скажи... Может быть, вина хочешь?

— Да я уже пил сегодня,— нерешительно возражал я.

— Ты мало выпил... Что значит какие-то полторы бутылки? Если тебе это нравится — нелепо отказываться... Да, совсем забыла,— ведь я приготовила тебе сюрприз: купила ящик сигар — крепких-прекрепких!..

Я чувствую себя в раю.

Я объедаюсь тяжелыми пирогами, часами просиживаю у открытых окон и сквозной ветер ласково обдувает меня... Малейшая моя привычка и желание раздувается в целую гору.

Я люблю теплую ванну — мне готовят такую, что я из нее выскакиваю красный, как индеец. Я раньше всегда отказывался от теплого пальто, предпочитая гулять в осеннем. Теперь со мной не только не спорят, но даже иногда снабжают летним.

— Какова нынче погода? — спрашиваю я у жены.

— Тепло, милый. Если хочешь — можно без пальто.

— Спасибо. А что это такое — беленькое с неба падает? Неужели снег?

— Ну, уж и снег! Он совсем теплый.

Однажды я выпил стакан вина и закашлялся.

— Грудь болит,— сказал я.

— Попробуй покурить сигару,— ласково гладя меня по плечу, сказала жена.— Может, пройдет.

Я залился слезами благодарности и бросился в ее объятия.

Как тепло на любящей груди...

Женитесь, господа, женитесь.

АЛЬБОМ

Они лежат на столе, покрытом плюшевой скатертью, в каждой гостиной — пухлые с золоченым обрезом и металлическими застежками, битком набитые бородатыми, безбородыми, молодыми и старыми лицами.

Мнение, что альбом фотографических карточек — семейная реликвия, сокровище воспоминаний и дружбы,— совершенно ошибочно.

Альбомы выдуманы для удобства хозяев дома. Когда к ним является в гости какой-нибудь унылый, обворованный жизнью дурак, когда этот дурак садится боком в кресло и спрашивает, внимательно рассматривая узоры на ковре:

— Ну, что новенького?

Тогда единственный выход для хозяев — придвинуть ему альбом и сказать:

— Вот альбом. Не желаете ли посмотреть?

И дальше все идет как по маслу.

— Кто этот старик? — спрашивает гость.

— Этот? Один наш знакомый. Он теперь живет в Москве.

— Какая странная борода. А это кто?

— Это наш Ваня, когда был маленький.

— Неужели?! Вот бы не сказал! Ни малейшего сходства.

— Да... Ему тогда было семь месяцев, а теперь двадцать девять лет.

— Гм... Как вырос! А это?

— Подруга жены. Она уже умерла. В Саратове.

— Как фамилия?

— Павлова.

— Павлова? У нее не было брата в Петербурге? В коммерческом банке.

— Не было.

— Я знал одного Павлова в Петербурге. А это кто, военный?

— Черножученко. Вы его не знаете. На даче в прошлом году познакомились.

— В этом году на даче нехорошо. Дожди.

В этом месте уже можно отложить альбом в сторону: беседа наладилась.

Для застенчивого гостя альбом фотографических карточек — спасательный круг, за который лихорадочно хватается бедный гость и потом долго и цепко держится за него.

Предыдущий гость, хотя и дурак, обиженный судьбой, но он человек не застенчивый, и альбом ему нужен только для разбега. Разбежавшись с альбомом в руках, он отрывается от земли на каком-нибудь «дождливом лете» и потом уже плавно летит дальше, выпустив из рук альбом-балласт.

Застенчивому человеку без альбома — гибель.

Мне пришлось быть в обществе одного юноши, который, придя в гости, наступил на собачку, попытался поцеловать хозяину руку и объяснил все это адской жарой (дело было в ноябре). Он чувствовал, что партия его проиграна, но случайно взгляд его упал на стол с толстым альбомом, и бедняга чуть не заплакал от радости.

Он судорожно вцепился в альбом, раскрыл его и, почуяв под ногами землю, спросил:

— А это кто?

— Это первый лист. Тут карточки нет... Переверните.

— А это кто?

— Это моя покойная тетя, Глафира Николаевна.

— Ну?! А это?

Он перелистал альбом до конца и — беспомощно и бесцельно повис в воздухе.

— Спасите! — хотел крикнуть он. — Утопаю!

Но вместо этого снова положил альбом на колени и спросил:

— Отчего же она умерла?

— Кто?.. Тетя? От сердечных припадков.

«Почему ты, подлец, — подумал молодой гость, — отвечаешь так односложно? Рассказал бы ты мне подробно, как болела тетка и кто ее пользовал... Вот бы времячко-то и прошло».

— От припадков? Да уж, знаете, наши доктора...

— А это кто?

— Лизин крестный отец. Вы уже спрашивали раз.

Он просмотрел альбом до конца, отложил его и взялся за пепельницу.

— Странные теперь пепельницы делают...

— Да.

Взоры его обратились снова на альбом. Он протянул к нему руку, но — альбома не было. Альбом исчез. Хозяин положил его на этажерку.

— А где альбом? — спросил гость. — Я хотел спросить вас насчет одной фотографии. Там еще две барышни сняты.

Нашли альбом, отыскали барышень. Молодой гость, пользуясь случаем, еще раз перелистал альбом, «чтобы составить общее впечатление».

Присутствуя при этом, я носился в вихре веселья и чувствовал себя прекрасно. И вздумалось мне подшутить над гостем. Когда он зазевался, я стащил со стола альбом и сунул его под диван.

Гость привычным жестом протянул руку за альбомом и, не найдя его, чуть не крикнул:

— Ограбили!

Искоса оглядел этажерку, ковер под столом и, побледнев, поднялся с места:

— Ну... мне пора.

II

С некоторых пор у меня стали бывать гости. Ясно было, что без альбома мне не обойтись.

К сожалению, человек я не домовитый, родственники почему-то карточек мне не дарили, а если кто-нибудь и присылал свой портрет с трогательной надписью, то портрет этот попадал в руки горничной, тщеславной, избалованной женщины.

Гости стали приходить ко мне все чаще и чаще. Без альбома дело не клеилось.

Я перерыл все ящики своего письменного стола. Были обнаружены три карточки: «самая толстая девочка в мире Алиса 9 пуд. 18 фун.», «вид гавани в Ревеле» и «знаменитый шимпанзе Франц катается на велосипеде».

Даже при самом снисходительном отношении к этим трем карточкам, они не могли быть признаны за мою «семейную реликвию».

Оставалось единственное средство: пошарить на стороне.

И мне повезло!.. После двух дней прилежных поисков я обнаружил на полке у одного торговца разной рухлядью громадный кожаный альбом, битком набитый самыми разнообразными карточками — как раз то, что мне было нужно.

В альбоме было до двухсот портретов — всех моих будущих родных, друзей и знакомых! Эта вещь могла занять моих гостей часа на два, что давало мне возможность свободно вздохнуть, и я поэтому радовался, как ребенок.

Дома я внимательно пересмотрел альбом, и — никому в мире до меня не посчастливилось сделать этого — сам выбрал себе отца, мать, старого дядю и двух красивых братьев.

Любимых девушек было три, и я долго колебался между ними, пока не отдал сердце первой по порядку, брюнетке с красивыми чувственными глазами.

В альбоме был один недостаток: случайно не попалось ни одного крошечного ребенка, который бы сумел быть мной в детстве. А дети 13–14 лет, к сожалению, совершенно не были на меня похожи.

Пришлось ограничиться тем, что сделал все приятные симпатичные лица родственниками, а безобразные, некрасивые, отталкивающие (таких – увы – было немало) – простыми знакомыми...

В тот же вечер ко мне пришли гости, народ все тоскливый и молчаливый.

Меня, впрочем, это не смутило.

– Не желаете ли взглянуть на семейный альбомчик? – предложил я. – Очень интересно.

Все оживились, обрадовались, ухватились за альбом.

– Кто это?

– Это моя бедная любимая матушка... Она умерла от сердечных припадков... Земля ей пухом!

Гости притихли и, благоговейно покачав головами, перевернули страницу.

– А это кто?

– Мой папа. Мы с ним большие друзья и частенько переписываемся. Это брат. Он теперь имеет хорошее дело и зарабатывает большие деньги. Не правда ли, красивый? Это просто знакомые. А вот, господа, эта девушка... Как она вам нравится?

– Хорошенькая.

– Вы говорите – хорошенькая... Красавица! Моя первая любовь.

– Да? А она вас любила?

– Она?! Я для нее был солнцем, воздухом, без которого она не могла дышать... Эту карточку она подарила мне, когда уезжала за границу. Когда она делала на карточке надпись, то так плакала, что с ней сделалась истерика!.. Такой любви я больше не видел. И... ее я больше не видел...

Лицо мое было печально... На ресницах повисли две непрошеные предательские слезинки.

– Давно это было? – тихо спросил один гость, с тайным сочувствием пожимая мне руку.

— Давно ли? Семь лет тому назад... Но мне кажется, что прошла вечность.

— И с тех пор, вы говорите, ее не видели?

— Не видел. Куда она исчезла — неизвестно. Это странная, загадочная история.

— Что же она вам написала на обороте карточки?

— Не помню,— осторожно отвечал я.— Это было так давно...

— Разрешите взглянуть? Я думаю, раз девушка исчезла, мы не делаем ничего дурного.

— Не помню — на этой ли карточке она сделала надпись или на другой...

— Все-таки разрешите взглянуть,— попросил один господин с романтической натурой, сантиментально улыбаясь,— первый любовный лепет невинной девической души — что прекраснее этого?

— Что прекраснее этого? — как эхо, повторил другой гость и вынул карточку из альбома.

Он обернул карточку другой стороной, всмотрелся в нее и вдруг вскрикнул:

— Что за черт?

— Не смейте касаться того, что для меня «святая святых»,— испуганно закричал я.— Зачем вы вынимаете карточку?

— Странно...— не обращая на меня внимания, прошептал гость.— Очень странно.

— Что такое?!!

— Вот что здесь написано: «Пелагея Косых, по прозвищу Татарка. Родилась в 1880 году. В 1898 году за воровство присуждена к месяцу тюрьмы. В 1899 году занялась хипесничеством. Рост средний, глаза синие, за правым ухом — родинка».

— Что такое — хипесничество? — спросила какая-то гостья.

— Хипесничество? — промямлил я.— Это такое... вроде телефонистки.

— Нет,— сказал один старик.— Это заманивание мужчины женщиной в свою квартиру и ограбление его с помощью своего любовника-сутенера.

— Хорошая первая любовь! — иронически заметила дама.

— Это недоразумение,— засмеялся я.— Позвольте карточку... Ну, конечно! Вы не ту вынули. Нужно эту — видите, полная блондинка. Первая моя благоуханная любовь.

Благоуханную любовь извлекли из альбома, и сентиментальный господин прочел:

— «Катерина Арсеньева (прозв. Беленькая) род. в 1882 году. 1899–1903 занималась проституц., с 1903 г. — магазинная воровка (мануфактурн. товар)».

III

Гости пожимали плечами, а некоторые (самые нахальные) осмелились даже хихикать.

— Интересно,— сказал старик,— что написано на обороте карточки вашего отца?

— Воображаю,— отозвалась дама.

— Не смейте оскорблять этого святого человека! — крикнул я.— Он выше всяких подозрений. Это светлая, сияющая добротой и любовью душа!

Я вынул отца из альбома и благоговейно поднес карточку к губам. Целуя ее в припадке сыновней любви, я потихоньку взглянул на обратную сторону и прочел:

— «Иван Долбин. Род. 1862 г. 1880 — мелкие кражи, 1882 — кража со взломом (1 г. тюрьмы), 1885 — убийство семьи Петровых — каторга (12 л.), 1890 — побег. Разыскивается. Особые приметы: густой голос, на правую ногу прихрамывает. Указательный палец левой руки искалечен в драке».

За столом, где лежал альбом, послышался смех и потом восклицания — насмешливые, негодующие.

Я отшвырнул портрет отца и бросился к альбому... Несколько карточек уже было вынуто, и я, смущенный, растерянный, без труда узнал, что моя бедная матушка сидела в тюрьме за вытравление плода у нескольких девушек, а любимые братья, эти изящные красавцы, судились в 1901 году за шулерство и подделку банковских переводов. Дядя был самый нравственный член нашей семьи: он занимался только поджогами с целью получения премии, да и то поджигал собственные дома. Он мог бы быть нашей семейной гордостью!

— Эй, вы! Хозяин! — крикнул мне гость, старик. — Говорите правду: где вы взяли альбом? Я утверждаю, что этот старый альбом принадлежал когда-то сыскному отделению по розыску преступников.

Я подбоченился и сказал с грубым смехом:

— Да-с! Купил я его сегодня за 2 рубля у букиниста. Купил для вас же, для вашего развлечения, проклятые вы, нудные человечишки, глупые мучные черви, таскающиеся по знакомым, вместо того чтобы сидеть дома и делать какую-нибудь работу. Для вас я купил этот альбом: нате, ешьте, рассматривайте эти глупые портреты, если вы не можете связно выражать человеческие мысли и поддерживать умный разговор. Ты там чего хихикаешь, старая развалина?! Тебе смешно, что на обороте карточек моих родителей, родственников и друзей написано: вор, шулер, проститутка, поджигатель?! Да, написано! Но ведь это, уверяю вас, честнее и откровеннее. Я утверждаю, что у каждого из вас есть такой же альбом, с карточками таких же точно лиц, да только та разница, что на обороте карточек не изложены их нравственные качества и поступки. Мой альбом — честный откровенный альбом, а ваши — это тайное сборище тайных преступников, развратников и распутных женщин... Пошли вон!

Оттого ли, что было уже поздно, или оттого, что альбом был просмотрен и впереди предстояла скука, — но гости после моих слов немедленно разошлись.

Я остался один, открыл форточки, напустил свежего воздуха и стал дышать. Было весело и уютно.

Если бы у моего альбома выросла рука — я пожал бы ее. Такой это был хороший, пухлый, симпатичный альбом.

ДВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГОСПОДИНА ВОПЯГИНА

— Господин Вопягин! Вы обвиняетесь в том, что 17 июня сего года, спрятавшись в кустах, подсматривали за купающимися женщинами... Признаете себя виновным?

Господин Вопягин усмехнулся чуть заметно в свои великолепные, пушистые усы и, сделав откровенное, простодушное лицо, сказал со вздохом:

— Что ж делать... признаю! Но только у меня есть смягчающие вину обстоятельства...

— Ага... Так-с. Расскажите, как было дело?

— 17 июня я вышел из дому с ружьем рано утром и, бесплодно прошатавшись до самого обеда, вышел к реке. Чувствуя усталость, я выбрал теневое местечко, сел, вынул из сумки ветчину и коньяк и стал закусывать... Нечаянно оборачиваюсь лицом к воде — глядь, а там, на другом берегу, три каких-то женщины купаются. От нечего делать (завтракая в то же время — заметьте это, г. судья!), я стал смотреть на них.

— То, что вы в то же время завтракали, не искупает вашей вины!.. А скажите... эти женщины были, по крайней мере, в купальных костюмах?

— Одна. А две так. Я, собственно, господин судья, смотрел на одну — именно на ту, что была в костюме. Может быть, это и смягчит мою вину. Но она была так прелестна, что от нее нельзя было оторвать глаз...

Господин Вопягин оживился, зажестикулировал.

— Представьте себе: молодая женщина лет двадцати четырех, блондинка с белой, как молоко, кожей, высокая, с изумительной талией, несмотря на то что ведь она была без корсета!.. Купальный костюм очень рельефно подчеркивал ее гибкий стан, мягкую округлость бедер и, своим темным цветом, еще лучше выделял белизну прекрасных полных ножек, с розовыми, как лепестки розы, коленями и восхитительные ямоч...

Судья закашлялся и смущенно возразил:

— Что это вы такое рассказываете... мне, право, странно...

Лицо господина Вопягина сияло одушевлением.

— Руки у нее были круглые, гибкие — настоящие две белоснежных змеи, а грудь, стесненную материей купального костюма, ну... грудь эту некоторые нашли бы, может быть, несколько большей, чем требуется изяществом женщины, но, уверяю вас, она была такой прекрасной, безукоризненной формы...

Судья слушал, полузакрыв глаза, потом очнулся, сделал нетерпеливое движение головой, нахмурился и сказал:

— Однако, там ведь были дамы и... без костюмов?

— Две, г. судья! Одна смуглая брюнетка, небольшая, худенькая, хотя и стройная, но — не то! Решительно, не то... А другая — прехорошенькая девушка лет восемнадцати...

— Ага! — сурово сказал судья, наклоняясь вперед. — Вот видите! Что вы скажете нам о ней?.. Из чего вы заключили, что она девушка и именно указанного возраста?

— Юные формы ее, г. судья, еще не достигли полного развития. Грудь ее была девственно-мала, бедра не так широки, как у блондинки, руки худощавы, а смех, когда она засмеялась, звучал так невинно, молодо и безгрешно...

В камере послышалось хихиканье публики.

— Замолчите, г. Вопягин! — закричал судья.— Что вы мне такое рассказываете! Судье вовсе не нужно знать этого... Впрочем, ваше откровенное сознание и непреднамеренность преступления спасают вас от заслуженного штрафа. Ступайте!

Вопягин повернулся и пошел к дверям.

— Еще один вопрос,— остановил его судья, что-то записывая.— Где находится это... место?

— В двух верстах от Сутугинских дач, у рощи. Вы перейдете мост, г. судья, пройдете мимо поваленного дерева, от которого идет маленькая тропинка к берегу, а на берегу высокие, удобные кусты...

— Почему — удобные? — нервно сказал судья.— Что значит — удобные?

Вопягин подмигнул судье, вежливо раскланялся и, элегантно раскачиваясь на ходу, исчез.

ШУТКА

Василиса Нестеренкова занимала скромное, чуждое светскости и блеска общественное положение — она торговала семечками и апельсинами. Поэтому все другие занятия и должности, которые возвышались над уровнем ее коммерческих операций, казались ей уделом людей исключительных, отмеченных Богом, и на этих людей Василиса смотрела с явным почтением и тайным страхом.

Жоржа Зяблова, парикмахерского подмастерья, который изредка покупал у нее апельсины, она считала человеком недюжинным и пареньком «с продувной головой», а на свою дочь, сумевшую без посторонней помощи выдвинуться и стать в житейской иерархии на недосягаемую головокружительную высоту,— она молилась.

Дочь ее занимала место кассирши в Москве в мануфактурном магазине купца Хлапова, изредка писала матери

письма, которых та не могла читать, и присылала деньги, которых та не решалась тратить. Потому что была она неграмотна и мечтала о приданом для своей дочери.

— Жоржик...— заискивающе говорила госпожа Нестеренкова, кутаясь в дырявый платок,— так вы ж мне напишете? А? А?

Парикмахерский подмастерье закатывал глаза, хмурил брови, шевелил толстыми пальцами и в задумчивости насвистывал что-то длинное.

— Да... Напиши! Вы думаете, это легко писать? Я четыре года учился, пока научился. А теперь так насобачился, что могу с маху написать письмо. Это тоже нужно знать, где какое слово поставить, где тире.

— Тире? — бессмысленно прищурилась госпожа Нестеренкова.— Да зачем оно?

— Как, зачем? Молчали бы лучше, когда не знаете.

Он задумался.

— Фразы тоже. Разные. Все это знать нужно. Ну-ка, попробуй ты, матушка, написать! Воображаю!..

— И как это вам, Георгий Кириллыч, все это ниспослано...— с явной грубой лестью прошептала семечница.— И откуда что берется?! И как же это у человека должны шарики работать, чтобы, не пито, не едено, цельное письмо накострячить!

Жорж неожиданно обиделся на сказанное семечницей вульгарное слово.

— Что? Накострячить? Ну, и кострячь сама письма, если тебе надо! Тоже, скажите, пожалуйста... «Накострячить»!..

Он повернулся спиной и хотел уходить, но семечница схватила его за руку и удвоила порцию грубой лести и подмазыванья:

— Господи! Да куда ж вы?.. Такой прекрасный, умный господин и вдруг — уходит. Такой, можно сказать, красавчик, за которым девки помирают, и вдруг, это самое... Вчера еще хозяин ваш лимонад покупал у меня, разговаривал: много, говорит, у меня этого народу, много дармоедов, только, говорит, Зяблов, Георгий Кириллыч, распроединственный золотой человек.

— Да ты врешь.

— И с чего это с такого я бы соврала? Ни на ноготь не прибавила, вот верное слово!

И соврала старуха. Правда, парикмахер покупал у старухи лимонад, правда, разговаривал о Зяблове, но, главным образом, в таком тоне:

— Дня не дождусь, когда этот паршивец уберется. Пьяница, лгун и чуть ли не на руку нечист!

Но — Жорж был грамотен, являл себя знатоком тире, фраз и междометий, и находившаяся под гипнозом всего этого старуха несла сплошную околесину.

— Умру, говорит, кому дело передать? «Да кому ж, — говорю я, — и передать, как не Жоржику?» Посмотрел на меня: «ему и передам!»

— Да ты врешь, старуха! — восклицал Жорж, смеясь счастливым смехом, будто бы кто-то тихонько щекотал его. — Так и сказал?

— Так. Ей-Богу, так!

Неожиданно щепетильному Жоржу показалось, что старуха фамильярничает с ним.

Он заложил руки в карманы брюк, повернулся к собеседнице вполоборота и холодно сказал:

— В сущности говоря, что вам угодно?

— Жоржик! Красавец! — заегозила старуха. — Так я же это самое и прошу!

— Что — это самое? Выражайтесь яснее!

— Да письмо ж.

— Что — письмо?

— Да написать. Я ж неграмотная, верное слово!

— Кому письмо?

— Да дочке же моей! Что в Москве-то. Дочка. Так вот ей. Деньги она мне еще намедни прислала.

Жорж сосредоточенно нахмурился.

— А отчего ж ты неграмотная? А?

— Да где ж мне было... — развела руками госпожа Нестеренкова. — Сначала была все маленькая, да маленькая, — рано было... А потом вдруг — большая! Глядишь — и поздно.

— То-то и оно, — недовольно проворчал Жорж. — Как детей рожать, так вам грамоты не нужно, а как письма им писать — занятых людей беспокоите...

— Я ж не даром! — всплеснула руками встревоженная старуха. — Заплачу, как полагается.

Жорж посвистал.

— Гм... написать разве?

Старуха, молча кутаясь в платок, стояла перед Жоржем и со страхом следила за игрой его лица, на котором ясно было написано:

— Захочу — напишу, захочу — и не напишу.

— Ладно,— сказал Жорж.— Напишу.

Семечница вздрогнула от радости.

Жорж сидел в каморке у старухи.

— Вот вам,— говорила она, носясь из угла в угол, — яичница, колбаса, рыба жареная. Водочки выкушайте.

— Выкушайте,— лениво передразнил благодушно настроенный Жорж.— Я не пью водки с красной головкой. В ней сивуха.

— Можно с белой головкой,— залебезила семечница, пряча за уши выбивающиеся пряди волос.— Сейчас пошлю девчонку.

— Я не хочу колбасы без чесноку! Я люблю с чесноком!

— Да она ж и есть, Георгий Кириллыч, с чесноком.

— Да, знаем мы... с чесноком,— проворчал Жорж. — Письма им еще пиши! Целый день работаешь, как собака: то каких-то дураков брей, то какие-то письма пиши... Невесело это, знаете.

Говоря эти ленивые слова, Жорж в то же время лихорадочно пил водку, ожесточенно набрасывался на яичницу и рыбу и, недовольно крутя головой, обнюхивал белый хлеб.

— Что это он, как будто, черствый... А?..

Закончив насыщение, Жорж съел еще пару апельсинов, изнеженным движением откинулся на спинку убогого дивана и зевнул.

— Ты... тово, Василиса... Я бы вздремнул немного перед письмом... А ты бы постерегла, чтоб никакой черт меня не бесп...

Глаза его сомкнулись.

Старуха вздохнула, растерянно посмотрела на гостя, но сейчас же согласилась, захлопотала...

— Ну, что ж... отдохните. Благо, сегодня праздник, в паликмахтерскую не иттить. Позвольте подушечку вам...

Жорж с усилием поднял веки и возмущенно прошептал:

— По... чему мухи... бес... покоют?

— Теперь-то? — сказала старуха. — Зимой?! Не беспокойтесь, Георгий Кириллыч. Никаких мух-то и нет.

— Чигарики на курузах, — прошептал Жорж, тщетно желая что-то объяснить.

— Чего извольте? — забеспокоилась старуха.

Но Жорж уже спал.

Старуха села на скамеечку около его головы и, глядя ему в лицо, погрузилась в терпеливое ожидание: когда он проснется и напишет то, что ей нужно...

Писали письмо.

Жорж проснулся в веселом, приподнятом настроении, и ему все было смешно: как это он неожиданно опьянел, как заснул и как он, по словам старухи, требовал, засыпая, совершенно неизвестной вещи: чигариков на курузах. Смешна ему была и сама семечница со своей суетливостью, тайной боязнью, что он откажется писать письмо, и весело было ему чувствовать, что ближайшая семечницына судьба — всецело в его руках...

И пришла неожиданно ему в голову совершенно юмористическая, безумно веселая затея: написать старухиной дочке письмо совсем не так, как будет диктовать старуха.

Перспектива повеселиться за счет бестолковой, глупой старухи так захватила веселого подмастерья, что он придвинул бумагу, чернила и даже, упустив из виду возможность поломаться в отношении густоты чернил и пококетничать трудностью писать, вообще, — благодушно сказал:

— Ну, Василиса... говори. Что писать-то?

Улыбнувшись счастливой улыбкой, госпожа Нестеренкова склонила набок голову, подперла ее рукой, сладко замечталась и потом сказала тоненьким дребезжащим голосом:

— Дорогая дочка Варенька! Очень я удивилась твоему присылу пяти рублей и за что тебя благодарю и кланяюсь...

— «Дорогая дочка Варенька, — писал, заливаясь внутренне хохотом, Жорж, — эк чем вздумала меня удивить — пятью рублями!.. Ты бы мне сто выслала... Или двести! Тогда бы

я тебя благодарила и кланялась... А так — что ж: на один день выпивки с соответствующей закуской мне и хватит только»...

— Написал? — спросила семечница.

— Написал,— отвечал Жорж.

Семечница поджала губы.

— Ну... Что ж бы еще такое? «И очень также прошу тебя, Варенька, с хозяевами быть тихой, скромной, без галош не выходить и беречься от климату, вообще также»...

— «Прошу тебя, уважаемая Варенька,— склонив набок голову, выводил подмастерье,— чтобы не очень-то церемониться с хозяевами, потому — эти черти разве понимают? Куска фиксатуару или гребенки старой в карман не сунешь: сейчас же заметят!.. Смотри не сядь в галошу и соблюдай климатические условия в отношении тишины»...

— Есть?

— Сделано! — сказал Жорж.— Хоть на выставку! Хорошее письмо, Василиса, получит твой, как это говорится: отпрыск... Еще что писать?

Василиса сразу сделалась мечтательной.

— И, кроме всего того,— сказала она, нараспев, тонко-претонко,— береги себя, как ты девушка, и мужчина нас, дур, всегда на худое потянуть может... Он-то и деньги, пожалуй, покажет, рублем поманит,— только анафемские это деньги, нечистые... Не для девушек они!.. Сохрани себя до хорошего человека, по закону который, по доброму согласию, через отцов церкви, по поводу замужества...

— Правильно,— кивнул головой Жорж. Обмакнул перо в чернильницу и приписал:

— «И имей в виду, что наше дело женское, и от трудов праведных, как это говорится, каменных домов не купить. Служба-то службой, да и после службы подработать можно, если ты не дура! Мужчинами-то дураками хоть пруд пруди... Оберешь его, как липку, так что и не заметит!!! А замужество,— это, брат, вилами по воде писано. Да-с. Это тебе любой отец церкви скажет. Кланяется тебе один очень интересный господин по имени Жорж Зяблов, который, будь ты здесь — был бы тебе хорошим кавалером и ухажором. Очень умный и красивый. Прощай, дочка, жду от тебя деньжат, да побольше, не скупись. Целуем тебя с этим Жоржем! Твоя мать потомственная, почетная

семечница и кавалерша ордена Льва и Солнца — Василиса! Пьем за ваше здоровье! Ура!»

Конец письма понравился Жоржу чрезвычайно... В нем был и тонкий, здоровый юмор и несколько дружеских теплых слов, по его, Жоржа, адресу и легкий шутливый тон по отношению к глупой сантиментальной семечнице — все было округлено, закончено.

— Готово, мамаша! — воскликнул шутливо Жорж, хлопая ладонью по письму.— На чаек с вашей милости.

Счастливая старуха захлопотала, засуетилась, сунула подмастерью в руку полтинник, наклеила на конверт марку и, не чуя под собой от удовольствия ног, побежала на улицу.

Отыскала почтовый ящик и бережно, тщательно всунула в отверстие письмо, протолкнув его пальцем как можно дальше.

В ЗЕЛЕНОЙ КОМНАТЕ
(*Послеобеденные разговоры*)

— Я где-то читал,— сказал мой друг Павлов,— что цвет обоев в комнате очень влияет на настроение человека... Голубые обои располагают к лени, неге и мечтательности, желтые — действуют тяжело, угнетающе, красные дают настроению повышенный интенсивный тон, а белые умиротворяют, смягчают и успокаивают человека...

Есть у некоторых людей такие характеры: если они услышат о каком-нибудь удивительном явлении, то не успокоятся, пока не приведут примера или явления еще более удивительного, случая еще более странного. Если при таком человеке рассказать о том, что индейские слоны нянчат ребят, он снисходительно улыбнется и расскажет, что австралийские кенгуру не только нянчат ребят, но и дают им первые уроки закона Божьего, лечат от золотухи и помогают прорезываться зубам. Если при таком человеке рассказать, что вы видели в цирке атлета, поднимающего десять пудов и держащего в зубах взрослого зрителя,— этот человек сейчас же вспомнит об одном малоизвестном кузнеце, которого он знал и который поднимал одной рукой шестнадцать пудов, а зубами, «совершенно шутя», держал лошадь и перегрызал подковы.

Седой, маленький господин внимательно выслушал Павлова, тихо улыбнулся и качнул головой.

— Это что! Я помню случай, который никогда не изгладится из моей памяти. Все, кому я ни рассказывал, были ошеломлены этим поразительным случаем, многие считают его беспримерным и необъяснимым, но я, по зрелом обсуждении, нахожу, что в нем не было ничего сверхъестественного, необъяснимого... Вы позволите рассказать его?

Мы были очень заинтригованы.

— О, конечно, конечно!!

Рассказ маленького, седого господина

В прежнее время я был очень богат и жил широко, шумно и весело. Однажды, наняв и обмеблировав роскошную барскую квартиру, я решил устроить новоселье. Пригласил человек полтораста своих друзей и знакомых, заказал ужин и думал провести вечер приятно, разнообразно и весело. Гости все были народ отборный, хороший, потому что богатому человеку, конечно, есть из чего выбирать...

Сначала все сидели в моей громадной столовой, пили чай и мирно обсуждали исход какого-то осложнения на Балканах...

Потом перешли в гостиную, разбились на группы и стали доканчивать разговоры, начавшиеся в столовой.

Около меня сидели двое — инженер и адвокат — и обсуждали фразу одного из них, что «славянские государства — это какое-то гнездо ос».

— Вообще, мы, славяне,— пожал плечами адвокат,— народ вздорный, непрактичный и тупой... Стыдно сознаться, но это так.

Инженер недовольно поморщился.

— Гм... Видите ли, я сам славянин и не соглашусь с тем, что вы сказали о славянском племени... Конечно, те, которые сами чувствуют в себе эти черты...

Адвокат побагровел.

— Слушайте, милостивый государь!.. Если я вас правильно понял...

— Да, да,— резко рассмеялся инженер,— вы совершенно правильно поняли меня! Человек, который унижает великое племя, считающее его своим, человек, характеризующий это племя вздорным и тупым,— вероятно, выводит это печальное заключение на основании автобиографических данных.

— Вы за это ответите! — вскричал адвокат, хватая инженера за руку.— Такие оскорбления смываются кровью!!

— Прочь грязную лапу! — заревел инженер.— С удовольствием прострелю твою ограниченную, лишенную высоких мыслей голову.

Разговор этот был так неожидан, что я не успел даже замять его.

Адвокат вскочил, отошел в сторону и стал шептаться с полным красивым офицером. До меня долетели слова:

— Вы не откажетесь, конечно, полковник, быть свидетелем?..

— О, с удовольствием... Другого я сейчас найду.

Адвокат отошел, а полковник остановил проходившего мимо сына банкира и шепнул ему:

— На одну минуту!.. Затевается дуэль... Надеюсь, вы не откажетесь быть вторым свидетелем, вместе со мной.

Банкирский сын свистнул.

— Ду-эль?.. Какие же это идиоты вздумали подставлять свои лбы под пули?..

— Милостивый государь! — раздраженно возразил полковник.— Я бы попросил вас умерить выражения там, где дело касается моих друзей... Это, по меньшей мере, бестактно!

— Прошу без замечаний! — вспыхнул его собеседник.

— Если вы носите военный мундир, то это не значит, что вы можете говорить чепуху! Тоже, подумаешь: бестактно.

— Ах, так?..— с трудом сдерживая себя, прошипел полковник.— Надеюсь, что все вами сказанное обязывает вас, как честного человека...

— Пожалуйста! — пожал плечами банкирский сын... — Я хотя и не военный, но пистолет держать умею!..

— Ладно! Жду ваших свидетелей!..

Банкирский сын, с дрожащими от негодования губами, отошел к столу и нагнулся к сидящему за столом студенту.

— Миша... Неприятная история! У меня, кажется, дуэль. Ты не откажешься быть секундантом?

Миша подумал.

— Извини, брат, но откажусь. У меня на носу экзамены, а если я впутаюсь в эту историю — Бог весть, чем она кончится.

— Ну, вздор — экзамены. Неужели, ради меня, ты не сделаешь этого?

— Ей-Богу, милый, не могу.

Банкирский сын криво усмехнулся.

— Не можешь?.. Скажи прямо — трусишь.

— Ну-ну, брат... полегче! За такие слова — знаешь?

Шепот их перешел в бешеное шипенье и свист. Как две разъяренные пантеры, отскочили они друг от друга, и студент, ни минуты не медля, быстро подошел ко мне.

— Что? — спросил я изумленный, сбитый с толку. — Небось, секундантом хотите пригласить? Слышал, все слышал... Да что вы, господа, белены объелись, что ли?

— Вы можете не соглашаться, — угрюмо сказал студент, — но таких выражений я не допущу. Нужно быть бесцеремонным идиотом, чтобы, в качестве хозяина...

— Довольно! — вскричал я. — В качестве хозяина я не могу хорошенько отколотить вас, но завтра я пришлю вам своих друзей...

К нам подлетели четыре человека.

— Не согласитесь ли вы... — начал один.

— Быть, — успел вставить другой.

— Секундантом, — докончили двое.

— Куда вы лезете, — оттолкнул первый второго. — Я его приглашал первый, а не вы!

— Что?! Толкаться? Да знаете ли вы, что подобные поступки смываются кровью...

— Сделайте одолже...

— Ой! кто это на ногу наступил?

— А вы не подставляйте.

— Ах, так! Я вас хотя не знаю, но вот вам моя карточка...

— А вот моя, черт вас дери!

В гостиной стоял невообразимый шум... Все вопили, бешено брызгали слюной, ругались и толкали друг друга. Большинство гостей наступало на меня, спрашивая, где я мог достать так много грубиянов, мужиков и бестактных ослов.

В ужасе схватился я за голову и выбежал в другую комнату... Возмущенные гости выбежали за мной. Я упал в кресло с закрытыми глазами и долго сидел так.

А когда открыл их, то увидел, что около меня стоит вызвавший меня на дуэль студент и миролюбиво говорит мне:

— А ведь я, мне кажется, погорячился... Вы уж меня простите! Я готов извиниться.

— Помилуйте,— радушно сказал я.— Ну, какие там извинения... Я сам виноват.

Около нас инженер держал адвоката за пуговицу и, пожимая плечами, говорил:

— В сущности говоря, вы правы: конечно, славяне, в общем, тупы и не практичны... Чего это я давеча на вас набросился...

— Ну, все-таки — я вас понимаю. Обидно! — бормотал, сконфуженно глядя вниз, адвокат.— Мне не следовало этого говорить. Извиняюсь и думаю, что все будет забыто. Вашу руку!

К студенту Мише подошел банкирский сын и, красный от смущения, сказал:

— Свинья я, Миша! Ударь меня по физиономии!

— За что? — удивился Миша.— Скорее я был не прав. Пожалуй, если хочешь, я действительно буду секундантом у тебя.

— Не надо, дорогой, любимый Миша. Уже не надо. Я помирился с этим симпатичным славным полковником.

Всюду были ласковые улыбки и дружеский шепот. Полное спокойствие воцарилось среди нас.

Маленький, седой господин замолчал.

— Вот она какая история-то!

— Да в чем же дело-то? — с живым недоумением воскликнул Павлов.

— Как... в чем дело? — удивился старичок.— Разве я вам не сказал? Все дело в гостиной, где мы были раньше, и приемной, куда мы потом перешли.

— Э, черт! Да что же там такое было?

— Неужели вы не догадываетесь? Гостиная была оклеена темно-красными обоями, с ярко-красной мебелью, а приемная у меня окрашена белой краской.

— Ну?!!

Старичок хитро посмотрел на нас.

— Цвета-то... Влияют как на настроение! Не правда ли?

Павлов негодующе пожал плечами:

— Если красный цвет действует возбуждающе, белый умиротворяюще, то зеленый вредно действует на человеческое воображение,— заставляя бесстыдно лгать!

Я обвел глазами комнату, в которой мы сидели.

Она была зеленая.

ИСЧАДИЕ ГОРОДА

I

Среди пугающего неожиданного завывания автомобильных гудков, бешеных звонков трамваев, немолчного топота лошадиных копыт, мелькания электрических лампочек и головокружительного верчения кинематографических лент, среди несущейся по громадным улицам обезумевшей от желания жить толпы, среди театров с пряными, развратными, испорченными, как старый сыр в угоду гурману,— пьесами, среди всего этого бродят растерянные люди с потухшими тусклыми взорами, и никто не подозревает — какие странные, неслыханные болезни носят они в себе...

Учитель гимназии Сверкалов надевал перед зеркалом воротничок и что-то мурлыкал тоненьким голоском. Жена посмотрела на него и дружески усмехнулась.

— Что? Предвкушаешь ряд веселых минут и вечер приятного отдохновения? Смотри — не опоздай!

Про себя она подумала:

— Пусть скорее уходит. Я тогда сейчас же засяду за вышивание туфель ко дню его именин... Надо, чтобы он ничего не подозревал о туфлях.

В это же самое время Сверкалов почувствовал в груди страшную тяжесть, в ногах дрожанье, а сердце похолодело, как кусок льда.

— Что это значит? Что это? — прошмыгнула быстрая мысль в голове.— Почему она сказала: «смотри не опоздай». Что это значит «ряд веселых минут и вечер приятного отдохновения»?.. Что она имела в виду?

Сверкалов задумался, потупив омраченное лицо.

— Не думает ли она, что я еду к Ликушиным ради самой госпожи Ликушиной?.. Не думает ли она, что между нами

что-то есть? Какой вздор!! Если оно так — необходимо рассеять это нелепое подозрение...

— Скажи откровенно,— спросил с наружным хладнокровием Сверкалов.— Как ты находишь madame Ликушину?

Взгляд его сверлил жену.

— Как? Да ничего. Она милая,— равнодушно отвечала жена.— Еще может нравиться.

— Что это такое? — похолодел Сверкалов.— Что значит этот намек?

Жена в это время думала о туфлях и вздрогнула, когда муж схватил ее за руку.

— Знай же, что я эту Ликушину ненавижу! Она мне противна!

Жена удивленно взглянула на него.

— Почему? Что она такое сделала?

К Ликушиной Сверкалов был совершенно равнодушен, и вопрос жены застал его врасплох.

— Подозревает,— заледенело сердце.— Так и есть — подозревает... — Ты спрашиваешь — почему?

И, чтобы отвлечь от себя всякое подозрение, бедный учитель гимназии махнул на все остальное рукой:

— Потому что у нее есть любовник.

Жена пожала плечами и усмехнулась.

— Да тебе-то что... Ведь не влюблен же ты в нее?..

— Почему ты это спросила?! — быстро-быстро заговорил Сверкалов, хватая жену за руку.— Что это значит? Неужели ты подозреваешь?.. А? А? Говори...

— Бог с тобой,— удивилась жена.— Я только не понимаю, с чего ты так волнуешься... Я ведь знаю, что ты любишь меня...

— Что это? — внутренно дрожал Сверкалов.— Искренность или ирония?.. Что она думает? О, я бы много дал, чтобы узнать, что она думает?..

Тут же он решил окончательно рассеять подозрения жены.

— Ты знаешь, между прочим, что Ликушина имеет целую челюсть вставную... Брр!.. И волосы красит.

Думая о туфлях, жена машинально спросила:

— Да? Откуда ты знаешь такие подробности?

В груди Сверкалова что-то оборвалось. Похолодело.

— Конец!.. У нее самые определенные подозрения.

Не попадая рукой в рукав пиджака, Сверкалов подозрительно и злобно закричал:

— Что ты пристаешь ко мне с Ликушиной? Что это значит?

— Господи! Да кто ж к тебе пристает. Ты сам же начал о ней разговор. Чего ты волнуешься? Не буду же я ревновать тебя к Ликушиной.

— Конец! — охнул внутренно Сверкалов.— Гибель!

Схватился за голову и выбежал из дому...

II

Севши в трамвай, Сверкалов первым долгом вынул двугривенный и стал держать его на виду, весь замирая от опасения, что в нем могут заподозрить пассажира, желающего прокатиться без билета.

Кондуктор раза два промелькнул мимо него, отбирая деньги у других, а Сверкалов тянулся за ним, беспокойно повторяя:

— Получите же с меня... Почему вы не берете с меня?!

Наконец кондуктор протянул руку к Сверкалову. Взял его двугривенный, повертел в руках и, равнодушно возвращая, сказал:

— Пожалуйста, перемените. Это оловянный.

— Конец,— оборвалось внутри у Сверкалова.— Он, наверное, думает, что я нарочно хотел подсунуть ему фальшивый... Черт знает что! Еще, пожалуй, подумает, что я сам и сделал его... Какая гадость.

Сверкалов ненатурально засмеялся, взял обратно деньги, вынул другие и сказал:

— Это мне подсунули где-нибудь. Вот, получите.

И, посмотрев на застывшее лицо кондуктора, заискивающе спросил:

— Что, много у вас работы?

Сейчас же стало ясно, что вопрос, после случая с двугривенным, совершенно нелеп и неуместен. Нужно было загладить его.

Сверкалов снова вынул из кармана оловянный двугривенный, осмотрел его и сказал:

— Ей-Богу, как настоящий! Ха-ха! А вы, небось, думаете — вот, мол, барин хотел всучить под шумок фаль-

шивый двугривенный... А? Говорите, черт вас возьми... думали?..

Во рту накипала скверная горечь.

— Зачем я это говорю? Глупо, бессмысленно. Ведь я, действительно, тянулся за кондуктором так настойчиво, будто в самом деле хотел сплавить двугривенный... Боже! Как тяжело!.. Как гадко...

Так как Сверкалов был уверен, что его соседи подозревают в нем фальшивомонетчика, то — посмотрел на полного блондина в очках и сказал:

— Вот я — имею в гимназии службу, зарабатываю тысячи две, человек более или менее обеспеченный... А каково бедному, если ему попадется фальшивый двугривенный... Не правда ли? Мне-то ничего... служба, доверие начальства... Гм...

Полному господину нужно было сходить на остановке. Он недоуменно посмотрел на Сверкалова, встал и вышел.

— Конец! — по своей привычке охнул Сверкалов.— Гибель!

Не дожидаясь следующей остановки, он выскочил из трамвая и остальную часть пути, с тяжелым сердцем, прошел пешком.

III

Горничная попросила Сверкалова в кабинет Ликушина.

— Барин говорит по телефону... сейчас придет.

Сверкалов сделал несколько шагов по кабинету, подошел к столу и стал рассматривать разные безделушки... Взял машинально какое-то кожаное потертое портмоне и стал рассеянно вертеть его в руках.

Сзади раздался неожиданный голос:

— А! Вы здесь!..

Сверкалов вздрогнул и выронил портмоне.

— Не беспокойтесь,— сказал Ликушин, быстро нагибаясь.— Я подниму.

— Конец! — заскрежетал зубами Сверкалов.— Что он подумает? Что он может подумать? Застал меня одного в кабинете, с чужим портмоне в руках... Господи, как это противно... Как гнусно!..

— Портмоне рассматривал,— болезненно улыбаясь, сказал он.— Очень замысловатая штука.

— Что вы,— небрежно возразил хозяин.— Самая примитивная штука: нажать сверху пружину — оно и раскроется!

— Да? — задрожал внутренно Сверкалов.— Не думаешь ли ты, что и я нажимал пружину и лазил внутрь?.. Этого только еще недоставало...

— А мне его не удалось открыть,— заявил он угрюмо.

Хозяин отложил портмоне в сторону и взял гостя за руки.

— Да? Ну, как поживаете, мой дорогой? Что поделывали последнее время?

— Кошельки чужие открывал,— болезненно усмехнулся про себя Сверкалов. А вслух сказал:

— Ничего. Скажите, где вы купили это портмоне?.. Я бы очень хотел приобрести себе такое. Я его поэтому и рассматривал!

— Господи! Да в самом паршивом магазине можно его купить... Что это вы так заинтересовались этим портмоне?

Сверкалов, бледный, с прыгающими губами, нагнулся к хозяину.

— Почему заинтересовался? Не думаете ли вы, что я хотел ознакомиться с его содержимым? А? Вы уж говорите прямо?

— Как он глупо шутит,— поморщился внутренно Ликушин.— Ха-ха, милейший! Немного же заработали бы вы!.. Там какая-то мелочь... Жена ваша здорова?

— Здорова,— отвечал отрывисто Сверкалов.— С вами случалось когда-нибудь: взял в руки какую-нибудь вещь — совершенно машинально... Начинаешь ее вертеть в руках и только потом с удивлением спохватишься: Э! Как эта вещь попала тебе в руки?! Случалось?

— Не помню,— удивился Ликушин.— А что?

— Да так спрашиваю. Кстати, знаете, я скоро получаю от тетки наследство. Так что в деньгах совершенно не нуждаюсь...

В кабинет вошла хозяйка дома и поздоровалась со Сверкаловым.

— Хе-хе! — сказал Сверкалов.— Почему же вы, Дмитрий Павлыч, не расскажете супруге о только что происшедшем забавном инциденте... Представьте, прихожу я,— Дмитрия Павлыча нет... Беру совершенно машинально это портмоне, вдруг входит он. Я, от неожиданности, роняю портмоне, и мне сделалось смешно: вдруг Дмитрий Павлыч подумает, что я хотел вытащить содержимое кошелька и был застигнут на месте преступления.

Ликушин внимательно взглянул на Сверкалова.

— Да почему вы придаете такое значение этому пустяку? — медленно спросил он.

— Подумал! — оборвалось сердце.— Раньше не думал и не придавал значения, а теперь после моих бестактных разговоров и объяснений что-то подозревает. Теперь — конец!.. Гибель!

Сверкалов выхватил из кармана бумажник и закричал:

— У меня есть деньги... Вот триста рублей!! Я в чужих не нуждаюсь... Не думайте!.. Не ду-у-у...

Упал в кресло и закатился долгой томительно жуткой истерикой.

Ликушины забегали, схватили воду, терли виски, охали и недоумевали.

IV

За окном был веселый, ликующий праздник: торжествующе гудели автомобили, сверкало электричество и тревожно-радостно звонили трамваи, празднуя грубую победу над человеком...

АНЕКДОТЫ ИЗ ЖИЗНИ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ

Памяти Марка Твена

I

Недавно один знакомый сказал мне:

— После смерти Марка Твена в печати появилось несколько анекдотов из его жизни. Все газеты перепечатывают их, а читатели покатываются со смеху. Ну и забавник же был этот знаменитый юморист! Читали?

— Не читал. Смешно?

— Да уж так смешно, что мы за животики держались. Вечно он что-нибудь этакое выкинет. Подождите... не помню ли я? Ну, конечно, припомнил! Например, такой анекдот:

к нему очень приставали разные лица с просьбами — дать свой автограф. Он раздавал их направо и налево, но вскоре узнал, что его автографы продаются за большие деньги, служа предметом корыстного торга. Он был так возмущен этим, что одному господину из числа спекулянтов, который обратился к Твену с просьбой об автографе, — ответил письмом, написанным на пишущей машине. В этом письме Твен негодовал на то, что его автографами торгуют, и называл такую торговлю позорным явлением. Хо-хо-хо!

Я терпеливо переступил с ноги на ногу.

— Ну? Ну-ну?

— Да что — ну? вот и все.

— А анекдот-то где же?

— Тут же. Это и есть анекдот.

И он стал хохотать, корчась и размахивая руками в припадке истерического веселья.

Я ушел от него и вскоре встретился с другим знакомым.

— Я думал, — еле сдерживая улыбку, заявил другой знакомый, — что Твен был только юмористом в литературе... Но оказывается, что он был таковым и в жизни. Последний анекдот о Твене, перепечатанный всеми газетами, немало распотешил читателей и доставил им много веселых минуточек. Не слышали?

— Не помню, — подумав, сказал я. — Какой анекдот?

— О его женитьбе! Ха-ха!

Мой собеседник сел на скамью, уткнул голову между колен и весь задрожал от хохота.

— До сих пор не могу вспомнить спокойно! Ха-ха! Влюбился знаменитый юморист в одну девушку и попросил у ее отца руки дочери таким образом: «Вы ничего не замечаете?» — спросил Твен отца. «Ничего», — отвечал отец. «Понаблюдайте внимательней, — может быть, и заметите».

Оглушительный припадок хохота прервал рассказ моего знакомого. Он кашлял, раскачивался и в изнеможении отмахивался руками.

— Да я вас слушаю, — поощрил я его. — Продолжайте.

— Да я и кончил, — отдышавшись, сказал он. — Это и есть анекдот о женитьбе Марка Твена.

Я скромно молчал.

— Однако вы невеселый человек, — обиженно заметил знакомый. — Вас ничем не проберешь. Разве что на вас

может подействовать шутка Твена со своим тестем. Это уж такая вещь, которая даже мертвого заставит расхохотаться. Однажды тесть подарил Марку Твену большой дом. Знаменитый юморист поблагодарил его и прибавил: «Если вам когда-нибудь вздумается приехать к нам погостить — для вас всегда найдется теплый угол».

— Весь анекдот? — осторожно спросил я.

— Весь. Хе-хе! Так и говорит: «для вас, говорит, всегда найдется теплый угол».

— Больше никаких анекдотов о Твене не имеется?

— Есть еще один. Об автографах. Тоже препотешный, признаться.

— Об автографах я уже знаю,— задумчиво возразил я.— Не надо рассказывать. До свидания.

Весь тот день я был задумчив.

— Как это могло случиться,— думал я,— что такой безмерно веселый всемирный юморист оставил после себя такие странные унылые анекдоты? Одно из двух: или они кем-либо выдуманы после смерти Твена, или Твен действительно имел в жизни эти три случая, но ни в одном из них не думал острить, поступая так, как поступил бы всякий другой обыкновенный человек. А кто-то подслушал разговор с тестем, прочел деловое письмо к спекулятору автографами, да и вообразил, что это и есть анекдоты. И записал их. И напечатал. И перевели. И смеются.

Я слишком люблю Твена и чту его память, чтобы оставить покойника с такими вялыми скучными анекдотами.

Я решил придумать другие анекдоты для веселого, остроумного Твена. Я твердо верю, что он заслуживает большего. Мне кажется, что такой бриллиант должен быть в лучшей оправе, чем та — из тяжелых неуклюжих булыжников,— которой его окружили бестактные неумелые почитатели.

Написать несколько анекдотов для меня не стоило большого труда — стоило только порыться в своей памяти и вспомнить все те шуточки, которые случалось мне отпускать в веселой компании. Я твердо уверен, что за мной никто не ходил по пятам и не записывал сказанного мной, без чего все равно все мои остроты погибли бы для света. А так они, по крайней мере, принесут пользу светлой памяти веселого Твена.

II

Спустя некоторое время после этого в газетах появилась новая серия свежих анекдотов о Твене. Вот некоторые из них:

По одному источнику

Сидя в одном обществе, Твен потешал слушателей веселыми шутками и анекдотами.

Один из слушателей, позавидовав Твеновым лаврам, заявил:

— Я сегодня тоже сочинил препотешный анекдотец. Вы позволите его рассказать вам?

И он начал рассказывать какую-то смешную историйку, но на половине был остановлен Твеном.

— Постойте! Мне кажется, что я смогу докончить придуманный вами анекдот.

И к великому восторгу и смеху публики великий юморист тут же блестяще закончил начатую его завистником историю.

Все были поражены талантливым проникновением Твена в мысли рассказчика.

А Твен застенчиво покраснел и скромно заявил:

— О, это сущие пустяки! Дело в том, что у меня и у него в кабинетах висит отрывной календарь, очевидно, одного и того же издания.

Портрет

Однажды Твен и его приятель совершали загородную прогулку на велосипедах. По близорукости Твен налетел на какой-то предательский камень и покатился под откос вместе с велосипедом.

Его приятель, как завзятый спортсмен, первым долгом заинтересовался состоянием велосипеда.

Он крикнул сверху:

— Цела ли рама, дружище?

— Рама-то цела,— отвечал Твен из оврага...— Но зато портрет, кажется, вдребезги!

Самоубийца

Однажды Твена спросили:

— Покушались ли вы когда-нибудь на самоубийство?

— Да,— серьезно ответил Твен.— Единственный раз в жизни. Это было во время моего путешествия по России,— в Москве. Взгрустнулось мне — я и решил.

— Каким же образом вы покушались?

— Я пытался утонуть, спрыгнув с Кузнецкого моста.

Вся соль твеновского ответа заключается в том, что «Кузнецким мостом» в Москве называется обыкновенная улица без всякого признака не только моста через воду, но даже и капли какой-нибудь воды.

Разница

Твен несколько раз обещал издателю одной американской газеты написать рассказ, но все время что-нибудь мешало ему.

— Помилуйте,— сказал однажды издатель.— Такой великий человек и вдруг — обманывает!

— Чем же я велик? — удивился Твен.

— Ну да! Вы для Америки были тем же Робинзоном Крузо, который, попав на необитаемый остров, первый возделал и украсил этот остров.

— Ну, между мной и Робинзоном Крузо большая разница,— отвечал Твен, подумав.— У него на всю жизнь был один Пятница, а у меня на одной неделе семь пятниц!

III

Когда вышеприведенные анекдоты о Твене появились в печати, они вызвали общий восторг и удовольствие.

Печатая эти анекдоты, газеты сопровождали их такими предисловиями:

— Неувядаемый юмор в творениях великого юмориста, оказывается, был его спутником и в обычной жизни. Его маленькие шутки, расточаемые в разговорах с друзьями и знакомыми,— настоящие перлы! В них сразу можно узнать незлобивый смех и веселье великого американца. Вот некоторые из этих перлов...

И тут же приводились истории с портретом, календарем, Кузнецким мостом и Пятницей.

Сначала эти похвалы льстили моему самолюбию, а потом мне сделалось обидно.

Все хвалили покойника Твена, а меня никто даже не потрепал по плечу. Ни одна газета даже и не подумала приписать хотя один рассказанный анекдот мне — как владельцу его и автору.

Я был в тени.

Тогда я пошел в одну редакцию и заявил:

— А ведь анекдоты-то о Твене — это мои. Я их отчасти выдумал, а отчасти некоторые истории действительно со мной случились. Я их и тиснул под маркой Твена. А теперь я не хочу больше. Прошу меня разоблачить в вашей газете!

Но редактор хладнокровно возразил мне:

— Эти анекдоты прославились постольку, поскольку они принадлежали всемирно остроумному великому Твену. А если эти истории случились с вами — никому они не нужны и никто бы их и не напечатал! Подумаешь — кому интересны эти черты из вашей биографии!

— Почему же не интересны? — огорченно спросил я.

— Да потому, что вы никому не известный маленький человек. Когда сделаетесь знаменитым и прославитесь — тогда другое дело...

Я круто повернулся спиной и пошел делаться знаменитым и прославляться. (Между прочим, могу сознаться, что это ужасно трудно.)

IV

Ради заработка я изредка сочиняю анекдоты о великих людях. Так как тратить на этих великих людей лучшие из своих выдумок и анекдотов не имеет смысла (может быть, они мне самому пригодятся впоследствии) — я пускаю в оборот следующие вещи, тем не менее приводящие невзыскательную публику в восторг.

О Суворове

Однажды Суворов перед битвой с французами спросил встречного солдатика:

— Как думаешь — побьем басурманов?

— Так точно! — отвечал бойкий солдатик. Великий полководец тут же дал ему серебряный рубль и сказал:

— Ну, ступай.

О Петре Великом и шуте Балакиреве

Как известно, великий преобразователь никогда не расставался со своей знаменитой дубинкой.

Однажды пуговица с его камзола оторвалась и закатилась под стол.

Великий основатель Петербурга нагнулся, пошарил дубинкой под столом и достал пуговицу.

Находившийся поблизости шут Балакирев спросил:

— Ну, что, Алексеич, нашел пуговицу?

О Гоголе

Однажды великий сатирик пришел к знакомым.

— Какова погода? — спросили его.

— Дождь идет, — отвечал незабвенный творец «Ревизора».

И тут же повесил мокрый плащ на гвоздик.

Вот что я пишу и печатаю о великих людях.

Сам же я, признаться, в частной жизни говорю вещи гораздо более ценные, веселые и достойные всяческого внимания.

Но они так и гибнут бесследно. Что ж...

ДУРНАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

Жена пришла в кабинет мужа и, упав в кресло, глухо зарыдала.

— Что случилось? — в ужасе спросил муж.

— Сын... Ваня... Горе! Горе наше...

— Заболел, что-ли?

— Нет, не заболел,— сдерживая рыдания, отвечала мать. Устремила распухшие заплаканные глаза на лампу и, сквозь всхлипывания, стала тихо рассказывать:

— Вчера еще вечером... ничего не было заметно... Поужинал, как всегда, лег спать. Нынче тоже... пил чай... Гулял. А недавно... приходит ко мне... часа два тому назад... Не узнаю: глаза так странно блестят и руки болтаются, как на ниточках. Что ты, говорю, Ваничка?

«Маменька,— говорит он мне...— Маменька! Извините, говорит, меня, но я буду писать драму!»

Муж судорожно вскочил, и кресло с глухим стуком отлетело в сторону.

— Что-о?!!

Жена покорно и скорбно качнула головой.

— Да,— говорит: «Драму хочу писать».— Ваничка, — говорю я ему,— Ваничка! Подумай, что тебе такое вскинулось! Мыслимо ли? Я обер-офицерская дочь, отец в банке служит, а ты... И заплакала! Слезы у меня — кап-кап! Что же ты с нами, старыми, делаешь? Зачем фамилию нашу позоришь? — «Маменька,— говорит. — Такая уж моя судьба, чтобы написать драму».

Наступила жуткая тишина.

Отец, склонившись на стол, тихо, беззвучно плакал.

— Господи! За что? Того ли я ожидал себе на старость? Да лучше бы я тебя своими руками в колыбе...

Он схватился за голову.

— Это мы сами виноваты! Подумали ли мы о том, какую наследственность даем своему ребенку? Могли ли мы жениться, когда у меня тетка была слабоумная, а отца твоего уволили с военной службы за алкоголизм?! За грехи предков... Ха-ха-ха!

Жуткий хохот обезумевшего от горя отца гулко прокатился по кабинету.

* * *

В маленькой мрачной комнате сидел за столом молодой человек и, пугливо озираясь, писал.

Около дверей то и дело беззвучно шмыгала его мать и, вытирая красные глаза, шептала мужу, уныло сидевшему в уголке кабинета:

— Пишет! Второй акт дописывает!

— Пишет... Воззри, Господи, яко на Иова многострадального! Ты видишь — не ропщу я... Все в руце Твоей!

Время от времени молодой человек, опустив голову, проходил в кухню, выпивал пересохшими губами кружку воды и опять возвращался к столу.

— Ваничка... — простирал к нему руки отец. — Ваничка! Дитя ты наше разнесчастное!

Скоро новость о том, что молодой человек пишет драму, разнеслась по всей улице. Когда он однажды спустился в лавочку, чтобы купить бумаги (прислуга категорически отказалась от этого), лавочник встретил его угрюмо и неприветливо:

— Родителей ваших знаю, достойные люди... А вы, накося, что выкидываете... Драму пишете!

Молодой человек улыбнулся бледной виноватой улыбкой и попробовал отшутиться:

— Тебе же лучше, Кузьмич: на бумаге деньги заработаешь!

— Не хочу я этих денег ваших. Проклятые это деньги! Душу они выжгут.

Когда молодой человек возвращался домой, его встретила ватага мальчишек.

— Глиста чертова! Драму пишет!

— Энтот?

— Он самый. Дармодел, кочерыжкина голова!

— Свистни его камнем. Фьють!!!

— У-лю-лю!

Под ноги ему полетели камни, палки.

Молодой человек побежал домой, но под воротами дворник выплеснул ему на голову из чайника кипяток, будто бы нечаянно... А соседская кухарка, поднимаясь по лестнице, увидела его, покачала головой, сунула ему в руку копейку, перекрестилась и прошептала:

— Несчастненький...

* * *

Когда он дописал четвертое действие, мать его не вынесла потрясения и тихо умерла со словами прощения на добрых материнских устах...

Окончив драму, молодой человек завернул ее и, крадучись, пошел в цензурный комитет.

— Что прикажете? — встретил его курьер.

— Драму принес.

— Фу ты, пропасть! А я думал, что... Нечего здесь... Пойди, на приступочках посиди. А то тут одежа висит, как бы ты не стянул грешным делом.

Он вышел, сел на ступеньках и худой, с поджатыми губами, упорно сидел два часа.

Потом пришел цензор. Молодой человек назвал свое имя и протянул цензору руку, но тот спрятал свои руки в карманы и, брезгливо глядя на рукопись, сказал:

— Драма?

— Драма!

— Зачем?

— Так.

— Вы сапоги умеете чистить?

— Нет...

— То-то и оно. Сапог не умеете чистить, а драмы пишете... Не глядели бы мои глаза на эту публику. Уходите!

* * *

Потом он принес свою драму в театр, антрепренеру. Как раз шла генеральная репетиция, и плотники переставлял декорации. Узнав, что он принес драму, они потихоньку уронили ему на голову боковую кулису, а потом опустили под ним люк.

Он кротко вынес все это и, сопровождаемый насмешками и бранью, добрался до антрепренера.

— Чем могу служить? — спросил антрепренер.

— Я вам драму принес.

— Дра-аму? Для чего же она нам, ваша драма?

— Поставить бы у вас?

— Да для чего же мы ее будем ставить?

— Другие же драмы вы ставите? — робко спросил молодой человек.

— Сплошная дрянь! Ставлю потому, что нужно же что-нибудь ставить.

— Хе-хе! — заискивающе засмеялся молодой человек. — Вот, может, и мою поставите. Позвольте вам ее вручить!

Антрепренер взял завернутую в толстую бумагу драму и, не разворачивая, осмотрел сверток.

— Тоже дрянь! Не подойдет.

— Но ведь вы еще не читали?!

— Да уж я знаю, будьте покойны! Наметался на этом деле. Скверная драма. Наверняка провалится. Савелий, проводи их.

Возвращаясь обратно, молодой человек купил портфель, пришел домой и положил написанную драму в этот портфель. Потом спустился вниз, купил в лавочке бумаги и принялся писать новую драму.

Отец, сидя в своем кабинете, долго крепился. Наконец, однажды, когда сын писал четвертую драму, он потихоньку зашел в его комнату, упал перед ним на колени и хрипло зарыдал:

— Ваничка, прости, Христа ради, меня и твою покойную мать! — сказал он, плача.— У меня тетка слабоумная, а у нее отец алкоголик... Прости нас.

ОДИНОКИЙ ГРЖИМБА

I

Тот человек, о котором я хочу написать, не был типом в строгом смысле этого слова. В нем не было таких черт, которые вы бы могли встретить и разглядеть на другой же день в вашем знакомом или даже в себе самом и потом с восхищением сказать присутствующим:

— Ах, знаете, я вчера читал об одном человеке — это типичный Петр Иванович! Да, признаться, есть в нем немного и Егора Васильевича... Хе-хе!

В этом смысле мой герой не был типом. Он был совершенно оригинален, болезненно нов, а может быть,— чрезвычайно, ужасающе стар.

Мне он представлялся удивительным осколком какого-нибудь распространенного несколько тысяч лет тому назад типа, ныне вымершего, исчезнувшего окончательно, за исключением этого самого Гржимбы, о котором речь идет сейчас. Везде, где появлялся Гржимба, он производил впечатление странного допотопного чудовища, чудом сохранившего жизнь и дыхание под многовековым слоем

земли и теперь выползшего на свет Божий дивить и пугать суеверный православный народ.

И еще — я находил его похожим на слона-одиночку. Африканские охотники рассказывают, что иногда от слоновьего стада отбивается отдельный слон. Он быстро дичает, мрачнеет, становится страшно злым, безрассудно свирепым и жестоким. Бродит всегда одинокий, а если встречается со слоновьим стадом, то вступает в драку, и его, обыкновенно, убивают.

Гржимба был похож на такого слона.

Моя нянька сказала о Гржимбе другое.

Когда она немного ознакомилась с ним, то всплеснула морщинистыми руками, заплакала и воскликнула:

— Что же это такое! Бедненький... Ходит как неприкаянный.

Нянька, да я — мы были единственными людьми, которые почему то жалели дикого, загадочного «неприкаянного» Гржимбу.

А вообще — его все считали страшным человеком.

II

Когда мне было 10 лет — мать моя держала гостиницу и меблированные комнаты в небольшом провинциальном городке на берегу широкой реки.

Однажды мы сидели за утренним чаем и занимались рассказыванием друг другу сновидений, пригрезившихся нам в эту ночь.

Мать, как женщина прямая, честная, рассказывала то, что видела в действительности: ей грезилась «почему-то лодка», и в этой лодке сидели наши соседи Хомутовы «почему-то» все в маленьких-маленьких платочках... и «почему-то» они говорили: «идите к нам!»

Я слушал мать лениво, рассеянно, придумывая в это время себе сон поэффектнее, позабористее, чтобы совершенно затмить простодушные маменькины лодочки и платочки.

— А мне снилось, — густым голосом прогудел я, раскачивая головой, отчего моя физиономия, отражаясь в самоваре, кривлялась и ненатурально удлинялась, — мне снилось, будто бы ко мне забрались двенадцать индейцев и схватили

меня, чтобы оскальпировать. Но я — не дурак — схватил глобус, да глобусом их. Ого! Убежали да еще томогавки забыли.

Я помолчал немного и равнодушно добавил:

— Потом слона видел. Он что-то орал и хоботом пожрал всех наших жильцов.

Мать только что собралась изумиться красочности и разнообразию моих грез, как на парадных дверях прозвенел резкий звонок.

— Пойди открой,— сказала мать.— Я швейцара услала.

Я вскочил, помчался, издавая громкие, пронзительные, но совершенно бесцельные крики, подбежал к стеклянным дверям и... остановился в изумлении: за ними было совершенно темно, будто бы неожиданно вернулась ночь.

Машинально я повернул ключ, и дверь распахнулась. Послышалось урчанье, проклятие, и на линии горизонта моих глаз я увидел два нечеловеческих, чудовищно-толстых колена. Мне пришлось сильно задрать голову, чтобы увидеть громадный, необъятных размеров живот, вздымавшийся, опадавший и опять раздувавшийся, будто бы в нем ходили какие-то внутренние волны.

Мне нужно было отбежать на десяток шагов, чтобы увидеть этого человека во весь рост. В то время он показался мне высотой в пять-шесть аршин, но после я узнал, что он был трехаршинного роста. Гора-живот переходила в гору-грудь, которая заканчивалась громадной шеей. А на шее сидела небольшая голова с круглыми, красными щеками, обкусанными усами и маленькими злыми глазками, которые свирепо прыгали во все стороны. Голову покрывал поношенный цилиндр, и — что меня поразило больше всего — цилиндр держался на голове с помощью черной ленты, проходившей под подбородком. Точь-в-точь, как пожилые дамы завязывают лентами старомодные шляпки.

— Мальчишка,— хриплым, усталым голосом небрежно уронил удивительный незнакомец.— Есть вино?

— Не знаю...— растерялся я.— Спрошу у мамы.

Я побежал к матери, а когда мы с ней вернулись, то нашли его уже в гостиной, сидящим на диване, со скрещенными на животе руками, ходившими ходуном вместе с животом, и расставленными далеко друг от друга огромными ножищами в пыльных растрескавшихся сапогах.

— Что вам угодно? — спросила мать, и по ее тону было видно, что она перепугана насмерть.

— Стакан вина.

— У нас вино внизу... Где общая столовая. Впрочем (незнакомец в это время сердито заурчал)... пойди вниз, принеси им стакан вина.

Я принес бутылку белого вина и стакан.

Стараясь не подходить к посетителю близко, я издали протянул руки на сколько мог, именно таким образом, как в зверинце кормят страшных слонов.

Гигант взял бутылку и стакан. Стакан внимательно осмотрел, сунул в карман рыжего сюртука, а из бутылки вынул зубами пробку, выплюнул ее и сейчас же перелил содержимое бутылки в свою страшную пасть.

Я в это время смотрел на его живот: заметно было, что он оттопырился еще больше.

Посетитель презрительно осмотрел пустую бутылку, сунул ее в карман (потом оказалось, что он это делал со всяким предметом, приковывавшим его внимание) и отрывисто спросил:

— Жить можно?

— Вы хотите сказать, есть ли комнаты? — робко спросила мать. — Да, есть.

— Где?

— Пожалуйте, я покажу.

Мы пошли странной процессией: впереди катился крохотный, как горошина, я, за мной маленькая мать, а сзади колоссальная, стукавшаяся обо все притолоки своим цилиндром туша незнакомца.

— Вот комната, — сказала мать, поворачивая ключ в дверях.

Незнакомец прорычал что-то, выдернул ключ, быстро вскочил в комнату, и мы немедленно услышали звук повернутого изнутри ключа.

— Вот тебе раз, — только и нашлась сказать моя бедная мать.

III

Когда пришел швейцар и проснулись некоторые квартиранты, мы рассказали им о нашем новом страшном жильце. Все были потрясены теми подробностями, на которые

я не поскупился, и теми слезами, на которые не поскупилась мать.

Потом пошли на цыпочках слушать, что делается в комнате чудовища.

Оттуда доносилось заглушенное ворчание, проклятия и стук падавших стульев, будто бы жилец был чем-то недоволен.

Неожиданно ключ в замке повернулся, дверь приоткрылась, и мы все в ужасе отпрянули. В самом верху образовавшейся щели на головокружительной, как мне казалось, высоте появилась голова, сверкавшая злыми глазенками, и хриплый голос проревел:

— Эй!! Горячей воды и полотенец! Чего вы, анафемские выродки, собрались смотреть на меня? Людей не видели, что ли?

Голова скрылась, и дверь захлопнулась.

Слуга понес ему воду и полотенца и потом, когда мы собрались в столовой, рассказал страшные вещи: жилец сидел в углу в полной темноте и проклинал всех на чем свет стоит, жалуясь на свою уродливость, толщину и тяжелую жизнь.

При появлении слуги он схватил его за руку, оттащил от порога, а дверь снова запер на ключ. Вел он со слугой длинный разговор главным образом о еде, расспрашивал, много ли дают кушаний и можно ли здесь получить «настоящие порции»? Во время разговора беспрестанно мочил горячей водой полотенце и выжимал его на лицо и шею, перемежая это занятие отборной руганью. Потом свернул полотенце в жгут и стал бить им по столу, в такт длиннейшему разговору о жареной баранине и картофеле с хлебом.

— Я очень боялся, — озираясь, говорил нам слуга, — чтобы он не хватил меня по голове мокрым полотенцем. Тут бы из меня и дух вон!..

Обед принес матери новые огорчения.

Неизвестный потребовал себе в комнату двойную порцию, а когда ему налили громадную чашку щей и дали восемь котлет, он потребовал еще столько же, жалуясь, что это «не настоящая порция».

Дали ему еще.

А через час он прокрался в столовую, где как раз никого в то время не было, и утащил к себе телячью ногу и два белых хлеба.

Обглоданную ногу я нашел в тот же вечер лежащей в коридоре, около дверей этого человека.

С большим трудом удалось взять у него для прописки паспорт: он не хотел пускать слугу в комнату, отчаянно ругался и рычал, как медведь.

По паспорту он оказался дворянином Иваном Гржимба и после паспорта показался нам еще таинственнее и ужаснее.

Ночью я долго не мог уснуть, раздумывая о неведомом, неизвестно откуда пришедшем Гржимбе и о его страшной судьбе. Ужасало меня то, что в нем не замечалось ничего человеческого, ничего уютно-обыкновенного, что было в каждом из нас... Он не смеялся, не плакал, не разговаривал ни о чем, кроме еды, и мне казалось, что много лет он уже так бродит с места на место, оторвавшийся слон от семьи других слонов, не понимаемый никем и сам ничего не понимающий. Сейчас, среди ночи он представлялся мне сидящим в углу своей запертой комнаты и жалующимся самому себе на свою страшную судьбу.

— Зачем он обтирает шею мокрым горячим полотенцем? — пришло мне в голову.— Для чего это?

Я знал, что белых медведей в зверинцах, чтобы они не издохли, обливают холодной водой, и, не задумываясь, объяснил себе таким же образом и поведение Гржимбы.

— А вдруг,— подумал я,— горячая вода остынет и Гржимба умрет?

Мне было жаль его. Нянька тоже жалела его.

«Неприкаянный»... Это верно, что неприкаянный. Что-то он теперь делает?

А Гржимба как раз в это время стоял у дверей детской и грозил мне кулаком.

Я был уверен, что это сон, но оказалось, что поведение Гржимбы было явью. После мы выяснили, что Гржимба ночью бродил по комнатам и отыскивал съестное. Жильцы слышали его тяжелое хриплое дыханье в коридоре, а утром мать недосчитывалась в маленькой буфетной двух коробок сардин и банки варенья.

Коробки из-под сардин мы нашли в коридоре у его дверей. Очевидно, ключей для коробок у него не было, и он просто голыми пальцами разломил толстые жестяные коробки.

IV

Прошло три дня. Мать все время ходила мокрая от слез, потому что часть жильцов выехала, боясь за себя, а Гржимба не только не платил денег, но прямо разорял коммерческое предприятие матери.

Днем он съедал почти все, что было заготовлено в кухне, а ночью, когда все спали, бродил везде одинокий, чуждый, непонятный, бормоча что-то под нос, и отыскивал съестное. К утру в доме не было ни крошки.

На четвертый день мать, по категорическому требованию оставшихся жильцов, заявила полиции о происшедшем, и в тот же вечер я был свидетелем страшной сцены: явилась полиция — бравая, бесстрашная русская полиция и застала она дикого, слоноподобного жильца врасплох. Он был одинок и безоружен, а полицейских с дворниками собралось десять человек, не считая околоточного.

К Гржимбе постучали.

— К черту! — заревел он.

— Отворите,— сказал околоточный.

— Кто там? Ко всем чертям. Прошибу голову! Откушу пальцы! Проткну кулаком животы!

— Это я,— сказал околоточный.— Коридорный. Принес вам кой-чего поужинать...

За дверью послышалось урчанье, брань, и ключ повернулся в дверях.

Два дюжих городовых налегли на дверь, один просунул в щель носок сапога, и вся ватага с шумом вкатилась в комнату.

В комнате царила абсолютная темнота, а из одного угла за столом слышался страшный рев и проклятия, от которых дрожали стекла.

Черный гигант отломил кусок железной кровати и свирепо размахивал им, рыча, сверкая в темноте маленькими глазками.

— Бери его, ребята,— скомандовал околоточный.

Городовой подлез под стол, схватил громадные, как бревна, ноги и дернул... Гржимба пошатнулся, а в это время сзади, с боков обхватили его несколько дюжих рук и повалили на сломанную кровать. Он вырвался и еще долго сопротивлялся с глупым мужеством человека, не рассу-

ждающего, что организованной силе все равно придется покориться.

Когда его связали и вывели, комната имела такой вид, будто бы в ней взорвалась бомба. Мы, столпившись в углу, с ужасом смотрели на этого странного, никому не понятного человека, а он рычал, отплевывался и, вздергивая головой, поправлял сползавший цилиндр, поломанный и грязный, державшийся на той же широкой черной ленте.

— Что же с ним делать? — спросил старший городовой околоточного.

— В Харьков! — рявкнул Гржимба.

— Что — в Харьков?

— В Харьков! Отправьте! Туда хочу!

И его увели, — эту тяжелую пыхтящую гору, окруженную малорослыми победившими его городовыми.

В ту ночь мы с нянькой много плакали.

Я представлял себе громадного вечно голодного Гржимбу без папы, без мамы, без ласки — бедного нахального Гржимбу, который насильно внедряется в разные дома, а его ловят, вытаскивают оттуда, причем он безуспешно пытается сопротивляться, и потом его высылают в другой город, как тяжелого, никому не нужного слона... И так бродит из города в город одинокий Гржимба — таинственный осколок чего-то непонятного нам — того, что, может быть, было несколько тысяч лет тому назад.

Откуда Гржимба? Где он одичал?

Нянька тоже плакала.

ВИНО

I

Литератор Бондарев приехал в город Плошкин прочесть лекцию о современных литературных течениях.

На вокзале Бондарев был встречен плошкинским жителем Перекусаловым — ветеринарным врачом и старым гимназическим приятелем литератора.

Перекусалов так обрадовался встрече с Бондаревым, что от него даже немного запахло вином. Он обнял Бондарева,

отошел от него, раздвинул руки и, любуясь издали, со склоненной набок головой, сказал:

— Ах ты свинтус этакий! Эх ты собака! Как возмужал!.. Какой сделался знаменитый! Боюсь, что ты всех тут с ума сведешь!.. У меня остановишься?

— Нет, в гостинице,— пожимая руку Перекусалова, ответил Бондарев.— У тебя жена, дети, и я боюсь стеснить тебя. Приезжай вечером с женой на лекцию.

— Он еще приглашает! Не только я буду, но и инспектор народных училищ Хромов, и Федосей Иванович Коготь, и член управы Стамякин!! И жена Стамякина будет — прехорошенькое создание! Туземная царица красоты! Увидишь — влюбишься в нее, как собака. Вечером после лекции ко мне отправимся — отпразднуем приезд, как это говорится,— столичной звезды! Ах, как я тебя люблю и всегда любил, милый Бондарь!

— Ты уже... обедал? — спросил Бондарев.

— А что? Нет, брат... на дорогу посошок выпил — перед встречей-то. Едем сейчас в отель Редькина. Там уж и пообедаем.

Вечером, читая лекцию, Бондарев видел в первом ряду сияющего, торжественного Перекусалова, рядом с ним краснолицего мясистого человека, оказавшегося, как потом выяснилось, обладателем фамилии Коготь, а еще дальше — маленького хилого Стамякина с женой, которая действительно была на редкость красивой, интересной женщиной.

Все эти люди неистово аплодировали Бондареву, радостно шумели, а Стамякин даже втайне гордился, что близко знаком с Перекусаловым, который в таких дружеских отношениях со столь известным литератором...

После лекции все поехали к Перекусалову ужинать.

II

Сначала гости дичились Бондарева и жались по углам, но когда он рассказал два-три смешных анекдота и какой-то пикантный петербургский случай — все оттаяли.

Обильный ужин, украшенный десятком бутылок с различными этикетками и разнообразным содержимым, окончательно сломал лед.

Все зашевелились, оживились.

Бондарев, сидя рядом с обаятельной Стамякиной, не сводил с нее глаз, подливал ей вина и без умолку рассказывал о Петербурге, о себе, сообщал тысячу смешных, забавных вещей, отчего Стамякина, красиво усмехаясь, придвигалась незаметно к Бондареву ближе и изредка бросала на него из-под трепещущих ресниц сладкий, доходивший до самого сердца взгляд.

— Да ведь она прелестна,— думал Бондарев, оглядывая ее.— Хорошо бы увезти ее в Питер... Фурор бы...

Пили много, но никто, кроме хилого маленького Стамякина, не пьянел. Инспектор Хромов, сидевший сбоку Бондарева, бросал на него восторженные взгляды и все подстерегал удобный случай, чтобы вступить в разговор.

Подстерег. И спросил робко, тронув литератора за рукав:

— Как вам приходят в голову разные темы? Я бы думал, думал и целый век ничего не придумал!

— Профессиональная привычка,— благодушно ответил Бондарев.— Мы уже совершенно бессознательно всасываем все, что происходит вокруг нас,— впечатления, наблюдения, факты,— потом перерабатываем их, претворяем и отливаем в стройные художественные формы.

— Да... претворяем... в формы,— засмеялся инспектор.— В хорошую бы форму я бы претворил что-нибудь. Из всех редакций помелом бы выгнали.

Наливая своей соседке вино, Бондарев наклонился немного и шепнул одними губами, как шелест ветерка:

— Ми-ла-я...

Красивая Стамякина закрыла густыми ресницами глаза.

— Кто?

— Вы.

— Смотрите,— улыбнулась тихо и ласково Стамякина,— вы играете с огнем. Я опасна.

— Пусть. Я с детства любил пожары.

— А как вам платят за принятые сочинения в редакциях? — любовно смотря на Бондарева, спросил инспектор. — Авансом или после?

— Большей частью авансом,— улыбнулся Бондарев. — Мы стремимся вперед и спешим жить.

— По-моему,— заявил Хромов,— нужно бы людей, подобных вам, содержать за счет казны. Ешь, пей на казенный

счет, веселись и не думай о презренном металле! Пиши о чем хочешь и когда хочешь... Гм... Или вас должно содержать общество, которое вас читает.

— Это прекрасно,— сказал Бондарев,— пожимая под столом руку соседки.— Но это утопия.

— Конечно, утопия,— подтвердила Стамякина, гладя бондаревскую руку.

— Форменная утопия,— пожал плечами Бондарев, кладя руку на круглое колено соседки.

— Безусловная утопия,— кивнула головой соседка и попробовала потихоньку снять руку, которая жгла ее даже сквозь платье.

— Пусть так, как есть,— сказал Бондарев.

— Нет, так нельзя,— улыбнулась Стамякина.

— Нельзя? — вскричал инспектор Хромов.— А, ей-Богу, можно. Вот, например, где вы, Николай Алексеич, остановились?

— В отеле Редькина.

— И напрасно! И совершенно напрасно!! С какой стати платить деньги? Милый Николай Алексеич! Дайте слово, что исполните мою просьбу... Ну, дайте слово!

— Если в моих физических силах — исполню,— пообещал, сладко улыбаясь, Бондарев.

— Милый Николай Алексеич! Я преклоняюсь перед вами, перед вашим талантом. Сделайте меня счастливым... Бросьте вашего Редькина, переезжайте завтра утром ко мне!

— Да я ведь послезавтра вечером уезжаю, зачем же? — сказал Бондарев.

— Все равно! На один день! Если бы я был богат, я бы построил вам на берегу тихого моря мраморный дом и сказал бы: «Бондарев! Это ваше... Живите и пишите здесь, в этом доме!» Но я не богат и предлагаю вам более скромное помещение. Но от чистого сердца, Бондарев! А?

— Спасибо,— сказал тронутый Бондарев.— Если вам это доставит удовольствие — завтра же перееду к вам.

— Браво! — восторженно вскричал инспектор Хромов, шумно вскакивая с места.— Господа! Предлагаю выпить за здоровье того светлого луча, который на мгновение осветил нашу тусклую темную жизнь! Урра!

— Урра! — крикнули гости.

III

— Вы должны отказаться от своих слов! — бешено кричал бледный Перекусалов, тряся за плечо красного возбужденного Федосея Ивановича Когтя.

— Нет, не откажусь! — ревел Коготь.— Ни за что не откажусь! Хоть вы меня режьте — не откажусь! Зачем мне отказываться?

— Нет, ты откажешься!

— Нет-с, дудки. Вот еще какой! Не откажусь.

Прочие гости столпились около этой пары и миролюбиво уговаривали:

— Да бросьте! Чего там... Подумаешь!

— Будто дети какие!..

— Нет, я этого так не оставлю! Ты должен дать удовлетворение!

Коготь презрительно вздернул плечами.

— Когда и где угодно!

— Послушай,— сказал Бондарев, беря под руку Перекусалова.— В чем дело? Чего ты так разъярился?

— Он меня оскорбил,— тяжело задышал Перекусалов.— Такого рода оскорбления требуют для своего разрешения единственного пути! Ты, надеюсь, понимаешь?..

— Ффу, как глупо! Надеюсь, это все не серьезно?

— Что?? Ты что же думаешь, что если мы в медвежьем углу живем, то и вопросы чести разрешаем по-медвежьи: ударом кулака или показанием языков друг другу? Нее-т, брат!.. Я, может быть, закис здесь в глуши, но поставить на карту жизнь — если затронута честь — всегда сумею.

В глазах Перекусалова засветилось, засверкало что-то новое, красивое и необычное. Бондарев с уважением посмотрел на него.

— Надеюсь, ты не откажешься быть свидетелем с моей стороны?

Бондарев положил ему руку на плечо и сказал:

— Конечно. Я все это устрою. Но, скажи, пожалуйста... чем этот субъект тебя оскорбил? Может быть, пустяки?

— Нет, не пустяки! Вовсе не пустяки, Бондарев! Я не могу тебе сказать, что именно — мне это слишком тяжело — но не пустяки.

— Хорошо,— серьезно сказал Бондарев.— Тогда — решено! Завтра я заеду к тебе и сообщу о подробностях.

Гости стали торопиться домой.

Когда Стамякина хватилась мужа, то выяснилось, что он лежит в кабинете хозяина на диване. Когда его разбудили, он с трудом открыл глаза, заплакал и заявил, что пусть лучше завтра сошлют его на каторгу, чем сегодня поднимают с дивана.

— Завтра можете меня ругать, бить по лицу, унижать, но сегодня — я вас очень прошу — не трогайте меня... Все равно я сейчас же упаду и разобью голову до крови. Не трогайте меня, миленькие!

— Свинья! — прошептала Стамякина и взяла Бондарева под руку.— Вы не откажетесь проводить меня?

Сердце Бондарева сладко заколотилось.

— Вы... спрашиваете?.. Господи!

Когда ехали на извозчике, Бондарев держал красавицу за талию, а она смотрела ему в лицо отуманенными глазами и говорила:

— Вы мой господин! Вы приехали дерзко равнодушный, схватили мою жизнь, как хрупкий орех, и раздавили ее властной рукой. А я-то думала, что моя жизнь — крепкая, крепкая... прочная, прочная... Зачем вы сделали это?

— Настя... Если бы я тебе сказал: уедем со мной, брось все... ты бы бросила? Уехала?

— С тобой? В Лондон, на Луну; умерла бы, если бы ты умирал, плакала бы твоими слезами и смеялась бы твоим смехом...

Она взяла руку Бондарева, поднесла к губам и поцеловала два раза...

— Завтра я буду у тебя,— сказал Бондарев.— И завтра позову тебя. Пойдешь?

— Твоя.

IV

Утром, проснувшись, Бондарев долго лежал на кровати и мечтал.

— Подумать только, что среди тысячи заброшенных, забытых точек на необъятной Руси — есть одна точка: микроскопический город Плошкин. И здесь люди, как это

ни странно,— другие, и живут они и думают не захолустно: в один вечер я нашел и наивного фанатика, любителя литературы, моего восторженного поклонника, и смелую, с большим сердцем, женщину, и человека, готового рискнуть жизнью ради чести... И все это очень красиво и странно!

Он оделся, уложил в небольшой сак вещи и, расплатившись, вышел на улицу.

— Извозчик! Знаешь инспектора Хромова? Вези меня к нему!..

— Пожалуйте!

Хромова дома не было. Бондарева встретила бледная беременная жена инспектора и с пугливым недоумением осмотрела его.

— Мужа хотели видеть?

— Да видите ли...— нерешительно сказал Бондарев.— Ваш супруг пригласил меня вчера погостить у вас денек, вместо того чтобы жить в гостинице.— Я Бондарев.

— Вечно он...— печально качнула растрепанной головой хозяйка.— А разве в гостинице вам нехорошо было?

— Ничего себе... Но ваш супруг так настаивал...

— Охота вам было этого дурака слушать? Разве он что-нибудь понимает? Пригласил! У нас три комнаты всего, повернуться негде — изволите видеть! Вы уж меня извините, но, когда это сокровище вернется, я его съем за это!

— Приятного аппетита! — пожал плечами Бондарев, повернулся и вышел.— Действительно,— подумал он, — идиот какой-то... Очень нужно было принимать его приглашение. Изво-озчик, черт! Свободен? Вези меня к Когтю. Знаешь — Федосеем зовут. Иванычем.

— Господи ж! — высморкался извозчик.— Завсегда.

— С этой дуэлью еще запутался... черт знает, что такое! Если бы не дал Перекусалову слова — сразу бы плюнул на все. А то теперь мотайся, как дурак...

Мимоходом он заехал к какому-то доктору. Долго объяснял ему относительно дуэли, а доктор прихлебывал светлый чай и молча слушал.

— Так как же, а? Вы не бойтесь. Вам, как врачу, не грозит никакая ответственность.

Доктор встал, протянул литератору руку и сказал:

— Плюньте!

И ушел во внутренние комнаты.

— Порядки! — размышлял Бондарев, трясясь на извозчике по направлению к Когтю. — Тут, пожалуй, и пистолетов не достанешь...

Коготь встретил Бондарева радостно.

— А-а!.. Литератор! Звезда! Садитесь. Чаишки хотите?

— Спасибо,— сказал Бондарев.— Я, собственно, насчет выработки условий...

— Условий? Которых?

— По поводу дуэли.

— Какой дуэли?

— Да вчера же! Перекусалов вызвал вас, и вы приняли вызов.

— Юморист вы,— сказал одобрительно Коготь, — вечно у вашего брата закавыки.

— Какие закавыки? Есть случаи, когда полагается быть серьезным. Надеюсь, вы не отказываетесь от дуэли?

— Вы... в самом деле?

Коготь загрохотал, обрушился на диван, закашлялся от стремительного хохота и заболтал мясистыми ногами.

— Зарезал литератор! Уморил! Так Петька меня на дуэль вызвал? Го-го!

— В чем дело? — закричал Бондарев.

— Вот — голубчик: режьте меня, жгите — буквально-таки, ни капелюшечки не помню!! Где, когда, что? Правда, пили мы, как носороги. А скажите, милый... Мы... не дрались?

— Нет,— сухо сказал Бондарев.— В таком случае, прощайте.

Злой, поехал Бондарев к Перекусалову.

Тот еще лежал в кровати.

— Скажи,— спросил сердито Бондарев,— ты помнишь, как вчера вызвал господина Когтя на дуэль?

— Неужто вызвал? — удивился Перекусалов.— За что, не помнишь?

— Это тебе лучше помнить! — закричал Бондарев.— Это ты заставил меня сегодня дурака валять, ездить к доктору, к твоему противнику, который тоже решительно отперся от всякой дуэли. Как это глупо, как пошло!

— Ты... доктора ездил приглашать? — дико посмотрел на литератора Перекусалов. Закрыл голову одеялом и захохотал стонущим, охающим смехом.

— О-ой, не могу! О-ой, смерть пришла!

Бондарев злобно ударил его по голове, выбежал на улицу и вскочил на извозчика.

— На вокзал! Или нет... Постой... Ты знаешь, где Стамякин живет? Вези к ним.

Стамякина не было дома. Красавица вышла к Бондареву, кокетливо кутаясь в розовый капот и щуря темные глаза.

— Кого я вижу! Какой вы милый, что заехали!

— Настя! — сказал страдальчески Бондарев, целуя ее руки. — Я только сегодня понял, среди какого ужаса, среди какой тины и пошлости ты живешь! Настя! уедем со мной...

Она высвободила свои руки, погрозила ему пальцем и мягко, как кошечка, опустилась на диван.

— Ответьте мне на один вопрос...

— Спрашивай все, что угодно. Милая!

— Сколько вы зарабатываете в год?

— Зачем тебе? Тысяч пять-шесть...

— Ну, будем благоразумны... Вы предлагаете мне уехать с вами. Вы, не спорю, мне нравитесь... Но что же будет!! Положение всеми уважаемой жены известного в городе человека я переменю на какое-то жалкое, двусмысленное положение — любовницы человека, который ведь может меня и разлюбить. И — что такое 6 тысяч? Мы здесь проживаем восемь, а в Петербурге — чтобы жить так, нужно двенадцать. Ну, милый... Ну, не сердитесь же! Будьте рассудительны...

— Настя! — закричал в ужасе Бондарев. — Грежу я, что ли? Где же вчерашнее?!

Она погрозила ему пальчиком.

— Вчерашнее? Не нужно было подливать мне так много вина за ужином.

V

Хотя Бондарев старался уехать из Плошкина незаметно, но провожать его собралась вся вчерашняя компания.

В буфете пили вино. Общество оживилось.

— Милый Николай Алексеич, — сказал любовно инспектор Хромов, — по-моему, несправедливо, что министерство путей сообщения берет с таких людей, как вы, деньги за проезд. Таких людей нужно возить бесплатно, в купе первого класса.

— Эх! — простонал Перекусалов, опуская голову. — Он хоть и вторым классом поедет, но едет на красивую, инте-

ресную жизнь. Ах, братцы, если бы вы знали, как я тянусь к красоте!!

— Красота — это страшная сила! — подтвердил Коготь, выпивая залпом вино.

Красивая Стамякина нагнулась к Бондареву, чокнулась с ним рюмкой и шепнула:

— Скажите на прощанье что-нибудь такое, отчего мне было бы хорошо... Что скрасило бы мою глупую жизнь.

— Могу! — громко засмеялся Бондарев. — Господа! Пейте больше! Много пейте! Как можно больше...

ЧУДЕСА

То, что случилось со мной в первый день Пасхи, — навсегда поселило в моей душе убеждение, что есть такие странные необъяснимые явления в нашей жизни, которые не поддаются самому внимательному анализу и перед которыми мы стоим, как перед загадочной завесой, скрывающей за собой целый ряд удивительных чудес и тайн.

Мы стоим перед этой завесой, недоумевающие, с пальцем, положенным на полураскрытые уста, и с тоской спрашиваем:

— Что же?! Что это было?

И молчит завеса.

Был первый день Пасхи. 12 часов пополудни.

Я стоял перед зеркалом во фраке, свежевыбритый, в чудесном настроении, так как был я молод, стояла весна, и теплое солнце матерински ласкало всякого, кто подвертывался под его лучи.

Сначала поехал я к Болдыревым. Мать семейства и дочери приняли меня весело, радостно, все насквозь пронизанные весенним светом и радостью красивого праздника...

Просидел я у них даже больше положенного на визиты срока, что-то около получаса. Закусывали.

Когда я вышел от них, настроение у меня было прекрасное, а стоявший на углу извозчик в новом армяке, с примазанными маслом волосами, умилил и рассмешил меня своей праздничностью и своим видом человека, понимающего серьезность ниспосланного Богом праздника.

Мне пришло в голову невинно подшутить над ним, таким торжественным и строгим.

— Извозчик! — сказал я, подходя. — С Новым годом!

Он посмотрел на меня, пожал плечами и солидно ответил:

— Воистину Воскресе!

— Хорошая у тебя лошадь, — сказал я. — Какой породы? Лягавая?

— Работницкая.

— Бегать умеет?

— Побежит.

У него был такой солидный, приличный вид, что мне сделалось стыдно своих шуток. Я протянул ему руку и сказал:

— Прощай брат. Кланяйся там отцу, дедушке.

— Покорниче благодарим. Дед вымер нынче.

Я сочувственно вздохнул и отошел.

Потом сидел у Крамалюхиных. Удивительная вещь — Пасха! Встретили меня как родного, тогда как в обычное время отношения наши не выходили за рамки простого холодного знакомства.

Жена Крамалюхина отказалась христосоваться...

— А я все-таки поцелую вас, — улыбаясь, сказал я.

— Да как же вы меня поцелуете, если я не хочу?

— А я все-таки поцелую.

— Не понимаю, право...

Я рассмеялся. Чудачка и не думала, что это так просто.

— Ей-Богу, поцелую!!

— Право... мне даже странно...

Она отвернулась, а я воспользовался этим моментом и поцеловал ее в шею.

— Ого! — сказал муж.

Я залился смехом.

— Ну? А говорили — не похристосуюсь. Вот и похристосовался!

— Однако, — сказал муж.

— Не правда ли? Хе-хе. Стоит только захотеть. Кстати, — вспомнил я. — Знаете вы анекдот о «стоит только захотеть»?

— Какой анекдот?

— Я вам расскажу..

Мне пришло в голову, что анекдот этот не совсем приличен и при даме рассказать его неудобно. Но эту мысль заменила другая:

— В сущности, ведь она замужняя и прекрасно все должна понимать...

И я сказал вслух:

— Анна Петровна! Разрешите рассказать этот смешной анекдот при вас. Правда, он немножко, как это говорится, того,— ну, да ведь и вы хе-хе — не девочка же. Я думаю,— прекрасно все понимаете, а?

Я, улыбаясь, заглядывал ей в лицо, а она встала и неожиданно куда-то вышла.

— Странная она какая-то сегодня,— удивился я.

— Это вы ее со своим анекдотом прогнали,— объяснил муж.— Нельзя же при дамах неприличные анекдоты рассказывать.

На меня от этих слов сразу повеяло такой непроходимой пошлостью узких мещанских узаконений и копеечной моралью людей, зарывшихся в свое грошовое мещанское благополучие, что я не выдержал и сказал:

— Почему? Ну, будем, дорогой Илья Ильич, откровенны хоть раз в жизни. Ведь не институтка же ваша жена? Представьте, если бы я был ее любовником — она бы выслушала от меня этот анекдот и только бы посмеялась. Я буду говорить, извините меня, просто: то, что мы с ней чужие,— это простой случай! Конечно, я не говорю...

Муж хотел что-то возразить, но в это время вошла жена.

— Ильюша! Тебя сейчас просят по важному делу к Дебальцевым. Нужно тебе сейчас ехать, а мне уже пора в театр на дневное представление.

— Простите,— сказал я.— Я не буду вас задерживать. Только какие же сегодня театры? В первый день театров не бывает.

— Бывает.

— Уверяю вас — не бывает. Я это хорошо знаю. Вас, наверное, обманули!

Она закусила губу:

— Ну, один театр все-таки открылся.

Прекрасно зная, что в первый день в театрах не играют, я был поражен до глубины души. Очевидно, Анна Петровна была жертвой чьей-то глупой шутки.

— Это надо выяснить,— сказал я.— Вы позволите мне поехать с вами? Нет ли здесь какой-нибудь глу-

пой шутки или чего-нибудь еще похуже. Дело в том, что я могу поклясться, что в первый день ни в каких театрах не играют.

— Это театр в частном доме,— сказала она, задумчиво отворачиваясь.

— Ах, так?.. А что идет?

— Эта... Сирано-де-Бержерак.

— Прекрасно! Я давно хотел видеть эту пьеску (отчего бы мне не посмотреть ее? — подумал я). Слушайте, поедем вместе.

— Это неудобно,— быстро ответила она.— Я по приглашению.

— Пустяки! Я заплачу десять рублей. В пользу там каких-нибудь вдов или сирот. Вот. Получите!

Вынув десять рублей, я пытался всунуть их ей в руку, но она не взяла.

— Стесняетесь от молодого человека деньги получать? — пошутил я.— Явление в наш практический век беспримерное! Ну, прощайте. Не буду вас задерживать.

Я вышел. Так как следующий визит был у меня намечен в книжке «к Ахеевым», я взял извозчика и поехал.

Несмотря на теплый ясный воздух, мне почему-то взгрустнулось.

— В сущности,— подумал я,— к чему это все? Все эти визиты, окорока, английская горькая, христосование? Ведь все равно все умрут. И я умру... И извозчик умрет.

Сердце мое охватила смертельная жалость к этому понуренному, терпеливо сидящему на козлах человеку, который должен умереть, и — ни одна душа о нем не вспомнит. После безрадостной жизни — безвестная смерть!

— Извозчик! — предложил я.— Хочешь я доставлю тебе удовольствие?

— Какое? — обернулся он.

— Хочешь, я тебя покатаю? Ты садись на мое место, а я на твое. Хочешь.

— Нельзя. Обштрахуют.

Мне до слез было жаль этого покорного печального человека.

— На сколько? — спросил я. — Ну, самое большее, на двадцать пять рублей? Так получай их! А теперь — пересаживайся!

Может быть, с точки зрения уличного благоприличия это и было странно, но моральная красота моего поступка искупала какие-то глупейшие уличные правила, и я, без тени смущения, перелез на козлы.

Уличные моралисты, — судите меня!

Я довез извозчика до самого подъезда Ахеевых и, остановившись, слез. И неожиданно в голову мне пришла простая человеческая мысль, центром которой был оправлявший в этот момент сбрую извозчик.

— Извозчик, — подумал я, — такой же человек, как и другие... Почему я могу войти к Ахеевым, а он не может? Потому что на нем грубый армяк и что он крестьянин? А Кольцов? А Никитин? И я спрошу их прямо: вот вы, господа, либеральничаете, говорите о меньшем брате... А посадите ли вы его с собой за стол?

Уговорить извозчика стоило мне больших трудов. Наконец он согласился, и я, демонстративно обвив рукой его шею, чтобы еще больше подчеркнуть равность наших положений, вошел с ним к Ахеевым.

У них были гости: какой-то старец и толстая дама.

— Здравствуйте! — сказал я громко. — Христос Воскресе! Вот вы, господа, либеральничаете, говорите о меньшем брате... А посадите ли вы его с собой за стол?

Остановившись посреди комнаты, мы с извозчиком внимательно следили за выражением лиц хозяев.

— Отчего же, — сказал Ахеев. — Теперь такой праздник, что мы всякому рады. Садитесь.

— Не бойся, милый, — дружелюбно толкнул я извозчика в спину. — Садись. Я знаю, что у этих добрых людей слово не расходится с делом. Дайте моему другу извозчику стакан коньяку.

И так как я решил идти до конца, то попросил:

— И не какой-нибудь дряни, а лучшей марки. Он такой же человек, как и мы.

Извозчик принялся за еду и питье, а мы сидели и молчали. Смотрели на него...

Но было скучно. Я это чувствовал.

— Отчего вы все такие скучные? — спросил я. — В жизни так мало радости, что смех и веселье нужно изобретать.

Толстая дама улыбнулась.

— Посоветуйте, что делать. А мы уже повеселимся.

— Итальянцы любят шутки, мистификации,— сказал я,— а мы не любим. Давайте сделаем какую-нибудь мистификацию!

— Какую?

Я обвел глазами стол.

— Можно устроить мистификацию для визитеров. Смотрите: вино из бутылок можно вылить — заменить уксусом, сырную пасху посыпать солью и перцем, в окорок, вместо гвоздики, натыкать маленьких гвоздиков, а куличи выдолбить внутри и насыпать туда земли с цветочных горшков и окурков.

Я расхохотался.

— Вообразите их удивление, когда они начнут есть и пить. Ха-ха! Я вам сейчас это все устрою.

— Да не надо,— сказал Ахеев.

— Почему же не надо? Надо. Вы увидите, как это будет превесело.

Я опрокинул цветочный горшок и, высыпав землю, стал поливать ее мадерой.

Произошла глупейшая сцена: хозяин вырвал у меня бутылку и бестактно крикнул:

— Не смейте этого делать!

— Почему? вы же просили... мистификацию...

Он вырвал у меня кулич, верхушку которого я успел уже снять, и крикнул:

— Убирайтесь вон!

Я изумленно посмотрел на него.

— Вы сумасшедший! Я же вас не трогаю!

— Пойдем,— сказал извозчик.

Я посмотрел на лицо хозяина, который, казалось, готов был перервать глотку за какой-то кулич и початую бутылку скверной мадеры,— и мне сделалось противно сидеть среди этих людей... И мучительная, тяжелая тоска охватила мою душу.

— Жалкие вы черви! — с отвращением сказал я.— Идем, мой друг. Ты еще не сыт? Эй, вы! — надменно продолжал я.— Я беру у вас эту колбасу, жареную курицу, бутылку коньяку и графин водки. Не беспокойтесь — плачу. Человек с душой торгаша! Получите двенадцать рублей... Ха-ха! Сдачи не надо.

Вконец уничтоженный хозяин и гости не смели посмотреть мне в глаза. Хозяину, очевидно, было смертельно неловко за свой бестактный поступок с куличом.

Мы подошли к пролетке, и я разложил на сиденье собранные с собой припасы...

— Ешь, извозчик, пей. А я посижу около лошади, постерегу, чтобы ее не украли конокрады.

В то время в городе свирепствовала шайка конокрадов, и поэтому моя боязнь этих дьявольски хитрых людей была небезосновательной.

Извозчик пил коньяк прямо из бутылки, а я сидел у ног лошади, глядел на него и думал:

— Вот кто никогда не покинет меня! Из таких именно самородков, черноземных людей и выходят честные старые преданные слуги.

Будущее показало, что я не ошибался.

— С визитами я не поеду! — сказал я сам себе. — Пора уже прекратить этот глупейший обычай.

О, традиции, всосанные с молоком матери! В душе все-таки было смутное неопределенное чувство боязни, что знакомые обидятся, если я о них не вспомню. Но этому горю можно было помочь.

Мимо проходил рассеянный сосредоточенный человек без шапки. Я остановил его.

— Милый! Вот тебе записная книжка... Сделай по ней вместо меня визиты. Тут у трех я уже был, а у остальных не был. А это тебе за труды. Двадцать рублей. Довольно? Скажи, что я, мол, кланяюсь... Не забудешь?

Он молча взял деньги, книжку и ушел. Будто гора свалилась с моих плеч.

Солнце склонялось к закату. Какая-то тихая, неопределенная грусть вползла в душу. Мы сидели с извозчиком у колес пролетки, и каждый думал о своем.

— Спой мне, — тихо попросил я, очнувшись, — что-нибудь тихое, задушевное, отчего бы душа сладко и больно сжималась.

Извозчик послушно открыл рот и запел. Глухие надтреснутые звуки выходили, разливаясь в предвечернем воздухе. Но вот они окрепли, зазвенели — и полилась широкая безудержная русская песня.

— И-и-э-э-ух — ха! га-а-а,— пел извозчик, и тихо припал, притаился истомленный солнцем воздух.

— Кто здесь песни орет? А? Отчего ты не на козлах? — раздался сверху чей-то грубый голос.— В участок захотел, полосатый черт.

Мы вскочили.

Перед нами стоял грубый, с красным лицом, городовой и махал кулаком.

— Вы кричать не имеете права,— возразил я.— А если вы оскорбили моего товарища, назвав его полосатым чертом, то он выше этого. Стыдно ругаться! Вы себя этим унизили, а не его. Сами вы полосатый невыносимый дурак!

— А-га-га! — завопил городовой.— Ругаться? Пойдем!

Я вырвался из его рук, ударил его кулаком в лицо, отчего он упал, отбежал в сторону и крикнул своему другу извозчику:

— Спасайся! Бежим! Против нас целый заговор — я все понял! Держись около меня.

И мы побежали.

На нашем пути встретилась какая-то церковь.

— Храм Божий! Сюда! — скомандовал я.— Здесь мы в сравнительной безопасности.

— Пойдем на колокольню,— предложил извозчик.

— Прекрасно! Беги вперед!

Колокольня была открыта. Мы вбежали по узкой лесенке и захлопнули за собой обе двери. В глазах моего спутника горело мужество, а его беззаветная храбрость ободряла и меня, усталого, измученного...

— Часов пять мы здесь продержимся,— сказал я. — А там придет подмога. Мои молодцы не дремлют.

Мы залегли на колокольне.

Я отламывал кирпичи на случай защиты от неожиданного нападения, а мой верный извозчик схватился за язык большого колокола и, раскачав его, зазвонил тревожно и громко.

— Надо бы так устроить,— посоветовал я,— чтобы наши друзья услышали эти призывные звуки, а враги не догадались, где мы.

Извозчик обещал приложить к этому все усилия и зазвонил еще громче. Я выглянул в амбразуру окна.

— Идут! Борись, брат! Мужайся.

Мы поцеловались, схватили кирпичи и осыпали ими черную толпу врагов, глухо шумевшую внизу.

— Сдавайтесь! — крикнули они.

— Ни за что! — отвечал я, высовываясь. — Лучше смерть, чем позор.

Извозчик прищурился и бросил в них кирпичом; потом сел под колокол и сразу, как мертвый, уснул.

— Борись, Петя,— посоветовал я, прилег у окна и положил голову на какую-то скамеечку.

Что было дальше — не помню.

Если бы все случившееся произошло глухою ночью, когда осенний ветер дует в трубы и темные силы справляют свой дикий шабаш, туманя и мороча человека, сбитого ими с толку,— это еще было бы допустимо.

Но как могло случиться среди бела дня то, что рассказано выше, я до сих пор не могу объяснить.

И стоим мы теперь с моим другом извозчиком, недоумевающие, с пальцами, положенными на полураскрытые уста, и с тоской спрашиваем:

— За что? На два месяца? За что же, Господи?

ПЕТУХОВ

I

Муж может изменять жене сколько угодно и все-таки будет оставаться таким же любящим, нежным и ревнивым мужем, каким он был до измены.

Назидательная история, случившаяся с Петуховым, может служить примером этому.

. . . .

Петухов начал с того, что, имея жену, пошел однажды в театр без жены и увидел там высокую красивую брюнетку. Их места были рядом, и это дало Петухову возможность,

повернувшись немного боком, любоваться прекрасным мягким профилем соседки.

Дальше было так: соседка уронила футляр от бинокля — Петухов его поднял; соседка внимательно посмотрела на Петухова — он внутренно задрожал сладкой дрожью; рука Петухова лежала на ручке кресла — такую же позу пожелала принять и соседка... а когда она положила свою руку на ручку кресла — их пальцы встретились.

Оба вздрогнули, и Петухов сказал:

— Как жарко!

— Да,— опустив веки, согласилась соседка.— Очень. В горле пересохло до ужаса.

— Выпейте лимонаду.

— Неудобно идти к буфету одной,— вздохнула красивая дама.

— Разрешите мне проводить вас.

Она разрешила.

В последнем антракте оба уже болтали как знакомые, а после спектакля Петухов, провожая даму к извозчику, взял ее под руку и сжал локоть чуть-чуть сильнее, чем следовало. Дама пошевелилась, но руки не отняла.

— Неужели мы так больше и не увидимся? — с легким стоном спросил Петухов.— Ах! Надо бы нам еще увидеться.

Брюнетка лукаво улыбнулась:

— Тссс!.. Нельзя. Не забывайте, что я замужем.

Петухов хотел сказать, что это ничего не значит, но удержался и только прошептал:

— Ах, ах! Умоляю вас — где же мы увидимся?

— Нет, нет,— усмехнулась брюнетка.— Мы нигде не увидимся. Бросьте и думать об этом. Тем более что я теперь каждый почти день бываю в скетинг-ринге.

— Ага! — вскричал Петухов.— О, спасибо, спасибо вам.

— Я не знаю — за что вы меня благодарите? Решительно недоумеваю. Ну, здесь мы должны проститься! Я сажусь на извозчика.

Петухов усадил ее, поцеловал одну руку, потом, помедлив одно мгновение, поцеловал другую.

Дама засмеялась легким смехом, каким смеются женщины, когда им щекочут затылок,— и уехала.

II

Когда Петухов вернулся, жена еще не спала. Она стояла перед зеркалом и причесывала на ночь волосы.

Петухов, поцеловав ее в голое плечо, спросил:

— Где ты была сегодня вечером?

— В синематографе.

Петухов ревниво схватил жену за руку и прошептал, пронзительно глядя в ее глаза:

— Одна?

— Нет, с Марусей.

— С Марусей? Знаем мы эту Марусю!

— Я тебя не понимаю.

— Видишь ли, милая... Мне не нравятся эти хождения по театрам и синематографам без меня. Никогда они не доведут до хорошего!

— Александр! Ты меня оскорбляешь... Я никогда не давала повода!!

— Э, матушка! Я не сомневаюсь — ты мне сейчас верна, но ведь я знаю, как это делается. Ха-ха! О, я прекрасно знаю вас, женщин! Начинается это все с пустяков. Ты, верная жена, отправляешься куда-нибудь в театр и находишь рядом с собой соседа, этакого какого-нибудь приятного на вид блондина. О, конечно, ты ничего дурного и в мыслях не имеешь. Но, предположим, ты роняешь футляр от бинокля или еще что-нибудь — он поднимает, вы встречаетесь взглядами... Ты, конечно, скажешь, что в этом нет ничего предосудительного? О, да! Пока, конечно, ничего нет. Но он продолжает на тебя смотреть, и это тебя гипнотизирует... Ты кладешь руку на ручку кресла и — согласись, это очень возможно — ваши руки соприкасаются. И ты, милая, ты (Петухов со стоном ревности бешено схватил жену за руку) вздрагиваешь, как от электрического тока. Ха-ха! Готово! Начало сделано!! «Как жарко»,— говорит он. «Да,— простодушно отвечаешь ты.— В горле пересохло...» — «Не желаете ли стакан лимонаду?» — «Пожалуй...»

Петухов схватил себя за волосы и запрыгал по комнате. Его ревнивый взгляд жег жену.

— Леля,— простонал он.— Леля! Признайся!.. Он потом мог взять тебя под руку, провожать до извозчика и даже — негодяй! — при этом мог добиваться: когда и где вы можете

встретиться. Ты, конечно, свидания ему не назначила — я слишком для этого уважаю тебя, но ты могла, Леля, могла ведь вскользь сообщить, что ты часто посещаешь скетинг-ринг или еще что-нибудь... О, Леля, как я хорошо знаю вас, женщин!!

— Что с тобой, глупенький? — удивилась жена. — Ведь этого же всего не было со мной...

— Берегись, Леля! Как бы ты ни скрывала, я все-таки узнаю правду! Остановись на краю пропасти!

Он тискал жене руки, бегал по комнате и вообще невыносимо страдал.

III

Первое лицо, с которым встретился Петухов, приехав в скетинг-ринг, была Ольга Карловна, его новая знакомая.

Увидев Петухова, она порывистым искренним движением подалась к нему всем телом и с криком радостного изумления спросила:

— Вы? Каким образом?

— Позвольте быть вашим кавалером?

— О, да. Я здесь с кузиной. Это ничего. Я познакомлю вас с ней.

Петухов обвил рукой талию Ольги Карловны и понесся с ней по скользкому блестящему асфальту.

И, прижимая ее к себе, он чувствовал, как часто-часто под его рукой билось ее сердце.

— Милая! — прошептал он еле слышно. — Как мне хорошо...

— Тссс... — улыбнулась розовая от движения и его прикосновений Ольга Карловна. — Таких вещей замужним дамам не говорят.

— Я не хочу с вами расставаться долго-долго. Давайте поужинаем вместе.

— Вы с ума сошли! А кузина! А... вообще...

— «Вообще» — вздор, а кузину домой отправим.

— Нет, и не думайте! Она меня не оставит!

Петухов смотрел на нее затуманенными глазами и спрашивал:

— Когда? Когда?

— Ни-ког-да! Впрочем, завтра я буду без нее.

— Спасибо!..

— Я не понимаю, за что вы меня благодарите?

— Мы поедем куда-нибудь, где уютно-уютно. Клянусь вам, я не позволю себе ничего лишнего!!

— Я не понимаю... что вы такое говорите? Что такое — уютно?

— Солнце мое лучистое! — уверенно сказал Петухов.

....

Приехав домой, он застал жену за книжкой.

— Где ты был?

— Заезжал на минутку в скетинг-ринг. А что?

— Я тоже поеду туда завтра. Эти коньки — прекрасная вещь.

Петухов омрачился.

— Ага! Понимаю-с! Все мне ясно!

— Что?

— Да, да... Прекрасное место для встреч с каким-нибудь полузнакомым пройдохой. У-у, подлая!

Петухов сердито схватил жену за руку и дернул.

— Ты... в своем уме?

— О-о,— горько засмеялся Петухов,— к сожалению, в своем. Я тебя понимаю! Это делается так просто! Встреча и знакомство в каком-нибудь театре, легкое впечатление от его смазливой рожи, потом полуназначенное полусвидание в скетинг-ринге, катанье в обнимку, идиотский шепот и комплименты. Он — не будь дурак — сейчас тебе: «Поедем куда-нибудь в уютный уголок поужинать». Ты, конечно, сразу не согласишься...

Петухов хрипло, страдальчески засмеялся.

— Не согласишься... «Я,— скажешь ты,— замужем, мне нельзя, я с какой-нибудь дурацкой кузиной!» Но... змея! Я прекрасно знаю вас, женщин,— ты уже решила на другой день поехать с ним, куда он тебя повезет. Берегись, Леля!

Растерянная, удивленная жена сначала улыбалась, а потом, под тяжестью упреков и угроз, заплакала.

Но Петухову было хуже. Он страдал больше жены.

IV

Петухов приехал домой ночью, когда жена уже спала. Пробило три часа.

Жена проснулась и увидела близко около себя два горящих подозрительных глаза и исковерканное внутренней болью лицо.

— Спите? — прошептал он. — Утомились? Ха-ха. Как же... Есть от чего утомиться! Страстные, грешные объятия — они утомляют!!

— Милый, что с тобой? Ты бредишь?

— Нет... я не брежу. О, конечно, ты могла быть это время и дома, но кто, кто мне поклянется, что ты не была сегодня на каком-нибудь из скетинг-рингов и не встретилась с одним из своих знакомых?! Это ничего, что знакомство продолжается три-четыре дня... Ха-ха! Почва уже подготовлена, и то, что ты говоришь ему о своем муже, о доме, умоляешь его не настаивать — это, брат, последние жалкие остатки прежнего голоса добродетели, последняя, никому не нужная борьба...

— Саша!!

— Что там — Саша!

Петухов схватил жену за руку выше локтя так, что она застонала.

— О, дьявольские порождения! Ты, едучи даже в кабинет ресторана, твердишь о муже и сама же чувствуешь всю бесцельность этих слов. Не правда ли? Ты стараешься держаться скромно, но первый же бокал шампанского и поцелуй после легкого сопротивления приближает тебя к этому ужасному проклятому моменту... Ты! Ты — чистая, добродетельная женщина только и находишь в себе силы, что вскричать: «Боже, но ведь сюда могут войти!» Ха-ха! Громадный оплот добродетели, который рушится от повернутого в дверях ключа и двух рублей лакею на чай!! И вот — гибнет все! Ты уже не та моя Леля, какой была, не та, черт меня возьми!! Не та!!

Петухов вцепился жене в горло руками, упал на колени у кровати и, обессиленный, зарыдал хватающим за душу голосом.

V

Прошло три дня.

Петухов приехал домой к обеду, увидел жену за вязаньем, заложил руки в карманы и, презрительно прищурившись, рассмеялся:

— Дома сидите? Так. Кончен, значит, роман! Недолго же он продолжался, недолго. Ха-ха. Это очень просто... Стоит ему, другу сердца, встретить тебя едущей на извозчике по Московской улице чуть не в объятиях рыжего офицера генерального штаба,— чтобы он написал тебе коротко и ясно: «Вы могли изменить мужу со мной, но изменять мне со случайно подвернувшимся рыжеволосым сыном Марса — это слишком! Надеюсь, вы должны понять теперь, почему я к вам совершенно равнодушен и — не буду скрывать — даже ощущаю в душе легкий налет презрения и сожаления, что между нами была близость. Прощайте!»

Жена, приложив руку к бьющемуся сердцу, встревоженная, недоумевающая, смотрела на Петухова, а он прищелкивал пальцами, злорадно подмигивал ей и шипел:

— А что — кончен роман?! Кончен?! Так и надо. Так и надо! Го-го-го! Довольно я, душа моя, перестрадал за это время!!

СЛУЧАЙ С ПАТЛЕЦОВЫМИ

Что может быть хорошего
из Назарета?

Глава I

Ключи

Однажды летом в одиннадцать часов вечера супруги Патлецовы сидели на ступеньках парадной лестницы в трех шагах от своей квартиры — и ругались.

— В конце концов,— бормотал Патлецов,— это даже удивительно: стоит только поручить что-либо женщине, и она приложит все усилия, чтобы исполнить это как можно хуже и глупее!..

— Молчал бы лучше,— угрюмо отвечала жена,— уже достаточно одного того, что мужчины картежники и пьяницы.

Муж горько, страдальчески засмеялся:

— В огороде бузина, а в Киеве дядька... Представьте себе,— обратился он к угловому солидному столбику на перилах, так как ничего другого поблизости не было,— представьте,

что я, выходя днем с нею из дому, вышел первый, а ее попросил запереть парадную дверь и ключи взять с собой... Что же она сделала? Ключи забыла внутри, в замочной скважине, захлопнула дверь на английский замок, а ключик от него висит тоже внутри, на той стороне дверей. Как вам это покажется?

Солидный столбик от перил даже не улыбнулся, храня полное молчание, свойственное субъектам этого типа, а Патлецов, стремясь излить душу, не смутился молчанием собеседника и продолжал:

— И представьте, чем эта женщина оправдывается?! А вы, говорит, картежники! Логично, доказательно, всеобъемлюще!

Госпожа Патлецова хлопнула кулаком по молчаливому слушателю своего мужа и, энергично обернувшись, спросила:

— Скажи: чего ты от меня хочешь?

— Мне было бы желательно знать, как мы попадем в квартиру?

Жена задумалась.

— Это ты виноват! Ты отпустил прислугу до завтра — ты и виноват. Если бы она была внутри, она бы открыла нам.

— Видели? — обратился к своему единственному другу столбику Патлецов и заскрежетал зубами... — Я виноват, что отпустил прислугу?! А она ее нанимала — значит, она и виновата! А какой-то глупый англичанин изобрел английский замок, он и виноват?!

— Недаром я так не хотела выходить за тебя замуж, — возразила жена. — Если бы не вышла — ничего бы и не было...

— Что? Как вам это понравится?..

Если бы у столбика было какое-нибудь отверстие сверху — он зевнул бы им. Так все это было скучно...

После долгого саркастического разговора Патлецов предложил жене два проекта: поехать до утра в гостиницу или переночевать тут же, на площадке лестницы у дверей.

Первый проект был забракован на том основании, что ездить по гостиницам неприлично; за второй проект автор его удостоился одного только краткого слова:

— Ду-рак.

— Ну что ж, — кротко улыбнулся Патлецов. — Если я дурак, а ты умная, придумай сама выход. А я вздремну...

Он прислонился к перилам и действительно задремал. Его разбудил плач.

— Ты чего?

— Мне страшно. Ступай за слесарем.

— Да какой же слесарь в двенадцатом часу. Все честные слесаря спят...

— Бери хоть нечестного. Мне все равно!

Муж улыбнулся:

— Вот если бы сейчас поймать вора с отмычками, он бы оборудовал все это моментально.

— Поймай вора.

— Что ты, милая... Как же это так: поймай вора!.. Что это, блоха на теле, что ли? Где я его ловить буду?

И тут же Патлецов немедленно вспомнил: за углом той большой улицы, где они жили, был грязный переулок, а в переулке помещался трактир «Назарет», пользовавшийся самой печальной, скверной репутацией. Говорили, что в трактире гнездились разные темные личности, жулики не у дел и карманщики, проживавшие здесь дневную добычу.

Сначала то, о чем думал Патлецов, показалось ему неимоверно глупым, чудовищным, а потом, когда он поразмыслил минут десять, план стал казаться гораздо проще и исполнимее.

— Во всяком случае, — усмехнулся про себя Патлецов, — это оригинально и, во всяком случае, никакого другого выхода, кроме гостиницы, которую эта дура отвергает, нет!

Он сказал жене, что пойдет поискать слесаря, спустился с лестницы и исчез.

Глава II

«Назарет»

Теплый, влажный, пропитанный невыносимым запахом прокисшего пива и старых закусок воздух окутал Патлецова, когда он открыл темную, липкую дверь.

На первый взгляд в «Назарете» не было ничего страшного: за столиками сидели легковые извозчики, истерзанные мастеровые и женщины, такие дешевые, что две из них равнялись по стоимости — порции рубленых котлет.

Патлецов подошел к толстому одноглазому буфетчику и деликатно наклонился к нему:

— Не могу я навести у вас справочки?

— Ну? — сурово и подозрительно кивнул головой одноглазый.

— Мне нужен слесарь. Нет ли здесь между вашими... гостями слесаря?

— А вам для чего такого?

— Ключи от дверей потерял. В квартиру не могу попасть.

Вид у Патлецова был солидный, искренний. Буфетчик хмыкнул.

— Бог их знает... Все они слесаря, так или иначе. Ходят тут всякие.

— Да вы мне только укажите на кого-нибудь... а я сам поговорю. Я заплачу ему.

— Вон туда идите,— ухмыльнулся буфетчик.— Видите, в уголку роятся. Только меня не путайте. Может, они и не возьмутся. Мне-то что!

В уголку сидело трое. Приняли они Патлецова недоверчиво, странно поглядывая на него, сбитые, очевидно, с толку его странным предложением.

Один носил странное имя — Зря, другого называли Аркашенькой, а третий был сложнее: Мишка Саматоха.

— Да вам что нужно, господин? — с каким-то неискренним удивлением спросил Зря, самый старший.

— Кто хочет, ребята, честно рубль заработать?

— Да мы всегда честно рубли зарабатываем, — с болезненным самолюбием вора заворчал Аркашенька.

— И прекрасно! Мне нужен слесарь... Ключи я от дверей забыл. Так — открыть.

Все трое, как куклы, замотали головами.

— Не занимаемся.

— Как же так? А мне сказали, что кто-то из вас слесарь.

Мишка Саматоха, молодой бритый парень, с лицом актера и такими невыносимо блестящими глазами, что он беспрестанно гасил их блеск скромным опусканием век, возразил:

— Да как же так — ночью, идти в чужую незнакомую квартиру, отмыкать какие-то двери — Бог его знает, что оно такое... Хорошо ли это?

— Да я хозяин квартиры! — загорячился Патлецов. — Понимаете — хозяин! И я вам разрешаю... Мало того — я даже прошу вас об этом! Вы меня выручите...

В практике трех друзей это был редкий, смехотворный случай,— когда хозяин сам давал разрешение на то,

что они делали всегда с душевной тревогой и тайным трепетом.

Тем не менее Зря и Аркашенька отказались от предложения категорически.

— Я два рубля дам! Я очень, очень прошу вас. Ну что вам стоит выручить человека?!

— Да почему вы в слесарную мастерскую не обратились? — спросил, гася свои алмазные глаза, Саматоха.

— Заперто все уже! Господи! А мне сказали, что тут в «Назарете» можно найти этих... слесарей... безработных. Как же мы иначе попадем в квартиру? Мы бы с женой вам были очень благодарны... Чрезвычайно.

Зря и Аркашенька снова сухо отказались. А сентиментальному Саматохе польстило, что его так просят и что этот господин в золотых очках и его жена, вероятно, красивая, не менее нарядная женщина будут ему, Саматохе, очень благодарны.

А когда Патлецов, заметив колебание раскисшего Мишки, взял его за руку и горячо пожал ее, Мишка встал и, разнеженно усмехнувшись, буркнул:

— Идите вперед. Я... сбегаю за инструментом и догоню вас.

Глава III

Мишка Саматоха

Жена Патлецова была очень удивлена и обрадована, когда муж явился с каким-то человеком и сообщил радостно:

— Нашел! Вот он сейчас откроет.

У Саматохи в суконке были завернуты какие-то вещицы, издававшие металлический лязг. Саматоха поклонился жене Патлецова, положил на подоконник суконку и развернул ее.

— О-ой, что это? — с кокетливым любопытством протянула госпожа Патлецова, заглядывая в суконку, — зачем так много?

— Инструменты, сударыня,— снисходительно улыбнулся Мишка Саматоха.— Разные тут.

— А это что?

— Это английский лобзик,— стал объяснять польщенный вниманием Мишка.— Пилочка такая... Преимущественно

для амбарных замков и засовов. Вот этим ее смазывают, чтобы не слышно было.

— А зачем, чтоб не слышно? — спросила жена.

Патлецов и Саматоха перебросились быстрыми смеющимися взглядами и отвернулись друг от друга.

— Это, изволите ли видеть, американский ключ — последнее слово техники — со вставными бородками: можно вставить какую угодно... вот набор бородок... Это обыкновенные отмычки, к сожалению, не полный набор, — всего двенадцать штук...

Невыносимые алмазные глаза Мишки сверкали вдохновением артиста... Он вертелся, щелкал пальцами по синеватой стали, гремя отмычками, с увлечением объяснял достоинства новой системы буравчика перед прежними и умилялся до слез, когда госпожа Патлецова робко дотрагивалась тоненькими холеными пальчиками до странных, таинственных приборов.

— Ну, а как же вы откроете нашу дверь? — спросил Патлецов.— Этим, что ли?

— Английский замок? Нет, этой штучкой. То совсем для другого. Вот, смотрите...

Мишке Саматохе хотелось под взглядом прекрасных женских глаз сделать свое дело как можно красивее, проворней и с блеском. Он улыбнулся госпоже Патлецовой, вынул маленький крючок, как фокусник, показал его публике, засучил рукава и принагнулся к замку.

— Только он не будет уже больше годиться,— предупредил он,— ничего? Английские замки, видите ли, нужно сломать снаружи, чтоб открыть...

— Все равно,— нетерпеливо сказал Патлецов.— Лишь бы попасть нам домой.

— Слушаю-с.

Послышался треск... Саматоха с лицом доктора, делающего трудную операцию, суетливо нагнулся к своему набору инструментов, быстро вынул необходимый и сунул его куда-то вбок, в щель.

У своего плеча он слышал дыхание глядевшей на его работу с любопытством госпожи Патлецовой.

И сам Патлецов был неимоверно заинтересован.

Потный, сияющий Саматоха чувствовал себя героем дня.

— Пожалуйте-с!

Госпожа Патлецова радостно вскрикнула и бросилась в открытую дверь. Патлецов посмотрел на собиравшего свои инструменты Саматоху и сказал ему:

— Подождите здесь. Я сейчас вынесу деньги.

Дверь захлопнулась, и Саматоха остался один... Он, насвистывая, занялся складыванием своих принадлежностей, любовно осматривал их, дышал на них ртом и потом чистил тусклый металл рукавом потертого пиджака.

Прошло минут пять-шесть. К Саматохе никто не выходил. Саматоха уже хотел напомнить о себе деликатным стуком в дверь, как она распахнулась, и в ее освещенном четырехугольнике показались Патлецов, дворник и городовой.

— А-ах! — крикнул протяжно Мишка Саматоха, отпрыгивая к окну.

— Вот что, милый мой, — строго обратился к нему Патлецов. — Ты, я вижу, слишком большой искусник и слишком опасная персона, чтобы оставлять тебя на свободе. Сегодня ты открыл дверь с моего разрешения, а завтра сделаешь это без оного... Общество должно бороться с подобными людьми всеми легальными способами, какие есть в его распоряжении... Понимаешь? А такой субъект, как ты, да на свободе, да с этим инструментом — благодарю покорно! Да я ночей не буду спать...

....

Когда молчаливого Саматоху уводили, он уже не старался тушить бриллиантовый взгляд своих глаз. Они так сияли, что больно было смотреть.

Патлецов аккуратно запер дверь и, почесав спину, пошел спать.

АРГОНАВТЫ

I

В то время я стоял во главе одного сатирического журнала и по обязанности редактора мне приходилось ежедневно просматривать уйму рукописей, присылаемых со всех концов.

Произведения, которые присылались авторами с прямой и бесхитростной целью увидеть свое имя в печати, были в большинстве случаев удивительными образчиками рос-

сийской безграмотности, небрежности и наивности. Мотивы присылки рукописей были по большей части одни и те же, и излагались они всегда в начале препроводительного письма:

— «Говорят — попытка не пытка... Поэтому посылаю, в надежде, что»... и т.д.

— «Не имея средств к существованию, решил выступить на поприще литературы и поэтому посылаю»... и т.д.

— «Не Боги горшки обжигают, а поэтому прилагаемые стихи прошу напечатать»...

— «Будучи обременен многочисленным семейством, хотя и дьякон, хотел бы подработать на стороне, стишками или чем»...

— «Ввиду того, что все знакомые находят мои произведения недурными и даже великолепными, я посылаю их вам для печати. Гонорар — на ваше усмотрение»...

— «Очень бы хотелось видеть себя в печати. Поэтому посылаю стишки и, если поместите, со своей стороны обещаю способствовать художественному и литературному успеху издания».

А стихи были такие:

Скоро спомнил я зимнее время,
Как гулял с тобой по горам,
Кругом снег, пелену расстилая,
Не давал нам гулять по горам.

Так что автор, даже при самом сильном, искреннем желании «способствовать литературному успеху издания», не мог этого сделать...

Однажды среди всего этого потока вздорных рассказов, безграмотных стихов и нелепых претензий мое внимание остановило письмо из каких-то Степанцов, сопровождавшее стихи. И то и другое было так удивительно, что я расхохотался, позвал сотрудников, секретаря и прочел послание из Степанцов еще раз.

Вот какое оно было:

«Мы — я и брат — пишем вам об этом. Наша цель не столь строиться к славе своих ранних творений, сколько в получении авторитетных анализов наших с братом недосугов, что открыло бы нам альтернативы сокровищ в литературных подвигах грядущих сочинений. Мы с братом встречаем в наших юных корпусах моментов много невы-

носимых — даже до боли приведших дефектов, что много повредило нам в плавном сообразовании со всей литературной корпорацией. Мы запоздали. Но ничего! Нам еще нельзя упускать листву на безнадежное высушение и неозеленение. К сожалению, нравоучительной использованности в Степанцах нам не найти. Так что посылаем с братом свои произведения, и ежели ваш уважаемый журнал отнесется к нам инертно и напечатает — то посвятим свою жизнь великой литературе поэтических сообразований... Ответьте в «почтовом ящике» под фирмой «Абраму и Бенциону Самуйловым из м. Степанцов».

При письме прилагались стихи обоих братьев, причем Абрам, обладавший, очевидно, пылким сангвиническим темпераментом, писал так:

СТИХИ

Тебя безумною любовью любя,
Готов отважиться на подвиг я опасный,
Но если ты обманываешь меня,
То знай, что мститель я ужасный!
Как ягуар, я кровожаден, зол,
Тебя я буду мучить пыткою смертельной,
Потом, вонзив в сердце тебе топор —
Расчет покончу с жизнью твоей изменной!!

Меланхолик Бенцион был прямой противоположностью своему порывистому брату... Тона у него были элегические, нежные, и даже стихи так и назывались: «Элегия».

Ты пела в сладостном томленьи:
«Милый мой, люблю тебя!»
Внимали сим речам в сомненья
И звезды, лес, шептавшийся с природой ..

* * *

Теперь же все прошло... на век...
Нет больше этих чудных снов,
И так исчезнет всякий человек
Бесследно также, как все это

Письма и стихи очень потешили секретаря и сотрудников.

— Какой же вы ответ дадите этим чудакам? — спросил секретарь.

— Увидите,— рассмеялся я.

На другой день я ответил в «почтовом ящике» в ряду других юмористических шутливых ответов неудачникам пера и карандаша — и братьям Абраму и Бенциону Самуйловым из м. Степанцов:

— «Братья писатели! Приводим ваши стихи, представляя их на суд публики... Очень талантливо! Я думаю, все согласятся с нами, что самое лучшее для вас — это забросить ваши степанцовские дела и приехать в Петербург, чтобы такие гениальные дарования развивались и совершенствовались в благоприятных условиях. Довольно ли вам по 500 рублей в месяц заработку?»

В ближайшем номере журнала «почтовый ящик» был напечатан, и журнал разлетелся по всей необъятной России, вплоть до безвестного м. Степанцов.

II

Однажды, когда я, сидя у себя, просматривал последнюю корректуру, мне сообщили:

— Вас на лестнице спрашивают каких-то двое.

Я вышел.

На площадке лестницы действительно стояли два худых грустных господина, обремененных чемоданом, парой подушек и какими-то коробками и сверточками.

— Что т-такое? — отшатнулся я в удивлении.— В чем дело? Вы, вероятно, не ко мне?

— Ну, если вы редактор, так к вам, а если вы не редактор — так не к вам,— сказал, дружелюбно улыбнувшись, старший человек.

— Мы прямо к нему, так сказать, к редактору,— подтвердил господин помоложе.

— Кто вы такие?

— Конечно, он нас не узнал,— обернулся один к другому.

— Конечно, раз они нас никогда не видели. Хе-хе! Мы братья. Братья Самуйловы. Он Абрам, а уж я — так Бенцион.

— Что же вам от меня угодно?

— Смотрите! — сказал Бенцион.— Этот человек так занят, что даже все забыл. Мы же из Степанцов, которые стихи вам присылали, а вы еще написали — приезжайте — можно склеить гениальное дельце.

Бенцион толкнул Абрама в бок, и тот одобрительно, полный радужных перспектив, захохотал.

Я похолодел.

— И вы потому, что прочли мой ответ в почтовом ящике,— потому и приехали?!

— Ну конечно,— кивнул курчавой головой Абрам. — Зря на что мы бы не поехали... А так — отчего же!

— Сделайте милость! — подтвердил Бенцион.

Я стоял бледный, растерянный.

— Где же вы... остановились?

— А нигде. Прямо, как с вокзала, то — к вам. Стихов привезли — кучу! Три недели писали.

— Ну хорошо... заходите через... четыре дня. Я подумаю.

Братья схватили свой чемодан, подушки, взялись за руки и послушно повернули к дверям.

— Постойте,— остановил я их.— А деньги-то у вас пока есть?

— Абрам,— с любопытством обратился Бенцион к брату,— а деньги у нас пока есть?

Тот полез в карман.

— Есть. Рупь с мелочью. Билеты стоят, извините, до черта дорого. Ну, мы как-нибудь пока.

— Постойте! — нетерпеливо вскричал я.— Нате вам, пока, а там увидим.

— Зачем? — удивился Абрам.— Ведь мы же еще не заработали.

— Это так принято — называется: аванс. Берите!

— Называется аванс,— подтвердил Бенцион.— Бери, Абрам. Отработаем!

Они застенчиво взяли деньги и ушли, а я весь день чувствовал себя в глупом положении неопытного, растерявшегося спирита, который вызвал духов, а что с ними делать — не знает...

Когда я рассказал в редакции об этом случае — весь день во всех углах стоял гомерический хохот.

III

Братья пришли ровно через четыре дня.

— Здравствуйте,— сказал Бенцион.— Как поживаете? Нечего сказать — большой город Санкт-Петербург. А?

— Нечего отнимать время у них,— перебил его деловым тоном Абрам.— Вынимай стихи!

Оба, как по команде, вынули из карманов по пачке стихов и положили передо мной.

— Эти еще лучше, чем те,— сказал Бенцион.

— Ого! — захохотал Абрам, подталкивая ободрительно брата в бок.— Гораздо более!

Я развернул одну пачку, с тайной бессмысленной и беспочвенной надеждой — найти в ней что-нибудь мало-мальски годное для печати.

Первое стихотворение начиналось так:

Будет осень, но будет не время,
Скажут· милый знакомиться с ней,
С той красивой, пухлявой девчуркой
Чей глазки печальны, как ночь!

— Хорошо,— нерешительно сказал я.— Зайдите через неделю. Мы их прочтем, посоветуемся.

— А? — торжествующе вскричал Абрам, подмигивая Бенциону.— Уже нас читают! Уже об нас советуются. Недурно, а?

— У вас еще есть деньги? — спросил я Абрама.

— Есть,— отвечал он,— но по лицам братьев я видел, что денег у них нет.

Чтобы не слышать возражений, я сказал:

— Получите деньги! Это так принято. Всякий писатель, давая вещь для печати, еще раз получает аванс.

— Хорошее дело быть писателем,— удивился Бенцион.— Какой дурак Гришка Конухес, что он сидит в своей галантерее! Что такое, я спрошу вас — галантерея в Степанцах?.. Ха-ха!

Они раскланялись и ушли, а я схватил сам себя за волосы и заскрежетал зубами.

Через неделю они опять пришли, взявшись под руку, сияющие, полные самых радужных надежд.

— Ну?

— Пока ничего,— пожал я плечами.— Деньги у вас есть?

— Нет,— покачал головой Абрам.— Деньги мы у вас больше не возьмем. Мы узнали: таких правилов нет — чтобы деньги брать, да брать, а что же дальше?

Опустив голову, Бенцион тихо добавил:

— Ну, нам некоторые тут знакомые сказали, что стихи наши не такие гениальные, как мы думали.

Сердце мое сжалось.

— Ну что вы! Стишки ничего себе, да только...

В это время у меня сидел заведующий нашей конторой — грубоватый, мрачный старик.

— Да что, в самом деле,— стихи да стихи! Стихов у нас и так — хоть залейся!.. Вы бы лучше объявление хорошее принесли.

— Объявление? — удивился Бенцион.— Какое?

— Публикацию от какой-нибудь фирмы для нашего журнала. А то стишки — эка невидаль!

Братья стояли молча. Вздохнули и дружно сказали друг другу:

— Ну, идем.

— Ну, идем.

— Возьмите еще аванс,— крикнул я, хватая Бенциона за руку.

Он деликатно высвободился и ушел.

IV

Однажды, когда я сидел, полный черных мыслей о своем легкомысленном поступке и о судьбе исчезнувших братьев, ко мне постучались.

— Ну? Кто там?

— Извините,— сказал Бенцион, протискивая вперед Абрама.— Мы еще раз к вам. Вот: не надо ли?

Протиснутый вперед Абрам положил мне на стол какую-то бумагу и застенчиво отскочил. Его место занял Бенцион, положил какую-то бумагу и, глупо улыбаясь, тоже отскочил.

— Еще стихи,— усмехнулся я про себя и робко заглянул в подсунутые мне бумаги...

— Что это?

— Объявления,— ухмыляясь, сказал Бенцион.— Вы хотели иметь объявления, так мы вам достали. Он — табачная фабрика, а я — корсеты и «друг человека — желудок».

Фирмы были солидные. Я позвал заведующего конторой и дал ему принесенные объявления.

— Молодцы! — похвалил их старик, будто они именно и сделали то, что от них требовалось.— Так и надо!

Тащите еще. Принесли вы, приблизительно, полтораста двойных — значит, следует вам около 22 рублей, что ли. Хотите получить?

Глаза Абрама сверкнули голодным огоньком, но он потушил его и, опустив голову, сказал:

— Мы должны.

— Должны,— как эхо, подтвердил Бенцион.— Ой, мы еще много должны!

— Пустяки. Это был аванс,— усмехнулся я.— Выдайте им. После сосчитаемся.

Братья просияли, подтолкнули друг друга, засмеялись и вышли вслед за стариком.

Я чувствовал себя на седьмом небе.

V

Изредка я наводил в конторе справки об удивительных братьях Самуйловых. Мне сообщили, что сначала они показывались редко, объявления, очевидно, давались им туго, но потом — способности экс-поэтов развернулись пышным цветком.

Однажды, зайдя в конфектный магазин, я имел случай наблюдать братьев на их трудной, неблагодарной работе.

Не замечая меня, Бенцион стоял перед старшим приказчиком и убежденно говорил:

— Реклама есть двигатель торговли. Ни одна копейка, брошенная на рекламу, не пропадет даром. Все солидные фирмы сознали необходимость широкой рекламы, тем более в таком распространенном журнале, как...

— Мы никому вообще не даем объявлений,— сказал приказчик.— Наша фирма не публикуется.

Он ушел за перегородку, а Бенцион развел руками и обратился к продавщице:

— Помилуйте! Реклама — это двигатель торговли... Копейка не пропадает! Все солидные фирмы, которые коммерческие...

Барышня улыбнулась и занялась каким-то покупателем. Абрам взял за пуговицу господина в пальто и сказал:

— Вы не можете себе представить преимущества рекламы! Это двигатель торговли, и я удивляюсь...

— Да я покупатель! — сказал господин. — Ей-Богу, мне нечего рекламировать.

— Нечего? — удивился Абрам. — Очень жаль!

Он увидел меня и радостно поздоровался.

— Здравствуйте! Поймите, пожалуйста, что всякая коммерческая фирма, понимающая рекламу как двигатель торговли...

— Это вы не мне объясните, — засмеялся я. — А им.

— Я им уже объяснял... Чудаки! Не понимают... Имейте в виду — каждая копейка, потраченная на рекламу...

Мы все втроем вышли из магазина.

Я простился с ними, сел на извозчика и, уезжая, расслышал, как Бенцион говорил Абраму:

— Вы понимаете, что разумно данная реклама, которая есть двигатель торговли, должна оправдывать каждую истраченную копей...

VI

Недавно я получил записку без подписи, гласившую:

— «Если бы вы приехали сегодня вечером к Контану, то это было бы очень хорошо. А если бы вы спросили там, где кабинет номер двенадцать? — то это было бы еще лучше... Не кушайте много за обедом. Ну? Приедете? Приезжайте...»

Я усмехнулся и решил поехать.

В кабинете, как и можно было предполагать, находились братья Самуйловы. Увидев меня, Бенцион подтолкнул локтем Абрама, засмеялся и воскликнул:

— Он таки приехал! Он выпьет с нами рюмочку-другую шампанского за всеобщее процветание и за альтернативы сокровищ в литературных недосугах. Вы, может быть, думаете, что сделали глупость, выписав нас для работы в журнале? Позвольте вас удостоверить, что глупости здесь не было ни малейшей... Мы, ей-Богу, катаемся, как какие-нибудь сыры в маслах.

— Ого-го! — одобрительно сказал Абрам. — Этот редактор знает, что он делает. Он с расчетом делает.

Я засмеялся и крепко пожал повеселевшим братьям руки.

И начался наш веселый пир...

Хорошо пить, когда небо безоблачно.

СМЕРТЬ ДЕВУШКИ У ИЗГОРОДИ

Я очень люблю писателей, которые описывают старинные запущенные барские усадьбы, освещенные косыми лучами красного заходящего солнца, причем в каждой такой усадьбе у изгороди стоит по тихой задумчивой девушке, устремившей свой грустный взгляд в беспредельную даль.

Это самый хороший, не причиняющий неприятность сорт женщин: стоят себе у садовой решетки и смотрят вдаль, не делая никому гадостей и беспокойства.

Я люблю таких женщин. Я часто мечтал о том, чтобы одна из них отделилась от своей изгороди и пришла ко мне успокоить, освежить мою усталую, издерганную душу.

Как жаль, что такие милые женщины водятся только у изгороди сельских садов и не забредают в шумные города.

С ними было бы легко. В худшем случае они могли бы только покачать головой и затаить свою скорбь, если бы вы их чем-нибудь обидели.

Прямая им противоположность — городская женщина. Глаза ее бегают, злые, ревнивые, подстерегающие, тут же, около вас... Городская женщина никогда не будет кутаться в мягкий пуховый платок, который всегда красуется на плечах милой женщины у изгороди. Ей подавай нелепейшую шляпу с перьями, бантами и шпильками, которыми она проткнет свою многострадальную голову.

А попробуйте ее обидеть... Ей ни на секунду не придет в голову мысль затаить обиду. Она сейчас же начнет шипеть, жалить вас, делать тысячу гадостей. И все это будет сделано с обворожительным светским видом и тактом...

О, как прекрасны девушки у изгороди!

* * *

У меня в доме завелось однажды существо, которое можно было без колебаний причислить к числу городских женщин.

На этой городской женщине я изучил женщин вообще — и много странного, любопытного и удивительного пришлось мне увидеть.

Когда она поселилась у меня, я поставил ей непременным условием — не считать ее за человека.

Сначала она призадумалась:

— А кем же ты будешь считать меня?

— Я буду считать тебя существом выше человека, — предложил я, — существом особенным, недосягаемым, прекрасным, но только не человеком. Согласись сама — какой же ты человек?

Кажется, она обиделась.

— Очень странно! Если у меня нет усов и бороды...

— Милая! Не в усах дело. И уж одно то, что ты видишь разницу только в этом, ясно доказывает, что мы с тобой никогда не споемся. Я даже не буду говорить навязших на зубах слов о повышенном умственном уровне мужчины, о его превосходстве, о сравнительном весе мозга мужчины и женщины, — это вздор. Просто мы разные — и баста. Вы лучше нас, но не такие, как мы... Довольно с тебя этого? Если бы прекрасная, нежная роза старалась стать на одном уровне с черным свинцовым карандашом — ее затея вызвала бы только презрительное пожатие плеч у умных, рассудительных людей.

— Ну, поцелуй меня, — сказала женщина.

— Это можно. Сколько угодно.

Мы поцеловались.

— А ты меня будешь уважать? — спросила она, немного помолчав.

— Очень тебе это нужно! Если я начну тебя уважать, ты протянешь от скуки ноги на второй же день. Не говори глупостей.

И она стала жить у меня.

Часто, утром, просыпаясь раньше, чем она, я долго сидел на краю постели и наблюдал за этим сверхъестественным, чуждым мне существом, за этим красивым чудовищем.

Руки у нее были белые, полные, без всяких мускулов, грудь во время дыхания поднималась до смешного высоко, а длинные волосы, разбрасываясь по подушке, лезли ей в уши, цеплялись за пуговицы наволочки и, очевидно, причиняли не меньше беспокойства, чем ядро на ноге каторжника. По утрам она расчесывала свои волосы, рвала гребнем целые пряди, запутывалась в них и обливалась слезами. А когда я, желая помочь ей, советовал остричься, она называла меня дураком.

То же самое мнение обо мне она высказала и второй раз — когда я спросил ее о цели розовых атласных лент, завязанных в хрупкие причудливые банты на ночной сорочке.

— Если ты, милая, делаешь это для меня, то они совершенно не нужны и никакой пользы не приносят. А в смысле нарядности — кроме меня ведь их никто не видит. Зачем же они?

— Ты глуп.

Я не видел у нее ни одной принадлежности туалета, которая была бы рациональна, полезна и проста. Панталоны состояли из одних кружев и бантов, так что согреть ноги не могли; корсет мешал ей нагибаться и оставлял на прекрасном белом теле красные следы. Подвязки были такого странного, запутанного вида, что дикарь, не зная, что это такое, съел бы их. Да и сам я, культурный, сообразительный человек, пришел однажды в отчаяние, пытаясь постичь сложный, ни на что не похожий их механизм.

Мне кажется, что где-то сидит такой хитрый, глубокомысленный, но глупый человек, который выдумывает все эти вещи и потом подсовывает их женщинам.

Цель, к которой он при этом стремится,— сочинить что-нибудь такое, что было бы наименее нужно, полезно и удобно.

«Выдумаю-ка я для них башмаки»,— решил в пылу своей работы этот таинственный человек.

За образец он почему-то берет свое мужское, все умное, необходимое и делает из этого предмет, от которого мужчина сошел бы с ума.

«Гм,— думает этот человек,— башмак, хорошо-с!»

Под башмак подсовывается громадный, чудовищный каблук, носок суживается, как острие кинжала, сбоку пришиваются десятка два пуговиц, и — бедная, доверчивая, обманутая женщина обута.

«Ничего,— злорадно думает этот грубый таинственный человек.— Сносишь. Не подохнешь... Я тебе еще и зонтик сочиню. Для чего зонтики служат? От дождя, от солнца. У мужчин они большие, плотные. Хорошо-с. Мы же тебе вот какой сделаем. Маленький, кружевной, с ручкой, которая должна переломиться от первого же порыва ветра».

И этот человек достигает своей цели: от дождя зонтик протекает, от солнца, благодаря своей микроскопической

величине, не спасает, и, кроме того, ручка у него ежеминутно отваливается.

«Носи, носи! — усмехается суровый незнакомец. — Я тебе и шляпку выдумаю. И кофточку, которая застегивается сзади. И пальто, которое совсем не застегивается, и носовой платок, который можно было бы втянуть целиком в ноздрю при хорошем печальном вздохе. Сносишь, за тебя, брат, некому заступиться. Мужчина с вашим братом подлецом себя держит».

Однажды я зашел в магазин дамских принадлежностей при каком-то «Институте красоты». Мне нужно было сделать городской женщине какой-нибудь подарок.

— Вот,— сказала мне продавщица,— модная вещь.

В бархатном футляре лежало что-то вроде узкого стилета с затейливой резьбой и ручкой из слоновой кости.

— Что это?

— Это, monsieur, прибор для вынимания из глаза попавшей туда соринки. Двенадцать рублей. Есть такие же из композиции, но только без серебряной ручки.

— А есть у вас клей,— спросил я с тонкой иронией, — для приклеивания на место выпавших волос?

— На будущей неделе получим, monsieur. Не желаете ли аппарат для извлечения шпилек, упавших за спинку дивана?

— Благодарю вас,— холодно сказал я,— я предпочитаю делать это с помощью мясорубки или ротационной машины.

Ушел я из магазина с чувством гнева и возмущения, вызванного во мне хитрым, нахальным незнакомцем.

* * *

Живя у меня, городская женщина проводила время так.

Просыпалась в половине первого пополудни и ела в постели виноград, а если был невиноградный сезон, то что-нибудь другое — плитку шоколада, лимон с сахаром, конфеты.

Читала газеты. Именно те места, где говорилось о Турции.

— Почему тебя интересуют именно турки? — спросил я однажды.

— Они такие милые. У тети жил один турок-водонос. Черный-черный, загорелый. А глаза глубокие. Ах, уже час! Зачем же ты меня не разбудил?

Она вставала и подходила к зеркалу. Высовывала язык, дергала его, как бы желая убедиться, что он крепко сидит на месте, и потом, надев один чулок, заглядывала в конец неразрезанной книги, купленной мною накануне.

Через пять минут она заливалась слезами.

— Зачем ты ее купил?

— А что?

— Почему непременно историю маленькой блондинки? Потому что я брюнетка? Понимаю, понимаю!

— Ну, еще что?

— Я понимаю. Тебе нравятся блондинки и маленькие. Хорошо, ты глубоко в этом раскаешься.

— В чем?

— В этом.

Она плакала, я рассеянно смотрел в окно. Входила горничная.

— Луша,— спрашивала горничную жившая у меня женщина,— зачем вчера барин заходил к вам в три часа ночи?

— Он не заходил.

— Ступайте.

— Это еще что за штуки? — кричал я сурово.

— Я хотела вас поймать. Гм... Или вы хорошо умеете владеть собой, или ты мне изменяешь с кем-нибудь другим.

Потом она еще плакала.

— Дай мне слово, что, когда ты меня разлюбишь, ты честно скажешь мне об этом. Я не произнесу ни одного упрека. Просто уйду от тебя. Я оценю твое благородство.

* * *

Недавно я пришел к ней и сказал:

— Ну вот я и разлюбил тебя.

— Не может быть! Ты лжешь. Какие вы, мужчины, негодяи!

— Мне не нравятся городские женщины,— откровенно признался я.— Они так запутались в кружевах и подвязках, что их никак оттуда не вытащишь. Ты глупая, изломанная женщина. Ленивая, бестолковая, лживая. Ты обманывала меня если не физически, то взглядами, желанием, кокетничаньем с посторонними мужчинами. Я стосковался по девушке на низких каблуках, с обыкновенными резиновыми подвязками, придерживающими чулки,

с большим зонтиком, который защищал бы нас обоих от дождя и солнца. Я стосковался по девушке, встающей рано утром и готовящей собственными любящими руками вкусный кофе. Она будет тоже женщиной, но это совсем другой сорт. У изгороди усадьбы, освещенной косыми лучами заходящего солнца, стоит она в белом простеньком платьице и ждет меня, кутаясь в уютный пуховый платок... К черту приборы для вынимания соринок из глаз!

— Ну, поцелуй меня,— сказала внимательно слушавшая меня женщина.

— Не хочу. Я тебе все сказал. Целуйся с другими.

— И буду. Подумаешь, какой красавец выискался! Думает, что, кроме него, и нет никого. Не беспокойся, милый! Поманю — толпой побегут.

— Прекрасно. Во избежание давки советую тебе с помощью полиции установить очередь. Прощай.

* * *

На другой день в сумерках я нашел все, что мне требовалось: усадьбу, косые лучи солнца и тихую задумчивую девушку, кротко опиравшуюся на изгородь...

Я упал перед ней на колени и заплакал:

— Я устал, я весь изломан. Исцели меня. Ты должна сделать чудо.

Она побледнела и заторопилась:

— Встаньте. Не надо... Я люблю вас и принесу вам всю мою жизнь. Мы будем счастливы.

— У меня было прошлое. У меня была женщина.

— Мне нет дела до твоего прошлого. Если ты пришел ко мне — у тебя не было счастья.

Она смотрела вдаль мягким задумчивым взглядом и повторяла, в то время как я осыпал поцелуями дорогие для меня ноги на низких каблуках:

— Не надо, не надо!

Через неделю я, молодой, переродившийся, вез ее к себе в город, где жил,— с целью сделать своей рабой, владычицей, хозяйкой, любовницей и женой.

Тихие слезы умиления накипали у меня на глазах, когда я мимолетно кидал взгляд на ее милое загорелое личико,

простенькую шляпу с голубым бантом и серое платье, простое и трогательное.

Мы уже миновали задумчивые, зеленые поля и въехали в шумный, громадный город.

— Она здесь? — неожиданно спросила меня моя спутница.

— Кто — она?

— Эта... твоя.

— Зачем ты меня это спрашиваешь?

— Вдруг вы будете с ней встречаться.

— Милая! Раньше ты этого не говорила. И потом — это невозможно. Я ведь сам от нее ушел.

— Ах, мне кажется, это все равно. Зачем ты так посмотрел на эту высокую женщину?

— Да так просто.

— Так. Но ведь ты мог смотреть на меня!

Она сразу стала угрюмой, и я, чтобы рассеять ее, предложил ей посмотреть магазины.

— Зайдем в этот. Мне нужно купить воротничков.

— Зайдем. И мне нужно кое-что.

В магазине она спросила:

— У вас есть маленькие кружевные зонтики?

Я побледнел.

— Милая... зачем? Они так неудобны... лучше большой.

— Большой — что ты говоришь! Кто же здесь, в городе, носит большие зонтики! Это не деревня. Послушайте. У вас есть подвязки, такие, знаете, с машинками. Потом ботинки на пуговицах и на высоких каблуках... не те, выше, еще выше.

Я сидел молчаливый, с сильно бьющимся сердцем и страдальчески искаженным лицом и наблюдал, как постепенно гасли косые красные лучи заходящего солнца, как спадал с плеч уютный пуховый платок, как вырастала изгородь из хрупких кружевных зонтиков и как на ней причудливыми гирляндами висели панталоны из кружев и бантов... А на тихой, дремлющей вдали и осененной ветлами усадьбе резко вырисовывалась вывеска с тремя странными словами:

Modes et robes[1]

Девушка отошла от изгороди и — умерла.

---

[1] Шляпы и платья (*фр.*)

МАЛЬЧИК С ЗАТЕКШИМ ГЛАЗОМ

(*О критиках*)

Критиков мне приходилось встречать с самого детства.

Будучи семилетним мальчиком, я однажды прыгал по двору, подбрасывая в то же время камушек и стараясь после каждого прыжка снова поймать его. Тогда это доставляло мне громадное удовольствие, которое теперь я бы уже не пережил, пытаясь повторить это,— потому что сделался я человеком взрослым, тяжелым и пресыщенным подобными удовольствиями.

Прыгая таким образом, заметил я мальчишку с синяком под глазом, приблизившегося ко мне и очень заинтересованного моими телодвижениями.

Это был типичный критик.

— Вот-то дурак! — сказал он, неодобрительно щуря затекший глаз.

— Почему дурак?

— Да это ж легко. Это всякий сделает.

— А как надо?

— Ты попробуй так: закрой глаза, подпрыгни, подбрось камень высоко-высоко, да и поймай его. Вот это будет штука!

Мне очень хотелось заслужить одобрение мальчишки с затекшим глазом. Очевидно, это был понимающий человек, хорошо знакомый с подпрыгиванием и подбрасыванием камней, а я был начинающий дилетант, новичок.

Я сделал все по указаниям критика: зажмурил глаза, подпрыгнул, метнул высоко камень и сейчас же услышал звон разбитого стекла и чей-то болезненный крик.

Сначала меня отколотила проходившая мимо кухарка, в голову которой попал камень, разбивший до того в своем полете оконное стекло; потом колотил меня квартирант, окно которого пострадало от камня, а потом я перешел в руки случайно проходившего по двору человека, равнодушного к моему поступку, но поставившего, вероятно, целью доставлять себе время от времени дешевое невинное удовольствие: избивать подвернувшихся под руку детей.

Мальчишка с затекшим глазом терпеливо перенес побои, которые выпали на мою долю.

Когда все ушли, я размазал по лицу слезы и сказал ему с упреком:

— Видишь! Вот тебе — и попробовал.

— И дурак.

— Да почему же дурак? Ты ведь сам сказал.

— Молчи, сволочь...

Он ударил меня грязным кулаком по шее и, переваливаясь, ушел, с невыносимо наглым видом.

С тех пор я этого мальчика не видел. Куда он ушел? Бог весть. В какой газете он сейчас сотрудничает? Совершенно неизвестно. И тем не менее я его встречаю...

II

Первую книгу моих рассказов критика встретила с некоторым интересом и отметила появление ее целым рядом статей.

Запомнились мне несколько статей...

1) Над русской литературой висит какое-то заклятие... В России не может быть настоящего жизнерадостного смеха, он всегда переходит в злую, брызжущую бешенством обличения сатиру; таковы все рассказы писателя, которому посвящается эта статья. Все время из каждой строки глядит на вас искаженное мучительной гримасой боли и ужаса лицо автора. Это не Марк Твен, и даже не Джером. Это скорбная гримаса Чехова.

2) Странно читать эту книгу, книгу утробного жизнерадостного смеха, в то время когда лучшая часть интеллигенции сидит в тюрьмах, когда самодеятельность общества задавлена, когда администрация не разрешает даже открытия потребительной лавки при станции Малаховка. Нет! Не смех, как самоцель, нам теперь нужен, а ядовитый бич сатиры нам теперь нужен. Автор усиленно подражает Мопассану и Горбунову. Спрашивается — похож ли он по манере письма на Чехова? Нисколько.

3) Автор изображает быт — и только. Ни смеха, ни юмора в книге нет. Это бытовые вещички, и они могут быть комичны постольку, поскольку комичен сам быт. В рассказах нет ничего общего с рассказами Чехова, но можно отметить сильное влияние на писателя Глеба Успенского. Пытается подражать молодой литератор и Достоевскому.

4) Глупое гоготанье никогда ни в ком не вызывало восторга. Подражать Лейкину легко, но как отнесется к этому

читатель? — вот вопрос. Человек, который хохочет, если ему показать палец... Что делать такому человеку в великой русской литературе, хранящей заветы великого Белинского и Добролюбова? К сожалению, у автора с Чеховым нет ничего общего...

Я читал критические статьи и не знал, как мне быть? Я понимал еще тех критиков, которые находили, что я подражаю Виктору Гюго или Эдгару По. Но зачем некоторые из них считали нужным отметить, что я нисколько не похож на Чехова, Писемского и Октава Мирбо?

Я очутился в положении того молодого человека, к которому подошел праздный прохожий и с любопытством спросил:

— Вы не сын здешнего городского головы?

— Нет. А что? — совершенно искренно сказал тот молодой человек.

— Я так и думал: вы на него совсем не похожи.

Что делать нам, бедным писателям?

Я помню одного знакомого критика, который очень любил, когда я в большом обществе читал вслух свои новые произведения.

Он слушал чтение с удовольствием. Когда я кончал, он одобрительно кивал головой и задумчиво говорил:

— Очень хорошо!.. Только помнится мне, что я где-то уже что-то подобное читал.

Спина моя холодела.

— Не может быть? — испуганно говорил я.— Где же вы могли прочесть? Я только сейчас это написал. Только сегодня!

Он мялся.

— Мм... не знаю. Может быть. Но хорошо помню, что где-то в каком-то журнале я читал уже почти такую самую вещь.

Я схватывал его за руки, сжимал их и, чуть не плача, молил:

— Где? Где вы могли прочесть? Ну, вспомните!!

— Право, не припомню. Самый факт остался в памяти, а названия журнала и год издания не запомнил.

И все впечатление от рассказа пропадало, все настроение было испорчено.

И все слушатели были на его стороне, а на меня поглядывали иронически, и я читал в их взглядах:

— Что, батюшка? Стянул? Попался?!

Опозоренный, я уходил и, уходя, был твердо уверен: критик просто хотел блеснуть своей эрудицией, зная, что поймать его никак невозможно, и зная, что я совершенно беззащитен в этом случае.

У него было какое-то ужасное право на меня, неизвестно кем ему данное. А у меня на него не было никаких прав. Он со мной мог сделать все, что угодно, а я только мог тайком по ночам плакать и с кротостью молить Всевышнего, чтобы Он послал ему изнурительную лихорадку или эпилепсию.

Но Бог терпел его.

Бог стерпел даже его критическую статью обо мне, в которой он упрекнул меня за недостатки и безграмотность моего слога, причем написал об этом так:

— Автор приводимого юмористического рассказа, который еще молодой, в доказательство чего можно привести много погрешностей в слоге вышеозначенного, что и объясняется этим качеством.

III

За время моей литературной деятельности я получил целый ряд очень ценных советов, которыми за недосугом не воспользовался.

— Зачем вы пишете рассказы? — спросил меня однажды знакомый.

— Да так. А что?

— Напишите-ка роман.

— Почему?

— Ну, вот. Как же без романа? Обязательно напишите.

— Я бы и написал,— нерешительно возразил я,— но вот Петров находит, что я и так пишу большие вещи, Петров говорит, что теперь время миниатюр в сорок строк.

— Ваш Петров осел.

И если бы мой собеседник был моложе и если бы один глаз у него был подбит — в нем без труда можно было бы узнать мальчишку-критика, который советовал мне бросать камушек с закрытыми глазами.

Этот странный мальчишка день-деньской торчит около меня и мешает мне работать.

— Ты что пишешь-то? — спрашивает он, глядя через плечо и щуря подбитый глаз.

— Рассказ.

— И глупо. Пьесу нужно писать, а не рассказ.

Я уверен, что, если бы я отложил в сторону рассказ и начал писать пьесу, он снова ввязался бы в мою работу.

— Что ты делаешь?

— Пьесу пишу.

— Брось ее. Отчего бы тебе не написать повести из фабричного быта?

Если бы я ответил ему категорически:

— Не желаю.

Он тут же вздул бы меня.

И вот я отмалчиваюсь, а мальчишка бегает за мной и все советует:

— Пиши политические памфлеты! Отчего бы тебе не попробовать написать стихи? Мне кажется, тебе бы должны удаваться пародии!

Мы с ним никогда не поймем друг друга.

Я до самой своей смерти не прощу ему случая с моим рассказом «Праведник». Однажды, будучи в хорошем веселом настроении, я написал юмористический рассказ: хозяин дома восхищается прямолинейностью и откровенностью гостя, который много терпел за эти качества; хозяин преклоняется перед гостем, превозносит его, а гость, улучив минуту, набрасывается на хозяина и начинает обличать и разносить его с такой прямолинейностью, что для хозяина остается только один выход — выбросить моралиста-гостя за дверь.

Написав это, я был уверен, что написал презабавный юмористический рассказ. Но мальчишка с затекшим глазом не дремал. Он наткнулся на этот рассказ и написал о нем следующее:

— «Глубокая безысходная трагедия разыгрывается на протяжении нескольких страниц этого рассказа. Сердце щемит, когда подумаешь, *сколько* приходится вытерпеть человеку, ратующему за правду, *как* встречает этого пророка тупой косный индивидуум, шкура которого зачерствела и сердце превратилось в камень. Глубокий пессимизм автора и безотрадность всей вещи доказывает, что молодой писатель вступил на какой-то новый путь — путь беспросветного отчаяния. Со своей стороны мы приветствуем этот переход — от пу-

стеньких смешных рассказов до подлинного произведения серьезного искусства. Влияния Чехова не чувствуется».

Попробовал бы я, по совету мальчишки с затекшим глазом, вступить на этот путь «бросания камнями с закрытыми глазами»! Читатель немедленно набросился бы на меня и поступил бы со мной по примеру кухарки квартиранта и того случайного господина, который так любил доставлять себе бесплатное удовольствие — колотить беззащитных детей.

А мальчишка с затекшим глазом стоял бы около, терпеливо перенес бы все доставшиеся мне побои, делая вид, что это не он заварил всю кашу, и, пожалуй, после всех — добил бы меня окончательно.



РАССКАЗЫ (ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ) КНИГА ТРЕТЬЯ (1911)

зайчики на стене



ДЕБЮТАНТ

ШАРЖ

Некоторые болезни требуют героических средств

I

Все несчастье в том, что я очень мягок и добросердечен. У меня никогда не хватает духу прямо сказать дураку, что он глуп, или осадить нахала, когда он этого заслуживает...

В качестве театрального режиссера, я бы хотел для себя более твердости и прямизны в обращении с людьми. Но раз у меня этого нет — я избираю другие пути...

....

Вчера, после репетиции, в мой кабинет ввалился какой-то грузный бородатый человек и, ни слова не говоря, плюхнулся в кресло около моего стола.

— Вы, что ли, режиссер? — кивнул он на меня лохматой головой.

Я поспешил удовлетворить его любопытство.

— Вам, вероятно, нужны способные, талантливые артисты.

Дружеское подмигивание глазом, последовавшее за этим вопросом, пробило брешь в сухой официальности нашей беседы, и я, хлопнувши его по коленке, игриво ответил:

— Голубушка!! Кому и когда они не нужны?!

Он встал, заложил одну руку за борт сюртука, а другой элегантно взъерошил себе волосы.

— В таком случае, как я вам нравлюсь?

Бросив на него беглый взгляд, я без всякого колебания поспешил сказать, что лично против него — ничего не имею.

— Вот видите!.. Я, может быть, рожден этим... как его!.. Тамберликом, а мне приходится служить бухгалтером кирпичного завода.

Выраженное мною горькое сожаление и опасение, что подобные ужасные случаи, вероятно,— не единичны,— заставили его ободриться.

— Знаете, вы, кажется мне, человек понимающий... Сколько бы вы могли дать мне жалованья, а?..

Головокружительная быстрота, с которой посетитель перескочил к материальной стороне предполагаемой сделки, немного испугала меня, и я вкрадчиво заметил:

— Но я, простите... не знаю ваших способностей!.. Если бы дать вам дебют.

— Натурально! Но я в себе не сомневаюсь. А скажите... 400–500 рублей в месяц не показались бы вам высоким жалованьем?

Я незаметно улыбнулся и сказал:

— Это? Да это гроши! Если дело сладится, я вам, может быть, ухитрюсь дать и больше... Вы где же играли раньше?

— Вы Помидоровых знаете? Нет? Удивительно! Я у них два раза играл на любительских спектаклях!! Успех колоссальный!!! Один раз я играл «На пороге великих событий», а другой — «Простодушная и ветреная».

— Это, кажется, хорошие пьесы,— осторожно заметил я, делая над собой гигантские усилия, чтобы сохранить серьезный деловой вид.— Итак, чтобы не откладывать в долгий ящик, приходите завтра в театр. По случаю воскресного дня у нас идет дневной спектакль, и если вы придете около часу, то, может быть, я дам вам роль. Я думаю, что, с вашими способностями, вы сумеете сыграть без репетиции, под суфлера.

— О-о, помилуйте! Для человека способного репетиция только и является теми кандалами, которые сковывают полет его свободного творчества! Не правда ли?..

— Вы рассуждаете, как Гаррик!

Потолковавши о подробностях, мы расстались, очень довольные друг другом.

Весь вечер я был в великолепном настроении, и за ужином, среди своих мыслей, неожиданно расхохотался.

II

Воскресенье. Час пополудни. Вследствие страшной духоты июльского дня, все мы ходим, как разваренные. Полусонные, задыхающиеся от жары артисты лениво перебраниваются в своих уборных. Железная крыша и стены театра накалены так, что в некоторых местах больно притронуться.

Бухгалтер кирпичного завода был аккуратен, как всякий бухгалтер, и появился смущенный, но счастливый, ровно в час. Я едва узнал его, потому что усы и борода были сбриты и даже волосы на голове коротко острижены.

– Для удобства, в смысле парика,– пояснил он мне после.

В руках у него был узел с костюмами, парик и ящик гримировальных красок.

Лень и истома моментально покинули меня. Я встретил его преувеличенно восторженно и тотчас же потащил в свою уборную, провожаемый вопросительными взглядами актеров.

– Раздевайтесь! У нас сегодня идет «Ревизор», и вам, кажется, есть ролька. Вы помните пьесу?

Его радостный взор омрачился.

– Д-да... Ре... ревизора! Помню... но очень смутно!

– Это пустяки! Ведь вам сказать только несколько слов и то под суфлера... Вы будете играть отца Хлестакова.

– Ага! Отца... Кажется, что мое... это, как его... амплуа – именно отцы.

– Ну, вот видите. На первый раз я одену и загримирую вас. Раздевайтесь! Вот так... Нет, уж будьте добры и сорочку снять!

– За... зачем же сорочку?..

– А как же! Вы, вероятно, знаете, что самый некрасивый жест на сцене – когда артист нелепо взденет руки кверху. Это жест, от которого не могут отвыкнуть самые лучшие актеры... И вот есть средство, которое помешает вам сделать это.

Я взял два больших куска треса[1] из бухгалтерского запаса и, намочив их обильно лаком, положил обнаженному дебютанту под мышки.

Он был изумлен чрезвычайно.

– Представьте, что я этого не знал!!.

---

[1] Волосы для наклеивания усов и бород. (*Примеч. авт*)

— Как же! Теперь одевайтесь... Так как вы должны дать тип очень полного человека, то вам нужно надеть, по крайней мере, трое брюк... Вот так! Теперь четыре или пять сорочек дадут вам необходимую полноту верхней части тела.

Пыхтя и отдуваясь, он натянул все предложенное мною и, с мужественным видом, стал ждать дальнейшего.

— Что-то мне кажется, что вы все еще худоваты... Правда, сверху будет зимнее пальто, но этого мало. Вот что... У нас есть зипуны из бытовых пьес... Я могу подобрать парочку на ваш рост... А сверху пальто! Правда, будет душновато, но для типа... И потом, это жертва святому искусству! Как? Вы говорите — сапоги очень жмут? Ага! Это потому, что они тесные. Ну, потерпите! Это тоже жертва... не так ли?..

Его оживление стало пропадать, и он уныло согласился со мною.

Через пять минут передо мною стояло ужасное чудовище необъятной толщины. От тяжести одежд оно качалось на ногах, как тростинка, и пот стекал с пылающего лица обильными ручьями.

— Теперь я вас загримирую... Садитесь.

Он беспомощно заморгал глазами.

— Дело в том... Что я не могу сесть!..

— Ага! Вам мешает пальто, — догадался я. — Ну, это можно сделать стоя.

Натянувши на него громадный рыжий парик, я вынул карандаши и стал без толку, первыми попавшимися цветами, разрисовывать его лицо. Он любовался на себя в зеркало и вдруг в ужасе воскликнул:

— Послушайте, зачем же вы мне нос намазали зеленым?..

Я снисходительно улыбнулся.

— Вы, вероятно, не знаете, дорогой мой, что со сцены зеленый кажется розовым. Это вина проклятого электрического освещения... Но мы уже приспособились к этому! По той же причине я вам щеки сделаю светло-голубыми. Это придаст вам вид хорошо пожившего человека.

Он благоговейно посмотрел на меня и, смущенный, замолчал.

Его шарообразная фигура в рыжем парике, с размалеванным по-индейски лицом, производила убийственное впечатление. Я заклеил ему ухо тресом и облегченно вздохнул:

— Готово! Теперь запомните: роль отца Хлестакова заключается в том, что он выходит, неся в одной руке персидский ковер, а в другой — кулек с винами и сахаром... Выйдя на сцену, он обращается к городничему со словами: «Получите обратно ваш ковер и эти купеческие подарки! Знайте, что Хлестаковы вообще, а мой сын в частности не берут взяток!!»... Каратыгин говорил эти слова так, что театр дрожал от рукоплесканий. Вероятно, и вы не ударите лицом в грязь?..

Он страдальчески улыбнулся и прохрипел, что не ударит.

Я навьючил его тяжелым ковром, кульками и повел за рукав к кулисам, выбравши то место, где стена наиболее накалена беспощадным солнцем.

— Вот, стойте здесь! Боже вас сохрани поставить эти вещи на пол, потому что я могу каждую минуту попросить вас на сцену, а нагибаться вам будет трудно!

Он покорно стал на место, а я обратился к другим, менее важным, делам.

III

Первый и второй акт я был занят по горло, но перед третьим, заглянувши в угол, был удовлетворен видом ужасающей горы платья... Наверху этой горы, подобно заходящему солнцу, пылало багровое лицо, с которого ручьи пота смыли весь грим...

После четвертого акта я подумал, что он умер, так как застал его прислонившимся к раскаленной стене, но слабое моргание потускневших глаз успокоило меня.

После пятого акта раздался взрыв аплодисментов. Я распорядился не поднимать пока занавеса на вызовы, а побежал к дебютанту и крикнул:

— Выходите!!

Он посмотрел на меня бессмысленным взглядом и что-то промычал.

— Выходите, черт возьми, или вы провалите мне пьесу!!

Шатаясь, при моей помощи, он выбрался на сцену, сопровождаемый словами: помните же: «Получите обратно ваш ковер» и т. д.

Всю эту галиматью бухгалтер добросовестно повторил заплетающимся языком, под аплодисменты публики и перед опущенной занавесью,— чего он даже не заметил.

Я втащил его обратно в уборную и сказал:

— А молодцом вы сыграли!.. Слышите, какие аплодисменты вам? Раздевайтесь!

Он упал на диван и глухо простонал:

— Вся штука в том... что я... не могу поднять рук.

Я весело улыбнулся.

— А... это трес действует! Вы можете убедиться в радикальности средства!

— Я убедился.

Для того, чтобы раздеть его, потребовалось пригласить двух плотников. Пять нижних сорочек были мокрые, и даже один армяк пропитался потом.

Я вытер бухгалтеру лицо вазелином и, умывши его, дружески сказал:

— Ну-с, а как же условьице?.. Подпишем? Вы мне нравитесь.

— Я...— прохрипел он страдальчески,— я... устрою свои некоторые дела, а потом... по... подумаю.

Избегая моего взгляда, он распрощался и ушел.

Больше я его не видел.

КОРЕНЬ ЗЛА

(Вагон конки, переполненный публикой. Кондуктор тянет за рукав плохо одетого, угрюмого господина в опорках и кричит ему на ухо):

— Эй, ты! Покажь билет!..

Желчный господин, сидящий около (возмущенно).— Что ты, скотина, с ним брудершафт пил, что ли? Будь повежливее!

Бритый господин (сочувственно).— Эти свиньи, если видят, что человек плохо одет, то и...

Желчн. госп. (язвительно).— Ах, он, по-вашему, плохо одет?.. Если вы нацепили дурацкий красный галстук, то и думаете, что важный барин?!

Брит. госп. (кричит, багровея).— Что-о?! Вы пьяны, вероятно! Нахал!! (обращаясь к соседке слева, с подвязанной щекой). Как вам это нравится?!!

Соседка слева.— Слушайте, не кричите мне над ухом! Вы совсем меня оглушили...

Брит. госп.— Ах, отстаньте от меня с вашим ухом!..

Гимназист справа (задорно). — Будьте вежливее с дамами, милостивый государь!..

Мастеровой (сзади, иронически). — Вы бы, барчук, молоко мамашино на губках обтерли...

Соседка слева (не расслышавши).— Какой мамаши? Что вы меня навязываете в мамаши каждому мальчишке!

Гимназист. — Я не мальчишка и, вообще, прошу вас...

Соседка слева. — Кондуктор, кондуктор, меня здесь оскорбляют!..

Брит. госп. (указывая на желчного). — Кондуктор! Убери этого человека, он грубит пассажирам...

Желчн. госп.— А зачем он привязался ко мне! Вишь ты, костюм у моего соседа плох! Тоже, птица важная!..

Гимназист (нос у него покраснел и на глазах видны слезы). — Кондуктор, будьте свидетелем, эта дама назвала меня мальчишкой!

Брит. госп.— А вот этот сказал, что у меня галстук дурацкий...

Кондукт.— Не кричите все зараз, господа. Вас много, а я один! (к *брит. госп.*). Он вас оскорбил?

Желчн. госп.— Нет, не я его, а он меня! Па-аз-вольте!! Он говорит...

Кондукт.— Пожалуйте с конки. Здесь нельзя безобразить...

Брит. госп.— С какой стати! Вот еще...

Дама слева.— И вот этого мастерового, кстати, уберите! Он грубит. Пьян, кажется...

Мастеровой.— Не на твои деньги напился...

(Страшный шум. Конка посредине пути останавливается. Больше всех кричат: бритый господин, желчный, дама слева, гимназист и мастеровой. Плохо одетый господин прижался в угол и молча пугливо озирается. Слышны возгласы остальных, желающих двинуться дальше: — Городовой! Городовой!.. Медленно подходит городовой. Он лениво обводит глазами пассажиров и с апатией на деревянном лице спрашивает):

— Ну чего тут еще не поладили? Ты, рыжий, чего руками размахался?! Не птица — не полетишь!

Дама.— Вот его возьмите!

Мастеровой. — Меня-а? Ловка больно!

Городовой. — Ты чего же это? Вот я те шею как наглажу!..

Мастеровой. — Да что же я, господин городовой! А как эти, будем говорить, гимназисты...

Гимназист. — А я-то при чем!

Городовой. — Так как же это вы, молодой человек, а?..

Гимназист (гордо). — Прежде всего, представителю отживающего полицейско-бюрократического режима я никаких показаний давать не намерен. Но для истины должен сказать, что эта дама оскорбила меня неуместным прозвищем мальчишки...

Дама. — А зачем же вы...

Гимназист. — Я за вас заступился! Этот господин кричал вам на ухо...

Брит. госп. — Да как же не кричать, если вот этот говорит мне, что у меня галстук дурацкий...

Желчн. госп. — Потому и сказал, что вы позволили себе отозваться невежливо о костюме этого вон человека *(указывает на плохо одет. господина).*

Плохо одет. госп. (конфузливо, робко). — Я что же... Я ничего не имею...

Городовой (до сих пор тупо выслушивающий претензии, оживляется и устремляет строгий взгляд на плохо одет. госп.). — Это ты что же! А? Безобразить? Да я тебя!!. Пошел вон с конки!

Плохо одет. госп. — Господа! Милостивые государи! За что же я-то...

Городовой. — Но-но-но! Поговори еще! Проваливай!

Кондуктор. — Так его, так! Смуты только из-за него! *(выпроваживает, вместе с городовым).*

Желчн. госп. (глядя вслед удаляющемуся плохо одет. госп.) — А у него, знаете ли, в самом деле, что-то подозрительное в лице...

Брит. госп. (дружелюбно). — Ну, не я ли это первый заметил!..

Дама слева. — Такому и в карман залезть — плевое дело!

Мастеровой. — Обломать бы ему бока, знал бы тогда (*к гимназисту*). Дозвольте папироску!..

Гимназист. — Сделайте одолжение! Вы эс-эр или эс-дек?..

КОСА НА КАМЕНЬ

I

Репортер Шмурыгин вышел из редакции в крайне угнетенном состоянии духа. Удручала его проборка, заданная редактором за доставление несвежего материала.

Последнюю остроту редактора он находил даже пошлой:

— Если вы думаете, что всякая дичь должна быть несвежей, то жестоко ошибаетесь. Тем более что ваши утки большей частью доморощенные.

— Это ты кому говоришь! — шептал, идя по улице, пасмурный репортер.— Ты говоришь, волосатый черт, представителю прессы! За это теперь и ответить можно...

Потом он стал мечтать:

— Хорошо бы, если бы этот дом вдруг моментально провалился! Эффектная вещь. Строк на сто. Или какой-нибудь автомобиль, чтобы с размаху въехал в зеркальное стекло кондитерской. Воображаю, как позеленел бы Абзацов! А то он всюду со своим длинным носом первый поспеет.

С житейских событий он перешел на политические.

— Хорошо бы депутатов стравить на драку... Потом — впечатлений, интервью, показаний очевидцев — рублей на сорок. Пойти разве и сказать одному правому депутату, что другой правый депутат назвал его идиотом. Тот ему задаст за идиота! Разве можно так оскорблять парламентского деятеля?! Да что толку... Потасовки-то ведь я не увижу. Ну, времена! Хотя бы на самоубийство какое, самое паршивое, наскочить.

И вслед за этой мыслью репортер вздрогнул, будто пронизанный электрической искрой...

Он увидел себя на пустынном мосту через Фонтанку, куда завели его сладостные грезы о несбыточном, и увидел не только себя, но и другого человека, свесившегося через перила моста и якобы любовавшегося гаснущим закатом.

— Э! — сказал самому себе Шмурыгин,— зачем бы этому фрукту торчать здесь без дела и любоваться черт знает на что. Ясно, что парень ждет удобной минуты, чтобы,— он не был бы репортером, если бы не сказал этой фразы,— чтобы покончить все расчеты с жизнью.

У него ни на минуту не явилось мысли удержать предполагаемого утопленника от самоубийства. Человек в нем

спал беспробудно. Проснулся репортер, настойчивый, любопытный и хладнокровный.

— Может быть, черти унесут меня отсюда. Но сам я ни за что не отойду от этого моста. Покажу я им, какая у меня дичь бывает. Сам, напишу, видел. Восторг, что такое!!

И он, как ворон у падали, стал кружиться около моста.

II

Молодой человек не замечал ничего, что делалось вокруг него.

Репортер ясно видел, как он, стоя все в той же позе, судорожно цеплялся пальцами за верхушку перил, что-то бормотал про себя и, нахмурив брови, упорно, сосредоточенно смотрел на плескавшуюся под ним влагу.

— Тоже не легко бедняге решиться,— проснулся на секунду в Шмурыгине человек, но репортер внутренно показал человеку кулак, и тот спрятался.

— И чего тянуть волынку. Не понимаю! — сказал репортер.

Так, в томительном ожидании, с одной стороны, и бормотании с нахмуренным страдальческим взглядом, обращенным на воду,— с другой, прошло полчаса.

Шмурыгину так надоело нудное ожидание, что он решил помочь событиям.

Подойдя к перилам и тоже облокотясь на них, Шмурыгин стал беззаботно смотреть вдаль.

Потом покосился на соседа и непринужденно сказал:

— Каков закатец-то, а?

— Чтобы черт побрал этот закатец. Меня бы это вовсе не огорчило! — ответил угрюмо молодой человек.

— Ага! Меланхолия! — торжествующе подумал репортер.— Тем лучше!

— В сущности говоря, вы правы. Что такое закат? И что такое наша жизнь вообще? Так, одни страдания.

Собеседник промолчал, и это ободрило репортера.

— Так вот, вдумаешься в жизнь и приходишь к заключению: ну, что в ней хорошего? И я преклоняюсь перед теми, которые по своей воле рвут эту серую, скучную нить жизни...

— Идиотская жизнь,— поддержал молодой человек.— Я вот целый час стою здесь, и ничего мне не приходит в голову.

— То есть вы не решаетесь?

— На что?

Репортер смутился.

— Ну, как вам сказать... Людей с характером очень мало. Это ведь не то, что взять, да и выпить бутылку этой зловонной воды.

— Поверьте, что мне легче выпить бутылку этой зловонной воды.

— Еще бы,— сочувственно поддакнул репортер,— ни в пример легче. А все-таки если вдуматься, то какой это пустяк: шаг за перила, один миг — и тебя уже нет. Прелестно.

III

Молодой человек отодвинулся.

— Вы это о чем же?

— Спугнул! — подумал Шмурыгин.

И смущенно продолжал:

— Я говорю насчет эпидемии самоубийств. В наше проклятое время они имеют большой резон д'этр, как выражается наш передовик.

Молодой человек сочувственно закивал головой.

— Ей-Богу, вы правы! Да вот взять хоть бы меня сейчас: в самую пору вниз головой с моста прыгнуть.

— И вы думаете, что я буду вас отговаривать? Нет! Я очень понимаю, что значит, когда нет выхода. Впрочем, простите, я вам мешаю. Может, мой разговор в такие минуты неприятен.

— О, нет, не беспокойтесь. Я все равно сейчас ухожу. Пойду в другое место, может быть, там что-нибудь выйдет.

Репортер похолодел, как труп, только что вытащенный из воды.

— Ради Бога! Куда же вы? Разве здесь так плохо?

— А разве хорошо? Я вот уже сколько времени час за часом бесцельно трачу здесь время. Прощайте!

Репортер задрожал от ужаса.

— Но будто вам не все равно! Поверьте, жизнь так дурна... Каждый лишний час, проведенный на этой бессердечной земной коре, такое мучение... Тем более что нигде поблизости нет ни людей, ни лодок... Колоссальное удобство.

Неизвестный нахмурился.

— Я вас не совсем понимаю! Что вы говорите? Затем, это волнение так подозрительно...

Шмурыгин покраснел и потупился.

— Послушайте. Я буду с вами откровенен... Ведь вы меня не обманете! Я прекрасно понял, что вы собираетесь топиться. Ну, хотите топиться — Христос с вами — топитесь. Идея не глупая. Но какого черта вам искать другого места. Чем здесь, спрашивается, плохо? Место пустынное, вода глубокая — превосходно! Фить! Как камень. А тащиться куда-то, где вас всегда могут вытащить, это,— простите,— даже глупо.

IV

Молодой человек выслушал горячую речь репортера, сосредоточенно думая о чем-то другом.

— Вы знаете, я, кажется, буду вам очень благодарен... Но, скажите откровенно, для чего вам понадобилось, чтобы я утонул именно здесь?

— Я хотел лично видеть все это.

Неизвестный покачал головой.

— Жестокое, бессмысленное любопытство!

Репортер ударил себя ладонью в грудь.

— Жестокое? Бессмысленное? Ошибаетесь! Я думал, что имею дело с умным человеком. Ведь поймите, вам решительно все равно, а я, в качестве репортера, заработаю на этом деле. Вы не можете представить, в какой цене очевидцы.

Веселое выражение появилось на лице незнакомца.

— Позвольте пожать вашу руку. Не зная того сами, вы оказали мне большую услугу!

— Боже мой! Какую?

— Вы мне дали тему для рассказа.

— Черт возьми! А... топиться? — разочарованно воскликнул Шмурыгин.

— Да с чего вы взяли, дубовая голова, что я хочу прыгнуть в воду? Просто я стоял на месте, где мне никто не мешал, и хотел выжать тему для нового фельетона. Иногда мысль совершенно не работает. А вы мне дали прекрасный сюжет. Хе-хе. Всего хорошего — побегу писать.

Как пришибленный, поплелся репортер за фельетонистом.

И в мозгу зашевелились мысли:

— Хорошо, если бы ветром занесло сюда на Фонтанку какой-нибудь воздушный шар... Чтоб в лепешку шмякнулись, голубчики! Или чтобы тот, идущий рабочий, поскользнулся и в кармане у него разорвалась бомба. Жаль только прохожих мало — жертв почти не будет...

Человек в нем спал.

СПЛЕТНЯ

Контролер чайно-рассыпочного отделения Федор Иванович Аквинский шел в купальню, находящуюся в двух верстах от нанимаемой им собачьей будки, которую только разгоряченная фантазия владельца могла считать «дачей»...

Войдя в купальню, Аквинский быстро разделся и, вздрагивая от мягкого утреннего холодка, осторожно спустился по ветхой шаткой лесенке к воде. Солнце светлое, только что омытое предрассветной росой, бросало слабые, теплые блики на тихую, как зеркало, воду.

Какая-то не совсем проснувшаяся мошка, очертя голову, взлетела над самой водой и, едва коснувшись ее крылом, вызвала медленные, ленивые круги, тихо расплывшиеся по поверхности.

Аквинский попробовал голой ногой температуру воды и отдернул, будто обжегшись. Купался он каждый день и каждый же день по полчаса собирался с духом, не решаясь броситься в холодную, прозрачную влагу...

И только что он затаил дыхание и вытянул руки, чтобы нелепо, по-лягушачьи прыгнуть, как в стороне женской купальни послышались всплески воды и чья-то возня.

Аквинский остановился и посмотрел налево.

Из-за серой позеленевшей внизу от воды перегородки показалась сначала женская рука, потом голова и, наконец, выплыла полная рослая блондинка в голубом купальном костюме. Ее красивое белое лицо от холода порозовело, и когда она сильно, по-мужски, взмахивала рукой, то из воды четко показывалась высокая пышная грудь, чуть прикрытая голубой материей.

Аквинский, смотря на нее, почему-то вздохнул, потрепал голой рукой съеденную молью бородку и сказал сам себе:

«Это жена нашего члена таможни купается. Ишь ты, какой костюм! Читал я, что за границей, в какой-то там Ривьере, и женщины, и мужчины купаются вместе... Ну, и штука!»

Когда он, выкупавшись, натягивал на тощие ноги панталоны, то подумал:

«Ну, хорошо... скажем, купаются вместе... а раздеваться как же? Значит, все-таки, как ни вертись, нужно два помещения. Выдумают тоже!»

Придя на службу в таможню, он после обычной возни в пакгаузе сел на ящик из-под чаю и, спросив у коллеги Ниткина папиросу, с наслаждением затянулся скверным дешевым дымом...

— Купался я сегодня, Ниткин, утром и смотрю — из женской купальни наша членша Тарасиха выплывает... Ну, думаю, увидит меня да мужу скажет... Смех! Уж очень близко было. А вот за границей, в Ривьере, говорят, мужчины и бабы вместе купаются... Гы!.. Вот бы поехать!

Когда, через полчаса после этого разговора, Ниткин пил в архиве с канцеляристами водку, то, накладывая на ломоть хлеба кусок ветчины, сказал, ни к кому не обращаясь:

— Вот-то штука! Аквинский сегодня с женой нашего члена Тарасова в реке купался... Говорит, что в какой-то там Ривьере все вместе — и мужчины и женщины купаются. Говорит — поеду в Ривьеру. Поедешь, как же... На это деньги надо, голубчик!

— Отчего же! — вмешался пакгаузный Нибелунгов. — У него тетка, говорят, богатая; может у тетки взять...

Послышались шаги секретаря, и вся закусывающая компания, как мыши, разбежалась в разные стороны.

А за обедом экспедитор Портупеев, наливая борщ в тарелку, говорил жене, маленькой, сухонькой женщине с колючими глазками и синими жилистыми руками:

— Вот дела-то какие, Петровна, у нас в таможне! Аквинский, чтоб ему пусто было, собрался к черту на кулички в Ривьеру ехать и Тарасова жену с собой сманил... Деньги у тетки берет! А Тарасиха с ним вместе сегодня купалась и рассказывала ему, что за границей так принято... Хе-хе!

— Ах, бесстыдники! — целомудренно потупилась Петровна. — Ну, и езжали бы себе подальше, а то — на-ко

здесь разврат заводят! Только куда ему с ней... Она баба здоровая, а он так — тьфу!

На другой день, когда горничная Тарасовых, живших недалеко от Портупеевых, пришла к Петровне просить по-соседски утюги для барыниных юбок, душа госпожи Портупеевой не выдержала:

— Это что же, для Ривьеры глаженые юбки понадобились?

— Ах, что вы! Слова такие! — усмехнулась, стрельнув глазами, горничная, истолковавшая фразу Петровны совершенно неведомым образом.

— Ну да! Небось тебе-то, да не знать...

Она скорбно помолчала.

— Эх-ма, дурость бабья наша... И чего нашла она в нем?

Горничная, все-таки не понимавшая, в чем дело, вытаращила глаза...

— Да, ваша Марья Григорьевна — хороша, нечего сказать! С пакгаузной крысой Аквинским снюхалась! Хорош любовничек! Да-с. Сговорились в какую-то дурацкую Ривьеру, на купанье бежать, и деньги у тетки он достать посулился... Достанет, как же! Скрадет у тетки деньги, вот и все!

Горничная всплеснула руками.

— Да правда ли это, Алисья Петровна?

— Врать тебе буду. Весь город шуршит об этом.

— Ах, ужасти!

Горничная опрометью, позабывши об утюгах, бросилась домой и на пороге кухни столкнулась с самим членом таможни, который без сюртука и жилета нес в стаканчике воду для канарейки.

— Что с вами, Миликтриса Кирбитьевна? — прищурив глаза и взяв горничную за пухлый локоть, пропел Тарасов. — Вы так летите, будто спасаетесь от привидений ваших погубленных поклонников.

— Оставьте! — огрызнулась горничная, не особенно церемонившаяся во время этих случайных tête-á-tête[1]. — Вечно вы проходу не дадите!.. Лучше бы за барыней смотрели покрепче, чем руками...

Пухлое, невозмутимое лицо члена таможни приобрело сразу совсем другое выражение.

Господин Тарасов принадлежал к тому общеизвестному типу мужей, которые не пропустят ни одной хорошенькой,

[1] Здесь· свиданий наедине (*фр*)

чтобы не ущипнуть ее, зевая в то же время в обществе жены до вывиха челюстей и стараясь при всяком удобном случае заменить домашний очаг неизбежным винтом или chemin de fer'ом.

Но, учуяв какой-нибудь намек на супружескую неверность жены, эти кроткие, безобидные люди превращаются в Огелло с теми особенностями и отклонениями от этого типа, которые налагаются пыльными канцеляриями и присутственными местами.

Тарасов выронил стаканчик с водой и опять схватил горничную за локоть, но уже другим образом.

— Что? Что ты говоришь, п-подлая? Повтори-ка?!!

Испуганная этим неожиданным превращением члена таможни, горничная слезливо заморгала глазами и потупилась:

— Барин, Павел Ефимович, вот вам крест, я тут ни при чем! Мое дело сторона! А как весь город уже говорит, то, чтоб после на меня чего не было... Скажут — ты помогала! А я как перед Господом!..

Тарасов выпил воды из кувшина, стоявшего на столе, и, потупив голову, сказал:

— Рассказывай: с кем, как и когда?..

Горничная почуяла под собой почву.

— Да все с этим же... трухлявым! Федором Ивановичем... что в прошлом году раков вам в подарок принес... Вот тебе и раки! И как они это ловко. Уже все и уговорено: он у тетки деньги из комода скрадет — тетка евонная богатая,— и вместе купаться поедут в Ривьеру, куда-то... Срам-то, срам какой! Надо думать, завтра с вечерним поездом и двинут, голубчики!..

* * *

Сидя за покосившимся столиком в нескольких шагах от своей собачьей будки, контролер чайно-рассыпочного отделения Аквинский что-то писал, склонив набок голову и любовно выводя каждое слово.

Дерево, под которым стоял столик, иронически помахивало пыльными ветвями, и пятна света скользили по столику, бумаге и серой голове Аквинского... Бородка его, как будто приклеенная, шевелилась от ветра, и общий вид казался измученным и вялым.

Похоже было, что кто-то, по небрежности, забыл пересыпать никому не нужную вещь — Аквинского — нафталином и сложить на лето в сундук... Моль и поела Аквинского.

Он писал:

«Милая тетенька! Осмелюсь вас уведомить, что я нахожусь в полнейшем недоумении... За что же? Я вас спрашиваю. Впрочем, вот передаю, как было дело... Вчера досмотрщик Сычевой сказал, подойдя к моему столику, что меня требует член таможни господин Тарасов, тот самый, которому я в прошлом году от усердия поднес сотню раков. Я пошел, ничего не думая, и, вообразите, он наговорил мне столько странных и ужасных вещей, что я ничего не понял... Сначала говорит: «Вы, говорит, Аквинский, кажется, в Ривьеру собираетесь?» — «Никак нет», отвечаю... А он как закричит: «Так вот как!!! Не лгите! Вы, говорит, попрали самые священные законы естества и супружества! Вы устои колеблете!! Вы ворвались в нормальный очаг и произвели водоворот, в котором — предупреждаю — вы же и захлебнетесь!!» Ужасно эти ученые люди туманно говорят... Потом и про вас, тетенька... «Вы, говорит, вашу тетку порешили ограбить... вашу старую тетку, а это стыдно! безнравственно!!» Откуда он мог узнать, что я уже второй месяц не посылаю вам обычных десяти рублей на содержание! Как я уже вам объяснял — это произошло потому, что я заплатил за дачу вперед на все лето. Завтра я постараюсь выслать вам сразу за два месяца. Но все-таки — не понимаю. Обидно! Вот я теперь уволен со службы... А за что? Какие-то устои, водоворот... Насчет же семейной жизни, что он говорил, так это совсем непостижимо! Как вам известно, тетенька, я не женат»...

ДУРАК

Раку приходится сталкиваться с человеческим характером тогда, когда его бросают в кипяток. И он краснеет... краснеет за людей.

Теперь, когда я смотрю на его худую нескладную фигуру, бледно-желтые усы и жалкую улыбку человека, ожидающего неизвестно откуда пинка, мне хочется и смеяться, и пла-

кать, прижавши к своей груди эту пустую взлохмаченную голову, такую смешную.

Когда я впервые вводил его в нашу компанию, все были уже предупреждены.

— Познакомьтесь.

— Граф Калиостро,— гордо представился один.

— Барон Мюнхгаузен!

— Виконт Подходцев.

Дурак смотрел на всех восторженно недоумевающими глазами, будучи, очевидно, сильно польщен пребыванием в такой титулованной компании.

— Поверьте, господа...— начал он, не зная куда деть завернутую в бумагу сотню живых раков и ноты, которые он держал в руках.

Я освободил его от свертков и пригласил сесть.

Определенного плана мы не имели, но «виконт» Подходцев нашелся:

— Что это у вас в бумаге?

— Раки. Иду это я и думаю — дай куплю раков! Так и купил.

— Можно посмотреть?

Подходцев сделал в свертке отверстие и вынул одного рака.

— Здорово сделан! — похвалил он, держа рака двумя пальцами перед лампой.

Дурак растерялся.

— Как... сделан? Да он, представьте, живой!

Подходцев обидчиво усмехнулся.

— Шутить изволите-с?! Не ребенок же я, чтобы не отличить живого рака от механического. По-моему, это нюренбергская работа...

Дурак нагнулся и снизу заглянул в глаза говорившему, желая отыскать в них тень улыбки.

Однако тот был невозмутим, сохраняя в лице выражение оскорбленного человека.

— Неужели, вы... серьезно? — сконфуженно пробормотал Дурак.

— Я серьезен, но серьезны ли вы, сударь!! — вскричал Подходцев, багровея.— Окончивши два с половиной факультета, я дурачить себя не позволю! Ведь всем известно, что настоящие раки бывают красные!

Тяжелая, неповоротливая мысль Дурака усмотрела где-то вдали проблеск выхода из этого странного, нелепого положения.

— Нет, насколько я знаю, раки бывают черные!

— Вы слышите, господа! — с обидчивым удивлением обратился к нам Подходцев.— Сей муж имеет смелость уверять, что раки бывают черные! Зачем же тогда говорят: покраснел как рак?..

— Вареный! — тоскливо перебил гость.

— Нет-с, извините! Ежели какой-либо предмет хотят сравнить с другим, общеизвестным, то берут для этого его вид или, в данном случае, цвет не случайный и редко встречающийся, а тот, в котором предмет чаще всего можно наблюдать в природе. Например, если говорят: «он прыгнул, как тигр»,— то это не значит, что он прыгнул, как *жареный* тигр!

И, проговорив эти странные слова, Подходцев гордо оглядел компанию.

Мы давились от хохота, избегая отчаянного взгляда Дурака, который озирался, ища хотя в ком-нибудь поддержки.

Наконец он взял злополучного рака двумя пальцами и сказал боязливо-торжествующе:

— Глядите, он движется! Ей-Богу, это живой рак!

— А вы зачем же пальцами на брюшко надавливаете?! Ясно, что внутри пружина! Знаем мы эти штуки.

Мы громко поддержали Подходцева, выражая негодование на то, что нас хотят одурачить каким-то механическим раком, как малых ребят.

— Так сломаем его и я вам докажу! — в приливе вдохновения решил Дурак.

— Зачем же вещь портить? — нашелся Подходцев.— Ведь она рубля полтора стоит.

В порыве безысходного отчаяния Дурак отвел меня в сторону и тихо спросил:

— Послушайте... Неужели они это серьезно?

— Без сомнения! Объясните мне,— участливо прошептал я,— где вы их раздобыли? Не подшутил ли кто над вами?

Он посмотрел на меня долгим взглядом.

Никогда после этого мне не случалось встречать человека, который был бы более уверен в своей правоте и менее

всего мог бы доказать ее. Что за тяжелый, кошмарный мозг лежал под этой толстой мозговой коробкой...

Дурак молча взял из рук Подходцева рака и, положив обратно в бумагу, отошел к окну.

Лица его, обращенного к темным заплаканным от дождя стеклам, я не видел, но согнутая спина и руки, которыми он усиленно тер виски, давали такое впечатление напряженного раздумья и тоски, что я, желая развеселить его, превратился в любезного хозяина и повлек всю компанию к столу.

За ужином разговор принял мрачный, зловещий оттенок. Присутствие Дурака вдохновляло самых неразговорчивых.

— Скажите, граф,— неожиданно обратился Подходцев к одному юноше,— в каком положении ваше дело о краже пальто из передней клуба?

Граф ухмыльнулся.

— Придется сидеть, черт их дери. Из-за какого-то пальто, а? И ведь, представьте, почти совсем удрал — около Биржи нагнали.

Толстый Клинков обратился к удивленному Дураку и благодушно сказал:

— Ненавижу я эту мелкую работу... Ну, что такое пальто? Каждое дело должно быть цементировано кровью. Помнишь, виконт, как мы тогда эту старуху ловко ухлопали. Одними бумажками девять тысяч, не считая золота!

Дурак, с расширенными до последних пределов глазами, сидел без единого звука, и кусок ветчины, который он держал на вилке, так и застыл в воздухе.

— Конечно,— пожал плечами Подходцев,— но в каждом таком деле нужна логика. Что может быть глупее, например, случая с бароном, когда он, чтобы сократить в приемной доктора очередь, отравил воду, которую пили больные, пришедшие раньше его? Или когда он поджег детский приют, чтобы ему, пьяному, при освещении было легче найти номер своего дома. Все это не забавно и бесполезно.

Дурак сидел, побледневши как мертвец, и тщетно пробовал разжевать пробку от горчицы, которую кто-то потихоньку вздел ему на вилку вместо колбасы. Крупные капли пота блестели на его лбу, и весь он напоминал большую кошку, которую шутники окунули в воду.

Опомнился Дурак только тогда, когда все, вставая, задвигали стульями. С трудом ворочая своим суконным язы-

ком, он поблагодарил меня за гостеприимство, но выразил твердое желание отправиться домой.

— И не думайте! — радушно воскликнул я.— Мы еще выпьем кофе, поболтаем... Не правда ли, многим есть что рассказать? Жаль, нет сейчас самого интересного — сидит в централке за маленькое убийство...

Но Дурак был уже в пальто, обнявши руками своих раков и громадный сверток нот.

Когда он прощался со всеми, угрюмо смотря куда-то в сторону, Подходцев не утерпел и рассыпался перед ним в извинениях.

— Вы знаете, я относительно рака-то ошибся... я, вообразите, полагал, что он нюренбергской работы, а уж после разглядел на клешне фабричную марку: «И. Павлов. Тула». Кустарная работа, оказывается.

Дурак молча вышел, и мы, от нечего делать, стали следить за ним в окно.

Смешная, нелепая фигура перешла пустынную улицу и торопливо приблизилась к фонарю.

Дурак раскрыл зонтик, сложил под него ноты, порылся в свертке раков и, вынув одного из них, близко поднес его к фонарю.

Лицо нашего гостя выражало напряженное любопытство и нетерпение. Фонарь подмигивал и, качая пламенем, подсмеивался над Дураком, который внимательно осмотрел рака и, оторвавши хвост, стал, по одной, отламывать клешни и лапы.

И лицо его все более прояснялось.

Когда от всего рака осталась только спинка, он отбросил ее от себя, бодро выпрямился, покачал кому-то укоризненно головой, забрал свои свертки и — сплошная сетка дождя быстро затушевала его фигуру.

Дождь ли был тому причиной, но скука охватила всю компанию. Мы быстро пожали друг другу руки и разошлись, каждый в свою сторону. Один я, выйдя из дому, пошел без всякой цели.

На спине ощущалось холодное прикосновение дождевых капель, как чьих-то равнодушных слез.

Дождь ли был тому причиной,— но мне была противна и слякоть, рыдавшая под досками старого деревянного тротуара, и мрак, и противнее всего был мне я сам.

ИЗМЕНА

Меняла Вилкин запер свою лавчонку, которая среди его знакомых носила громкое название банкирской конторы, и, подергав замок, сказал сам себе:

— Сегодня я в «Черный лебедь» не пойду. Ну его! Каждый день — надоело. Не все же дома оставлять молодую жену без мужа. Хе-хе!

Подходя к дому, он обратил внимание на то, что в окне спальни жены света не было.

— Неужели спит? Странно!

Все происшедшее дальше было так обычно, что противно рассказывать.

Конечно, он прошел через незапертую дверь черного хода в столовую, оттуда в спальню и, конечно, увидел жену не одну, а с каким-то молодым господином, который, по ближайшем рассмотрении, оказался знакомым Вилкина — Грохотовым. Конечно, для менялы все это было очень неожиданно, но читающую публику такие вещи должны утомлять. Об этом так часто писали и еще чаще это делали.

Профессия менялы — очень редкая профессия, и только, может быть, именно поэтому развязка навязшей всем в зубах истории о явившемся неожиданно домой муже, который застает жену с другом дома, получила несколько оригинальную, чуждую шаблона, окраску.

Заметив, что костюм Грохотова изменил свое обычное местопребывание и вместо того, чтобы покоиться на плечах и ногах владельца, беспомощно висел на стуле, Вилкин всплеснул руками и вскричал злобно-торжествующе:

— Ага, голубчики! Попались... Нет! не пытайтесь отпираться...

Грохотов сел на кровати и, зевая, хладнокровно сказал:

— Вот дурак старый! Никто и не думает отпираться. Подумаешь, тоже.

Вилкин сделал грозное лицо, но втайне почувствовал, что теряет под собой почву.

Все вышло как-то не по-настоящему: жена не упала перед ним на колени с мольбой о пощаде и любовник, вместо того чтобы спасаться бегством, сидел, зевая, на его супружеском ложе и равнодушно болтал босыми ногами.

— Да как вы смеете?!

— Что такое?

— С чужой женой, в квартире, за которую платит ее муж...

— У вас со своими дровами квартирка? — с явной насмешкой спросил Грохотов.

Вилкин метался по комнате, скрежеща зубами от злобы, и мучительно старался вспомнить, как вообще поступают мужья в таких случаях...

Нечаянно он нащупал в кармане пальто револьвер, который всегда носил от жуликов, и, выхватив его, осененный непоколебимым решением, вскричал:

— На колени, несчастный! Молись, пока не поздно! Даю тебе минуту сроку!!

— Не строй дурака! — уже сердито рявкнул Грохотов и, вскочив с кровати, бросился к несчастному мужу.

Он ловко поймал его за руку, державшую револьвер, и между ними завязалась недолгая борьба, на которую хорошенькая Вилкина смотрела, приподнявшись с подушек, с плохо скрытым любопытством и удовольствием...

Через минуту атлетически сложенный Грохотов подмял под себя тщедушного Вилкина, отнял у него револьвер и, вставая, неизвестно для чего пребольно ударил его три раза сзади в спину, затылок и в оба уха.

— А, так ты... драться!! Вот я сейчас кликну дворников — они тебе покажут!

Поправляя дрожащей рукой оторванный галстук, Вилкин в бессильном бешенстве двинулся к дверям, но Грохотов предупредил его.

— Э, нет, милый. Ты еще, в самом деле, сдуру накличешь дворников — ведь я твою подлую натуришку знаю! Никуда я тебя не выпущу.

Повернувши ключ в дверях, Грохотов выдернул его и крепко зажал в кулаке.

Вилкин постоял у запертых дверей, потом обернулся и сдавленно прошипел:

— Убирайтесь отсюда!

— Да, надо будет. Ничего не поделаешь. Кстати, мне и пора... Вилкин, который час?

Вилкин хотел сказать что-то очень обидное для Грохотова, но, покосившись на дверной ключ, зажатый в могучий кулак его бывшего приятеля, только заскрипел зубами и, нервно выдернувши часы, поднес к глазам.

— Пять минут десятого.

— Ого! Время-то как летит... Надо собираться.

Грохотов собрал разбросанные части своего туалета и стал неторопливо одеваться.

Вилкин, не говоря ни слова, ходил из угла в угол, сопровождаемый молчаливым взглядом жены, ходил, пока Грохотов не сказал досадливо:

— Не мотайся ты, ради Бога, перед глазами. Мешаешь только. Сядь вон там в углу на диван и сиди...

После возбужденного состояния духа у менялы наступила полная реакция... Чувствуя в спине и затылке сильную ноющую боль, он вздохнул и, потоптавшись на месте, с наружно независимым видом исполнил желание своего мучителя.

Сел на диван, закурил папиросу и стал уныло следить за туалетом Грохотова.

— Ну, вот... Ах ты, Господи! Проклятые воротнички! Прачка их крахмалит совсем, как дерево... Ого! А где же это запонка? Выскочила, анафемская... Вилкин, ты не видал моей запонки?

— Отстаньте вы от меня с вашей запонкой,— угрюмо проворчал Вилкин.

— Чудак-человек! Как же я оденусь без запонки?!

— На полу обронили, наверно! Тоже кавалеры, подумаешь...

Вилкин горько усмехнулся.

— Однако ты, Вилкин, не очень-то... У меня характер, сам знаешь, скверный... Ты, может, поискал бы ее, мой бледнолицый брат, а?

— Можете сами.

— Н-но!!

Вилкин в отчаянии схватился руками за голову и застонал.

— Навязались вы на мою голову!!

Впрочем, тут же опустился на колени и стал шарить руками по полу.

Жена, свесившись с постели, указала ему рукой:

— Посмотри под комодом... Не там... дальше, левее... Ох, какой ты бестолковый.

— Вот!

Вилкин, торжествующий, поднял запонку и, отирая с лица пот, протянул Грохотову.

— Скажите мне спасибо! Если бы не я — ни за что не нашли бы.

— Молодец, Вилкин. Старайся.

По мере того как Вилкин морально слабел и опускался, Грохотов все наглел, командуя Вилкиным без зазрения совести...

Он оделся, поцеловал галантно у madame Вилкиной руку, а мужу сказал фамильярно:

— Возьми, Ножиков, свечу и выпусти меня в парадную дверь.

Меняла зажег свечу, сумрачно ворча:

— Ножиков! Будто не знает, что моя фамилия — Вилкин.

— Хорошо, хорошо! Назову тебя хоть целым Сервизом — только проводи меня.

В передней Грохотов потребовал, чтобы меняла подал ему пальто, а когда он выпускал Грохотова в дверь, тот дружеским жестом протянул ему руку. Вилкин, растерявшись, хотел пожать ее, но, вместо этого, ощутил в своей руке какой-то предмет.

Затворивши дверь, он разжал кулак и увидел на ладони потертый двугривенный...

От обиды даже слюна во рту у него сделалась горькой. Он погрозил в пространство кулаком, опустил монету в карман и, пройдя в спальню, где жена уже спала, посмотрел на нее искоса и стал потихоньку раздеваться.

ЖАЛКОЕ СУЩЕСТВО

Мы столкнулись с ней на повороте улицы, и первые слова ее были:

— Удивительно! Вы в Петербурге?

— Я в этом уверен, и доказательством служит то, что, будь я в Киеве или Одессе, вам сейчас было бы трудно задать этот вопрос.

— Какой вы смешной! Проводите меня.

Мы пошли рядом, разговаривая. Пройдя сотню шагов, я заметил, что моя спутница все время тревожно оглядывалась на мостовую.

— Что с вами, Верочка?

— Прежде всего не Верочка, а Вера Валентиновна...

— Да что вы! Я давно это подозревал...

— То есть что — «это»?

— Так, вообще... Жизнь наша — цепь случайностей! А скажите, что вас так притягивает к этой мостовой?

— Он везет ее за мной.

— Кто он?

— Он, извозчик.

— Чего же вы идете, а она едет?

— Вы что-то путаете... Она — это лампа.

— Черт возьми! А я думал — приятельница.

— У вас вечно на уме приятельницы... Просто я устраиваю себе столовую и вот купила лампу. Зайду в два-три магазина и домой...

— Но почему же вы не можете оторвать глаз от извозчика? Он кажется мне парнем не в вашем духе...

— Я боюсь, что он удерет!

— Так вы бы заметили номер.

— В самом деле! Надо будет это сделать. Зайдем сейчас только в этот магазин.

Мы вошли в оружейный магазин.

Я сел вдали и стал наблюдать это милое, нелепое существо, такое беспомощное в обыденной жизни...

Диалог между Верочкой и приказчиком был, приблизительно, следующий:

— Здравствуйте. Есть у вас этот, гм... порох?

— Порох? Есть, сударыня. Вам какой прикажете?

— Такой... обыкновенный. Пять фунтов.

Приказчик стал заворачивать пакет и, смотря в окно, сказал:

— Охота в этом году неудачная... Дожди.

— Неужели? Терпеть не могу охоты. Ненавижу дожди.

Приказчик вежливо ухмыльнулся и заметил:

— Но ваш супруг, вероятно, страстный охотник... Потому что такой запас пороха...

Верочка расхохоталась.

— Какой вы смешной! Откуда вы взяли, что у меня есть муж? Просто я покупаю порох для столовой.

Приказчик очень удивился.

— Для... столовой?

— Ну, да. Я купила столовую лампу, и там наверху есть такой шар, в который насыпается порох для веса. Скажите, пять фунтов достаточно?

— Сударыня!! Вам, вероятно, нужно дроби?!

— Ну, дайте дроби.

Приказчик, в изумлении, искал моего взгляда, но я отвернулся.

Мы вышли из магазина, я — навьюченный дробью, она — веселая, жизнерадостная, с какой-то картонкой в руке.

— Вы знаете, что было бы, если бы приказчик дал вам для лампы порох?

Мой зловещий тон испугал ее.

— А что? Оно бы загорелось?

— «Оно» взорвало бы весь дом на воздух.

— Что вы говорите! Какой ужас! А дробь опасна?

Я пожал плечами.

— В ваших руках — пожалуй.

Когда мы подошли к дому, она пригласила меня зайти отдохнуть. Мы втащили в столовую лампу, дробь, и Верочка сейчас же захлопотала.

Энергия у нее была изумительная.

— Марья! Дай гвоздь, принеси керосину, спичек и скамеечку. А вы сядьте пока там в углу и не мешайте мне. Я это сделаю в две минуты.

Так как стол был уже накрыт, то она отодвинула приборы, поставила скамеечку и с гвоздем потянулась к потолку.

— Чем же я его забью? Молотка у нас, кажется, нет...

Она попробовала спичечной коробкой. Спички рассыпались, и коробка сломалась. Она подумала, бросила коробку и взяла со стола чайный стакан. При столкновении с гвоздем он разлетелся вдребезги, и Верочка, улыбаясь сквозь слезы, стала сосать обрезанную руку. Пущенные последовательно в дело нож, вилка и разливательная ложка встретили со стороны коренастого гвоздя самое тупое, решительное сопротивление.

Наконец, в дело вмешалось тяжелое, солидное пресс-папье. Оно исполнило возложенную на него миссию удовлетворительно, хотя с большим ущербом для себя, потолка, гвоздя и пальцев хозяйки. После этого лампа, без суда и следствия, была торжественно повешена.

— Как вы думаете, крепко держится?

Я высказал предположение, что ходьба по полу верхнего этажа может довести лампу до самого легкомысленного падения.

— Неужели? Марья! Пойди скажи, чтобы наверху поменьше ходили.

— Вы лучше попросите их съехать с квартиры,— посоветовал я.

Она подумала.

— Нет, знаете... это неудобно.

— Отчего неудобно? Если вы предложите им выбор между тем, чтобы сгореть заживо или расстаться с квартирой,— я уверен, они выберут второе.

— Нет, пустяки. Ничего не случится... висит же она уже пять минут, и ничего. Теперь только налить керосину, зажечь, и мы можем обедать.

Она взяла со стола бутылку, вылила керосин в резервуар и зажгла фитиль.

Фитиль потух.

Она поболтала лампой и опять зажгла.

Фитиль опять потух.

Были мобилизованы все наличные силы: я и Марья.

Лампа заявила, что гореть она не будет ни под каким видом.

Мы дули в нее, выкручивали фитиль, разбирали горелку, снова зажигали, а она, подмигнув иронически, сейчас же гасла.

— Очевидно, вас с лампой надули. Пошлите Марью переменить.

Так как Верочка изнемогала от усталости, то согласилась немедленно.

— Керосин только вылью. Марья, дай бутылку!

Потом до меня донесся удивленный голос Верочки:

— Чудеса! Недавно из этой бутылки вылила керосин, а она опять полна. Ничего не понимаю.

Заинтересованный, я подошел.

— Позвольте, Верочка! Вы не в ту бутылку льете.

— Много вы понимаете! Та с уксусом. Глупая Марья забыла ее на столе.

— Она не с уксусом, а пустая.

Верочка опустила лампу и растерянно посмотрела на меня.

— Вы знаете, почему лампа не горела?

Я подошел к ней ближе и сказал:

— Теперь я это знаю. Несчастное существо! Куда вы годитесь?!

— Пустите меня! Как вы смеете целоваться? Это наглость... Вы непорядочный человек!

— Кто, я? Негодяй первой степени. Разве вы не знали?

— Вы пользуетесь тем, что я одна!

— Чего же от меня ожидать хорошего... Конечно, условия воспитания, полная заброшенность в детстве, фребелевский метод обучения...

Она старалась вырваться, но, очевидно, возня с лампой так утомила ее, что голова ее опустилась на мою грудь.

Она посмотрела на меня и сказала:

— Какой вы смешной!

Потом она решила, что лучший выход из положения — ответить мне таким же сочным поцелуем.

Бедное, беспомощное создание!

Это было единственное, что она умела делать как следует.

ДРУГ

I

Душилов вскочил с своего места и, схватив руку Крошкина, попытался выдернуть ее из предплечья.

Он был бы очень удивлен, если бы кто-нибудь сказал ему, что эта хирургическая операция имела очень мало сходства с обыкновенным дружеским пожатием.

— Крошкин, дружище! Кой черт тебя дернул на это?

Душилов помолчал и взял руку Крошкина на этот раз с осторожностью, как будто дивясь прочности Крошкиных связок после давешнего рукопожатия.

— Видишь, ты уже раскаиваешься... Ведь я эти глупые романы знаю — вот как! Я как будто сейчас вижу завязку этой гадости: когда однажды никого из ближних не было, ты ни с того ни с сего взял и поцеловал ее в физиономию, у них иногда действительно бывают такие физиономии... забавные. Она, конечно, как полагается в хороших домах, повисла у тебя на шее, а ты вместо того, чтобы стряхнуть ее на пол, сделал предложение... было так?

Крошкин пожал плечами.

— Уж очень ты оригинально излагаешь! Впрочем, что-то подобное было. Но что поделаешь... Глупость совершена — предложение сделано.

— Ах ты, Господи! Можно все еще исправить. Ты еще можешь разойтись.

— Черт возьми! Как?!

Душилов впал в унылое раздумье.

— Не мог ли бы ты... поколотить ее отца, что ли! Тогда, я полагаю, всё бы расстроилось, а?

— То есть как поколотить? За что?

— Ну... причину можно найти. Явиться не в своем виде — прямо к старику. Ты что, мол, делаешь? Газету читаешь? Так вот тебе газета! Да по голове его!

— Послушай... Как ты думаешь: может дурак хотя иногда чувствовать себя дураком?

— Иногда, пожалуй,— согласился Душилов серьезно.— Но сейчас я не чувствую в себе припадка особенной глупости: обычное хроническое состояние. Хотя старика, пожалуй, бить жалко...

— Ну, вот видишь! Ах, если бы она меня разлюбила! Не нашел бы ты человека счастливее меня!

Душилов сделал новую попытку вывихнуть руку Крошкина, но тот привычным движением спрятал ее в карман.

— Друг Крошкин! Хочешь, я это сделаю? Хочешь, она тебя разлюбит?

— Может, ты ее собираешься поколотить?

— Фи, что ты! Я только буду иметь с ней разговор... в котором немного преувеличу твои недостатки, а?

Крошкин подумал.

— Знаешь, удав,— это мысль! Только ты можешь все испортить?!

— Кто, я? Будет сделано гениально.

— Сумасшедший, постой! Куда ты?

Боясь, чтобы друг не раздумал, Душилов схватил шапку, опрокинул столик, оторвал драпировку и исчез.

II

Душилов сидел в саду с прехорошенькой блондинкой и вел с ней крайне странный разговор.

— Итак, вы, Душилов, чувствуете себя превосходно... я рада за вас. А что поделывает Крошкин?

— Какой Крошкин?

— Ну, ваш друг!

— Он мне теперь не друг!

— Что вы говорите! Почему?

— Потому что он не Крошкин!

— А кто же он?

Душилов сокрушенно вздохнул.

— Человек, который живет по фальшивому паспорту, не может быть моим другом.

Побледневшая блондинка широко открыла испуганные глаза.

— Что вы говорите? Зачем ему это понадобилось?

— Вы читали в прошлом году об убийстве в Москве старого ростовщика? Убийца его, студент Зверев, до сих пор не найден... Теперь вы понимаете?!

— Душилов... Вы меня... с ума сведете.

— Еще бы! Я и сам хожу теперь как потерянный!

— Боже мой... Такой симпатичный, скромный, непьющий...

Душилов развел руками.

— Это он-то непьющий?! Потомственный почетный алкоголик... Вчера он у вас не был?

— Не был.

— Вчера он ночевал в участке. Доктор говорит, что скоро будет белая горячка. Погибший парень!

— Я с ума сойду! Ведь он был такой добрый... Когда умерла его тетка, он пришел к нам и навзрыд плакал...

— Комедия! Если бы отрыть тетку и произвести экспертизу внутренностей...

— Господи! Вы думаете...

— Я уверен.

— Но каково это его сестре!

Душилов грубо расхохотался.

— Полноте! Вы имеете наивность думать, что это его сестра! У них в Могилеве была фабрика фальшивых монет, а познакомились они в Киеве, где оба обобрали одного сонного сахарозаводчика. Хорошая сестра!

На глазах девушки стояли слезы.

— Вы знаете, что он хотел на мне жениться?

— Знаю! Он вам говорил о своем намерении совершить свадебную поездку по Черному морю?

— Да... Мы так мечтали.

— Знайте же, слепая безумица, что вы должны были попасть в продажу на константинопольский рынок невольниц. У них с сестрой уже это все было устроено!..

Добрые, сочувственные глаза Душилова с искренним состраданием смотрели на девушку.

— Душилов... один вопрос: значит, он меня не любил?

— Видите ли... У него есть любовница — француженка Берта, отбывшая в прошлом году в парижском Сен-Лазаре наказание за кражи и разврат.

Девушка глухо, беззвучно плакала.

— Этого... я ему никогда не прощу.

— И не прощайте! Я вас вполне понимаю... Кстати, у вас столовое серебро в целости?

— Ка-ак? Неужели он дошел до этого?

— Ничего не скажу... Вы знаете, я не люблю сплетничать, но вчера мне удалось видеть у него две столовые ложки с инициалами вашей доброй мамы. Ну, мне пора. Прикажете передать Крошкину, alias[1] Звереву, от вас привет?

Девушка вскочила с растрепанной прической и гневным лицом:

— Скажите ему... что он самый низкий мерзавец! Что ему и имени нет!

— Так и скажу. Хотя имя у него есть, и даже целых четыре. Я еще скажу, что он, кроме мерзавца, поджигатель и детоубийца — я нисколько не ошибусь. Ну-с, всего доброго. Поклон уважаемому папаше!

Душилов ушел из сада в самом благодушном настроении.

III

На другой день он решил зайти к другу Крошкину поделиться удачными результатами.

Вбежавши, как всегда, без доклада, он заглянул в кабинет друга и увидел его в странной компании.

За столом сидел судебный следователь и сухо, официально спрашивал бледного, перепуганного Крошкина:

— Итак, убийство ростовщика вы решительно отрицаете? Лучше всего вам сознаться. Хорошо-с! А не скажете ли вы нам, чем вы занимались в прошлом году в Могилеве с вашей сообщницей, которую вы выдаете за сестру и которая так ловко оперировала в деле с сахарозаводчиком... Не согласитесь ли вы сознаться, что смерть вашей несчастной тетки

[1] Здесь· иначе (говоря) (*лат*)

ускорена не природой, а человеком, и этот человек были вы, — при соучастии любовницы, француженки Берты, которую полиция сегодня тщетно разыскивает. Не запирайтесь, вы видите, что правосудию все известно!..

ЛЮДИ ЧЕТЫРЕХ ИЗМЕРЕНИЙ

I

— Удивительно они забавные! — сказала она, улыбаясь мечтательно и рассеянно.

Не зная, хвалит ли женщина в подобных случаях или порицает, я ответил, стараясь быть неопределенным:

— Совершенно верно. — Это частенько можно утверждать, не рискуя впасть в ошибку.

— Иногда они смешат меня.

— Это мило с их стороны, — осторожно заметил я, усиливаясь ее понять.

— Вы знаете, он — настоящий Отелло.

Так как до сих пор мы говорили о старике докторе, их домашнем враче, то я, удивленный этим странным его свойством, возразил:

— Никогда этого нельзя было подумать!

Она вздохнула:

— Да. И ужасно сознавать, что ты в полной власти такого человека. Иногда я жалею, что вышла за него замуж. Я уверена, что у него голова расшиблена до сих нор.

— Ах, вы говорите о муже! Но ведь он...

Она удивленно посмотрела на меня.

— Голова расшиблена не у мужа. Он ее сам расшиб.

— Упал, что ли?

— Да нет. Он ее расшиб этому молодому человеку.

Так как последний раз разговор о молодых людях был у нас недели три тому назад, то «этот молодой человек», если она не называла так доктора, был, очевидно, для меня личностью совершенно неизвестной.

Я беспомощно взглянул на нее и сказал:

— До тех пор, пока вы не разъясните причины несчастья с «молодым человеком», судьба этого незнакомца будет чужда моему сердцу.

— Ах, я и забыла, что вы не знаете этого случая! Недели три тому назад мы шли с ним из гостей, знаете, через сквер. А он сидел на скамейке, пока мы не попали на полосу электрического света. Бледный такой, черноволосый. Эти мужчины иногда бывают удивительно безрассудны. На мне тогда была большая черная шляпа, которая мне так к лицу, и от ходьбы я очень разрумянилась. Этот сумасброд внимательно посмотрел на меня и вдруг, вставши со скамьи, подходит к нам. Вы понимаете — я с мужем. Это сумасшествие. Молоденький такой. А муж, как я вам уже говорила,— настоящий Отелло. Подходит, берет мужа за рукав. «Позвольте,— говорит,— закурить». Александр выдергивает у него руку, быстрее молнии наклоняется к земле и каким-то кирпичом его по голове — трах! И молодой человек, как этот самый... сноп,— падает. Ужас!

— Неужели он его приревновал ни с того ни с сего?!

Она пожала плечами.

— Я же вам говорю: они удивительно забавные!

II

Простившись с ней, я вышел из дому и на углу улицы столкнулся с мужем.

— Ба! Вот неожиданная встреча! Что это вы и глаз не кажете!

— И не покажусь,— пошутил я.— Говорят, вы кирпичами ломаете головы, как каленые орехи.

Он захохотал:

— Жена рассказала? Хорошо, что мне под руку кирпич подвернулся. А то,— подумайте,— у меня было тысячи полторы денег при себе, на жене бриллиантовые серьги...

Я отшатнулся от него.

— Но... при чем здесь серьги?

— Ведь он их с мясом мог. Сквер пустой и глушь отчаянная..

— Вы думаете, что это грабитель?

— Нет, атташе французского посольства! Подходит в глухом месте человек, просит закурить и хватает за руку — ясно, кажется.

Он обиженно замолчал.

— Так вы его... кирпичом?

— По голове. Не пискнул даже... Мы тоже эти дела понимаем.

Недоумевая, я простился и пошел дальше.

III

— За вами не поспеешь! — раздался сзади меня голос.

Я оглянулся и увидел своего приятеля, которого не видел недели три.

Вглядевшись в него, я всплеснул руками и не удержался от крика.

— Боже! Что с вами сделалось?!

— Сегодня только из больницы вышел; слаб еще.

— Но... ради Бога! Чем вы были больны?

Он слабо улыбнулся и спросил в свою очередь:

— Скажите, вы не слышали: в последние три недели в нашем городе не было побегов из дома умалишенных?

— Не знаю. А что?

— Ну... не было случаев нападения бежавшего сумасшедшего на мирных прохожих?

— Охота вам таким вздором интересоваться!.. Расскажите лучше о себе.

— Да что! Был я три недели между жизнью и смертью. До сих пор шрам.

Я схватил его за руку и с неожиданным интересом воскликнул:

— Вы говорите — шрам? Три недели назад? Не сидели ли вы тогда в сквере?

— Ну да. Вы, вероятно, прочли в газете? Это самый нелепый случай моей жизни... Сижу я как-то теплым, тихим вечером в сквере. Лень, истома. Хочу закурить папиросу, — черт возьми! Нет спичек... Ну, думаю, будет проходить добрая душа, — попрошу. Как раз минут через десять проходит господин с дамой. Ее я не рассмотрел: — рожа, кажется. Но он курил. Подхожу, трогаю его самым вежливым образом за рукав: «Позвольте закурить». И — что же вы думаете! Этот бесноватый наклоняется к земле, поднимает что-то — и я, с разбитой головой, без памяти, лечу на землю. Подумать только, что эта несчастная беззащитная женщина шла с ним, даже не подозревая, вероятно, что это за птица.

Я посмотрел ему в глаза и строго спросил:

— Вы... действительно думаете, что имели дело с сумасшедшим?

— Я в этом уверен.

IV

Через полтора часа я лихорадочно рылся в старых номерах местной газеты и наконец нашел, что мне требовалось.

Это была небольшая заметка в хронике происшествий:

«*Под парами алкоголя.* — Вчера утром сторожами, убиравшими сквер, был замечен неизвестный молодой человек, оказавшийся по паспорту дворянином, который, будучи в сильном опьянении, упал на дорожке сквера так неудачно, что разбил себе о лежавший неподалеку кирпич голову. Горе несчастных родителей этого заблудшего молодого человека не поддается описанию...»

* * *

Я сейчас стою на соборной колокольне, смотрю на движущиеся по улице кучки серых людей, напоминающих муравьев, которые сходятся, расходятся, сталкиваются и опять без всякой цели и плана расползаются во все стороны...

И смеюсь, смеюсь..

НОВОСЕЛЬЕ

Он был такой чистенький, новенький, будто бы его сейчас только отлакировали и выпустили в продажу... Новенькая студенческая фуражка, убийственные синие брюки, сверкающие воротнички. Когда он вошел в нашу комнату, получилось впечатление вынутой из мешка Жар-Птицы.

Он вежливо щелкнул одним каблуком о другой, переложил фуражку под мышку и, откашлявшись, сказал:

— Не мог ли бы я надеяться на согласие ваше откушать нынче вечером у меня на новоселье.

Так он и сказал, негодяй: откушать.

Коллега Финкель лежал в это время на географической карте Европы, разостланной на полу, и ел арбуз, сплевывая косточки непосредственно в Средиземное море.

Коллега Васькин, обладатель пары ног, поразительно разнообразных по внешности в том отношении, что одна была в красном чулке, а другая в старинном ботинке,— занимался тем, что, держа другой ботинок в руке, широкими репинскими мазками замазывал чернилами все рыжие места.

Финкель положил недоеденную корку арбуза на Апеннинский полуостров, встал, закурил папиросу и, стряхнувши пепел на прекрасные брюки гостя, солидно сказал:

— Надеяться вы можете. Самое ужасное, когда человек, лишенный всяких надежд, сидит в тупике безнадежности. Но надейтесь только в том случае, если будет что ни только от-кушать, но и от-выпить.

— Я люблю преимущественно коньяк и преимущественно пиво,— разоблачил себя Васькин, смотря на гостя ясными глазами.

— Прейскурант напитков издания 1908 года суть мое любимое произведение беллетристики,— падая со смелостью опытного пловца на Немецкое море, сообщил Финкель.

— И я назвал бы мелким негодяем всякого цензора, который осмелится сделать там цензурные урезки.

— Будет исполнено, ваше превосходительство,— сказал растерявшийся юноша, неудачно стараясь попасть в тон хладнокровному Финкелю.

— Браво, старик! Я всегда, несмотря на происки твоих высокопоставленных врагов, был о тебе хорошего мнения. Иди и твори. Только если у тебя на новоселье будет тамбовский генерал-губернатор, мы демонстративно уйдем.

Финкель прекрасно знал, что никакого губернатора не будет, и предупредил юношу только для придания себе веса.

С юноши взяли торжественное обещание не приглашать особ первых четырех классов и наконец отпустили, занявши предварительно три рубля.

— Для начала новой жизни,— как объяснил бесцельный вообще в своих поступках Финкель.

Собралось народу немало.

Юноша, по имени Жердь, два студента без имен, замечательных только тем, что один был юристом, а другой медиком, два студента с именами, но затруднявшихся указать свои факультеты, один студент, заявивший с самого начала, что его фамилия Сидоров и ни на какие другие сделки он

не пойдет, Васькин, упорно старавшийся выдвигать из тени запятнанный чернилами ботинок, и, наконец, Финкель, явившийся позже всех и выразивший неудовольствие по поводу того, что толпа не встретила его кликами восторга и неподдельным народным ликованием.

— А, впрочем, черт с вами! Покажи, старик, свою трущобу.

Вместо трущобы Финкелю и другим были показаны две прехорошенькие, чистенькие комнаты, с чистенькими занавесками и чистенькими олеографическими картинками.

Финкель потрогал руками занавески, покачал головой и тоном опытной хозяйки определил:

— Занавески.

Осмотрел, сопровождаемый толпой, картины и не колеблясь заявил:

— Картины.

Толпа, пораженная его знаниями, обратила внимание эксперта на стоявшего в углу этажерки фарфорового амура. Финкель осмотрел его, поцарапал ногтем и сказал:

— Это вещь не дешевая. Заграничная. С ней нужно осторожно.

Впрочем, тут же он ее и разбил, уронивши на пол.

В комнате, исполнявшей роль гостиной, был сервирован стол, уставленный разнообразными бутылками и кушаньями.

Финкель сел рядом с хозяином и сказал, что только из уважения к памяти его родителей он будет пить кроме других напитков виски.

— Виски пьется обычно с водой, — тоном опытного неисправимого пьяницы заявил конфузившийся до сего хозяин.

— Хорошо, старик, — согласился Финкель. — Я буду пить виски, а ты воду. Потом мы можем слиться в одном дружеском объятии.

А Васькин почтительно спросил хозяина:

— Вы, вероятно, много путешествовали, дяденька, что так хорошо все знаете?

Когда кушанья были съедены дотла, студент, до сих пор упорствовавший в своем желании сохранить за собою фамилию Сидорова, встал и заявил хозяину:

— Коллега, я хочу танцевать.

Хозяин выразил неопределенное опасение насчет старухи-хозяйки, женщины крайне нервной и раздражительной, но Финкель его успокоил:

— Ты думаешь, что она испугается шуму? Видишь ли, если мы постепенно будем начинать шуметь, это ее раздражит, но если мы сразу произведем какой-нибудь адский звук — все остальное покажется ей тихой музыкой. Мы сейчас тебя застрахуем.

Не будучи человеком, у которого слово расходится с делом, Финкель немедленно ударил палкой в медный таз и обрушил с высоты своего роста пару тяжелых кресел.

За стеной послышались стоны, крик, и в комнате спустя минуту появилась делегация в виде толстой кухарки.

Финкель с изысканной любезностью предложил ей стакан рому, затем сделал на ухо заманчивое предложение, а затем, получив отказ, строго заявил, что в случае протеста хозяйки она будет выслана в 24 часа по петербургскому времени.

Кухарка ушла, и молодежь стала резвиться по-прежнему. Сидоров с огоньком протанцевал на неубранном столе джигу, а потом все хоронили коллегу Васькина.

Покойник лежал поперек кровати, обнявши руками подушку, и в такой необычной для мертвеца позе он находил еще силы неясно и глупо хихикать.

Финкель выступил вперед и, пошатываясь от горя, предложил сказать надгробную речь. Количество времени, которое он употребил на то, чтобы сделать это предложение, заставило хозяина опасаться за хладнокровие слушателей во время восприятия самой речи, но — напрасно, потому что Финкель после слов:

— Миледи! В наше время, когда воздух во всех направлениях исчерчен аэропланами, прозванными за свою прыткость дирижаблями...— заплакал навзрыд и, махнув рукой, сел на фуражку хозяина.

Студент без факультета попытался пощупать покойнику пульс, но так как он шарил эту часть организма на ноге, то выяснилось полное его незнакомство с медицинским факультетом.

Юноша, по имени Жердь, читавший до сего времени по усопшем, вместо псалтыри, «Генриха IV» Шекспира, святотатственно схватил покойника за нос и воскликнул:

— Смотрите! Он все более и более приближается к типу настоящего покойника...

Раздался крик ужаса.

Сидоров, мирно пивший до сих пор в уголку из бутылки пиво, вскочил и со стоном заявил:

— Господа! Мне все кажется вверх ногами.

Им заинтересовались медики, со стороны скорее научной.

— Все, решительно?

— Все. Ей-Богу! Вот смотрю так — и все вверх ногами — и стол, и картины, и комод, и умывальник.

Сидоровым заинтересовались все.

Кто-то сообразил, что если поставить Сидорова на голову, то он увидит все в нормальном виде. Поставили. Ассистенты держали его за ноги, а предложивший опыт суетился подле, спрашивая:

— Ну, что? Легче?

Оказалось легче, но Сидоров стал жаловаться на тяжесть в голове.

Тогда выступил опытный во всех передрягах Финкель.

— О чем тут толковать? Если бедному малому картины, стол, комод и умывальник кажутся вверх ногами, то наше дело, как товарищей его, выручить беднягу: нужно просто все эти предметы перевернуть и переставить вверх ногами, — тогда все станет для него простым и понятным.

За идею ухватились с жаром.

Работа закипела. Некоторые переворачивали вещи, другие срывали картины, вешая их вниз головой, и для крепости вбивали гвозди прямо в центр полотна. Отходили к противоположной стенке и любовались любопытным и странным зрелищем, которое представляла комната.

Финкеля огорчило только то, что умывальник, даже не имея пробоины, дал течь.

Тот, для кого делалась эта титаническая работа, к сожалению, мирно спал...

На другой день к нам в комнату опять вошел хозяин вчерашней пирушки. Платье его потускнело, фуражка была смята, и глаза намечались так слабо, что, не будь на лице бровей, так бы и невозможно было определить их местоположение.

Он, по-давешнему, переложил фуражку под мышку и, стукнув каблуком о каблук, сказал:

— Не мог ли бы я надеяться на согласие ваше откушать нынче вечером у меня на новоселье.

От изумления Финкель чуть не проглотил папиросу, которую курил.

— Старик! Да ведь мы вчера уже, тово...

Гость подмигнул с выражением закоренелой наглости, которая появилась на его кротком лице со вчерашнего дня.

— Хватились! Старая дура еще сегодня утром мне отказала. Сегодня вечером я буду праздновать новоселье на другой квартире...

ОСКОРБЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЕМ

Монументов чувствовал себя таким веселым, жизнерадостным, что еле удерживался от желания пуститься в пляс без всякой музыки, как козленок.

Сейчас только он сказал барышне в голубом платье, что любит ее, и она ему сказала, что любит его, а оба вместе они решили, что им нет никакого основания не быть счастливыми и поэтому, где-то за портьерой, в двух шагах от танцующих, даже поцеловались.

Потом решили дать исход волне нахлынувшего на них счастья и веселья — купили по мешочку конфетти и, задорно хохоча, стали бросать пригоршнями в лицо друг другу разноцветные кружочки.

Монументов, запорошивши глаза барышне в голубом платье, сжалился над ней и принялся осыпать горстями конфетти танцующих и публику, которая скучающе слонялась из угла в угол.

Около дверей сидел старый геморроидальный чиновник Катушкин и, брезгливо выпятив нижнюю плохо бритую губу, презрительно наблюдал танцы.

Он чувствовал себя нехорошо.

Ему было жаль рубля, который он истратил, заплативши за вход, было обидно, что он старый и не может танцевать, а главное, раздражала его полуоторванная пуговица фрака, которая висела на ниточке и могла каждую минуту оторваться.

Когда он потихоньку дергал ее, она как будто бы держалась, но старый Катушкин не верил ей и злобно думал,

что стоит ему только забыть о пуговице,— она сейчас же оторвется и потеряется.

— Танцуют... дьяволы! — с нечеловеческой злобой размышлял Катушкин.— Чем делом каким-нибудь полезным заниматься — они скачут, как ученые собачонки. Чтоб вы там себе ноги ваши переломали.

Он стал мечтать о том, что хорошо бы незаметно перерезать проволоку для электрического освещения или чтобы музыканты вдруг почему-либо отказались играть.

— Не желаем, мол, играть для разных дураков!

Жизнерадостный Монументов проходил мимо угрюмого Катушкина под руку с голубенькой барышней и говорил ей:

— Как это красиво все: и этот благотворительный бал, и прекрасная музыка, и веселые, изящные танцующие.

Потом он увидел желтое сердитое лицо Катушкина, и ему захотелось чем-нибудь развлечь этого мрачного, неподвижного старика. Ласково улыбнувшись ему, он вынул из мешочка остаток конфетти и игривым жестом избалованного шалуна осыпал целым дождем голову Катушкина.

Монументов и голубенькая барышня последовали дальше, но через три шага их догнал страдальчески-злобный голос:

— Милостивый государь! Этто... этто... неслыханно!! Этто...

Влюбленные обернулись, и Монументов в упор столкнулся с исковерканным злобой и бешенством, потемневшим лицом Катушкина.

— Что вам угодно? — изумленно спросил он.

— Как вы смели оскорбить меня действием? — прошипел Катушкин.

— Я, вас? Боже ты мой! Чем?

— Зачем вы швырнули мне в физиономию какую-то бумажную дрянь? Что я вам сделал?

Голос его стал визгливым и плачущим. Нижняя губа прыгала, угрожая каждую минуту отвалиться совсем.

— Помилуйте! Какая же это дрянь...— сконфузился Монументов.— Это конфетти. На балах существует такой шутливый обычай: осыпают этими кружочками друг друга.

— Не желаю я ваших дурацких обычаев! — шипел Катушкин, трогая потихоньку висящую на нитке пуговицу.— Вот есть бальный обычай: скакать козлом на потеху добрым

людям или развратно целоваться за портьерой? (голубенькая барышня краснела) — так вы и мне прикажете скакать подобно млекопитающему козлу или лизаться за портьерой? Не желаю-с! Не желаю-с!

Вокруг них стала собираться любопытствующая публика.

— Чего же вам от меня надо? — спрашивал красный как рак Монументов.— Если желаете, я могу извиниться!

— Ага! Теперь извиниться! Обидят человека, наплюют, оскорбят действием человека, а потом — ах, извините, пожалуйста! Не нужно мне ваших извинений! Я этого дела так не оставлю.

— Чего же вы от меня хотите?

Катушкин обвел покрасневшими от злости глазами собравшуюся публику и поманил пальцем распорядителя вечера, беспокойно прислушивающегося к спору.

— Г. распорядитель! Надо мной учинено насилие... Будьте добры пригласить г. околоточного для составления протокола.

Распорядитель смущенно потер затылок и сказал, беря Катушкина за пуговицу:

— Ради Бога, успокойтесь! Пожалуйте в контору, там полиция сделает все по закону.

— Что вы делаете?! — завизжал Катушкин.— Смотрите! Вы мне чуть не оторвали пуговицу! Смотрите — на ниточке держится! Что же это? Уже и показаться нельзя на люди! Один бросает в физиономию какими-то... предметами, другой отрывает пуговицы! Не желаю в контору! Меня здесь оскорбили — пусть здесь и составляют протокол.

Шум разрастался.

Музыка замолкла на полуноте.

Танцующие приостановились и потом сбились в кучу около голубенькой барышни, которая билась в истерике.

Быстрыми шагами в зал вошел околоточный, сопровождаемый двумя городовыми.

— Господа! Прошу разойтись. В чем здесь дело? Вы говорите: он оскорбил вас действием? Ваша фамилия, господин?

— И этого запишите! — визжал Катушкин.— Они здесь все одна шайка. Тот мне чуть не оторвал пуговицу, необходимую для соблюдения приличия внешности костюма, а этот бросал в лицо какими-то твердыми предметами. У меня есть свидетели, г. околоточный! Что же это такое? Сегодня он

в меня бросил твердым предметом, а завтра бросит бомбу или какое другое взрывчатое вещество. А эта девица в голубом платье, которая притворяется плачущей, — его сообщница, г. околоточный. Не-ет! я этого дела так не оставлю!

Катушкин визжал, хватался за лицо, которое, как он уверял, было ушиблено, и тер щеку носовым платком до тех пор, пока она действительно не стала производить впечатления ушибленной...

Домой чиновник Катушкин ехал удовлетворенный, без прежнего желчного чувства к танцующим и жалости за истраченный на вход рубль. И даже оторвавшаяся-таки в конце концов пуговица — не оставила в его душе тяжелого, неприятного осадка.

ИСТОРИЯ ОДНОГО РАССКАЗА

18-го декабря 1903 года Василий Покойников принес в редакцию газеты «Вычегодская Простыня» свой первый рассказ «Рождественская ночь».

Рассказ был, как рассказ.

В нем сообщалось об одном бежавшем с каторги преступнике, который в рождественскую ночь задумал совершить преступление. Он прокрался к одному домику на окраине города и заглянул в окно, с целью узнать, кого ему придется сегодня укокошить. Преступник увидел бедную худую мать, у которой не было даже дров, чтобы растопить печь, и понятно, что она своим телом согревала бедную худую малютку дочь, которая дрожала у нее на коленях. На столе лежала маленькая корка хлеба — и это было все, что осталось от прежней богатой меблировки. В лирическом отступлении автор рассказывал, что у женщины, видите ли, был муж, но его однажды перерезало поездом, так что бедной жене он уже был ни к чему... Преступник не читал этого разъяснения автора, но, поглядевши в окно, так растрогался, что, еле сдерживая слезы, ворвался в домик, сорвал с себя пальто, накрыл им озябшую малютку, потом вынул из кармана последние 3 рубля (добытые, заметьте, как это ни удивительно, честным путем), сунул их матери в руку, прошептав:

— Сделайте на них малютке елочку.

И потом, раскаиваясь во всех своих грабежах и преступлениях, выбежал полуодетый в поле, где свистела и выла снежная вьюга.

Автор, по неопытности, не знал, что ему делать с раскаявшимся преступником, попавшим без пальто в снежную вьюгу, и поэтому предательски заморозил его, скрывши это преступление тем, что засыпал несчастного снегом.

Конец рассказа был такой:

«А вьюга все свистела и выла, будто торжествуя над несчастным... Засыпая в смертельном сне, он улыбнулся и — так и заснул на веки, с радостной улыбкой...»

«Митька Вампир искупил свои грехи...»

«Мятель выла»...

Этот рассказ появился в рождественском номере «Вычегодской Простыни» и многим понравился.

Василий Покойников был все праздники в чаду славы и отходить стал только в Великом посту. На масленице еще — кое-кто спрашивал его:

— Это вы написали рассказ «Рождественская ночь»? Очень, очень мило.

А потом прекратились и эти вопросы.

Подходила Пасха.

За неделю до Пасхи Василий Покойников стал ходить унылый и задумчивый, а в страстной вторник сел писать пасхальный рассказ.

Он долго тер свою талантливую голову, стараясь придумать что-нибудь особенно трогательное, но не мог. Потом ему сделалось жаль, что он так необдуманно воспользовался раскаявшимся преступником для рождественского рассказа, в то время когда такой преступник великолепно мог раскаяться на Пасху.

А потом писателя осенило.

Он взял газету, в которой был напечатан его рождественский рассказ, и горячим лучом своего таланта растопил снег, согнавши также мороз, который сковывал собой весь рассказ...

Сметя мощным движением остатки снега, Покойников развесил по разным местам колокола, и там, где раньше

выла и бушевала вьюга,— теперь раздавался ликующий, мощный пасхальный благовест.

Голодная бедная мать по-прежнему сидела с худой малюткой дочерью на коленях, но теперь им уже не хватало для благополучия — кулича и яичек, чтобы разговеться.

Митька Вампир, который даже в великую пасхальную заутреню не мог бросить своих позорных привычек, опять подкрался к домику, чтобы укокошить несчастных, но, увидя, что у них нет пасхального стола, снова раскаялся и, войдя в дом уже как старый знакомый, разрыдался и дал на этот раз пять рублей (остальные два рубля были прибавлены Покойниковым как компенсация за пальто, в котором несчастные теперь не нуждались).

Жестокий закон стройности и законченности произведения неумолимо требовал смерти Митьки Вампира; такой смерти, которой он мог бы искупить свою позорную и предосудительную жизнь... Но было одно затруднение: теперь не было мороза! Покойников хотел сначала сжечь его жгучими лучами солнца, но выходило неправдоподобно. Перебросить же всю компанию куда-нибудь на экватор — казалось Покойникову задачей слишком сложной и громоздкой.

Покойников схитрил.

Поломал на реке лед, устроил ледоход и, посадив на льдину котенка, стал подстрекать Вампира полезть в воду и спасти его.

Безалаберный Вампир доверчиво полез за котенком, а Покойников потихоньку придавил ему спину льдиной и потопил Вампира.

Рассказ «Пасхальная ночь», напечатанный в газете «Вычегодская заря», тоже очень понравился. Автор стал входить в известность. Он стал ухаживать за богатой барышней, и она, прельстившись славой жены литератора, сделалась Покойниковой...

Переехали в Петербург, и Покойников завел связи со столичными газетами и журналами.

Едва наступал какой-нибудь большой праздник, как в доме Покойниковых начиналась двойная чистка и уборка. Одна — в сфере домашней обстановки и утвари, дру-

гая — за письменным столом литератора Покойникова. Он вынимал своего Вампира, чинил его, засыпал все снегом, или развешивал колокола, или заливал своих героев водой, потом, проморивши некоторое время мать и дочь голодом, нес свою «Ночь подо что-нибудь» в редакцию.

Печатали.

Жена очень гордилась Василием, и талант его вызывал в ней сладкий, благоговейный ужас. Любила она мужа главным образом за ум и талант, читая его произведения всегда со слезами на глазах.

Русская революция не застала Василия Покойникова врасплох. Он, не растерявшись, превратил домик вдовы в покинутую конспиративную квартиру, облачил постаревшего и разочарованного жизнью Митьку Вампира в гороховое пальто, и бывший преступник с той же присущей ему экзальтацией выручал вдову из разных бед, как и раньше...

Жена молилась на своего мужа.

Однажды, в осенний вечер, Покойников стоял около отрывного календаря и, отворачивая листки, искал праздника, хотя бы и не такого большого, как Рождество или Троица.

Жена тут же перелистывала старый-престарый иллюстрированный журнал, который она, роясь от скуки в книгах мужа, обнаружила на чердаке.

Переворачивая рассеянно пожелтевшие страницы, она остановила взгляд на каком-то рассказе и стала пробегать его. Рассказ назывался «Рождественское преступление каторжника»...

И вчитываясь в него, жена литератора неожиданно побледнела... и к концу — бледнела все более и более...

Она постепенно узнавала и домик на краю города, и мерзнувшую голодную вдову с малюткой дочерью, и каторжника, которого хотя и звали Петькой Коршуном, но он, по своим поступкам, с утомительной последовательностью напоминал Митьку Вампира...

Дочитав до последней фразы:

«Мятель свистела»...

Жена опустила на руки голову и тихо беззвучно заплакала.

Она плакала о своей загубленной жизни, тосковала по рухнувшем мираже, по разбитом идеале, который теперь, не видя происходящего, стоял с нахмуренными бровями около календаря и подбирался незаметно к Рождеству.

ПЕРВЫЙ ДЕБЮТ

(РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ)

Настроение на этом собрании было какое-то особенное, приподнятое.

Старый, пыльный чердак, заваленный массой разного хлама и украшенный красивыми гирляндами тяжелой от пыли паутины, давно не видел такого оживления и подъема духа.

Первым говорил самый почтенный из всех призраков, — призрак старого повесившегося нотариуса.

— Милостивые господа! — начал он. — Сегодня мы имеем юридическое и моральное право исполнить наше главное назначение, — явиться людям, живущим в этом доме, и хорошенько напугать их. В качестве юриста я, не останавливаясь на моральной стороне дела, укажу на наше юридическое право: сегодня наступит знаменитая, популярная среди призраков ночь, ночь под Рождество, и мы будем большими дураками, если не воспользуемся хорошенько этим прекрасным случаем. Моральное освещение нашего предполагаемого предприятия я предоставляю моему уважаемому соседу, отцу дьякону.

Призрак дьякона крякнул и сказал:

— Одобряю! Прихожане погрязли в грехах и забыли о будущей жизни... Да... это самое... надо им сделать тонкий намек на это толстое обстоятельство.

Дьякон прислушался к вою ветра в трубе, потрогал свою печень и со щемящей тоской в голосе добавил:

— Сколько они этой водки вылакают за праздник — уму непостижимо!

Призраки притихли, грустно поникнув головой.

Желая нарушить печальное молчание, призрак коммивояжера поднял голову и сказал:

— А за границей мы уже являлись...

— Что?

— За границей, говорю, наш брат уже отпраздновал эту ночь.

— Почему?

— Как же! У них на тринадцать дней раньше. По новому стилю. Я был в Берлине, там являлся, теперь здесь буду.

Все с завистью посмотрели на расторопного коммивояжера, а нотариус сказал:

— В сущности, вы, как русский подданный, не имеете права являться в Берлине. Вас могли за это притянуть... Бррр... как воет ветер!

Приютский мальчишка, хлебнувший, в свое время, под горячую руку уксусной эссенции, посмотрел в темный, не освещенный луной угол и прошептал:

— А мне, дяденьки, страшно чивой-то!

Нотариус обернулся к нему и сухо спросил:

— Ты — первый год?

— Первый.

— Сам?

— Сам. Хозяин шпандырем уж оченно дубасил.

— Причина, положим, глупая. Но являться тебе все-таки нужно... Господа, разрешите поставить на очередь вопрос: кто к кому в этом доме желал бы явиться?

— Я желаю явиться в жилище третьего этажа, моей бывшей соседке,— сказал сухощавый призрак старой девы.— Однажды я просила у нее на один час красный зонтик, а она, дрянь этакая, не дала... Напугаю я ее за это до смерти!

— Вздорная бабенка,— шепнул старый нотариус своему соседу, бакалейному лавочнику.— Я, господа, беру на себя смелость явиться в пансион для благородных девиц во втором этаже. Я имею на это юридическое право.

Хотя нотариус соврал (никакого юридического права он не имел), но ему уступили, причем бакалейщик взял на себя квартиру мануфактурщика, с которым он был знаком домами, а дьякон пожелал до смерти перепугать содержателя ресторана со спиртными напитками.

Более опытные призраки расхватали себе всех хороших жильцов, а бедный, приютский мальчишка молчал и поэтому когда вспомнили о нем, то ему достался старый меняла четвертого этажа, сухой, черствый старик.

Втайне призрак приютского мальчишки мечтал о графе первого этажа, в квартире которого он как-то разглядел через окна красивый потолок и шкуру медведя на диване, но теперь графа забрал себе коммивояжер, и мальчишка робко согласился на скучного, неприятного менялу...

— Ну, мы будем собираться,— распорядился нотариус,— а вы, отец дьякон, пошаркайте пока по полу ногами и порычите немножко.

— За... зачем это? — умирая от страха, спросил приютский мальчишка.

Нотариус подмигнул.

— Это им там внизу до ужаса взвинтит нервы... И когда мы явимся, они уже будут хорошенько *приготовлены.*

Приютский мальчишка, оставшись на чердаке последним, задрапировался в дырявую простыню, которую ни один из призраков не хотел брать, и, вздохнув, поплелся к своему меняле.

По пути он дрожал от страха, а в голову ему приходила мысль: бросить свою простыню и удрать во все лопатки.

Но, боясь насмешек своих товарищей и чувствуя жадное любопытство к тому, как испугается его старый меняла, призрачный мальчишка отогнал трусливые мысли и бодро вошел в спальню менялы.

Хозяин раздевался, чтобы лечь спать. Он повязал уже голову платком и, почесав худую волосатую ногу, хотел улечься, как сонный взгляд его упал на стоящего в углу приютского мальчишку.

— Это что такое? — скрипучим голосом спросил он и стал вглядываться старыми тусклыми глазами...— Это что такое? Неужто, привидение? Гм... странно!

Видя, что меняла не испугался, призрак мальчишки помялся немного, потом нерешительно поднял руки и зарычал:

— Гууууу!!.

Меняла неторопливо встал, взял свечу и, подойдя к призраку, окинул его строгим взглядом.

— Привиденье? — отрывисто спросил он.

— Буууу!

— Не строй дурака! Привиденье?

— Да, дяденька.

— Зачем?

Мальчишка подумал и решил сказать самое страшное, что он знал:

— Пришел взять твою душу, а потом наставить синяков на руках, на голове и исполосовать всю спину.

— Гм,— угрюмо усмехнулся меняла,— широко задумано! Для чего же это тебе нужно?..

Этот вопрос застал приютского мальчишку врасплох. Он и сам не знал, для чего ему все это нужно.

Растерявшись, мальчишка выпучил свои призрачные глаза и снова загудел:

— Ууууу!..

— Удивительно остроумно! — сердито проворчал меняла.— Чем глупости выкидывать, лучше бы делом каким занялся... Да, право! Ходят, ходят тут всякие, а зачем — и сами не знают.— «Я призрак! Я привидение! Я пришелец из загробного мира!!» — Да мне-то какое до этого дело? Подумаешь! Я понимаю, если бы это кому-нибудь приносило пользу, а то ведь так — дурака валяете!

Приютский мальчишка стоял сконфуженный и еле удерживался, чтобы не расплакаться.

— А тебе, паренек, стыдно! Ты призрак молодой совсем, перед тобой вся... (старик замялся) вся... смерть впереди, а ты, вместо того чтобы делами хорошими заниматься, по ночам шатаешься, людей пугаешь. Ведь вот испугайся я, ты бы обнаглел и готов был бы мне на голову сесть, а теперь, увидев, что твое дело не выгорело, стоишь как пень и не знаешь, что делать дальше... Уу... Безнравственный мальчишка!

Меняла с презрением отвернулся от уничтоженного призрака и, кряхтя, лег под одеяло.

Приютский мальчишка, притаив дыхание, выждал несколько минут и потом, подкравшись к задремавшему меняле, потихоньку ущипнул его за ногу.

— Вот я тебе ущипну, негодяй! Ты мне будешь щипаться... Проваливай!

Призрак потоптался еще несколько минут около кровати менялы. Он попытался сдернуть с него одеяло, но неудачно, потом дернул старика за ухо.

Меняла делал вид, что спит и не замечает стараний приютского мальчишки.

Прибегнув в последний раз к своему излюбленному приему, густому гуденью, и видя его безрезультатность, призрак мальчишки горько вздохнул и, обескураженный, нехотя зашагал на чердак.

Вокруг нотариуса сидела почти вся компания вернувшихся призраков, и все обменивались впечатлениями минувшей ночи.

Общий результат был таков, что все обитатели дома перепугались до смерти.

Когда же очередь дошла до приютского мальчишки, он нагло улыбнулся и, приняв суровый вид, стал рассказывать:

— Когда он меня увидел, то чуть не умер от страху. А я на него как напал! А-а, говорю ему, такой-сякой!

Делом не занимаешься, глупости все на уме! Вот я тебя сейчас! А он плакал, просил прощенья и, залезши под кровать, трясся, как осиновый лист. Я его поколотил хорошенько и ушел!

ПОЕЗДКА В ТЕАТР

Ловким, грациозным движением Коля Кинжалов подсадил Лизочку Миловидову на площадку трамвая, а потом, вслед за ней, так же грациозно вскочил и сам.

Коля Кинжалов в этот вечер чувствовал себя в особенном ударе. Был он в новом смокинге, лаковых ботинках, купленных по чрезвычайно удачному случаю, и теперь ехал с Лизочкой в театр, что сулило ему много впечатлений, прекрасных и захватывающе интересных.

— Пардон-с, пардон-с,— вежливо, но твердо говорил он стоявшей в проходе публике,— позвольте даме пройти вперед!

У него в уме уже назревала остроумная шутка, которую он скажет, получая от кондуктора билет. Это должно было рассмешить Лизочку, а развеселившись, она будет еще плотнее прижиматься к его плечу и еще более мягким взглядом будет смотреть на него, сильного и умного Колю Кинжалова...

— Господа, пардон! Позвольте даме пройти вперед и, ради Бога, не толкайтесь.

Вагон неожиданно остановился.

Сделав испуганное лицо, Коля Кинжалов пошатнулся, растопырил руки, подпрыгнул и сел на колени какому-то дремавшему человеку в меховой куртке, пребольно наступив ему на ногу.

Господин встрепенулся, столкнул с себя Колю и сурово сказал:

— А чтобы тебя черти взяли! Медведь!!

Сердце Коли Кинжалова колыхнулось и провалилось куда-то далеко, далеко...

Он сразу, с ужасающей ясностью, почувствовал, что сейчас, после этого оскорбления, должно произойти что-то такое ужасное, такое неотвратимое и такое ничем уже непоправимое, после чего сотрется и исчезнет их поездка, театр, новый смокинг, купленные по чрезвычайно удачному случаю лаковые ботинки и даже сама Лизочка Миловидова — его первая благоуханная любовь.

Он оставил руку Лизочки, обернул свое пылавшее жаром лицо к господину в меховой куртке и тонким, срывающимся голосом, чувствуя за спиной Лизочку, вскричал:

— То есть... Это кто же медведь?!

— Вы — медведь, черти бы вас разорвали! Своей лапой вы совсем в лепешку расплющили мою ногу!

«Сейчас надо ударить,— лихорадочно быстро пронеслось в голове Коли Кинжалова.— Кулаком или ладошкой? Ладошкой лучше, потому что это считается пощечиной... Благороднее и оскорбительнее...»

Коля вынул правую руку из кармана и дрожащим голосом сказал:

— Если вы смеете оскорбляться, то я... смею драться!! Я вам покажу сейчас.

Немедленно же Коля пожалел, что не ударил своего противника сразу: в таких случаях обыкновенно не разговаривают.

— Вы у меня узнаете, как оскорбляться!!

— Чего-с?!

Господин вскочил, двинулся на Колю, и Коля сразу увидел, что господин выше его на целую голову...

— За такие оскорбления бьют...— болезненным шепотом вырвалось у Коли.

— Неужели? — иронически протянул вскочивший, расстегивая меховую куртку.— Неужели? А что, если я выдеру сейчас твои красные ушонки и засуну тебя под скамейку, как паршивого зайчонка! А?!

Кто-то из публики, с наслаждением дожидавшейся начала драки, засмеялся.

Мастеровой в издерганной шапчонке восторженно хлопнул себя по животу и взвизгнул:

— Бейтесь, братцы!

Истинный художник — он интересовался не результатом дела, а его процессом...

Двумя звонкими пощечинами прозвенели в ушах Коли Кинжалова незабываемые на всю жизнь слова:

«Красные ушонки... паршивый зайчонок...»

Падая в бездну, Коля, сам не зная для чего, схватил господина за руку и жалобно пролепетал:

— Нет... этого я так не оставлю...

Но тот уже странно, устало сгорбился, с оскорбительным равнодушием зевнул в самое лицо Коли и небрежно обратился к кондуктору:

— Конюшенная скоро?

— Сейчас остановка.

Господин стряхнул с себя Колину руку и, насвистывая, направился к выходу.

Цепляясь за меховую куртку, Коля шел за уходящим и плачущим голосом кричал, теряя по дороге остатки рыцарства:

— Нет, вы так не уйдете... Вы меня оскорбили...

— Ну!! — угрожающе обернулся тот. — Что нужно?!

— Вы ругались, вы оскорбляли меня, хорошо же...

Одной рукой Коля держал господина за рукав, а другой — неуклюже шарил в смокинге одеревеневшими пальцами бумажник.

— Ага... Вот! Если вы порядочный человек!

Коля вынул карточку и подал ее господину в меховой куртке. Ощущение чего-то невыносимо позорного и скверного стало исчезать, уступив место сознанию, что сейчас Коля думает и поступает, как решительный человек и джентльмен с твердыми правилами.

— Это что еще за комедия?

— Это не комедия... это моя карточка, с помощью которой я вызываю вас на дуэль!

— На дуэ-эль?!

Господин, не читая, потрепал карточкой по пальцам своей левой руки, скомкал карточку, бросил карточку на пол, сказал громко и раздельно:

— Ду-рак!

И вышел на площадку, ловко соскочил потом со ступеньки, еще до остановки вагона.

Коля двинулся вслед за ним и, перевесившись через перила, закричал:

— А, что, испугался, негодяй?! То-то! А то бы я переломал твои кривые ножонки! Трус, трус, подлец!!

Странно: Коля Кинжалов сделал, кажется, все, что полагалось порядочному человеку, но возвращался он к Лизочке со странным и неприятным ощущением высеченного человека...

И она его встретила странно: отдернула руку и нервно сказала:

— Садитесь уж!.. Вон свободное место.

Ехали молча.

Коля пожевал губами, проглотил обильную слюну и непринужденно начал:

— Его счастье, что удрал!.. А то бы...

Потом небрежно улыбнулся:

— Был у меня в Ялте тоже подобный случай, только с более печальным для того человека исходом... Сажусь я тоже таким же родом в трамвай и, представьте...

Коля говорил нарочно громко, чтобы его слышала и посторонняя публика.

— Сажусь я в трамвай и, представьте...

Сосед Лизы, отставной военный, улыбнулся и сказал, обращаясь более к Лизе:

— Жаль только, что в Ялте нет трамвая!

Восторженный мастеровой захохотал. Усмехнулись и другие.

Коля наклонил голову и стал застегивать уже застегнутую пуговицу пальто.

— То есть не трамвай... а этот самый... как его...

— Дирижабль? — подсказал кто-то из угла.

Лизочка звонко расхохоталась. Коля насильственно улыбнулся и пошутил:

— Ну вот... вы еще скажите: воздушный шар! Да... сажусь в дилижанс, а он меня как-ак толкнет! — Извинитесь! — Не желаю. — Извинитесь! — Не желаю. — Ага... не желаете? — Схватил его, да в запертое окно — трах! — и выбросил. Двенадцать рублей потом взыскали с меня за разбитое стекло! Хе-хе-хе...

Все сконфуженно молчали.

Толстый купец, сосед Коли, закашлялся и, наклонившись, сплюнул. Плевок описал полукруг, попал на лакированный ботинок Коли и застыл на нем.

Лизочка это видела и заметила, что это видел и Коля. Коля, в свою очередь, чувствовал, что Лизочке известно позорное состояние его ботинка, но, вместо того чтобы потребовать от купца извинения, он потихоньку пододвинул ногу под скамейку и угрюмо, злобно проговорил:

— А то еще был со мной такой забавный слу...

— Ладно, пойдем,— нервно вскочила Лизочка.— Нам здесь сходить.

* * *

Коля Кинжалов и Лизочка, съежившись под мелким дождем, молча шли к театру.

Коля ненавидел и театр, и ботинок, и Лизочку, и себя — главным образом себя.

Сзади их кто-то догонял.

Мокрый мастеровой внезапно выпрыгнул из тьмы около электрического фонаря и, подойдя боком к Коле, негодующе и презрительно ткнул пальцем в его щеку.

— Эх ты! Курица... Туда же... Отчего ты не свистнул ему по уху? Интеллигенты!

Обиженный мастеровой вздохнул и скрылся во тьме.

А Коля оперся плечом об электрический столб и, не стесняясь уже присутствия Лизочки, беззвучно плакал.

ПЬЯНЫЙ

По тротуару Невского проспекта шел тихими шагами господин.

Проходя мимо освещенной витрины парикмахерской, он задорно подмигнул парикмахерской кукле, споткнулся о темную тень от фонаря и потом с неопределенной улыбкой на лице остановился посреди тротуара с целью завести часы.

Вынув из кармана дверной ключ, он с трудом продел его в часовое кольцо и, повернув несколько раз, успокоенный, побрел дальше.

В голове у него бродила смутная мысль, что хорошо бы сказать сейчас гревшимся у костра извозчикам какую-нибудь утешительную речь, или поцеловать морду унылой лошади на углу... или спеть что-нибудь такое, от чего все бы плакали.

Господин остановился около чугунного льва перед дверьми какого-то магазина и ласково погладил холодную спину зверя.

— Зазяб, цуцик? Ну, пойдем со мной, дурачок... Ну?

Видя, что лев не обратил внимания на ласковое приглашение, господин вздохнул, схватился за голову и, пошатываясь, побрел дальше.

Господин медленно приближался к ярко освещенному подъезду кафе, и по мере приближения благодушная улыбка на лице его все тускнела и тускнела, давая место недоумению и испугу.

Остановившись недалеко от подъезда, он открыл рот и, смотря в завесу ночи остекленевшими от ужаса глазами, стал прислушиваться к гудению большого дугового фонаря...

— Господи! — прошептал он. — Что же это такое? Гудит!..

К его удивлению, гуляющая публика совсем не обращала внимания на это гудение, проходя мимо с самыми равнодушными лицами.

На душе у господина сделалось тяжело.

Он неожиданно схватил какого-то маленького худого прохожего за руку и таинственно отвел его в сторону.

— Что вам угодно? — спросил тот изумленно.

— Вы... ничего не слышите?

— Ничего. А что?

— Гудит!

— Что гудит?

— Вы слышите?! Гу-у... Это ужасно!

— Что ж такое? Это обыкновенный дуговой фонарь.

— Но ведь он гудит!!

— Это ничего не значит. Послушайте... шли бы вы спать!

Господин заплакал и, цепляясь за руку прохожего, вскричал:

— Неужели вы это дело так оставите?

— Да какое же дело?

— Гудит! Ах ты, Господи! Гудит, а они идут мимо... Звери... дикари...

Господин подошел к пожилой даме и, взявши ее за голову, наклонил к своему уху.

— Гудит? Слышите? — таинственно шепнул он.

Дама закричала.

— Чего ты кричишь? Легком... мысленная женщина.

— Я позову городового!

— Верно! Может, начальство обратит внимание... Я сам пойду позову городового.

Оставив легкомысленную даму, господин подошел к городовому и стал делать ему рукой таинственные знаки... Он кивал пальцем, моргал глазами, причмокивал и, выпучив щеки, шептал:

— Г. городовой! Г. городовой!!

— Что прикажете?

— Обратите ваше внимание...

— На что, господин?

— Гудит!

— Где? Что?

— Пойдем, покажу.

Подтащив городового к фонарю, господин со страхом поднял палец вверх и шепнул:

— Гудит!

— Да-с. Фонарь.

— Городовой?! Зачем он гудит!

— Да вам-то что, господин? Пусть себе гудит.

— Городовой?! Зачем он так?

— Идите спать!

— Не могу я этого так, милый, оставить!

— Что же вы сделаете?

— Поеду... к... градоначальнику! к преосвященному... Пусть они обратят внимание. Гудит... Несчастный я человек.

Городовой ушел, а господин стоял, подняв измученное, утомленное лицо к фонарю, и грозил ему пальцем:

— Гудишь! Я ттебе погу... жу!

Он задумался и потом поправился:

— Погудю!

Проходила какая-то девица:

— Пойдем со мной, дуся.

— Миллая! Не могу я пойти.

— Почему?

— Как же я его так оставлю!

Он долго и подробно стал объяснять девице о причинах, удерживающих его здесь.

— Ну, какое тебе дело, что гудит? Что тебе такое? Фонарей не видал?

— Господи! Никто меня не понимает... Ведь гудит он! Понимаешь, так: гууу...

— Да тебе обидно, что ли?

— Не могу я так этого оставить... Пойми меня: иду я по улице тихо, благородно, никого не трогаю, а он вдруг гуу... гудит! Как я могу это оставить? Ведь это — столица.

— Ну и стой здесь, как дурак.

С хитрой улыбочкой господин погрозил ей пальцем, сел на ступеньки подъезда и, расстегнув бобровую шубу, сказал:

— Не могу я этого так оставить! Гудишь? Гуди, чтоб ты лопнул! Я около тебя посижу.

Господин задремал. Тротуары пустели, огни постепенно гасли, и, когда запоздалые посетители кафе наконец вышли, выругав рассевшегося на ступеньках человека, фонарь неожиданно перестал гудеть. Он странно замигал, блеснул ярко еще раз и — погас...

— Ага! — сказал господин, удовлетворенно вздыхая.

— А то — гудеть. То-то.

Улыбнулся, прищелкнул пальцами и, запахнув шубу, пошел неверными шагами по тротуару, постепенно удаляясь, пока не слился с серой тьмой дремавшей улицы.

СЛУЖИТЕЛЬ МУЗ

— К вам можно?

Не дожидаясь ответа, ко мне в кабинет боком протиснулся высокий парень с тупым взглядом исподлобья и порывистыми, без всякой логики, движениями.

— Это вы самый и есть редактор?

— Не скрою... Я, действительно, немного замешан в этом деле.

— Так. Странно только, что лицо у вас не редакторское. Такое, какое-то... недалекое.

— Послушайте...

— Да вы не обижайтесь... Ведь я не ставлю вам этого в вину.

— Что вам нужно?

— Принес стихи!

— Хорошо... Оставьте! Ответ через две недели...

— Э, нет! Мы эти штуки знаем... Я хочу, чтобы вы их сейчас прочли.

Будучи втайне зол на посетителя за его отзыв о моем лице, я решил затянуть ответ еще больше, чем на две недели.

— Зайдите как-нибудь зимою. Тогда я... Впрочем, можно прочесть их и сейчас!

Последняя фраза была произнесена мной невольно, после того как я поднял глаза на посетителя и увидел направленное на меня дуло револьвера.

Съежившись, я небрежно спросил:

— Вы хотите показать мне систему вашего револьвера?

— Нет, я хочу показать свою систему беседы с людьми вашего пошиба. Скажите, хотели бы вы получить кусок свинца в лоб?

Я категорически отказался от этого.

— Во-первых, мне сейчас некогда! Затем, ваше предложение так неожиданно... Я подумаю. Зайдите на днях.

— Да ты стихи прочтешь или нет?! — заревел посетитель, потрясая револьвером.

— Конечно, конечно... Я уверен, что стихи ваши превосходного сорта.

— Еще бы! Эй! Убери от звонка лапу, а то я ее перешибу!!

— Вы думаете, я хотел позвонить? Глубоко ошибаетесь... Какой у вас красивый почерк!

— Нужно быть упадочником и дегенератом, чтобы, держа такое произведение в руках, восхищаться только почерком. Читай, — только с чувством!

Я исполнил его приказание лишь наполовину, потому, что стал читать рукопись с чувством глубокого отвращения. Она начиналась так:

Что вы жирные? Что серые?
Дьявол вас на свет призвал...
Думы — мыши... вас без меры я
Ненавидел. Целовал.
Ваш овал
Как шаман, я дик, я страшен —
Не хочу в подвал,
Одинок, я в зубьях башен
Черепа овал
Целовал!..

Закрывши глаза и приложив в рассеянности револьвер к животу, поэт наслаждался музыкой своих стихов. Я хотел потихоньку дернуть его за руку, палец которой был

на курке, но поэт открыл один глаз и вопросительно посмотрел на меня.

— Читали вы что-нибудь подобное?

Совершенно искренно я ответил:

— Ничего подобного я не читал.

— То-то же... Вы третью строку поняли?

— Ах, это где мыши?.. Очень, очень мило.

— Вы поняли, что такое мыши?

— Как же! Это такие серые животные из породы грызунов, которые...

— Боже! И такой человек — редактор! Ну, где у вас мозги? Я спрашиваю, где ваши мозги?

Боясь, чтобы он в поисках моих мозгов не вспомнил о револьвере, я поспешил замять этот щекотливый вопрос.

— А эта строка у вас — чудо, что такое!

Как шаман, я дик, я страшен...
Не хочу в подвал!

— Ты догадался, почему он не хочет в подвал?

— Гм... Конечно! Надеюсь, у него были основательные причины для этого.

— У тебя в разговоре ужасно пошлая проза... Я уверен, что тебе не понятна даже такая элементарная строка:

Одинок я в зубьях башен...

— Испытал ли ты такое одиночество?

— Откровенно говоря, такое одиночество мне не перепадало. Так, вообще, кое-что... было.

— Тебе, вероятно, незнакомо и это переживание:

Черепа овал
Целовал..

— Переживал ты это?

— Погодите... Дайте вспомнить! Вы говорите: овал черепа? Нет!.. Насколько память мне не изменяет — не приходилось.

Я скорбно вздохнул:

— Да и где мне! Так, живешь себе без всякого удовольствия...

— Потому что ты не поэт, а червь.

— Совершенно верно. Это вы тонко подметили.

— Ну так вот... Оставляю тебе это стихотворение... Не благодари! Терпеть не могу, когда мне руки лижут. Заплатить

можешь сейчас. Постой — сколько тут строк? Десять? Ну, будем считать для ровного счета — пятнадцать... я беру по три рубля строка (это ты заруби себе на носу), значит, сорок пять... ну, для ровного счета — пятьдесят рублей!

Искоса взглянув на револьвер, я вынул из бумажника деньги и робко положил на стол.

Взявши их, он сказал:

— Только слово «серые» напечатайте серой краской...

— Виноват, но типографские условия...

Стуча револьвером по столу, он отчетливо отчеканил:

— Знайте, что для меня типографских условий не существует! Я хочу, чтобы мои стихотворения производили на публику впечатление...

— Бреда сумасшедшего,— хотел докончить я вслух, но промолчал.

Когда он встал и спрятал опасное оружие, собираясь прощаться, я предложил ему, втайне дрожа от радости, что он уходит:

— Можно там, где вы говорите о жирных мышах...

— Ну...

— Напечатать слово «жирные» жирным шрифтом. Это произведет впечатление...

— Идиот!

Он презрительно пожал плечами и вышел, пропуская ко мне в кабинет нашего сотрудника.

— Скажите,— угрюмо спросил я,— что это за сумасшедший?

Сотрудник удивленно посмотрел на меня.

— Сумасшедший?.. Это известный поэт-модернист. Его везде охотно печатают.

Я уткнулся в бумаги и проворчал:

— Охотно вам верю.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ КАРТИНЫ

Из выставочных встреч

До сих пор при случайных встречах с модернистами я смотрел на них с некоторым страхом: мне казалось, что такой художник-модернист среди разговора или неожиданно укусит меня за плечо, или попросит взаймы.

Но это странное чувство улетучилось после первого же ближайшего знакомства с таким художником.

Он оказался человеком крайне миролюбивого характера и джентльменом, хотя и с примесью бесстыдного лганья.

Я тогда был на одной из картинных выставок, сезон которых теперь в полном разгаре,— и тратил вторые полчаса на созерцание висевшей передо мной странной картины. Картина эта не возбуждала во мне веселого настроения... Через все полотно шла желтая полоса, по одну сторону которой были наставлены маленькие закорючки черного цвета. Такие же закорючки, но лилового цвета, приятно разнообразили тон внизу картины. Сбоку висело солнце, которое было бы очень недурным астрономическим светилом, если бы не было односторонним и притом — голубого цвета.

Первое предположение, которое мелькнуло во мне при взгляде на эту картину,— что предо мной морской вид. Но черные закорючки сверху разрушали это предположение самым безжалостным образом.

— Э! — сказал я сам себе.— Ловкач художник просто изобразил внутренность нормандской хижины...

Но одностороннее солнце всем своим видом и положением отрицало эту несложную версию.

Я попробовал взглянуть на картину в кулак: впечатление сконцентрировалось, и удивительная картина стала еще непонятнее...

Я пустился на хитрость — крепко зажмурил глаза и потом, поболтав головой, сразу широко открыл их...

Одностороннее солнце по-прежнему пузырилось выпуклой стороной, и закорючки с утомительной стойкостью висели — каждая на своем месте.

Около меня вертелся уже минут десять незнакомый молодой господин с зеленоватым лицом и таким широким галстуком, что я должен был все время вежливо от него сторониться. Молодой господин заглядывал мне в лицо, подергивал плечом и вообще выражал живейшее удовольствие по поводу всего его окружающего.

— Черт возьми! — проворчал я, наконец потеряв терпение.— Хотелось бы мне знать автора этой картины... Я б ему...

Молодой господин радостно закивал головой.

— Правда? Вам картина нравится?! Я очень рад, что вы оторваться от нее не можете. Другие ругались, а вы... Позвольте мне пожать вам руку.

— Кто вы такой? — отрывисто спросил я.

— Я? Автор этой картины! Какова штучка?!

— Да-а... Скажите,— сурово обратился я к нему.— Что это такое?

— Это? Господи Боже мой... «Четырнадцатая скрипичная соната Бетховена, опус восемнадцатый». Самая простейшая соната.

Я еще раз внимательно осмотрел картину.

— Соната?

— Соната.

— Вы говорите, восемнадцатый? — мрачно переспросил я.

— Да-с, восемнадцатый.

— Не перепутали ли вы? Не есть ли это пятая соната Бетховена; опус двадцать четвертый?

Он побледнел.

— Н-нет... Насколько я помню, это именно четырнадцатая соната.

Я недоверчиво посмотрел на его зеленое лицо.

— Объясните мне... Какие бы изменения сделали вы, если бы вам пришлось переделать эту вещь опуса на два выше?.. Или дернуть даже шестую сонату... А? Чего нам с вами, молодой человек, стесняться? Как вы думаете?

Он заволновался.

— Так нельзя... Вы вводите в настроение математическое начало... Это продукт моего личного переживания! Подходите к этому, как к четырнадцатой сонате.

Я грустно улыбнулся.

— К сожалению, мне трудно исполнить ваше предложение... О-очень трудно! Четырнадцатой сонаты я не увижу.

— Почему?!!

— Потому что их всего десять. Скрипичных сонат Бетховена, к сожалению, всего десять. Старикашка был преленивым субъектом.

— Что вы ко мне пристаете?! Значит, эта вещь игралась не на скрипке, а на виолончели!.. Вот и все! На высоких нотах... Я и переживал.

— Старик как будто задался целью строить вам козни... Виолончельных-то сонат всего шесть им и состряпано.

Мой собеседник, удрученный, стоял, опустив голову, и отколупывал от статуи кусочки гипса.

— Не надо портить статуи,— попросил я.

Он вздохнул.

У него был такой вид, что я сжалился над заблудившимся импрессионистом.

— Вы знаете... Пусть это останется между нами. Но при условии, если вы дадите мне слово исправиться и начать вести новую честную жизнь. Вы не будете выставлять таких картин, а я буду помалкивать о вашем этом переживании. Ладно?

Он сморщил зеленое лицо в гримасу, но обещал.

* * *

Через неделю я увидел на другой выставке новую его картину: «Седьмая фуга Чайковского, Оп. 9, изд. Ю. Г. Циммермана».

Он не сдержал обещания. Я — тоже.

НАСТОЯЩИЕ ПАРНИ

Глава I. ЗНАКОМСТВО

— Чуть-чуть не упал!

— Чуть-чуть — не считается.

Этими знакомыми каждому биллиардному игроку тривиальными возгласами обменялись двое играющих: маркер и приятный господин, с быстрыми черными глазами и уверенными манерами.

Я выждал, пока они кончили партию, и, поклонившись приятному господину, сказал:

— Не желаете ли со мной одну?

— Пожалуйста. В пирамидку, по 5 рублей.

— Сделайте одолжение.

Чувствуя к нему непобедимую симпатию, я ласково улыбнулся и стал выбирать кий.

Первую партию я проиграл. С добродушной приветливостью он согласился на вторую, которую проиграл я же.

Потом ему, очевидно, неловко было отказывать мне в продолжении игры, и я проиграл девять партий, заплатив все, что было у меня в бумажнике.

Господин смотрел на меня очень сочувственно, и, когда я снял с пальца бриллиантовое кольцо, он долго уговаривал меня не делать этого.

Но во мне заговорил игрок. Это воображаемое беспокойное существо заговорило во мне так сильно, что после кольца пришлось заткнуть ему глотку золотыми часами и двумя брелоками.

После этого игрок во мне уже не говорил, а вопил благим матом.

Я обшарил карманы и, не найдя в них ничего, кроме мелочи, решительно подошел к вешалке.

— Пальто! — предложил я.

Он ответил лаконически:

— Нет. Холодно. Замерзнете.

Дрожа от нетерпения, я сжал лихорадочными руками голову.

— Вот что... У вас есть слуга?

— Нет! — сказал он, смотря на меня.

— Ставлю месяц своих услуг у вас в качестве камердинера или чего другого — против двадцати пяти рублей.

Наморщив брови, господин решительно подошел ко мне.

— Покажите руки! Ого... Мускулы есть. Работать все умеете? Неприхотливы? Сигар воровать не будете? Ладно. Месяц службы у меня идет в двадцати пяти рублях. Пища моя.

Я старался играть как можно осторожнее и лучше, но он играл с диким вдохновением и выиграл у меня эту партию так же, как предыдущие, очень быстро.

Я хотел предложить еще месяц службы, но он бросил кий и строго сказал:

— Баста! В качестве хозяина запрещаю вам предлагать мне продолжение игры. Как вас зовут?

— Григорием,— почтительно ответил я.

— Ладно. Я тебя буду называть Гарри. Гарри! Возьми платяную щетку и счисти с меня мел.

Я почистил его платье, подал пальто, и мы вышли, незнакомые еще друг с другом, чужие...

Я был молчалив и шагал сзади, усталый, перемазанный мелом, а он, легкой молодцеватой походкой, шел впереди, насвистывая прекрасный мелодичный мотив.

Мы пришли в лучшую гостиницу города. Непосредственно за этим очутились в прекрасном номере из двух комнат, служившем, очевидно, моему хозяину временной квартирой.

Я снял с него пальто и остановился у дверей.

Он развалился на диване, забросил ноги на его спинку и сказал:

— Гарри!

— Что угодно?

— Ты мне нравишься, Гарри. Сегодня я хочу поужинать с тобой, причем разрешаю держать себя со мной, как с равным. Слуга на сегодня — к черту!

Я подошел к другому дивану, лег на него, задравши ноги, и весело сказал:

— А каким ужином ты бы меня, милый человек, накормил? Э?

— Позвони, пожалуйста, мы сейчас обсудим это с метрдотелем. Кнопка у дверей.

— Позвони, пожалуйста, лучше ты. Я дьявольски устал. Кнопка у дверей...

Через десять минут мы сидели за прекрасным, обильным ужином.

Мой хозяин, которого на сегодня мне было разрешено называть Мишей, был мил, добродушен и джентльменски вежлив.

— Гарри! — повторял он, наливая мне вина.— Ты настоящий парень.

В знак благодарности я небрежно кивал головой.

— Может, ты, Гарри, интересуешься знать, кто я такой? Я, брат, уфимский помещик Михаил Петрович Дыбин. Да... Помещик я. Две тысячи десятин земли, имение, мельница, образцовый питомник.

Я равнодушно зевнул.

— Две тысячи? Удобной много?

— Много.

Он помолчал, подлил мне вина и потом, положив свою руку на мою, весело воскликнул:

— Нравишься ты мне, Гарри! Ты — настоящий парень. Знаешь, Гарри, соврал я тебе. Никакой я не помещик, и земли у меня удобной нет. В этом смысле вся земля нашей планеты для меня неудобная, потому что не моя. Меня смешит: откуда это я про питомник взял? Скажешь и сам не знаешь, как это оно вышло.

— Ничего, Миша,— улыбнулся я.— Ты меня не обидел этим.

Мы чокнулись.

— Да, брат. Где там быть мне помещиком... Живу я с того, что имею в Тифлисе дом. Купец я. Домина доходный, на Арнаутской улице... Только управляющий жулик.

— А ты его прогони,— посоветовал я, разрезая рябчика.

— Прогоню,— пообещал Миша.

Потом, выпив залпом стакан хереса, он хлопнул меня по плечу и залился хохотом.

— Гарри! А ведь это я тебе соврал. Врешь вот и сам не знаешь — зачем? Никакой я не купец и не помещик, и дома у меня нет, и насчет управляющего я не имею права сказать дурного слова, потому что управляющего-то нет... Гарри! Ты, я вижу, стоящий парень и без предрассудков... Знаешь, кто я?

— Генерал от инфантерии? — добродушно спросил я.

— Вор, Гарри, самый настоящий профессиональный вор! Но я этим, Гарри, не горжусь. Гордость — скверное мелкое чувство ничтожных натур!

Он закатился хохотом.

— Тогда,— сказал я, вставая,— я должен перед тобой извиниться... Я принимал тебя, признаться, за человека другого склада. Если так, то получай.

Я вынул из своего кармана золотые часы с его монограммой и жемчужную булавку, которая во время игры украшала его галстук.

Он удивленно посмотрел на меня, схватился за карман, за галстук и потом крепко пожал мою руку.

— Спасибо. В таком случае, я, по справедливости, должен вернуть тебе твое кольцо и часы. Потому что, хотя они тобой и проиграны, но, главным образом, потому, что я тихонько переложил пару твоих шаров к себе.

— Каких? — спросил я деловым тоном.

— 14 и 10.

— Гм... Тогда я отбираю, конечно, часы. Потому что, хотя я тоже переложил к себе, когда ты зазевался, два твоих шара, но это были 9 и 7. Разница в мою пользу!

Мы помолчали.

— Ты, однако, хорошо устроился!

— Опыт, Гарри, опыт! Когда я приезжаю в какой-нибудь город — мне нужен только тяжелый чемодан и три рубля. Я еду в лучшую гостиницу и первым долгом ни с того ни с сего бросаю швейцару на чай последние три рубля. Затем требую самый дорогой номер. По гостинице разносится дураком-швейцаром слух, что приехал дьявольский богач. Непосредственно за тем я спускаюсь в ресторан при гостинице, требую ужин, вина, фруктов, сигар — так рублей на двадцать. Это для того, чтобы сразу задолжать хозяину, и ему будет жаль потом со мной расстаться. Эти дураки всегда льстят себя надеждой получить долг. Ну, а потом... когда мне больше невмоготу — я бросаю свой чемодан на произвол судьбы и еду в другую гостиницу.

Он добродушно улыбнулся.

— Из всех кирпичей, которые после моего отъезда обнаруживались в чемоданах, можно было бы к моему юбилею построить небольшой, но доходный домик хотя бы на Арнаутской улице.

Мы проболтали до поздней ночи.

Ложась спать, хозяин сказал мне:

— Гарри! Ты любишь женщин?

— Женщины — зло! Но я никогда не желал себе добра.

— Гарри! Недавно я вступил с одной рябой кухаркой в преступную связь. Меня, нужно тебе сказать, привлекает не приятная шероховатость ее лица при поцелуях, а ее господа, и, главным образом, те маленькие штучки, которые лежат в столике спальной комнаты госпожи.

— Я тебе нужен буду? — серьезно спросил я.

— Да. Завтра господа уезжают в театр или еще куда-то. Пока я буду предаваться с кухаркой изнеженности нравов, ты можешь совершить поступок, недостойный джентльмена,— войти в спальню честной женщины.

— Сделано,— пообещал я, засыпая.

Я спал спокойно. Мне и не грезились те странные, непостижимые, неожиданные вещи, которые случились со мной сутки спустя...

Глава II. ДЕЛО

Притворяясь лихим, веселым парнем без предрассудков, я должен сознаться, что втайне страшно побаиваюсь: а что, если читатель отнесется ко мне не с благосклонной улыбкой, а с отвращением и гадливостью?..

Мне это было бы ужасно больно.

Поймете ли вы меня, когда я скажу, что у меня не поднялась бы рука убить муху... Но если бы у той же мухи звенел в кармане кошелек и по желтому брюшку змеилась часовая цепь — я, не задумываясь, лишил бы собственницу этих сокровищ времени и денег.

Будь это американская муха, она была бы ужасно огорчена пропажей, потому что уж это известно: для американцев дороже всего время и деньги.

Если вдуматься в мое поведение серьезно, то ничего особенно предосудительного в нем и не было... Дебютировал я бумажником одного солидного на вид господина. Но наружность обманчива! Целый вечер я потерял на чтение глупейших любовных писем, среди которых довольно сомнительную ценность представляла просроченная ломбардная квитанция... И золотые часы, вытащенные вскоре после этого у другого господина, оказались самой наглой возмутительной подделкой. Рассмотрев их хорошенько, я немедленно вручил эту машину незнакомому мальчишке, уронившему на улице бутыль с молоком и оравшему так, будто он расколол себе череп.

Исполнив свой долг и оправдавшись перед читателями, перехожу к вечеру следующего за нашим знакомством с Дыбином дня.

— Гарри! — сказал мне Дыбин, когда мы шагали к предмету пылкой его привязанности — кухарке, носившей на лице пустяковые остатки черной оспы. — Ты не осуждаешь меня за связь с женщиной не нашего круга?

Я протянул ему руку.

— Нет, Миша! Ты должен только возвысить ее до себя.

— Ладно. Только, если я не ухитрюсь проделать это сегодня — я вообще не сделаю этого, потому что сегодня мне хочется провести то, что банковские деятели называют: ликвидация предприятия.

Когда мы вошли в кухню, то были встречены с тем энтузиазмом и пылкостью, которые приобретаются лишь долголетним дежурством у плиты.

У кухарки была гостья — прачка из ресторана, но это наших планов не портило.

Дыбин взял меня под руку и, расшаркавшись перед дамами, сказал:

— Хотя в свете не принято приводить к очаровательным хозяйкам друзей, которые могут отбить этих хозяек (мелодичный визг кухарки и хихиканье прачки), но я взял на себя такую смелость, потому что это — мой лучший друг. Он пять раз спасал меня от смерти, не говоря о том, что выняньчил меня! Что? Вы говорите, он моложе меня? Сударыни! Где кричит привязанность, там годы безмолвствуют, как говорил старик Смит и Вессон! Занимая скромную должность полотера в монакском посольстве, друг мой сохранил ясность мысли и здравость суждений, в чем легко можно убедиться, даже не дотрагиваясь до него руками.

Речь Дыбина лилась, как рокочущий весенний ручей, и дамы не сводили с оратора затуманенных восторгом и преклонением глаз.

Я поклонился с той скромностью, которая выгодно отличала меня в отношениях с людьми, и, подойдя к прачке, благожелательно ущипнул ее за локоть.

Такой галантный прием вызвал из уст прачки легкое восклицание восторга. Она кокетливо хлопнула меня по плечу подносом, который до этого застенчиво вертела в руках, и мы сразу почувствовали себя легко и свободно.

Сели, и разговор с житейских и общественных перешел на литературные темы.

— Вы читали «Ника Картера»? — спросила меня прачка, поправляя в волосах элегантный цветок из красной папиросной бумаги.

— Не удосужился еще. Теперь я занят штудированием многотомного труда «Путешествие Пипина Короткого к ис-

токам африканской реки Какао-Шуа». Штучка, достойная удивления.

— Не скажу,— поморщился Дыбин.— Лучшие труды по этому вопросу принадлежат не Бетховену, а Святополку Окаянному.

Потом мы пили чай. А когда кухаркины господа уехали и наверху воцарилась тишина — мы стали танцевать.

Вальс танцевали томно и страстно, под заунывный, исполненный прачкой, мотив:

— Тралла-ла-ла-ла...

А потом с огоньком и завидным оживлением протанцевали кадриль.

Дыбин на мотив «По дорожке зимней, скучной» пел «Прибежали в избу дети».

Особенное веселье и бешеная пляска шла под слова:

Безобразный, труп ужасный
Посинел и весь распух...

А после слов:

И в распухнувшее тело
Раки черные впились,—

я так развеселился, что сделал, к восторгу дам, замысловатое сальто-мортале.

Усталые, мокрые, сели ужинать и за ужином пили наливку. А потом я встал и печально, но твердо сказал:

— Мне пора!

— Нет уж, посидите еще,— умоляюще попросила кухарка.

Прачка придавила под столом мою ногу и со вздохом сказала:

— Конечно. Мы понимаем. Их ждут дамы в шляпках. Где нам!

— Сударыня! — вскричал я.— Поверьте: ваш образ навсегда зафиксируется в моем сердце. Кроме вас, у меня нет ни одной дамы. Были, но... «Одних уж нет, а те далече», как некогда остроумно выразился Сади Карно... Сударыня... Пожалуйте мне эту розу с ваших волос... Я засушу ее в книжечке для записи расходов.

У кухарки я вежливо поцеловал руку, чем привел ее в восторженное замешательство, а с прачкой дружески и тепло

расцеловался... Две чистых, прозрачных слезинки дрожали на ее синих глазах.

Кухарка встала, чтобы выпустить меня в парадную дверь, но Дыбин элегантно обнял ее и решительно сказал:

— Нет, моя жизнь... Ты устала и тебе нужно отдохнуть. Я сам его выпущу. Кроме того, мне нужно сказать ему на прощанье несколько слов, о которых вам, женщинам, нельзя знать.

Он беззаботно потрепал кухарку, тронутую его заботливостью, по спине и вышел со мной в переднюю.

— Ну, Гарри, действуй! Шагами можешь не стесняться, так как я сейчас начну орать песни; только обламывай дельце скорее, потому что те могут вернуться каждую минуту. Дай, я тебя поцелую!

Я тихонько снял ботинки и пиджак и пошел по лестнице наверх, в комнаты хозяев, а Дыбин открыл парадную дверь, сказал громко: «До свидания!» и, захлопнув ее, вернулся в кухню.

Я бесшумно крался по комнатам и, пройдя столовую и кабинет, без труда нашел спальню хозяев. Другая дверь из нее вела в уборную, в которой горел слабый ночник. Я оставил ботинки и пиджак в уборной, вернулся в спальню и решительно приступил к запертой шифоньерке, где, по словам Дыбина, лежало многое из того, что могло потом скрасить нашу неприхотливую жизнь.

Дыбин не ошибался.

Когда карманы мои оттопырились, я аккуратно задвинул ящик и уже сделал шаг к уборной за ботинками, как внизу послышался звонок, потом шаги кухарки и голоса.

Не скажу, чтобы я испугался. Мне было как-то неловко... Сейчас хозяйка дома застанет в спальне меня смущенного, сконфуженного и незнакомого ей человека... Чем я могу оправдаться? Э, черт возьми! Да там и мужской голос?! Неужели это муж?!

Не рассуждая, я прислушался к приближавшимся шагам и юркнул под монументальную кровать, стоявшую в углу.

До меня донесся шорох шелковых юбок, тихие мужские шаги и голоса:

Женский.— Знаешь, Сережа, мой уважаемый супруг, вероятно, удивлен, что я за последнее время не устраиваю ему сцен за позднюю карточную игру!

Мужской.— Ха-ха! Как ты ухитрилась сплавить его из театра?

Женский.— Сказала, что мне нужно отдать кухарке распоряжение и, кроме того, написать письма двум институтским подругам. Он и уехал с этим идиотом Крышкиным!

Я высунул голову из-под кровати и взглянул на разговаривающих. Он был без сюртука, а она с голыми руками и грудью, что заставляло жестоко страдать мое врожденное целомудрие...

Глава III. РАЗВЯЗКА

В делах любовного характера я никогда до сих пор не играл позорной, пассивной роли, которая выпала теперь на мою долю... У дамы были круглые, гибкие руки, смутной белизной мелькнувшие передо мной, когда она стягивала со стройной ноги черный чулок... Но эти руки должны были обвиться не вокруг моей, а вокруг посторонней мне шеи... Когда дама отошла к туалетному столику, на котором горела свеча, то свет свечи упал сзади на прозрачную сорочку, и контуры голого тела красавицы рельефной тенью обрисовались передо мной... Но эта тонкая талия должна была сжаться не моими руками... Стройные, прекрасные бедра, молодая расцветшая грудь, черные глубокие глаза — все это было не мое, и у меня поэтому в душе стало подыматься глухое чувство недовольства против ее наглого обожателя.

Я считал его виновным во всем:

Своим несвоевременным появлением он подвел меня самым бессовестным образом...

Он явился с чужой женой, и я, несмотря на всю свою неиспорченность, догадывался, что он поставил себе твердой целью сделать энергичное покушение на права несчастного мужа...

Наконец, он своим идиотским смехом и тихими поцелуями будил во мне нехорошие чувства, которые, может быть, без этого дремали бы себе да дремали...

Когда он подошел к кровати и его нога очутилась около моего носа, я даже хотел ущипнуть его за эту противную, тощую конечность, но благоразумие отдернуло мою руку тем более что снизу донесся какой-то шум и голоса.

Дама прислушалась... Потом, в ужасе, неожиданно воскликнула:

— Боже ты мой! Муж... Мы погибли.

В таких случаях все жены и их обожатели почему-то уверены, что «они погибли», хотя все дело обыкновенно кончается несколькими подзатыльниками по адресу любовника и парой-другой упреков, несмело брошенных жене. Жена доказывает, что виноват, в сущности, муж, и это так удручает законного владыку, что он забывает пустить обожателю вслед каминные часы или прибор для снимания ботинок. Так что украшение щекотливого положения любовников эффектной фразой «мы погибли» лишний раз доказывает пустоту и вздорность всех влюбленных.

Лежа под кроватью, я услышал шаги обожателя, юркнувшего в уборную, где лежал мой пиджак, шаги мужа, приближавшегося к спальне, и легкий прыжок в кровать жены, у которой зубы стучали от совершенно бессмысленного страха.

— Ты не спишь, Маруся? — спросил муж, входя и приближаясь к кровати.

— Не сплю, мое сокровище.

— Отчего ты так бледна, моя жизнь?

— Ничего. Здесь холодно.

— Что ты! Здесь африканская температура!

— Неужели? Значит, мне жарко.

— Но ты дрожишь... Эге-ге!! Что это за мужская шляпа здесь на стуле?!!

— Жан! Это недоразумение! Клянусь тебе...

Я решил, что мне время начать действовать.

Стараясь сохранить независимый вид, я выполз из-под кровати, сложил на груди руки и печально, но твердо сказал:

— Нет, Жан. Это не недоразумение!..

Муж отшатнулся от меня. Жена вскрикнула и спрятала в ужасе голову под одеялом.

— Да... Я ее любил и люблю. Но, умоляю вас, не обрушивайте свой гнев на эту кроткую страдалицу! Я виноват один. Если хотите, я дам вам всяческое удовлетворение.

— Негодяй! Вы осмеливаетесь...

— Сударь! — твердо сказал я. — Вы можете убить меня, но не оскорблять. (Втайне я предпочел бы обратное.) Я ее любил... Но разве это вина? Где корень любви?.. Спросите цветок, оживающий под лучами росистого утра, спросите птичку...

— К черту птичку! — заревел обиженный супруг.

— Правда, если вы желаете, то это пернатое может быть удалено из ряда метафор без ущерба для доказываемой мной аксиомы...

Моя солидная, внушительная речь стала, очевидно, действовать на мужа. Этот безумец начал успокаиваться.

Но жена высунула из-под одеяла голову и вскричала, закрывая лицо руками:

— Жан! Поверишь ли ты мне, когда я тебе поклянусь, что не знаю этого господина?!

— Маруся! — сурово сказал я. — Надо быть мужественной. Мы обманывали твоего уважаемого мужа, но мы же должны найти в себе смелость и сознаться в этом.

— Но я вас не знаю! Это что-то удивительное... Как вы сюда попали?

— Я? Маруся! Неужели ты и сейчас будешь обманывать этого достойного человека?.. У меня и раньше было тяжело на душе, когда ты уверила его, что едешь отдать распоряжение кухарке и написать ненаписанные письма мифическим подругам... кроме того, ты непочтительно отозвалась о симпатичном приятеле твоего мужа Крышкине, назвавши его идиотом.

— Сударыня! — угрюмо сказал муж. — И вы еще осмелились назвать Крышкина идиотом?!

— Да... Вы осмелились?! — с ноткой возмущения в голосе поддержал я.

— Жан! Я схожу с ума! Он мне совершенно незнаком...

— Мужчина без сюртука в вашей спальне под кроватью — и вы в стороне? — вскричал муж.

— Да... И вы в стороне?! Имейте мужество...

Лучшим выходом из положения сбитой с толку дамы было — залиться слезами, каковой жидкостью она и не замедлила залиться.

Я сказал:

— Итак, я к вашим услугам. Вот моя карточка. Разрешите мне надеть в уборной мой сюртук...

Он сел на кровать и сделал усталый жест.

Я сунул ему в руку карточку моего портного, посмотрел укоризненно на плачущую жену и вошел в уборную.

В полутьме мне бросилась в глаза жалкая, скорченная фигура, прятавшаяся за рукомойником.

Снятый ранее в спальне сюртук валялся тут же на столике.

Испуганный обожатель приподнялся и сделал мне умоляющий жест.

— Что вы наделали! Я погиб! — прошептал он.

Я ответил наставительно, тоже шепотом:

— Надо быть нравственнее. Разврат к добру не ведет, молодой человек.

— Вы... уходите?

— А что же мне здесь... В кошки-мышки играть, что ли?

— А... я?

— А вы, как знаете... Прощайте.

— Послушайте... Вы надели мой сюртук... отдайте!

— Убирайтесь к черту,— энергичным шепотом посоветовал я.

— Там деньги... Бумажник!! Я закричу...

— Закричи, идиот,— согласился я.— А я скажу, что ты — вор и спрятался, чтобы обокрасть этих добрых людей. Муж теперь за меня горой будет стоять. А ей никто все равно не поверит.

— Тогда спасите меня.

Он цеплялся за меня дрожащими от ужаса руками. Я оттолкнул его ногой и вышел в спальню.

— Сударыня! — сказал я, подойдя к кровати.— Надеюсь, после вашего бессмысленного запирательства и двойного обмана этого доброго человека — между нами все кончено...

Она продолжала плакать.

— Не расспрашивайте ее пока,— попросил я угрюмо смотревшего на нее мужа.— Бедняжка сильно любила меня и никак не может успокоиться.

Я опасливо посмотрел на тяжелый зонтик, который он держал в руках, и тихонько выскользнул из комнаты.

Стараясь не шуметь, я спустился с лестницы (сам!.. честное слово — сам), еле дыша, открыл английский за-

мок парадной двери и через секунду очутился на свежем, холодном воздухе.

Из-под темных ворот отделилась тень и прыгнула мне навстречу.

— Гарри! Цел?

— Все благополучно, хозяин. Ну, как твой роман с кухаркой? — насмешливо спросил я.

— Гарри! Душа моя разбита. Все с ней покончено.

Я грустно посмотрел на луну.

— Что делать! Я также окончательно разорвал с ее госпожой.

И когда я рассказывал ему историю своего краткого романа, бешеное ликование прорывалось в нем.

И не потому он радовался, что у меня было на три тысячи бриллиантов, новый сюртук и шестьсот рублей в кожаном бумажнике... А потому, что не ошибся во мне...

По его словам, я был действительно *настоящим парнем.*

КАТЬКА

У Катьки черные, немного сонные глаза, губы маленькие, ярко-красные, вечно искривленные гримасой недовольства, и щеки, покрытые пушком, как у персика... Росту она высокого, фигура стройная и восемнадцатилетняя грудь всеми силами старается выбиться из тесной бумазейной кофточки на свет Божий, имея нескромное желание смутить и раздразнить своей белизной и пружинностью всех окружающих противоположного Катькиному пола.

Ранним утром крохотный Алексей, которого все в доме называют Лобзиком, просыпается и с кроватки кричит:

— Катька! Поцеюй меня.

Катька подходит, наклоняется к Лобзику и равнодушно, без тени нежности, исполняет эту обязанность, лежащую в числе других, более сложных, на Катьке.

Поцеловав Лобзика, Катька спешит приготовить ему какую-то дрянь из манной крупы, но в столовой натыкается на гимназиста Вольдемара, брата Лобзика.

— Чудная Катька! Единственная Катька!.. — шепчет он, глядя на Катьку помутневшими глазами. Потом дотрагивается до ее груди.

— Катька... Почем материю покупала?

Гимназист вовсе не обуреваем стремлением получить точный ответ... Этот меркантильный вопрос задается им с той единственной целью, что после него Вольдемар может потрогать материю, обнять Катьку и проделать вообще целый ряд других привлекательных вещей.

Несколько раз подряд он крепко, затяжными лихорадочными поцелуями старается разбудить Катьку. Но Катька лениво отстраняется и без тени какого-либо чувства шепчет:

— Оставьте, барчук. Идите учиться... Целоваться грех.

Вольдемар вздыхает, передвигает плечом на спине ранец и выходит, давая дорогу своему отцу, хозяину квартиры и принципалу горничной Катьки.

Отец оглядывается, подкрадывается к Катьке и тихо говорит:

— А дай-ка я тебя, Катька, поцелую.

Катька слабо вырывается, смотря в стену мертвыми глазами, и думает о чем-то другом. С таким же успехом хозяин может целовать и предмет теперешнего внимания Катьки — голую стену.

— Дерево...— печально и сердито шепчет он и перестает целовать Катьку.— Катька! Сбегай за папиросами.

Под воротами Катьку встречает молодой младший дворник. Он обрушивается на Катьку со всем пылом туземца Гвадалквивира, хотя сам уроженец Тульской губернии. Катька неторопливо вырывается и холодно шепчет:

— Пусти. Нехорошо... Грех.

Хозяин мелочной лавочки долго не дает ей папирос, обнимая дрожащими руками талию Катьки и шепча ей, тускло равнодушной, несложный арсенал комплиментов своей специальности:

— Рафинад! Душистый горошек-с! Дюбек лимонный-с!

Катька зевает. Ей даже лень вырваться.

После обеда к Катьке приходит в гости ее старуха мать.

Она долго сидит в Катькиной каморке, смотрит ей в лицо, целует ее волосы, глаза, в то время, когда Катька блуждает по потолку безучастным, холодным взглядом.

— Мертвенная ты какая-то. Пойду я.

— Идите, мама,— вздыхая, говорит Катька.

Поздним вечером в комнате Катьки сидит приказчик галантерейного магазина Сомова — Вася Снурцын.

Это — единственный человек, который не целует ее. Изредка приглаживая завитые волосы и поправляя галстук, он читает газету, чистит ногти, а потом ужинает, с аппетитом уничтожая холодные котлеты и пирог.

Катька ходит около него, дрожа, наклоняется к завитым волосам и впивается в них долгим, тихим поцелуем. Приближается к приказчичьей щеке, трется подбородком об его галстук и потом, долго, быстрыми прикосновениями, целует ладонь его большой белой, пахучей туалетным мылом руки.

Приказчик Вася читает газету и после ужина.

СОЛИДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ЗАПИСКИ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

Я — человек аккуратный.

Ложась спать, я каждый вечер аккуратно отрывал листок календаря и, аккуратно прочтя его обратную сторону, ложился в кровать, аккуратно каждую ночь засыпая.

Но однажды я нарушил этот прекрасный порядок и — все пошло к черту.

В тот несчастный вечер, с которого все началось, я, по обыкновению, прочел календарный листок, но почему-то не лег спать, а заглянул в следующий, честное слово, с той только целью, чтобы угадать, что мне придется читать завтра.

Назавтра я должен был пополнить свои знания способом американцев делать из бумаги дома — и это мне не понравилось.

Я заглянул в «послезавтра». Послезавтра календарь осведомлял публику о последних предсмертных словах разных великих людей, и эти афоризмы я читал уже в газетной «смеси» раз восемьдесят.

Огорченный, потерявший терпение, я углубился дальше.

Дни летели передо мной, как секунды, и, несмотря на то что на дворе был снежный январь, я уже перелистал март, апрель и уже купался в горячих волнах жгучего летнего солнца.

В меню все время мелькала земляника со сливками, компот из свежих персиков и салат из помидор. Я чувствовал, что эта роскошь, при осуществлении ее, нанесет моему скромному бюджету тяжелый удар, и поэтому, миновавши «виноград и американскую дыню», я расстался с золотистой меланхолической осенью.

Теперь передо мной проносилась холодная снежная зима с заносами и вьюгами. Я благополучно подходил уже к веселому, жизнерадостному Рождеству, как вдруг на 18-м декабря споткнулся.

Я никогда не забуду этого дня.

Это было идиотское 18-е декабря...

Наверху было скромное благонамеренное изречение: «Старайся прожить свою жизнь хорошо и тебе будет прекрасно житься», внизу было вкусное сытное меню, зато посредине...

Я прочел вот что:

«*Американские миллиардеры.* Все миллиардеры начинали ни с чего! Ярким примером этого может служить популярный в Америке Джонатан Джонс, который в начале своей карьеры миллиардера слонялся оборванный, буквально без гроша. Найдя однажды на улице апельсинные корки, он отправился на главную улицу и аккуратно разложил их на мостовой, спрятавшись потом за углом. Многие прохожие, наступив на корку, скользили, он их, выскакивая, поддерживал и ничего на это, кроме слов благодарности, не выручал. Но один солидный господин, поддержанный им, вынул из кармана четверть доллара и дал их галантному оборванцу. Джонс на эти деньги накупил немного дешевого товару и, разжившись, сделался миллиардером»...

Дальше 18-го декабря я уже не пошел.

Ошеломленный, придавленный, я едва добрался до кровати и, улегшись на нее, провел ночь не смыкая глаз.

Несколько апельсинных корок и... миллиардер! Вот они — сказки жизни...

Всю ночь мне грезилась яхта в Средиземном море, дворец в Пятом Авеню и конюшня, битком набитая арабскими лошадьми.

И над всем этим ярким солнечным пятном сияла одна жалкая апельсинная корка — тот ключ, который должен открыть волшебную дверь к яхте, дворцам и лошадям.

Всю ночь я не спал, а к утру у меня созрело непоколебимое решение.

Я решил сделаться миллиардером.

Утром я отправился в банк и взял для начала дела те три тысячи рублей, которые составляли весь мой капитал.

Этот день так же, как и следующие, я провел в самых отчаянных хлопотах.

Мне нужно было найти приличное помещение для конторы в тихом деловом квартале; заказать торговые книги и нанять несколько человек расторопных, смышленых служащих, которые бы знали бухгалтерское и вообще торговое дело и были бы мне преданными, усердными помощниками.

Контору я нашел с большим трудом, потому что мне необходим был под помещением конторы обширный, сухой подвальный склад. Это стоило дорого, но мне знаком принцип, что солидность — половина успеха предприятия.

Легче всего было заказать бухгалтерские книги, которые мне изготовили под солидным и громким заглавием на корешках:

«Первый дом для эксплуатации апельсинных корок».

Я едва выбрал время, чтобы заехать в оптовый фруктовый склад и потолковать с хозяином его о доставке мне апельсинов по оптовым ценам. Мы условились, что я буду получать, по минимальной цене, от двадцати до двадцати пяти ящиков в месяц, причем первая партия должна быть доставлена в мой погреб сегодня же.

Работа закипела.

Через неделю аппарат дела был уже настолько хорошо налажен, что мы могли приступить к практической работе.

Так как четверо моих служащих (бухгалтер, его помощник, кассир, которого я, для экономии, нанял также в качестве делопроизводителя, и телефонист) были до начала операции свободны, то я всех их занял чисткой апельсинов, на что ушел целый день.

В этот же день мне впервые пришла в голову мысль: как поступить с очищенными апельсинами? Выбрасывать было жаль, и мы решили съедать их, чтобы эти вкусные плоды не пропадали даром.

К вечеру мы имели изрядный запас корок, но на другой день я не мог выйти на работу, потому что с нашими желудками случилось что-то странное.

Это странное прекратилось только через три дня, и никаких дурных последствий оно не имело. Кассир (он же делопроизводитель) уверял, что к апельсинам легко привыкнуть, для чего их нужно чаще и больше есть.

Наконец, я отправился на работу. (Не желая первое время ставить дело слишком en grand, я обхожусь пока без помощников. В будущем же я решил завести целый штат разбрасывателей корок, организовав их на манер артели.)

В одной руке я нес корзинку с корками, в другой ящик, в котором лежали корпия, бинты и пластырь.

Выбрав людную улицу, я разбросал на большом пространстве корки и стал выжидать счастливых случаев.

Тут же я убедился, что без помощников предприятие это очень трудное, потому что на окраинах отмежеванного мною участка прохожие падали без моей поддержки и, вставая, ругались на чем свет стоит.

Центром я заведовал довольно успешно, поддерживая поскользнувшихся и поднимая упавших, за что к вечеру в моем кармане уже звенело несколько монет.

Результатом я был доволен, но меня огорчало одно: сегодня около сорока человек выразили свое мнение, что я — дурак и идиот.

Скользя и падая, каждый считал своим долгом сказать вслух:

— Какой это идиот набросал здесь апельсинных корок!

А так как корки-то набросал именно я, то самолюбие мое было очень уязвлено.

Кроме вышеприведенного, сердце мое сжималось оттого, что к концу трудового дня моя профессия приобрела мрачную, трагическую окраску...

Один старик, поскользнувшись, сломал ногу, а маленькая гимназистка вдребезги разбила свою русую головку о тротуарную тумбу!

Тут же я решил, когда дело разовьется, завести собственные каретки скорой помощи и набрать штат расторопных докторов.

На другой день, утром, я внес кассиру всю вырученную мной наличность, а бухгалтер расписал ее по книгам в графу: «валовой доход от предприятия».

Предприятие развертывалось медленным, но верным и нормальным ходом.

Вчера мой трудовой день чуть не окончился трагически... Спеша к упавшему прохожему, я поскользнулся сам о собственную корку и разбил коленную чашечку. Теперь хромаю.

Нужно будет завести сапоги с шипами.

Какой ужас: сломал руку старый генерал, и вышиб глаз, наткнувшись при падении на палку, молодой господин.

Сегодня скандал.

Полиция, заметив, что я разбрасываю корки, поймала меня и представила в участок. Господи — за что?! Я дал свой адрес. Что-то будет!

Крах! Самый ужасный, неожиданный крах всего предприятия...

Все увечные, узнавшие из газет о «разбрасывателе корок», предъявляют ко мне гражданские иски, и, кроме того, прокурор возбуждает против меня уголовное преследование! Что-то будет?

Сегодня, отправляясь на суд, я увидел три подводы, привезшие ящики с апельсинами.

Увы! Их некому даже принять, потому что кассир (он же делопроизводитель) убежал с оставшейся в кассе тысячей рублей, а бухгалтер умер в больнице от острого желудочного расстройства.

Помощник его и телеграфист сидят теперь одни в пустой конторе и грустно ждут, пока я выдам им жалованье.

В тюрьме мне пришлось прочесть очень забавную книжку — сочинение Грибоедова. Оно называется «Горе от ума», и мне особенно понравилась в нем одна фраза: «Все врут календари»...

ЖЕРТВА ЦИВИЛИЗАЦИИ

Неизвестный господин вошел в наш небольшой магазинчик, занял собою все свободное пространство и, отфыркиваясь, обратился ко мне:

— Хочу у вас кое-что приобрести.

— Мы счастливы, что ваш выбор упал именно на наш торговый дом. Но и вам повезло, что вы попали сюда: лучше и дешевле товара — нет ни в каком другом магазине.

— Ладно там.

Он не был толст. Он не был даже дороден, но вся его фигура, как причудливая елка, была обвешана разными свертками, коробками и узелками. Ни одна пуговица или крючок не оставались праздными. Карманы же каждую секунду угрожали лопнуть. Общий вид господина был уездный. Черноземом несло от него.

— Что прикажете показать?

— Дайте мне сначала, гм... перчатки!

— Для вас, monsieur?

— Для моего покойного дедушки! Я думаю, для меня.

— Какой номер?

— Провались они, эти проклятые номера! Дайте мне номер... ну... двадцать первый!

Я отшатнулся от стойки.

— Это... неслыханный размер!! Будьте добры показать ваши руки...

Он покорно выпутал руки из целой массы веревок и ленточек и протянул мне.

Руки были самые обыкновенные.

Измеривши их, я пожал плечами.

— Ваш размер, самое большее — семь с четвертью.

— Ну?

— Уверяю вас.

— Я их всегда путаю, эти номера. Тот, что я вам сказал, это для корсета моей жены.

— Двадцать первый?

— Да. Чего вы так глаза таращите?

— Ха-ха!.. Вам не улыбается быть на каторге?

— Что-о тта-акое?!!

— Я только хочу вам посоветовать: если у вашей жены такая талия — никогда не рискуйте заключать ее в пылкие объятия... Она переломится, как соломинка! И вас будут судить за убийство жены, с участием сословных представителей.

Он захохотал.

— Шутник вы, и больше ничего! Дайте-ка мне еще воротничков стоячих.

— Номер?

— Дьявольщина! И здесь номер? Ну, дайте семнадцатый.

Я перестал с ним церемониться.

— Когда вас, monsieur, будут, не дай Бог этому случиться, вешать... то и тогда номер петли будет в два раза больше.

— Что это значит?

— Что вам нужен 42–43-й.

— Неужели?

— Клянусь вам.

Он разразился проклятиями.

— Совершенно я сбит с толку! Покупал калоши — один номер, ботинки — другой... Очки — третий! Шляпу — четвертый... и все разные! Профессор какой-нибудь и тот не запомнит!

Я осмотрел издали его покупки и остановился на одном подозрительном свертке.

— У вас в семье несчастье?

Покупатель испугался.

— А что такое?

— Я вижу завернутое в бумагу нечто, похожее на детский гробик!

— Что вы! Это калоши.

— Номер?

Он заскрежетал зубами.

— Отстаньте от меня! Кажется — 42-й!

— Вы их, вероятно, покупали в морском министерстве?

— Нет, в магазине. Да! Дайте мне еще мыла. Вот только номер я забыл.

— Номера не надо. Ведь не на нос же вы его наденете.

Радости его не было предела.

— Что вы говорите! Восхитительно! Дайте мне тогда... десять кусков.

Когда я заворачивал, он взял один из кусков, осмотрел и, швырнув его, ударил кулаком по стойке.

— Извольте видеть! Мыло перенумеровали!.. 4711-й! Не хочу я 4711-й! Дайте мне 953-й... или 2149-й! Почему именно 4711?

Насилу я успокоил его.

Расплатившись, он нагрузился теми же свертками.

— А эти новые положите на моего извозчика.

Мальчик вынес покупки и сейчас же вернулся назад.

— Там нет извозчика!

— Как нет?! Ты врешь, негодный мальчишка!

Я выглянул за двери и сказал:

— Действительно, вблизи нет ни одного экипажа.

Покупатель схватился за голову и застонал.

— Что я наделал! Ведь на нем был детский велосипед, два пуда муки и деревенские подарки!!

— А вы номера извозчика не запомнили?

— Подите вы... подальше! Боже! Эти номера доведут меня до сумасшедшего дома!

— Заметьте, что и там вы будете под номером,— сочувственно предупредил я.

Размахивая покупками, он выбежал из магазина, но скоро вернулся, еще более растерянный и убитый.

— Что прикажете?

— Скажите... Я не говорил вам случайно, где я в Петербурге остановился?

— Нет. В гостинице?

— У знакомых. Улицу помню — Садовая... А номер забыл. Ей-Богу.

— Вы прописаны в участке?

— Кажется.

— Тогда можете узнать, где вы живете, в адресном столе!

— А где стоит этот стол?

— Не стоит, а находится... Вы не забудете? Беспанельная улица, дом № 49, квартира № 37.

Он смотрел на меня. Лицо его все краснело н краснело. Потом на губах выступила розовая пена, потом он закачался и, наконец, увлекая свои нумерованные покупки, во весь рост грохнулся на пол.

Хоронили его без особенной пышности. В мертвецкой, до похорон, он лежал под номером четырнадцатым.

БОЙКИЙ РАЗГОВОР

Посвящаю С. М-р.

Я кончал чтение рукописи своего рассказа.

Ярко блестевшие глаза хозяйки, ее искренний интерес и напряженное внимание показывали, что рассказ имеет успех.

Но — раздался звонок. Звонок...

Влетели две дамы, составленные из двух громадных шляп, двух нелепых саков и двух длиннейших боа, обвивавших две шеи.

Втайне я искренно пожалел, что эти боа не были живыми, но явно выразил бурную радость по поводу того, что заключаю такое приятное, интересное знакомство.

— Что это вы читаете? Рассказ? Вы писатель? О, писатели опасные люди... Смотрите, вы меня не опишите.

Дамы это часто говорят, и я всегда в ответ глупо ухмыляюсь. Ухмыляться на такие слова умно — не имеет никакого расчета.

Сели. И серая тоска немедленно вползла в комнату...

— Сейчас спросят о театре,— шепнул я хозяйке.

— Ну, как вы живете? Бываете в опере?

Хозяйка вздохнула.

— Давно уже не бываю. Не приходится.

— Да? Скажите! А вы, молодой человек, бываете в театре?

— Бываю,— угрюмо отвечал я.

— В каком же?

— В анатомическом.

Дамы пугливо переглянулись.

Скука вписала в нашу жизнь длиннейшую паузу.

— Чаю не желаете ли?

— Ах, нет, что вы! Ни за какие миллионы. Впрочем, от чашечки не откажусь.

Чай выручил минут на пять.

Но когда на лице хозяйки появилось выражение холодного смертельного ужаса от сознания, что нить разговора бесследно утеряна, я пришел на выручку:

— А вы, сударыня, бываете в театре?

— Да. Недавно была в Фарсе.

Какая пытка... О чем с ней говорить?

— Что же там, этого... как его!

— Что такое?

— Я хотел спросить — весело ли?

— В Фарсе? Да, весело.

Я скрыл мучительную гримасу бешенства и обратился к другой:

— Ну, а вы бываете в театре?

— Да, но я люблю оперу.

— Неужели? Как это странно?! Какую же вы любите оперу больше всего?

— Мне нравится «Пиковая дама».

— Гм... да. Бойко написанная штучка.

Я иссяк.

Очевидно, очередь была за другой, односложной, дамой. Она покрутила головой и спросила хозяйку:

— В парке гуляете?

— Нет. Не могу выбраться.

— А вы, молодой человек?

— Я? Очень часто. Больше всего — в воздухоплавательном или в артиллерийском.

Хотя я не был понят, но разговор, кажется, начинал налаживаться.

Разошлась односложная дама:

— Вообще, природа мне ужасно нравится. Деревья всякие... птицы. Хорошо бы жить где-нибудь на лугу и ночевать в палатке. А вы любите это, молодой человек?

— Как же! Удобнее всего в таких случаях спать в пробирной палатке... Полная гарантия от ревматизма.

Вторая обрадовалась:

— Кстати о ревматизме! Вы можете представить, милочка, что у Василь Сергеича доктора нашли чахотку.

По лицу хозяйки было видно, что она, к своему огорчению, не подозревала не только присутствия чахотки, внедрившейся в Василь Сергеича, но даже не слыхивала о существовании его самого.

Однако умелым расположением лицевых мускулов — необходимый интерес к событию был выражен.

— Да что вы! Ах, какой ужас. Это такой маленький, с желтой бородкой!

— Нет, высокий, бритый.

Молчание, последовавшее за этим, могло быть объяснено как дань скорби по поводу злосчастной судьбы бритого малого.

Я кощунственно нарушил паузу:

— А, знаете, моему знакомому вчера отрезало поездом голову.

Эта нелепая выдумка оживила разговор.

— Что вы говорите! Я не читала об этом в газетах.

— Это понятно, почему. Когда его нашли, он заклинал не придавать гласности случившегося, так как огласка могла повредить ему по службе.

— Ах, так! Вообще, эти поезда! Мой муж, например, опоздал вчера на три часа.

Очередь вытягивать разговор была за любительницей оперы, но она, очевидно, сбилась, потому что выжидательно посматривала на меня.

Я махнул рукой на всякий здравый смысл:

— Итак, вы решительно утверждаете, что, кроме Фарса, ни в каких театрах не были?

— Представьте, не была.

— И вы могли бы это показание подтвердить даже присягой?

— Боже мой! Почему?

— Это очень важно. А вы, сударыня... Вот вы говорите, что любите оперу. Хорошо-с. А любит ли ее также ваша тетка?

— У меня нет тетки!

— Печальное упущение. Но муж ваш не враг театра?

— Нет, он ходит в оперетку, иногда на концерты.

Решительно, я овладел нитью разговора. Некоторое однообразие его искупалось той бесконечностью плоскости, на которой мы стояли. Я выпытал у дам театральные вкусы всех их родственников, друзей и знакомых. Закончил Василь Сергеичем. Оказалось, что этот юноша был большим поклонником кинематографов и паноптикумов.

Судьба его была почтена опять долгим, длительным молчанием, будто бы присутствующие умственно обнажили перед чахоточным молодым человеком голову.

Я проклинал себя за неосторожность. Очень нужно было мне сводить разговор на эту трагическую личность! Нить разговора от соприкосновения с ним моментально лопнула.

Все с нескрываемым интересом стали следить за минутной стрелкой на каминных часах. Она проползла вершка полтора.

На втором вершке хозяйку повело судорогой, и она страдальчески выдавила из себя фразу:

— А у нас... Горничная уходит.

Я вскочил. Кресло со стуком грохнулось на пол. Все вскрикнули от ужаса.

Подскочивши к дамам, с пеной у рта, я кричал:

— Зачем вы явились сюда?! Что вам нужно?! У вас было важное, неотложное дело? Ваша жизнь была бы разбита и дела пришли бы в упадок, не явись вы сюда?! Да?

Общее оживление сменило нудную тишину.

— Господи Иисусе! Он с ума сошел!

Хозяйка смотрела на меня с тайным сочувствием.

— Да? Вы так думаете? А на борьбе вы были? «Веселую вдову» видели? А черта в ступе вам не удалось видеть? Как здоровье Дьявола Семеныча? Он кашляет, да? Ах как жаль! А если вы увидите Василь Сергеича,— скажите, что я его при встрече поколочу! Мне этот болезненный молодец надоел! Кстати, «Голгофу» вы не видели? Ха-ха-ха!!!

И, не прощаясь, я выбежал на улицу.

В РЕСТОРАНЕ

— Фокусы! Это колдовство! — услышал я фразу за соседним столиком.

Произнес ее мрачный человек с черными обмокшими усами и стеклянным недоумевающим взглядом.

Черные мокрые усы, волосы, сползшие чуть не на брови, и стеклянный взгляд непоколебимо доказывали, что обладатель перечисленных сокровищ был дурак.

Был дурак в прямом и ясном смысле этого слова.

Один из его собеседников налил себе пива, потер руки и сказал:

— Не более как ловкость и проворство рук.

— Это колдовство! — упрямо стоял на своем черный, обсасывая свой ус.

Человек, стоявший за проворство рук, сатирически посмотрел на третьего из компании и воскликнул:

— Хорошо! Что здесь нет колдовства, хотите, я докажу?

Черный мрачно улыбнулся.

— Да разве вы, как его... пре-сти-ди-жи-да-тор?

— Вероятно, если я это говорю! Ну, хотите, я предлагаю пари на сто рублей, что отрежу в пять минут все ваши пуговицы и пришью их?

Черный подергал для чего-то жилетную пуговицу и сказал:

— За пять минут? Отрезать и пришить? Это непостижимо!

— Вполне постижимо! Ну, идет — сто рублей?

— Нет, это много! У меня есть только пять.

— Да ведь мне все равно... Можно меньше — хотите три бутылки пива?

Черный ядовито подмигнул.

— Да ведь проиграете?

— Кто, я? Увидим!..

Он протянул руку, пожал худые пальцы черного человека, а третий из компании развел руки.

— Ну, смотрите на часы и следите, чтобы не было больше пяти минут!

Все мы были заинтригованы, и даже сонный лакей, которого послали за тарелкой и острым ножом, расстался со своим оцепенелым видом.

— Раз, два, три! Начинаю!

Человек, объявивший себя фокусником, взял нож: поставил тарелку, срезал в нее все жилетные пуговицы.

— На пиджаке тоже есть?

— Как же!.. Сзади, на рукавах, около карманов.

Пуговицы со стуком сыпались в тарелку.

— У меня и на брюках есть! — корчась от смеха, говорил черный.— И на ботинках!

— Ладно, ладно! Что же, я хочу у вас зажилить какую-нибудь пуговицу?.. Не беспокойтесь, все будет отрезано!

Так как верхнее платье лишилось сдерживающего элемента, то явилась возможность перейти на нижнее.

Когда осыпались последние пуговицы на брюках, черный злорадно положил ноги на стол.

— На ботинках по восьми пуговиц. Посмотрим, как это вы успеете пришить их обратно?

Фокусник, уже не отвечая, лихорадочно работал своим ножом.

Скоро он вытер мокрый лоб и, поставивши на стол тарелку, на которой, подобно неведомым ягодам, лежали разноцветные пуговицы и запонки, проворчал:

— Готово, все!

Лакей восхищенно всплеснул руками:

— 82 штуки. Ловко!

— Теперь пойди принеси мне иголку и ниток! — скомандовал фокусник. — Живо, ну!

Собутыльник их помахал в воздухе часами и неожиданно захлопнул крышку.

— Поздно! Есть! Пять минут прошло. Вы проиграли!

Тот, к кому это относилось, с досадой бросил нож.

— Черт меня возьми! Проиграл!.. Ну, нечего делать!.. Человек! Принеси за мой счет этим господам три бутылки пива и, кстати, скажи, сколько с меня следует?

Черный человек побледнел.

— Ку-куда же вы?

Фокусник зевнул.

— На боковую... Спать хочется, как собаке. Намаешься за день...

— А пуговицы... пришить?

— Что? Чего же я их буду пришивать, если проиграл... Не успел, моя вина. Проигрыш поставлен... Всех благ, господа!

Черный человек умоляюще потянулся руками за уходящим, и при этом движении все его одежды упали, как скорлупа с вылупившегося цыпленка. Он стыдливо подтянул обратно брюки и с ужасом заморгал глазами.

— Гос-по-ди! Что же теперь будет?.....................

....

Что с ним было, я не знаю.

Я вышел вместе с третьим из компании, который, вероятно, покинул человека без пуговиц.

Не будучи знакомы, мы стали на углу улицы друг против друга и долго без слов хохотали.

КАМЕНЬ НА ШЕЕ

I

Однажды, тихим вечером, на берегу морского залива очутились два человека.

Один был художник Рюмин, другой — неизвестно кто.

Рюмин, сидя на прибрежном камне, давно уже с беспокойством следил за поведением неизвестного человека, который то ходил нерешительными, заплетающимися ногами вдоль берега, то останавливался на одном месте и, шумно вздыхая, пристально смотрел в воду.

Было заметно, что в душе неизвестного человека происходила тяжелая борьба...

Наконец, он махнул рукой, украдкой оглянулся на Рюмина и, сняв потертый, неуклюжий пиджак,— очевидно, с чужого плеча — полез в воду, ежась и испуская отчаянные вздохи.

— Эй! — закричал испуганно Рюмин, вскакивая на ноги.— Что вы там делаете?

Незнакомец оглянулся, сделал рукой прощальный жест и сказал:

— Не мешайте мне! Уж я так решил...

— Что вы решили? Что вы делаете?!

— Ослепли вы, что ли? Не видите — хочу утопиться...

— Это безумие! Я не допущу вас до этого!

Неизвестный человек, балансируя руками, сделал нерешительный шаг вперед и воскликнул:

— Все равно — нет мне в жизни счастья. Прощайте, незнакомец! Не поминайте лихом.

Рюмин ахнул, выругался и бросился в воду. Вытащить самоубийцу не представляло труда, так как в том месте, где он стоял, было неглубоко — немного выше колен.

— Безумец! — говорил Рюмин, таща неизвестного человека за шиворот.— Что вы задумали?! Это и грешно и глупо.

Извлеченный на берег самоубийца сопротивлялся Рюмину лениво, без всякого одушевления. Брошенный сильной рукой художника на песок, он встал, отряхнулся и, потупившись, сунул художнику в руку свою мокрую ладонь.

— Пампасов! — сказал он вежливо.

— Каких пампасов? — изумленно спросил Рюмин.

— Это я — Пампасов. Нужно же нам познакомиться.

— Очень приятно,— все еще дрожа от напряжения, отвечал Рюмин.— Моя фамилия — Рюмин. Надеюсь, вы больше не повторите своей безрассудной попытки?

Пампасов неожиданно схватился за голову и завопил:

— Зачем вы меня спасли? Кто вас просил?! Пустите меня туда, в эти прозрачные зеленоватые волны... Я обрету там покой!..

Рюмин дружески обхватил его за талию и сказал:

— Ну, успокойтесь... Чего, в самом деле... Я уверен, все обойдется. Самое сильное горе, самое ужасное потрясение забываются...

— Да у меня никакого потрясения и не было,— проворчал, уронив голову на руки, Пампасов.

— Тогда чего же вы...

— С голоду... С нужды... Со стыда перед людьми за это рубище, которое я принужден носить на плечах...

— Только-то? — оживился Рюмин.— Да ведь это сущие пустяки! Этому горю можно помочь в десять минут! Вы будете одеты, накормлены и все такое.

— Я милостыни не принимаю,— угрюмо проворчал Пампасов.

— Какая же это милостыня? Заработаете — отдадите. Пойдем ко мне. Я здесь живу недалеко.

Пампасов встал, стряхнул со своей мокрой, грязной одежды песок, вздохнул и, спрятав голову в плечи, зашагал за своим спасителем.

II

Рюмин дал Пампасову новое платье, предоставил в его распоряжение диван в мастерской и вообще старался выказать ему самое деликатное внимание, будто чувствуя себя виноватым перед этим несчастным, затравленным судьбой неудачником, смотревшим с нескрываемым восхищением

на сигары, куриные котлеты, вино, тонкого сукна пиджак и прочее, чем заботливо окружил его Рюмин.

Пампасов жил у Рюмина уже несколько дней, и художник, принявший в бедняге самое искреннее, деятельное участие, рыскал по городу, отыскивая работу своему протеже. Так как Пампасов однажды в разговоре сказал: «Мы, братья-писатели», то Рюмин искал главным образом литературной работы...

Через две недели такая работа нашлась в редакции небольшой ежедневной газеты.

— Пампасов! — закричал с порога оживленный Рюмин, влетая в комнату.— Ликуйте! Нашел вам работу в газете!

Пампасов медленно спустил ноги с дивана, на котором лежал, и, подняв на Рюмина глаза, пожал плечами.

— Газета... Литературная работа... Ха-ха! Сегодня один редактор — работаешь. Завтра другой редактор — пошел вон! Сейчас газета существует — хорошо, а сейчас же ее закрыли... Я вижу, Рюмин, что вы хотите от меня избавиться...

— Господи!..— сконфуженно закричал Рюмин.— Что вы этакое говорите... Да живите себе пожалуйста. Я думал, вам скучно — и хотел что-нибудь...

— Спасибо,— сказал Пампасов, тронутый.— Должен вам сказать, Рюмин, что труд — мое призвание, и я без какой-нибудь оживленной, лихорадочной работы как без воздуха. Эх! — Он размял свои широкие, мускулистые плечи и, одушевившись, воскликнул: — Эх! Такую силищу в себе чувствую, что, кажется, весь мир бы перевернул... Труд! Какая в этом односложном слове мощь...

Он опустил голову и задумался.

— Так бы хотел пойти по своему любимому пути... Работать по призванию...

— А какой ваш любимый путь? — несмело спросил Рюмин.

— Мой? Педагогика. Сеять среди детей семена знания, пробуждать в них интерес к науке — какое это прекрасное, высокое призвание...

III

Однажды Рюмин писал картину, а Пампасов по обыкновению лежал на диване и читал книгу.

— Дьявольски приходится работать,— сказал Рюмин, выпуская на палитру свежую краску.— Картины покупаются

плохо, платят за них дешево, а писать как-нибудь, наспех, не хочется.

— Да, вообще живопись... В сущности, это даже не труд, а так что-то. Самое святое, по-моему, труд!

Рюмин ударил себя кулаком по лбу.

— Совсем забыл! Нашел для вас целых два урока! И условия довольно невредные... Хотите?

Пампасов саркастически засмеялся.

— Невредные? Рублей по двадцати в месяц? Ха-ха! Возиться с маленькими идиотами, которым только с помощью хорошего удара кулаком и можно вдолбить, что дважды два — четыре. Шлепать во всякую погоду ногами, как говорится, за семь верст киселя хлебать... Прекрасная идея, что и говорить.

Изумленный Рюмин опустил палитру.

— Да вы ведь сами говорили...

— Рюмин! — страдальчески наморщив брови, сказал Пампасов.— Я вижу, я вам надоел, я вам в тягость. Конечно, вы вырвали меня из объятий смерти и моя жизнь всецело в ваших руках... Ну, скажите... Может быть, пойти мне и положить свою голову под поезд или выброситься из этого окна на мостовую... Что же мне делать? В сущности, я ювелир и безумно люблю это благородное занятие... Но что делать? Где выход? Что, спрошу я,— есть у меня помещение, инструменты, золото и драгоценные камни, с которыми можно было бы открыть небольшое дело? Нет! Будь тысяч пятнадцать — двадцать...

Пампасов шумно вздохнул, повалился навзничь и, подняв с полу книгу, погрузился в чтение...

IV

Рюмину опротивела своя собственная квартира и ее постоянный обитатель, переходивший от дивана к обеденному столу и обратно, чем вполне удовлетворялась его неугомонная жажда лихорадочного труда. Рюмин почти перестал курить сигары и пить вино, так как то и другое уничтожалось бывшим самоубийцей, а платье и ботинки изнашивались вдвое быстрее, потому что облекали два тела и четыре ноги — попеременно...

Рюмин давно уже ухаживал за какой-то интересной вдовой, с которой познакомился на прогулке... Он был несколько

раз у нее и приглашал ее к себе, рассчитывая на время ее визита услать куда-нибудь назойливого самоубийцу.

Однажды, возвращаясь из магазина красок домой и войдя в переднюю, Рюмин услышал в мастерской голоса:

— Но ведь я не к вам пришла, а к Николаю Петровичу! Отстаньте от меня.

— Ну, один раз поцелуйте, что вам стоит!..

— Вы говорите глупости! Я вас не знаю... И потом, если об этом узнает Николай Петрович...

— Он? Он придет, уткнет нос в берлинскую лазурь, возьмет в зубы палитру и ухом не поведет. Это простак чрезвычайный! Миледи! Если вы дадите поцелуй — я его сейчас же отдам вам обратно. А?

— Сумасшедший! Что вы... делаете?..

Послышался тихий смех и звук сочного поцелуя.

«Негодяй! — заскрежетал зубами Рюмин.— Ему мало моего платья, квартиры, еды и моих нервов... Он еще пользуется и моими женщинами!»

Рюмин повернулся и ушел. Вернулся поздно вечером. Разбудил спавшего Пампасова и сурово сказал, смотря куда-то в сторону:

— Эй! Вы видите, нос мой не уткнут в берлинскую лазурь и в зубах нет палитры. Завтра утром можете уходить от меня.

— Зачем же вы меня спасли? — удивился Пампасов.— Сначала спасал, потом прогоняет. Очень мило, нечего сказать.

Голова его упала на подушки, и через минуту послышалось ровное дыхание спящего человека.

С ненавистью посмотрел Рюмин в лицо Пампасову, заскрипел зубами и злобно прошипел:

— У, проклятый! Так бы и дал тебе по голове...

V

Утром Пампасов проснулся веселый, радостный, совершенно забыв о вчерашнем разговоре.

— Встали? — приветствовал его стоявший перед картиной Рюмин.— Помните, что я вам вчера сказал? Можете убираться.

Пампасов побледнел.

— Вы... серьезно? Значит... вы опять толкаете меня в воду?

— Пожалуйста! Пальцем не пошевелю, чтобы вытащить вас. Да вы и не будете топиться!..

— Не буду? Посмотрим!

Пампасов взглянул на мрачное, решительное лицо Рюмина, опустил голову и стал одеваться.

— Прощайте, Рюмин! — торжественно сказал он. — Пусть кровь моя падет на вашу голову.

— С удовольствием! Пойду еще смотреть, как это вы топиться будете.

Вышли они вместе.

На берегу залива виднелись редкие фигуры гуляющих. У самого берега Пампасов обернул к Рюмину решительное лицо и угрюмо спросил:

— Так, по-вашему, в воду?

— В воду.

Рюмин хладнокровно отошел и сел поодаль на камень, делая вид, что не смотрит... А Пампасов принялся ходить нерешительными, заплетающимися ногами вдоль берега, изредка останавливаясь, смотря уныло в воду и шумно вздыхая. Наконец он махнул рукой, украдкой оглянулся на приближавшихся к нему двух гуляющих, снял пиджак и, нерешительно ежась, полез в воду.

— Что он делает? — в ужасе воскликнул один из гуляющих... — Это безумие! Нельзя допустить его до этого.

Со своего места Рюмин видел, как к Пампасову подбежал один из гуляющих, вошел по колено в воду и стал тащить самоубийцу на берег. Потом приблизился другой, все трое о чем-то заспорили... Кончилось тем, что двое неизвестных взяли под руки Пампасова и, дружески в чем-то его увещевая, увели с собой.

До Рюмина донеслись четыре слова:

— Я милостыни не принимаю!..

ЛЕГЕНДА СТАРОГО ОЗЕРА

I

Это случилось очень давно... в 1645 году.

В эти старинные годы на берегу старого озера стояла финская деревушка, а в ней — избушка, а в избушке жили супруги Куртуляйнен — старый Матвей и Марта.

Общее мнение было таково, что Матвей вел себя препустейшим бездельником, а Марта была самой вздорной, злобной финкой во всей деревушке.

Однажды вечером, когда Матвею Куртуляйнену надоел оживленный диспут с супругой, он мимоходом запустил в нее табуреткой, захватил бутылку водки, удочку и пошел на свое всегдашнее место — Чертову скалу Старого озера. Как всегда — опустил удочку в воду, отхлебнул из бутылки и предался своему главному занятию — глазеть на женщин, купавшихся в нескольких десятках саженей от него...

Злой дух толкнул на этот раз Марту последить за мужем. Когда она, подкравшись, увидела ухмылявшееся лицо Матвея, следившего с любопытством за коренастыми краснотелыми, коротконогими купальщицами, то взмахнула скалкой и завизжала:

— Ах ты негодяй! Так-то ты рыбу удишь?! Вот же тебе! Хозяйство пропиваешь, бездельничаешь?! Вот тебе за все!

Флегматичный Матвей поднялся, сказал:

— Ничего. Мы это кончим.

Схватил жену поперек тела и бросил в воду. Потом сел на Чертову скалу, закурил трубку и стал с интересом смотреть на борьбу жены со смертью.

Но радость его была непродолжительна.

Марта вынырнула, сделала несколько энергичных взмахов и, уцепившись за прибрежный камень, стала выползать на сушу — мокрая, страшная, молчаливая.

Сердце Матвея упало. Он вскочил с искаженным от ужаса перед грядущей расправой лицом, вылил в себя остаток водки и, предпочтя лучше смерть, взмахнув руками, решительно бросился в пучину.

Тело его рыбаки нашли через три дня...

II

Однажды летом 1909 года на берегу Старого озера сидели два купальщика: художник Воздухов и поэт Клюнин.

— Скажи, пожалуйста,— спросил Воздухов.— У этого озера есть какая-нибудь легенда?

— Почему ты это спросил? — удивился поэт.

— По-моему, каждая такая штука должна иметь свою легенду. Я не встречал ни одного замка, ни одного порядочного озера, которое не имело бы своей собственной легенды...

— Да... — тихо вздохнув, сказал Клюнин. — У этого озера есть своя старая поэтичная легенда. Мне ее рассказали суровые прибрежные рыбаки в один тихий весенний вечер, когда природа как будто притаилась в истоме и облачко...

— Ладно, рассказывай!

Клюнин устремил взор на далекий загадочный лес и начал:

— Давным-давно, в незапамятные времена на берегу этого озера стояла деревушка... В этой деревушке жила красавица, по которой вздыхал не один окрестный парень, — такая красавица, что, где бы она ни появлялась, все озарялось прекрасным умиротворяющим светом ее лица. Но на самых богатых, самых интересных парней Марта смотрела равнодушно: она любила только своего мужа, своего Матвея Куртуляйнена, имя которого она носила и милее которого не было у нее никого... Первые годы счастье их было безоблачно, но... с некоторого времени красавица Марта начала замечать, что Матвей стал задумчивым, рассеянным и к ней как будто охладел. Он забросил работу, дела и все дни и вечера проводил один, удаляясь на Чертову скалу — безлюдное, страшное место, куда редко кто рисковал показываться... Любящее сердце Марты наконец не выдержало. Однажды вечером она тихонько последовала за мужем. И увидела она, что он сел на выступ скалы, подпер голову руками и стал пристально смотреть в воду... И по направлению его взгляда вода как будто закипела, запенилась, и показались головы женщин с рыбьими хвостами и лицами, прекрасными как луна... И они запели что-то тихое, нежное, отчего у Марты сжалось сердце, а муж ее смотрел, не отводя глаз, с лицом, пылающим любовью и счастьем... И любящее сердце Марты не выдержало. С коротким криком: «Если они тебе дороже, чем я, так я хочу сделаться такой же, как они, чтобы опять завоевать твое сердце!» — она разбежалась и бросилась с обрыва в воду. Вскочив, Матвей сразу опомнился и, издав дикий вопль, бросился за красавицей, но вода опять вскипела, расступилась, и прекрасные водяные обитательницы с криком: «Он наш» — увлекли его в пучину... На другой день утром на берегу нашли бесчувственную Марту, вы-

несенную на берег неведомыми руками, а Матвей — так и исчез в пучине. Но память о нем живет до сих пор!..

Клюнин замолчал.

Молчал и Воздухов, подавленный суровым величием легенды.

Молчало и озеро, поглотившее в себе мятежное сердце мужа красавицы и крепко таившее в своих пучинах эту тайну.

Молчали и деревья. Молчали и птицы.

Ужасная участь Матвея вызвала наконец вздох из груди Воздухова, и он сказал:

— Да...

Где-то тихо всходила луна. Всходила...

ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ В КОРКИНЕ

I

Граждане города Коркина основали воздухоплавательный клуб.

Недавно председатель клуба, акцизный чиновник Собаков, устроил чрезвычайное собрание, на котором сказал звучную, красивую речь:

— Наша цель, господа, завоевание воздуха! А что мы вместо этого делаем? Пьянствуем, ссоримся, сплетничаем... Разве это достойно порядочных авиаторов? Мы должны летать, и всякий, в ком бьется сердце настоящего пилота, должен приветствовать этот шаг!

— На чем же ты полетишь, Собаков? — спросил, недоверчиво качая головой, учитель Кикин.— У нас нет ничего, кроме аппарата, сделанного коллегой Абрамсоном,— такого тяжелого, что его шесть человек едва поднимают.

— Не шесть, а четыре,— сказал угрюмо изобретатель Абрамсон.— Он бы и полетел, да мотор слишком слаб.

— А вы сделайте мотор побольше,— возразил Кикин, пожимая плечами.

— Тогда крылья окажутся слабыми.

— А вы сделайте крылья больше!

— Нельзя. Тогда мотор будет слаб!

— Господа! — возвысил голос Собаков.— Из опьгта вашего товарища Абрамсона мы видим, что аппараты тяжелее воздуха вам пока нужно оставить. Займемся сферическими шарами... я предлагаю приобрести вскладчину один шар и попробовать на нем осуществление гигантской идеи завоевания воздуха.

— Я могу даже купить на свой счет оболочку,— заявил домовладелец Бурачков.

— А я, в интересах науки, готов наполнить шар на свой счет газом,— поддержал аптекарь Луцкин.

— А я закажу корзину,— решил купец Поддувалов.

— Прелестно! — всплеснул руками Собаков.— И мы, как в Реймсе, устроим воздухоплавательную неделю.

II

На окраине города Коркина собралась праздная публика и, заняв собой все обширное поле, любовалась дико и изумленно на небольшой серый шар, гордо колыхавшийся в тихом воздухе.

— Господа! Не напирайте,— умолял Собаков, суетясь около шара.— Полет будет виден всем — зачем же вы напираете?

— Страшно лететь небось? — спросила какая-то женщина в платке и шумно вздохнула.

— Господа! — скомандовал Собаков, обращаясь к небольшой кучке членов клуба.— Занимайте ваши места.

Лететь собралось шестеро: домовладелец Бурачков со свояченицей, купец Поддувалов, аптекарь Луцкин с зубным врачом Шайкиной и Собаков...

— Прошу занять места в корзине,— повторил Собаков.— Не волнуйтесь, господа! будьте покойны, мадемуазель Шайкина, и не визжите — здесь нет ничего страшного. Первый момент покажется неожиданным, а потом — полное удовольствие! Садитесь, мадемуазель Бурчумова! Луцкин, вы взяли приборы для измерения высоты. Прекрасно.

— А я закусить взял кой-чего,— сказал Поддувалов, подмигивая.— Любопытно, знаете, в надзвездных сферах рюмку выпить.

Когда все сели, Собаков в последний раз опытным глазом оглядел шар и вскочил в корзину.

— А балласт взяли? — крикнул из кучки остальных воздухоплавателей учитель Кикин.

— Взял. 4 мешка.

Собаков сделал публике приветственный жест и крикнул рабочим:

— Отпускай веревки!

. . . .

— Ну? — спросил Абрамсон, подходя к корзине шара. — Отчего же вы не летите?

— Не могу понять, — растерянно сказал Собаков. — Канаты отпустили?

— Отпустили. Попробуйте балласт выбросить! — Собаков выбросил мешки с песком и сел на свое место.

— Не летит?

— Ни с места.

Собаков почесал затылок и обвел глазами сидевших в корзине.

— Извините, господа... но кто-нибудь должен слезть... Много народу насело. Луцкин... вам придется слезть.

— С какой стати я, — сказал Луцкин. — Вот еще! Я дал газ, да я же и лететь не могу? Вот еще!

— Тогда вам придется слезть, — развел руками Собаков, обращаясь к Поддувалову.

— Со своей-то корзины? — обиделся Поддувалов. — Ни в жисть я не слезу!

Пилот Собаков вздохнул.

— Тогда, может быть, барышни уступят? — нерешительно сказал он.

Свояченица Бурачкова и зубной врач Шайкина, сконфуженные, слезли и отошли в сторону.

— Отпустите веревки! — скомандовал Собаков.

— Да они уже отпущены.

— Черт знает что! Господин Бурачков... может быть, вы слезете?

— Я? Вы с ума сошли! Вы, кажется, забыли, что оболочка моя. Сами слезайте!

— Мне нельзя, — сказал Собаков. — Я пилот.

— В сущности, — пожал плечами аптекарь Луцкин, — что такое пилот? Будто это какая-нибудь должность или занятие? Вот вы говорите — пилот. А что вы умеете сделать

на этом шаре такого, чего бы мы не могли? При чем здесь — пилот? И если нужно выбирать между людьми, которые принесли материальные жертвы нуждам воздухоплавания, и теми, которые не принесли материальных жертв нуждам воздухоплавания...

— Пожалуйста! — сказал Собаков, криво усмехаясь. — Я слезу! Не видал я вашего шара... Подумаешь тоже — воздухоплаватели! Пропеллера от планера отличить не могут, а туда же — лететь! Шлепнетесь без меня об землю — так вам и надо!

Зловещее предсказание Собакова не могло сбыться, потому что хотя он и слез, но шар остался на месте.

— Чего же вы не летите? — ядовито сказал Собаков. — Летите!

— Кому-нибудь еще слезть нужно,— растерялся Луцкин.— Слезайте, Поддувалов! Мы полетим с господином Бурачковым.

— Попробуйте! — сказал угрюмо Поддувалов.— А я сниму свою корзину.

— Но ведь нас троих шар не подымет!

— А мне наплевать.

— Что же вы — так и будете сидеть?

— Так и буду.

Все трое посмотрели друг на друга злыми глазами, отвернулись и застыли в напряженном ожидании.

III

Публика, зевая, расходилась с поля. Некоторые ругались, а некоторые рассудительно возражали им:

— Так нешто можно — штоб полететь? Выдумки одни. Никак человеку полететь в небо невозможно.

Сквозь публику, толкаясь, прошла жена Поддувалова и негодующе сказала:

— Вот он где! Ищу я его дома, старого дурака, а он — вот где! Извольте видеть — в корзину забрался и сидит. Старый человек, второй гильдии купец!

В публике захохотали.

— Вылезай из корзины, старый бесстыдник! Хучь бы людей постеснился.

Поддувалов сконфузился и обернулся к Луцкину.

— Черт с вами! Летите — пусть пропадет моя корзина. Не хочу лететь!

Когда он слез — шар шевельнулся и — остался попрежнему на месте.

Луцкин выругался и сказал, смотря на Бурачкова:

— Очевидно, этот шар для одного человека!

— Ну так и слезайте.

— Ни за что в жизни,— сказал твердо Луцкин.— Я хочу лететь в интересах науки, а вы для удовольствия.

— Не слезешь? — грозно спросил Бурачков.

— Очень просто — не слезу.

— Хорошо,— сказал Бурачков, вставая.— Тогда отдавай мою оболочку!

— Как... оболочку? — растерялся Луцкин.— А куда же я свой газ дену?

— Забирай его куда хочешь! а я возьму свою оболочку...

— Он же мне деньги стоит! — закричал бледный, встревоженный Луцкин.— Я с утра его напускал, старался...

— Мне нет дела! Отдай мою оболочку!

— Вы не имеете права!.. Я буду жаловаться...

— А-а! Так? Ладно! Оболочка моя — что хочу, то и делаю...

Бурачков вынул нож и, приподнявшись, злобно пырнул им в надутую оболочку шара.

Шар стал худеть, ежиться и свисать на бок...

— Полетели,— засмеялись в публике.

IV

С тех пор граждане города Коркина окончательно махнули рукой на воздух и решили держаться земли. Некоторые, наиболее к ней привязанные, возвращаясь ночью из аэроклуба, держались за нее руками и ногами...

ВИНЬЕТКИ

I. ТЩЕСЛАВИЕ

Электричество заливает праздничным, веселым светом нарядную толпу, обезумевшую от теплого летнего вечера, от запаха заснувшего моря и красивой головокружительной музыки...

То и дело мне в лицо летит целая туча разноцветных конфетти, а ноги все время путаются в длинных, назойливых лентах серпантина...

Я не менее щедр: мешочек с конфетти быстро пустеет в моих руках, и красивые женщины в больших шляпах шаловливо визжат, уклоняясь от целого водопада, который низвергается на их бледные от электрического света лица с потемневшими глубокими глазами.

Впереди меня медленно шла женская фигура, как будто чего-то выжидая и нерешительно оглядывая встречную бурную волну человеческих тел. Сзади я не мог разглядеть — красива она или нет, но, в припадке шумной веселости, попытался опередить ее, держа наготове горсть конфетти...

Свет дугового фонаря упал на нее, когда мы поравнялись: сухое, желтое лицо старой девы, тонкие белые губы, собранные мелкими складками, длинный нос и впалая грудь, сожженная долголетним неудовлетворенным желанием, — все это сразу бросилось мне в глаза.

Я не разжал занесенную над ней руку, наполненную конфетти, а, брезгливо поморщившись, догнал идущую впереди женщину с круглыми плечами, стройным бюстом, тонким красивым лицом, и — неожиданный вихрь конфетти заставил ее сладко и пугливо засмеяться.

Когда сутолока и шум утомили меня, я свернул на тихую боковую аллею и тихонько пошел по ней, разнеженный ночью, красивой музыкой и женскими улыбками.

И тут под тенью акаций я увидел стоящую женщину: сухое, желтое лицо, тонкие бледные губы, собранные в складки, длинный нос и впалая грудь, сожженная долголетним неудовлетворенным желанием...

Женщина стояла ко мне боком, озиралась, чтобы ее не увидели, и, держа в одной руке мешочек, другой — осыпала разноцветными кружочками свою голову, плечи и грудь.

II. БЫЛА ПОРА, КОГДА...

— Хочу писать роман, — сказал мне приятель.

— Дело хорошее. Пиши.

— Большой роман! Есть много вопросов, накопилось много проблем, которые хотелось бы разрешить хоть отчасти.

— Тем более — нужно писать.

— Да... Большой роман! Этим вечером и думаю засесть за работу.

— План у тебя уже готов?

— Зачем план? Предрассудок из теории словесности! Прямо — начну.

— Да благословит тебя Бог!

Мы зашли в писчебумажный магазин, и приятель мой, тщательно выбрав перья, бумагу и чернила, приказал немедленно отослать это к себе.

Прошла неделя.

Прогуливаясь утром в саду, я вспомнил о приятеле, о его романе и вздумал проведать романиста.

Истомленный, похудевший, спал он у письменного стола, окруженный целой горой изорванной, помятой бумаги. Перед спящим лежал большой лист, на котором было написано:

СРЕДИ ОБЛОМКОВ ДВУХ ЭПОХ

Роман-хроника
В шести частях, с прологом и эпилогом

Часть I

Глава I. За завесой прошлого

Была пора, когда...

Я разбудил спящего и, смотря на него в упор, спросил:

— Когда — что?

— Что, когда что?

— Вот ты написал «была пора, когда»... Так, когда — что?

Он опустил голову и признался:

— Я не знаю.

С тех пор прошло два года. Приятель мой до сих пор не уяснил себе: когда — что?

III. ИЗМЕНА

Поднимаясь по лестнице меблированных комнат, служивших моим местопребыванием, я наткнулся на площадке на странную группу лиц: полицейского пристава, дворника, швейцара и неизвестного мне господина, кричавшего взволнованным голосом. Крики его сопровождались энергичной жестикуляцией, ударами кулака по перилам и размахиванием какой-то запиской перед самым носом полицейского.

— Уверены ли вы, что аноним сообщает правду? — вежливо спрашивал полицейский.

— Уверен ли? Убежден!! Я давно замечал, что с ней дело неладно, а эта записка окончательно открыла мне глаза! Здесь — извольте видеть — точно указан час и место их свидания... Мы накроем голубчиков на месте преступления! Но нам нужен еще один свидетель! Не хватает одного свидетеля!

Обернувшись на мои шаги, полицейский приложил два пальца к фуражке и сказал:

— Не согласитесь ли... В качестве свидетеля... Прелюбодеяние!

Предложение было так неожиданно, что я не успел отказаться.

— Гм... пожалуй.

Разгоряченный господин пожал мою руку, после чего мы всей бестолковой компанией ввалились в переднюю.

— № 13?..— спросил господин, заглянув в записку.

— Здесь. Направо.

— Отворите! — закричал господин диким голосом, обрушиваясь на запертую дверь.— Отворите, несчастные! Всякое запирательство бесполезно.

За дверью послышался испуганный женский крик и потом тихий шепот.

— Открывайте!! — бесновался разъяренный господин.

— Открывай, жалкая обманщица, и вы, наглый милостивый государь!

Из-за двери донесся подавленный крик ужаса и шарканье босых ног по полу.

— Именем закона! — сказал полицейский, отстраняя бешеного господина.

Дверь распахнулась, и мы увидели то, что, в сущности, ожидали и раньше: перед нами стоял смущенный, растерянный господин в брюках, но без жилета и воротничка... У изголовья смятой кровати безуспешно куталась в одеяло женщина, хорошенькая, молодая, но с печатью страшного испуга на бледном лице.

Сердитый господин, окинув господина без жилета взглядом, полным уничтожающего презрения, прошипел: негодяй! — и, пройдя мимо него, схватил женщину за белую круглую руку, выше локтя.

— Будете ли вы и теперь отпираться, мерзкая женщина, что между вами нет близости?!

Она заплакала.

— Виноват, — твердо сказал полицейский, — теперь прошу вас не вмешиваться и сдержать на время свое негодование. Разрешите мне сделать некоторые формальности...

Он вынул из портфеля бумагу и сел за стол.

— Ваше имя и фамилия, сударыня?

Дама прикрыла розовые обнаженные колени сорочкой и сказала сквозь слезы:

— Надежда Скаржинская.

— Хорошо-с. Ваше имя и фамилия, молодой человек?

Господин без жилета взял в руки свой воротничок и, потупясь, ответил:

— Павел Скаржинский...

— Вы что же... Родственники?

— Да.

— А как — родственники?

— Она — моя жена...

Изумленный полицейский обернул лицо к сердитому господину, пришедшему с нами, и воскликнул:

— Тогда — кто же вы такой?

— Я — Смирнов! Я, господин пристав, давно уже замечал, что между нею и мужем что-то неладно, но, не имея поводов к ревности, не придавал этому значения. Теперь же, когда даже посторонние стали замечать их отношения и писать мне анонимные письма, — я решил изловить их на месте преступления! И вот — как видите!!

— Черт знает что такое?! — пожал плечами пристав.

— Не правда ли? — подхватил господин Смирнов. — Возмутительно! Я ей этого не забуду...

IV. ЭКОНОМИЯ

Отец.
Сын.

Отец. — О, мое дорогое дитя! Сердце разрывается на куски, когда я вспомню, что ты едешь на край света.

Сын. — Не плачь, отец! Будем мужественны. Владивосток — это все-таки не край света.

Отец. — Подумай! Ты будешь ехать через чуждую страну, наполненную беглыми каторжниками, хунхузами, по ужасной, опасной для всякого, дороге. Доберешься ли ты в целости?!

Сын. — Постараюсь добраться.

Отец. — Ты ведь, сокровище мое, известишь меня о благополучном прибытии на место?

Сын. — О, да! Телеграммой.

Отец. — Телеграммой? Гм... гм... Ты не знаешь, кажется, оттуда в Европейскую Россию телеграф берет за каждое слово 15 копеек?

Сын. — Конечно. И подепешные дороже.

Отец. — Подумать только, что это будет стоить уйму денег... В сущности говоря, что изменится от того, что я узнаю о твоем здоровье на неделю позже?

Сын. — Хорошо. Я пришлю заказное письмо.

Отец. — Заказное? Это четырнадцать копеек. Недорого, но теперь почта так аккуратна, что и простое письмо дойдет с тем же успехом. Все-таки, вполовину дешевле!

Сын. — Отец! Ведь у нас с тобой секретов никаких нет и писать придется всего несколько слов. Пришлю я тебе тогда лучше открытку...

Отец (со слезами). — И такого умного ребенка я должен скоро лишиться... Ведь это будет стоить всего три копейки! И я узнаю тогда о судьбе кости от костей моих. (Пауза.) А, знаешь, что?.. Я тебе предложу комбинацию, еще более дешевую... Приехавши во Владивосток, ты зайди в мелочную лавочку и купи на копейку два конверта. Один можешь спрятать до какого-нибудь другого экстренного случая, а на другом напиши мой адрес. Письма никакого не надо — почтовая бумага теперь кусается, — а ты возьми тот обрывок бумаги, в который тебе завернут в лавочке покупку, и, положивши его в конверт, заклей. Потом опусти в почтовый ящик без марки, и я получу здесь доплатное письмо. А когда почтальон

доставит его мне по адресу, я не буду совсем доплачивать и вообще откажусь принять его, так как уже буду знать, что мой сын, мое дорогое, обожаемое сокровище, живым и невредимым доехал, куда ему надо!

ДУЭЛЬ

Мы лежали на кроватях и, повернув изумленные лица, смотрели на Костю; а он шагал по комнате и, криво улыбаясь, говорил:

— Да-с. Дуэль. Раз он считает себя оскорбленным, вы понимаете, я, как честный человек, не мог отказать. Хорошо, говорю я ему, хорошо... Только если ты, говорю, убьешь меня, то позаботься о моих стариках, живущих в Лебедине.

— Ну, а он?

— Говорит: хорошо. Позабочусь, говорит.

— И все это из-за того, что ты разругал его картину?

— Да как я ее там ругал? Просто сказал: глупая мазня. Бессмысленное нагромождение грязных красок! Только и всего.

— Может, помирились бы?

— Да... так он и согласится! Эх! Убьет, братцы, этот зверь вашего Костю. А?

— Коломянкин? Конечно, убьет,— подтвердил Громов, безмятежно лежа на постели и значительно поглядывая на меня.— Или попадет пуля в живот тебе. Дня три будешь мучиться... кишки вынут, перемоют их, а там, смотришь, заражение крови и — капут. Да ты не бойся: мы изредка будем на твою могилку заглядывать.

— Спасибо, братцы. А секундантами не откажетесь быть?

— Можно и секундантами,— серьезно согласился Громов.— Тебе теперь отказывать ни в чем нельзя: ты уже человек, можно сказать, конченый.

— Да ты, может быть, смеешься?

— Ну, вот... Там, где пахнет кровью, улыбка делается бессмысленной гримасой, как сказал один известный мыслитель.

— Какой? — спросил я.

— Я.

Дверь приотворилась, и в комнату просунулась смущенная голова художника Коломянкина.

— А-а! Виновник торжества! — приветствовал его Громов. — Входи, сделай милость, скорее, а то здесь сквозит.

Коломянкин бросил угрюмый взгляд на Костю, пожал нам с Громовым руки и строго сказал:

— Я знаю, что не принято являться к противнику перед дуэлью, но не виноват же я, черт возьми, что он живет вместе с вами... Вы же мне, братцы, понадобитесь... В качестве свидетелей, а? Согласны? А то у меня здесь ни одного человека нет подходящего.

— Стреляться хотите? — вежливо спросил Громов.

— Стреляться.

— Так-с. Дело хорошее! Только мы уже дали Косте слово, что идем в секунданты к нему. Правда, Костя?

— Правда... — уныло подтвердил Костя.

— Может, ты бы, Костя, — спросил я, — уступил одного из нас Коломянкину? На кой черт тебе такая роскошь — два секунданта?

— Да, пожалуй, пусть берет, — согласился Костя.

— Господа! — серьезно сказал Коломянкин. — Я вас очень прошу не делать из этого фарса. Может быть, это вам кажется смешным, но я иначе поступить не могу. Во мне оскорблено самое дорогое, что не может быть урегулировано иным способом... На мне лежит ответственность перед моими предками, которые, будучи дворянами, решали споры только таким образом.

— Царство им небесное! — вздохнул я.

— Пожалуйста, не смотрите на это, как на шутку!

— Какая уж там шутка! — вскричал Громов. — Дельце завязалось серьезное. Правда, Саша?

— Конечно, — подтвердил я. — Вещь кровавого характера. Стреляться решили до результата?

— Да. Я не признаю этих комедий с пустыми выстрелами.

— И ты совершенно прав, — подтвердил Громов. — В кои-то веки соберешься ухлопать человека — и терять такой случай... Правда, Саша?

— Изумительная правда.

Дверь скрипнула. Все обернулись и увидели квартирную хозяйку, с двусмысленной улыбкой кивавшую нам головой.

— Ах, черт возьми! — прошептал Костя, бледнея.

Хозяйка подошла к нему и сделала веселое лицо.

— Ну-с? Обещали сегодня, Константин Петрович.

— В чем дело? — спросил, хмурясь, Громов.

— Да видишь ли... В этом месяце за квартиру плачу я. Моя очередь.

— Ну?

— Ну, вот и больше ничего.

— То есть как же ничего? Вы на сегодня обещали!

— Неужели, сегодня? Непростительный легкомысленный поступок... Гм... Что это у вас, новая кофточка? Прехорошенькая.

— Новая. Позвольте получить, Константин Петрович.

— Что получить?

— Да деньги же! Пожалуйста, не задерживайте, мне на кухню нужно.

— Хозяйничаете все? Хлопочете? — ласково спросил Костя.— Хе-хе.

— Может, вам разменять нужно? Я пошлю.

— Сколько там с меня?

— 20 рублей.

— Деньги, деньги...— задумчиво прошептал Громов.

— Шесть букв... а какая громадная сила в этом коротеньком словце! Вы читали, Анна Марковна, роман Золя «Деньги»?

— А вы читали когда-нибудь повестку о выселении? — полюбопытствовала хозяйка.

— К сожалению, я до сих пор не мог расширить своего кругозора чтением этих любопытных произведений. Но на досуге, даю вам слово, прочту.

— Хорошо-с! Если вы еще позволяете себе смеяться, я сяду здесь и не сдвинусь с места, пока не получу денег.

— Просто признайтесь, хитрая женщина, что вы соскучились по изысканному обществу. Костя! Стул Анне Марковне.

С мрачным лицом хозяйка уселась у дверей... Тягостная пауза нависла над обществом.

Коломянкин побарабанил пальцами по столу и смущенно обвел взглядом нашу комнату. Потом, в качестве воспитанного человека, начал разговор:

— Сами белили?

— Что такое?

Коломянкин смутился.

— Комнату, говорю, сами белили?

— Да-с! я все сама... День-деньской на ногах, а за это, вместо благодарности, изволите видеть!

Помолчали опять.

— Погодка сегодня разгулялась,— сказал Коломянкин, смотря в окно.

— Это ее дело. А когда человек разгуливается и тратит деньги на пьянство, это, извините-с! Извините-с!

Костя нервно вскочил и подошел ко мне.

— У тебя нет денег?

— У меня? Нет. Громов!

— Ну?

— У тебя нет денег? — спросил я.

— У меня? Нет. Коломянкин!

— Что?

— У тебя нет денег?

— Есть. Сколько нужно? 20? Вот, пожалуйста.

— Господа! — возмутился Костя.— Это черт знает что! Я с Коломянкиным в... таких... отношениях, а он — мне деньги занимает!! Вы не имели права делать этого!

Молча Громов взял у Коломянкина деньги и передал их мне. Я молча взял их и сунул в руку Кости.

Костя простонал, положил деньги на ладонь хозяйки и сказал, указывая ей на дверь:

— Прямо, потом налево.

Громов, растянувшись на кровати, принялся что-то насвистывать.

Противники, избегая встречаться взглядами, смущенно смотрели в окна, а потом Коломянкин неуверенно сказал:

— Александр! Ты позаботишься о том, что нужно? Вот тебе записка к моему знакомому офицеру, у которого есть отличные пистолеты.

— Браво! — сказал я, одеваясь.— Дело начинает налаживаться! По дороге я забегу также в погребальную контору... Костя, ты какие больше предпочитаешь, глазетовые?

— Все равно.

— С кистями?

— Все равно.

Я вышел.

«Знакомый офицер» оказался очень симпатичным человеком. Узнав, что мне нужны пистолеты, он засуетился, достал ящик и, подавая его мне, сказал:

— Для Коломянкина я это сделаю с удовольствием! Вот пистолеты. Прекрасные — за пару плачено полтораста рублей!

— А ведь их после дуэли могут конфисковать,— возразил я с искусственным сожалением.

Он омрачился.

— Неужели?

— А что вы думаете! «А, скажут, стреляетесь! Убиваете друг друга!» И отнимут.

Офицер, вздохнув, посмотрел на ящик.

— Знаете, что? — сказал я.— Положитесь на меня. Пистолеты не пропадут. Я эти самые дуэли умею преотлично устраивать. Есть у вас десять рублей?

— Как... десять рублей?

— Очень просто, взаймы. Первого числа возвращу.

Он, вынув кошелек, засуетился снова.

— Вот... У меня все трехрублевки. Ничего, здесь 12 рублей?

— Что уж с вами делать,— снисходительно сказал я.— Давайте! Вы водку пьете?

— Пью. Иногда.

— Вот видите! Командный состав нашей армии всегда приводил меня в восхищение. Одевайтесь, поедем к нам.

— А... пистолеты?

— Мы их забудем здесь. На меня иногда находят припадки непонятной рассеянности. Едем!

Он рассмеялся.

— А вы, видно, рубаха-парень?!

— Совершенно верно. Многие до вас тоже находили у меня поразительное сходство с этой частью туалета.

Мы заехали по дороге в гастрономический магазин и купили вина, водки и закуски.

У Кости был трагический характер. Каждый час, каждую минуту он был кому-нибудь должен, и каждый час, каждую минуту ему приходилось выпутываться из самых тяжелых, критических обстоятельств.

Но занимал он деньги без нашей помощи, а ликвидировал свои запутанные дела, прибегая к живейшему участию: моему и Громова.

Отношений наших это не портило, тем более что Громов признавал Костю:

— Лучшим специалистом по съестному.

Это значило вот что:

Когда мы сидели без копейки денег, не имея ни напитков, ни пропитания, ленивый Костя долго крепился, а потом, махнув рукой, вставал с кровати, ворчал загадочное:

— Обождите!

Натягивал пальто и выходил из комнаты.

Последующие Костины операции усложнялись тем, что водка в бакалейных лавках не продавалась, а в казенных ее отпускали за наличный расчет.

Костя по дороге заходил к соседу по номерам, какому-нибудь обдерганному студенту, и говорил ему крайне обязательно:

— Петров! Я, кстати, иду в лавку. Не купить ли вам четверку табаку?

— Да у меня есть еще немного.

— Тем лучше! Новый табак немного подсохнет. А? Право, куплю.

Студент долго задумчиво глядел в окно, ворочая отяжелевшими от римского права мозгами, и отвечал:

— Пожалуй! Буду вам очень благодарен.

Костя получал 45 копеек и, выйдя на улицу, непосредственно затем смело входил в дверь бакалейной лавочки на углу.

— Здравствуйте, хозяйка! Позвольте-ка мне фунт колбасы и нарежьте ветчины!

Потом беззаботно опускался на какой-нибудь ящик и, оглядев лавку, сочувственно говорил:

— Магазинчик-то сырой, кажется!

— Какое там сырой! — подхватывала хозяйка.— Прямо со стен вода течет!

Костя омрачался.

— Экие мерзавцы! Им бы только деньги за помещение драть! Небось три шкуры с вас дерет?

— И не говорите! 600 рублей в год.

— 600 рублей? Да ведь он разбойник. Ах, негодяй... 600 рублей... Каково?! Коробочку сардин, сударыня, и десяток яиц.

Рассеянный взгляд Кости падал на ребенка, хныкавшего на руках хозяйки, и с Костей внезапно приключился истеричный припадок любви к измызганному пищавшему малышу.

— Прехорошенький мальчишка! Ваш?

Хозяйка расплывалась в улыбку.

— Девочка. Моя.

— Учится?

— Помилуйте. Ей три года.

— Что вы говорите! Три года — а как... двенадцать. Она, кажется, на вас похожа?

— Носик мой. А глазки папины.

— Совершенно верно. Ах ты, маленький поросеночек! Ну, иди ко мне на руки, а мама пока отрежет три фунта хлеба и даст четверку табаку. Она уже говорит?

— Да, уже почти все.

— Неслыханно! Это гениальный ребенок. Вырастешь, я тебя за генерала замуж отдам. Хочешь?

Тронутая хозяйка брала счеты и высчитывала, что с Кости приходится 2 рубля 30 копеек.

— Только-то? Детская сумма! Вот что, уважаемая... Вы отметьте сумму в книжечке,— я знаю, у вас есть такая,— а первого числа я уж, как следует, чистоганом! Мы тут же живем, у Щемилина.

Взор хозяйки омрачался, так как Костя был ей лицом совершенно чуждым, но он строил такие забавные гримасы ее дочке и с таким простодушием просил, забирая покупки, «непременно передать поклон мужу», что она молча вздыхала и разворачивала книгу на конторке.

Купив затем на студентовы деньги водки, Костя, торжествующий, возвращался в наши номера, вручал студенту табак и, получив от него теплую благодарность, насыщал принесенным наши вечно пустые желудки.

Когда мы с офицером вошли в нашу квартиру, то нашли четырех человек: Громова, Костю, Коломянкина и Костиного портного, всех — в очень удрученных, скорбных позах.

— Меня интересует,— говорил опечаленный Костя, — почему я обещал вам именно сегодня и почему именно 8 рублей?

Громов заявил, что его это тоже интересует, портной сказал, что это его не интересует, а Коломянкин молча глядел на Костю с тайным сочувствием.

Мы стояли в дверях, когда Костя машинально спросил:

— Громов! У тебя нет 8 рублей?

— Нет,— ответил Громов,— Коломянкин! У тебя нет 8 рублей?

— Да я все отдал, что были... А! Полководец! У тебя нет 8 рублей?

Офицер, по-давешному, засуетился и, вынимая кошелек, сказал, будто бы в этом было неразрешимое затруднение:

— Да у меня все трехрублевки. Ничего?

— Очень печально! — строго сказал Коломянкин.

— Нужно быть осмотрительнее в выборе средств к существованию. Впрочем, давай три штуки!

— Коломянкин! Не смей этого... то есть... не делайте этого, господин Коломянкин! — закричал смущенный Костя.

— Идите, портной,— величественно сказал Коломянкин.— На лишний рубль я обязую вас сшить одному из нас шелковую перевязку на руку или на голову.

— А как же с дуэлью? — лениво спросил Громов.

— Я уже по телефону успел знакомого доктора пригласить.

— Да и у меня все сделано,— хвастливо сказал я, похлопывая рукой по сверткам.

— Пистолеты?

— Они самые.

— Странно, что они имеют бутылочную форму.

— Новая система. Казенного образца!

В дверь постучали, и перед нами предстал доктор — сияющий дебютант на трудном медицинском поприще,— приятель Громова.

— Здравствуйте, господа. Ты меня серьезно приглашал, Громов?

— Совершенно серьезно.

— А где же больная?

Мы были в изумлении.

— Какая больная?

— Да ведь я специалист по женским болезням.

Взрыв хохота поколебал драпировки окон и вырвался на тихую улицу.

— Здесь есть двое больных. И оба они больны хроническою женскою болезнью — глупостью,— сказал Громов.— Бросьте, ребята, дурака валять. Надоело!

— Смотреть тошно! — поддержал я.

— Нелепо! — подхватил офицер.

Мы схватили Коломянкина и Костю, повалили на кровать, накрыли одеялом, подушками и держали до тех пор, пока они не взвыли от ужаса.

— Миритесь?

— Черт с ним! Только пусть он возьмет назад свои слова о моей живописи.

— Беру! При условии, если ты напишешь мой портрет и он будет гениален.

— Иным он и не может быть!

Офицер раскладывал закуски и откупоривал бутылки.

Коломянкин сидел на коленях доктора, пил с ним из одного стакана вино и, опустив бессильно голову на его грудь, говорил:

— Жаль, все-таки... Ушла, Петя, поэзия из жизни... Нет больше красивых жестов, беззаветно-смелых поступков, героизма... Ушла из нашего прозаического мира храбрость, поединки по поводу неудачно сказанного слова, рыцарское обожание женщины, щедрость, кошельки золота, разбрасываемые на проезжей дороге льстивому трактирщику... Удар ножом какого-нибудь зловещего бродяги на опушке леса...

— Это верно. Обидно, дурачок ты этакий,— поддакивал улыбающийся доктор, гладя художника по лысеющей голове ....
....
....

ПИНХУС РОЗЕНБЕРГ

Перед хозяином маленькой мануфактурной лавчонки Пинхусом Розенбергом стоял чиновник Самсонов и говорил:

— Покажите мне темно-синий бархат. Есть у вас?

Пинхус обидчиво усмехнулся.

— Как же у нас не может быть темно-синего бархата? Чтобы торговое предприятие под фирмой Пинхуса Розенберга не имело какого-то бархата — это было бы не так смешно, как грустно!

— Так вот вы мне и покажите.

— Что показать?

— Да бархат же! Бархат.

— Ах, бархат... Я вам сейчас покажу такой прекрасный бархат, что вы закричите от удовольствия. Вот-с. Позвольте вам посмотреть!

Хозяин ловким движением развернул на прилавке синюю материю и одобрительно потрепал по ней ладонью.

— Извольте видеть! Помещица Гундикова тридцать аршин взяла...

— Виноват... Вы меня не расслышали! Вы показываете темно-синий шелк, а я просил бархат.

— Прекрасный шелк.

— Да ведь мне нужен бархат.

— Ах, бархат! Чего же вы раньше не сказали... Темно-синий?

— Темно-синий.

— Вы можете спросить всякого уличного мальчика: уличный мальчик! Чем известна фирма Пинхуса Розенберга? И уличный мальчик ответит вам: синим бархатом!

Хозяин полез на какую-то полку и вернулся с тяжелым свертком.

— Как вы найдете этот гениальный бархат?

— Постойте, да он черный!

Хозяин удивленно посмотрел на чиновника.

— А вы... какой же хотели?!

— Черт возьми! Я же у вас прошу темно-синий.

— Возьмите этот. Он почти темно-синий. Уже такой почти, что дальше просто некуда.

— Нет, мне черный не подойдет.

Хозяин почесал железным аршином бровь и многозначительно сказал:

— Теперь самый модный бархатный цвет — так это черный. Всякий человек носит этот цвет...

— Может быть. Но я прошу дать мне темно-синий.

— Бархат?

— Ну, конечно.

— Возьмите — хороший Манчестер есть. Такой синий, что даже тяжело видеть.

— Послушайте,— сказал чиновник Самсонов, нетерпеливо махая рукой,— если у вас есть темно-синий бархат — дайте его мне, нет — я пойду в другой магазин.

— Они пойдут в другой магазин! Видели вы, люди добрые? Они, вероятно, пойдут до Исаака Менделевича, который на прошлой неделе отравил свою маменьку, или до Якуба Зусмана, где вам подсунут такое, что вы потом снизойдете горькими слезами. Хорошо! Я вам покажу сейчас материю, что вы скажете: Розенберг! Отрежьте мне сто аршин!

Лицо хозяина было уныло-оскорбленное. Он укоризненно покачал головой, нагнулся к нижней полке и вынул оттуда что-то светло-голубое.

— Что бы вы сказали относительно этого кретончика?

— Провались он, ваш кретончик! Я спешу, а вы отнимаете время тем, что мне не нужно...

— Кретон вам не нужен? Хорошо. Мы вам дадим то, что вам нужно. Бархат нужен? Хорошо. Вот теперь вы мне сказали, и я знаю: господину чиновнику нужен бархат. И я был бы убийцей, если бы отнимал у вас время. Уж время такая вещь, что прошла одна минутка, одна маленькая минуточка, и ее уж нет. Она исчезла, и сам Господь Бог не даст ее обратно, не повторить ни лавочнику Розенбергу, ни господину чиновнику...

Хозяин подпер голову рукой я печально задумался... Тяжело вздохнул и меланхолично сказал:

— А из минуточек делаются часочки, из часоч...

— Вы мне покажете темно-синий бархат, или у вас его нет? — вскричал чиновник.— Я прошу у вас: дайте мне бархат, понимаете — бархат! И чтобы он был темно-синий... Понимаете? Темно- и синий! Не черный, не зеленый, не желтый... И не кретон, не батист, а бархат! Понимаете — бархат!!

Пинхус Розенберг сделал над собой усилие, чтобы стряхнуть тяжелые мысли, и ласково сказал:

— Хорошо. Вы сейчас получите ваш бархат. Сколько вам нужно аршин?

— Четыре с половиной.

— А почему не семь?

— Потому что мне нужно четыре с половиной.

— Так, так. В этом городе изволите служить?

— В этом. Пожалуйста, поскорее!

— Я вам покажу бархат так скоро, что хуже всякого курьерского поезда!

Розенберг достал еще какой-то сверток и устало развернул его.

— Вот бархат. Впрочем, он темно-красный. Вы видите — я вам его не предлагаю, но он тоже бархат. Я знаю, что если вам нужен другой, так...

— Черт возьми! — сердито сказал чиновник Самсонов.— Можете вы дать мне темно-синий бархат? Отвечайте — да или нет?!

— Вам нужен темно-синий?

— Темно-синий.

— Именно бархат?

— Именно бархат.

— Очень жаль, но именно темно-синего бархата сейчас нет. У нас есть бархат, но не темно-синий, и есть темно-синий, но не бархат! Может, вам из легонького что нужно? Сатин, ситцы есть, сарпинка — большой выбор, а?

— Прощайте! Сказали бы раньше сразу, что у вас нет бархата.

— Что значит — нет? Синий бархат мы ждем — через две недели заходите. Могу предложить также головные шали, одеяла пике, галстуки...

Чиновник Самсонов круто повернулся, злобно хлопнул дверью и выскочил из магазина.

Розенберг пожал плечами, вышел неторопливо и, смотря вслед удаляющемуся чиновнику, возмущенно покачал головой:

— Шарлатан! Весь магазин даром перерыл... Хоть бы для смеху на пятнадцать копеек купил!

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

Будучи умным и хитрым человеком, я всегда относился недоверчиво к людям, ухаживавшим за моей женой.

Мне всегда казалось, что у них на уме было что-то странное и что они приходят к нам в гости с задней мыслью.

Я ввел систему — не отпускать жену без себя ни на шаг и поэтому долгое время был спокоен.

Но мой приятель Корнюхин — прехитрое существо, часто старался нарушить мою систему и этим только действовал мне на нервы.

В позапрошлом году он приехал на каком-то длинном велосипеде и сказал нам:

— Завел себе тандем. Мы можем, Вера Павловна, совершить на нем небольшую прогулку.

— Ну, что ж — можно,— согласился я.— Поедем. Я тоже не прочь проветриться.

— Втроем нельзя,— сказал он встревоженно,— это тандем для двух.

— Ну, поедем вдвоем...— начал я и запнулся.

Этот человек,— подумал я,— может быть, лукавит... Мы с ним поедем, он отвлечет меня от жены, а в это время в дом к нам придет какой-нибудь проходимец...

— Нет,— сказал я, вздохнув.— Поезжайте одни, без нас.

— Почему же мне не прокатиться? — несмело заикнулась жена.

— Тандем,— сурово проворчал я.— Я вообще против этой системы. Не могу!

Одураченный Корнюхин уехал на своей длинной, несуразной машине ни с чем.

Однажды, сидя за обедом, мы услышали на улице какое-то странное гуденье и шипенье...

Выглянув в окно, я увидел Корнюхина на маленькой машине, которая хрипела и кашляла, будто с детства страдала катаром горла.

— А я,— сказал он, с деланной беззаботностью входя в комнату,— за вами, Вера Павловна. Не совершим ли мы маленькой увеселительной прогулочки? Место на автомобиле как раз для двух!

— Ваша машина,— возразил я,— хрипит как удавленник и имеет вид разъяренной керосиновой кухни. Я не могу позволить жене ехать на такой ненадежной штуке.

Корнюхин заморгал глазами и, вздохнувши, ушел.

Некоторое время он не показывался.

Но однажды мы, сидя на веранде, услышали стук какой-то машины и легкий свист.

Я удивленно посмотрел на землю — она была пуста. В это время большая тень упала около веранды, и я увидел на небе Корнюхина, который, сидя на странном аппарате, похожем на стрекозу, радостно горланил во всю мочь легких:

— Здравствуйте!! Я сейчас спущусь! Не желаете ли, Вера Павловна, сделать небольшую увеселительную прогулочку?

Его машина меня заинтриговала.

Когда он слез с нее, я, поколебавшись немного, сказал:

— Пожалуй, в самом деле было бы превесело сделать втроем маленькую прогулку!

— Трем нельзя, — возразил Корнюхин угрюмо. — Аппарат поднимает только двух.

Жена посмотрела мне прямо в глаза и твердо сказала:

— Если ты и на этой штуке побоишься меня отпустить, то завтра же я сбегу от тебя совсем...

Так как жена не всегда лгала мне, то я испугался и стал раздумывать:

— Отпустить ее или нет?

С одной стороны, машина казалась мне очень подозрительной, потому что представляла странное сочетание предыдущих неудачных попыток Корнюхина: внизу был приделан какой-то велосипед, а мотор пыхтел точно так же, как ранее виденный мной у Корнюхина автомобиль. С другой стороны — особенной опасности не было, потому что они могли полетать недалеко, не спускаясь на землю, а сам по себе аппарат был очень шаток и неустойчив...

— Лети! — согласился я. — Хватит ли только у вас пороху на двух? — спросил я потом, указывая на машину.

— То есть бензину? — спросил повеселевший Корнюхин. — Здесь еще есть ровно на сорок минут. За глаза хватит!

Они уселись на какие-то скамеечки и, послав мне воздушный поцелуй, плавно с разбега поднялись в воздух.

— Только недолго, — крикнул я. — Я подожду. Они скоро скрылись с глаз, а я сел на стул и стал ждать. Ждал долго.

Нужно ли говорить, что эти негодяи вернулись через два часа!

Когда они подлетели, раскрасневшиеся, веселые, я сердито крикнул:

— Что за свинство! Где вы были так долго?

— В воздухе, — отвечала жена, сходя на землю. — Ах! Если б ты знал, как это очаровательно!

Я угрюмо посмотрел на ее красное лицо и сказал:

— А... отчего у тебя волосы растрепаны?

— Господи, Боже ты мой! Очень просто — ветер!

Я перевел глаза на Корнюхина и подозрительно спросил:

— Кажется, перед полетом у вас галстук был завязан совсем иначе?!..

— Совершенно верно,— хладнокровно улыбнулся Корнюхин.— Я его развязывал, чтобы, держа в руке, узнать направление ветра. Это обычный прием аэронавта.

— Вы... на землю не спускались?

— Конечно нет!

Я задумался.

— Как же, если вы ни разу не спускались на землю — как у вас могло хватить бензину, когда у вас его было только на сорок минут, а вы были, по вашим же словам, в воздухе все сто двадцать минут?!

— Вы не знаете авиатики,— отвечал Корнюхин. — Это делается очень просто: когда мы взлетели, я переставил часы на восемьдесят минут назад. Таким образом, по моим часам бензин расходовался сорок минут.

— Ну, то-то,— сказал я, успокоенный.— Пойдемте чай пить.

Несколько месяцев спустя у меня родился ребенок.

Недавно мы мирно сидели с женой и любовались на мальчика, который уже начал ходить.

Забавно переступая ножонками, он подошел к углу, где стоял мокрый после дождя, раскрытый для просушки, зонтик, взял его за ручку, вскарабкался на стул, оттуда на стол и, подняв над головой, плавно спустился на нем, как на парашюте, на пол.

Я медленно встал и, нахмурив брови, посмотрел на растерявшуюся жену.

— Это... что... значит?

Жена упала передо мной на колени...

Склонила голову и молча заплакала.

ДИТЯ

I

Есть люди, к которым с первого взгляда начинаешь питать непобедимую симпатию и самое широкое доверие. В них

все — голос, манеры, ясный взгляд — располагает к откровенности, дружеской общительности, и, познакомившись с таким человеком, через час уже начинаешь испытывать чувство, будто знаком с ним десять лет.

Однажды я столкнулся с таким именно человеком, и у меня надолго останется о нем воспоминание...

Дело происходило в купе второго класса вечернего поезда. Я ехал в город Пичугин, где мне предстояло на другой день прочесть лекцию о воздухоплавании, по вызову какого-то «Пичугинского авиационного общества завоевания воздуха».

В купе, кроме меня, находился еще один юный господин, и не успел я сесть, как мы оба почувствовали друг к другу самое искреннее расположение.

Он приветливо улыбнулся мне, кивнул головой и добродушно сказал:

— Кажется, нас здесь только двое! Это самое удобное, не правда ли?

— Да,— весело сказал я.— Терпеть не могу тесноты. А где же ваши вещи?

Он засмеялся и юмористически развел руками.

— Все мое при мне. Далеко едете?

— В Пичугин. Вызвали меня какие-то чудаки прочесть лекцию о воздухоплавании. Моя фамилия Воробьев.

— Я очень рад,— приветливо сказал мой спутник.— Я тоже еду в Пичугин по делу и с удовольствием побываю на вашей лекции. Где она будет?

— Понятия не имею. Я еду туда в первый раз, по приглашению какого-то «Пичугинского авиационного общества»...

Он улыбнулся.

— Воображаю Пичугинскую авиацию!..

— Да уж, действительно. Хотя обещают за лекцию двести рублей.

— Ого! Эта сумма,— сострил мой спутник,— может все их общество поднять на воздух.

Мы расхохотались.

Я взглянул на часы, зевнул и сказал:

— Пора бы и на боковую. Чего это кондуктор не идет?

— А зачем он?

— Да билеты-то — должен же он отобрать. Смерть не люблю, когда меня, сонного, будят!

— Да вы и ложитесь,— сказал мой сосед, вынимая из кармана газеты.— А я почитаю. Хотите, я кондуктору за вас билет покажу, чтобы не беспокоить вас...

— Мне, право, совестно,— тронутый его заботливостью, возразил я.

— Пустяки! Все равно я не буду спать.

Я расположился на верхней койке, вручил своему соседу билет, снял чемодан и, раскрыв его, вынул подушку.

Молодой человек с простодушным любопытством взглянул на чемодан и, восхищенный, воскликнул:

— Какая любопытная вещь!

— Да... чемоданчик хороший... Я его в Дрездене покупал. Вот это отделение для белья, это нессесер, здесь верхнее платье, здесь дорожный погребец, а это отделение для денег и паспорта.

Он улыбнулся.

— Что же это — самое главное отделение — и пусто?

— Я без паспорта. Ведь в вашем Пичугине на этот счет не строго?

— Ну, знаете... при нашем режиме... всего можно ожидать. Я не расстаюсь с паспортом. Вот оно, мое имущество!

Он вынул из кармана паспорт и, со смехом, подбросил его кверху.

В нем было что-то наивно-детское, привлекательное своей жизнерадостностью и непосредственностью.

— Смотрите,— потеряете,— пошутил я.— Вы сущий ребенок. Нужно бы отобрать его да спрятать.

Лицо его сразу стало озабоченным.

— Потерять-то я его не потеряю, а украсть ночью могут. Что я тогда буду делать?..

— Давайте, я спрячу в свой чемодан. В отделение для денег, а? Хотите? Деньги-то у вас есть?

— Денег-то у меня и нет,— рассмеялся он.— А паспорт спрячьте.

Он снова с детским любопытством осмотрел внутренность чемодана и заявил, что, когда будет богатым — поедет в Дрезден и купит такой чемодан.

— Славный вы парень! Веселый,— сказал я, укладываясь.

Он застенчиво улыбнулся.

— Это потому, что вы мне понравились. С другими я диковат. А вам вон даже паспорт доверил.

Это у него вышло совсем по-детски.

— Да и я вам билет доверил, — расхохотался я. — Отцу бы родному не доверил! Охо-хо!

Я зевнул, повернулся на другой бок, пожелал моему спутнику спокойной ночи и моментально заснул.

II

Очень скоро я почувствовал, что меня кто-то тихо, но упорно будит, дергая за ногу и приговаривая:

— Послушайте, послушайте!..

Я еле раскрыл сонные глаза, поднял голову и увидел кондуктора.

— Что вам? — сердито сказал я.

— Билет пожалуйте!

— Да ведь...

Я встал, спустил ноги и увидел своего спутника, мирно сидевшего напротив и углубленного в чтение газеты.

— Послушайте! — сказал я. — Вы ему показывали мой билет?

Он поднял свое милое, детски удивленное лицо и взглянул на меня с недоумением.

— Какой билет?

— Да который я вам дал!

— Вы мне дали? Когда?

— Ну, как же! Давеча вы сами вызвались показать кондуктору мой билет, чтобы меня не беспокоить.

Удивлению его не было границ.

— Я? Взял? Ничего не понимаю! У меня был свой билет я его и предъявил кондуктору. Единственный у меня билет и есть... Может, вы кому-нибудь другому его передали?

Лицо моего спутника перестало мне нравиться.

— Послушайте! — сказал я. — Но ведь это же гадость!

— Да вы поищите в карманах, — участливо посоветовал он, принимаясь снова за газету. — Может быть, в кармане где-нибудь.

По лицу кондуктора я видел, что он не верит мне ни на грош, считая мои слова неудачной уловкой безбилетного пассажира. Не желая затевать неприятной истории, я вынул деньги и сказал:

— Вероятно, я потерял билет. Возьмите с меня доплату и оставьте меня в покое.

Кондуктор укоризненно покачал головой, взял деньги и ушел, оставив нас вдвоем.

— Что все это значит? — сурово сказал я, пронизывая своего соседа взглядом.

Он снял с вешалки пальто, разостлал его на нижней койке и стал молча укладываться.

— Что это все значит?!

Он мелодично засвистал, снял пиджак, положил под голову и, сладко потянувшись, лег.

— Вы наглец! — закричал я.

Он дружески улыбнулся, сделал прощальный жест и закрыл глаза.

— Я думал, что вы порядочный человек, а вы оказались жуликом. Как не стыдно! Чего ж вы молчите? Негодяй вы, и больше ничего! Обыкновенный поездной вор. В тюрьме вас сгноить бы надо! Чтоб вас черти побрали!

До меня донеслось его ровное дыхание.

— Спишь, румяный идиот? Чтоб тебе завтра в кандалах проснуться! Так бы и плюнул в твою лживую рожу. «Дайте билетик, я за вас покажу»... У, чтоб ты пропал!

Во мне клокотала злоба, и я еще с полчаса ругался и ворчал, пока не почувствовал смертельной усталости.

Откинувшись на подушку и засыпая, я подумал:

— Ну обожди же, негодяй, не получишь ты своего паспорта! Попляшешь ты завтра!..

III

Проснулся я поздно. Мой спутник сидел уже одетый, умытый и с аппетитом ел вареную колбасу, запивая ее водой из чайника.

— Хотите колбасы? — спросил он, глядя на меня ясными лучистыми глазами ребенка.

— Убирайся к черту.

— Скоро большая станция. Я думаю, там вы сможете напиться чаю и позавтракать.

— Желаю, чтоб тебя переехало поездом на этой станции!

Он посмотрел в окно и приветливо улыбнулся.

— Погодка-то исправляется. Пожалуй, в Пичугине санный путь застанем.

Его честное, простое лицо было мне ненавистно. Я сидел в углу и с наслаждением мечтал о том, как он попросит возвратить паспорт, а я сделаю вид, что не слышу, и как он будет бежать за мной и клянчить.

Но он не вспоминал о паспорте. Доел колбасу, вытер руки и снова взялся за свои газеты.

Я нарочно не вышел на той станции, на которой он советовал мне позавтракать, и до обеда ничего не ел. Обедал на другой станции. Потом занялся разборкой материалов для лекции, которую мне предстояло прочесть в тот же день вечером.

— Любопытная это вещь, воздухоплавание? — спросил меня покончивший с газетами сосед.— В газетах много теперь об этом пишут.

— Прошу со мной не разговаривать! — закричал я.

— Все-таки еще как следует не летают. Все эти авиаторы, аэропланы — детская игра. Так себе, наука простая.

— Эта наука не для мелких поездных жуликов,— с горечью сказал я, чувствуя себя совершенно бессильным перед его спокойным благодушным нахальством.

— Вот сейчас и Пичугин! — сообщил он, смотря в окно. Нам здесь сходить.

«Сейчас попросит паспорт,— подумал я.— Попроси, голубчик, попроси».

Но он надел пальто, собрал свои газеты и, дружески кивнув мне головой, вышел в коридор.

Поезд остановился.

Посмеиваясь в душе над своим спутником, я оделся, взял чемодан и вышел. Носильщиков не было, вещи пришлось тащить самому.

Неожиданно сзади послышался быстрый топот нескольких ног, кто-то подбежал ко мне и схватил за руки.

— Этот?

— Он самый,— сказал хорошо знакомый мне, добрый голос.— Схватил мой чемодан, да — бежать... Как вам это понравится?!

Я в бешенстве вырвался из рук старого усатого жандарма и вскричал:

— Что вам нужно?! Этот чемодан мой!

— Старая история! Мне вас очень жаль,— соболезнующе сказал мой вагонный сосед,— но я принужден просить о вашем аресте.

— Как вы смеете?! Это мой чемодан! Я расскажу даже, что в нем!

— Слушайте... не будьте смешным... Я, г. жандарм, раскрывал несколько раз этот купленный мною в Дрездене чемодан — а он, конечно, рассмотрел вещи. Нельзя же так... Ну, хорошо... Если это ваш чемодан, то скажите, что это за паспорт лежит в отделении для денег? Чей? На чье имя? Ведь вы же должны знать все, что есть в чемодане. Вы молчите? Не хорошо-с, не хорошо, молодой человек.

Его симпатичное лицо было печально. Он вздохнул, взял мой чемодан и сказал жандарму:

— Вы его пока возьмите в часть, что ли. Только, пожалуйста, не бейте при допросе. Он, вероятно, и сам жалеет о том, что сделал. Бог вас простит, молодой человек!

И ушел, добрый, благодушный, вместе с моим чемоданом.

IV

На другой день утром меня допрашивали в участке. Когда я, томясь в ожидании допроса, взял лежащую на столе газету «Пичугинские Ведомости» — мне бросилась в глаза заметка:

«Неудавшаяся лекция.— Прочитанная вчера вечером приехавшим из Петербурга г. Воробьевым лекция о воздухоплавании окончилась скандалом, так как выяснилось, что лектор не имеет никакого представления о воздухоплавании. Многочисленная публика, не стесняясь, хохотала, когда молодая столичная известность (вот они, столичные знаменитости!) путала аэростат с аэропланом и сообщала ценные сведения, вроде того, что воздушный шар надувают кислородом. Да... Надувают. Только публику, а не шар! Очень жаль, что деньги за лекцию были заплачены петербургскому шарлатану вперед и все дело окончилось только бранью публики да извинениями устроителей лекции».

ТИХОЕ ПОМЕШАТЕЛЬСТВО

I

Мы сидели на скамье тихого бульвара.

— Жестокость — прирожденное свойство восточных народов,— сказал я.

— Вы правы,— кивнул головой Банкин.— Взять хотя бы бывшего персидского шаха. Это был ужасный человек!

И мы оба лениво замолчали.

Банкин сорвал травинку, закусил ее зубами, поморщился (травинка, очевидно, оказалась горькой), но сейчас же лицо его засветилось тихой радостью.

— Он сейчас уже, наверно, спит! — прошептал Банкин.

— Почему вы так думаете? — удивился я.

— Конечно! Он всегда спит в это время.

Последнее время Банкин казался человеком очень странным. Я внимательно посмотрел на него и осторожно спросил:

— Откуда же вам это известно?

— Мне? Господи!

И опять мы замолчали.

— Ему, очевидно, несладко живется...— зевая, промямлил я.

— Почему? С ним нянчатся все окружающие. Его так все любят!

— Не думаю,— возразил я.— После того, что он натворил...

Банкин неожиданно выпрямился и в паническом ужасе схватил меня за плечи:

— Натво... рил?! Владычица небесная!.. Что же он... натворил? Когда?

— Будто вы не знаете?.. Сажал кого попало на кол, мучил, обманывал народ...

— Кто?!!

— Да шах же, Господи!

— Какой шах?

— Бывший. Персидский. О котором мы говорили!

— Разве мы говорили о шахе?

— Нет, мы говорили о ребятишках,— иронически усмехнулся я.

— Ну конечно, о ребятишках! Я о своем Петьке и говорил.

Банкин вынул часы, и опять лицо его засияло счастьем.

— Молочко пьет,— радостно засмеялся он.— Проснулся, вероятно, и говорит: мамоцка, дай маяцка!

— Ну это, кажется, вы хватили... Сыну-то вашему всего-навсего два месяца... Неужели он уже говорит?

Я сам был виноват, что коснулся этого предмета. Разговор о Петьке начался у нас в восемь часов и кончился в половине двенадцатого.

— Видите ли,— начал просветленный Банкин,— он, правда, буквально этого не говорит, но он кричит: мм-ма! И мы уже знаем, что это значит: дорогая мамочка, я хочу еще молочка! А вчера... Нет, вы не поверите!..

— Чему?

— Тому, что я вам расскажу. Да нет — вы не поверите...

Я дал слово, что поверю.

— Представьте себе: прихожу я... Позвольте... Когда это было? Ага! Вчера. Прихожу вчера я домой, а он у Зины на руках. Услышал шум шагов и — ха-ха! оборачивается — ха-ха!.. ха-ха-ха!.. оборачивается и говорит: лю!

— Ну?

— Говорит: лю! Каков каналья?

— Ну?

— Ха-ха! Лю! — говорит.

— Что же это значит — лю? — спросил я, недоумевая.

— Неужели вы не поняли? Это значит: папочка, возьми меня на руки.

Я возразил:

— Мне кажется, что толкование это немного произвольно... Не значило ли «лю» просто: старый осел! Притворяй покрепче двери...

— Ни-ни. Он бы это сказал совсем по-другому. А вы знаете, как он пьет молоко?

Я поежился и попробовал сказать, что знаю.

Банкин обиделся.

— Откуда же вы можете знать, если вы еще не видели Петьки?

— Я вообще знаю, как дети пьют молоко. Это очень любопытно. Я видел это от семнадцати до двадцати раз.

— Петька не так пьет молоко,— уверенно сказал Банкин.

На половине описания Петькиного способа пить молоко сторож попросил нас удалиться, так как бульвар закрывался.

Желая сделать сторожу приятное, Банкин пообещал, что, когда его Петька научится ходить, он будет играть с песочком только на этом бульваре.

По свойственной всем бульварным сторожам замкнутости этот сторож не показал наружно, что он польщен, а, загнав восторг внутрь, с деланным равнодушием сказал:

— Пора, пора! Нечего там.

В маленьком ресторанчике, куда мы зашли выпить по стакану вина, мне удалось дослушать конец Петькиного способа пить молоко. Кроме того, мне посчастливилось узнать много ценных и любопытных сторон увлекательной Петькиной жизни, вплоть до самых интимных...

Из последних я вынес странное убеждение, что Банкин был удовлетворен и чувствовал себя счастливым только тогда, когда пиджак его или брюки были окончательно испорчены легкомысленным поведением его удивительного отпрыска.

Истощившись, Банкин долго сидел, полный тихой грусти.

— За что вы меня не любите?

— Я вас не люблю? — удивленно вскинул я плечом. — С чего это вы взяли?

— Вы меня не любите... — уверенно сказал Банкин. — Вы не могли за это время собраться — зайти ко мне и взглянуть на Петьку.

— Господи помилуй! Да просто не приходилось. На днях зайду. Непременно зайду.

— Правда?! Спасибо. Я вижу, вы полюбили моего Петьку, даже не видя его. Что же вы запоете, когда увидите!

Спину мне разломило, и глаза слипались.

Я попросил счет и, зная, что с Банкиным мне по дороге, попробовал завязать разговор о самой безобидной вещи:

— Ночи теперь стали короче.

Банкин расхохотался.

— Да, да! Светает в четыре часа. Просыпаюсь я вчера, смотрю — светло. А он ручонку из кроватки высунул и пальцем... этак вот...

— Пойдемте! — сказал я. — А то мы не достанем извозчика.

— Успеем. У него теперь самый сладкий сон. Поверите ли вы, что если его поцеловать, он не просыпается.

— Это неслыханно, — пробормотал я. — Человек! Пальто.

II

Однажды Банкин зашел ко мне. Я познакомил его с сидевшим у меня редактором еженедельного журнала и приветливо спросил:

— Как поживаете?

— Он уже ходит,— подмигнул Банкин.— А вчера какой случай был...

— Так вы говорите, что теперь еженедельники не в фаворе у публики? — обратился я к редактору.— Скажите...

— А вы бросьте издавать еженедельник,— перебил Банкин.— Начните что-нибудь для детей. Это будет иметь успех. Да вот я вам расскажу такой пример: есть у меня сын — Петька. Удивительно умный ребенок. И он...

— Вы, господа, поговорите здесь,— сказал я, вставая, — а мне нужно будет на часок съездить. Вы уж извините...

Дня через три я встретил Банкина около итальянца — продавца разной дряни из кораллов и лавы.

— Это для взрослых... Понимэ! Эй, как вас... синьор! Понимаете — для взрослых. Иль грано! А мне нужно что-нибудь для мальчика... Компренэ? Анфана! Понимаете, этакий анфан террибль! Славный мальчишка... Да не брелок! На черта ему брелок, уважаемый синьор? Фу, какой вы бестолковый.

Я тихонько прошел мимо, но, возвращаясь обратно на трамвае, опять встретил Банкина. Он промелькнул мимо меня на противоположном трамвае, увидел мое лицо, и до меня донесся его радостный, но совершенно непонятный мне крик:

— А Петь... В кашу рук...

III

Вчера я вышел на улицу, и первое лицо, которое мне попалось, был Банкин.

— А я за вами.

— Что случилось?

— Пойдемте. Посмотрите теперь на моего Петьку — ахнете! Вы помните, я вам рассказал в трамвае о его — ха-ха! поступке с кашей — ха-ха!

— Помню,— сказал я.— Очень было смешно.

— Это что! Вы посмотрите, какие штуки он теперь выделывает.

Впереди нас шла нянька с мальчиком лет трех.

— Постойте!! — вскричал Банкин, хватая меня за рукав.— Постойте!!

Я посмотрел на его побледневшее лицо, дрожащие губы, слезы на глазах и — испугался.

— Что с вами?!

— Ха-ха! Такой Петька будет. Через два года. Ха-ха! Так же будет ножками: туп-туп! Постойте!

Он подошел к няньке и дал ей двугривенный. Потом расспросил: сколько мальчику лет, чей сын, что ест и не капризничает ли по ночам?

Потом присел перед мальчиком на корточки и спросил:

— Как тебя зовут?

— Ва-я.

— Ваня,— пояснила нянька.

— Ваня? Милый мальчик! Нянька... Может, он чего-нибудь хочет?

Оказалось, что Ваня чего-нибудь хотел только полчаса тому назад.

Это настолько успокоило Банкина, что он нашел в себе мужество расстаться с Ваней, и мы пошли дальше.

— Проклятый город,— сказал я.— Сколько пыли.

— Что?

— Город, я говорю, пыльный.

— Да, да...— рассеянно подтвердил Банкин.

И задумчиво добавил:

— Воды он не боится.

— Чего же ему бояться,— возразил я.— Только бы поливали!

— Да и поливают. Если тепленькая вода — так он не кричит... и, если поливают спинку, только морщит нос и ежится.

IV

Когда мы подошли к квартире Банкина, он открыл ключом дверь, схватил меня за шиворот, втолкнул в переднюю и, проворно вскочив вслед за мною, захлопнул дверь.

Я упал на ступеньки лестницы. Ушиб ногу. Сел на нижней ступеньке и, потирая колено, со страхом спросил:

— Что я сделал вам дурного?
— Петька простудиться может,— объяснил Банкин. — Дует.
Я встал, и мы вошли в первую комнату — столовую.
— Вот здесь, на этом месте,— указал Банкин, — Петьке нянька дает молочко. Вот видите — стул.
Я осмотрел стул.
— Хороший стул. Венский.
— Приготовьтесь,— хохоча счастливым, лучезарным смехом, воскликнул Банкин.— Сейчас увидите его.
Я пригладил волосы, одернул сюртук, и мы на цыпочках вошли в детскую.
— Вот он,— шепотом сказал Банкин, указывая на кроватку.
— Какой хорошенький!
— Да это не то. Это угол подушки! А вон он лежит за подушкой.
— Прелестный ребенок.
— Правда? Я знал, что вы сейчас же влюбитесь в него... Помните, я вам рассказывал, что если я его целую во время сна — он никогда не просыпается... Вот вы увидите.
Банкин подошел к кроватке, нагнулся, и вслед за этим раздался бешеный рев ребенка.
Вбежала госпожа Банкина.
— Опять ты его разбудил?! Вечно лезет с поцелуями! Молчи, молчи, мое сокровище... Здравствуйте! Как поживаете?
— Благодарю вас. Я совершен...
— Вы его хорошо рассмотрели? Не правда ли, очаровательный ребенок? Садитесь. Ну, как поживаете?
— Очень вам благодарен. Живу ниче...
— Видели ли вы когда-нибудь такого большого мальчишку?
За мою бурную, богатую приключениями жизнь я видел десятки ребят гораздо больше Банкиного ребенка, но мне неловко было заявить об этом.
— Нет! В жизни своей я не видел такого колоссального ребенка!
— Правда? Ну, как вы поживаете?
— Я сов...
— Не плачь, милый мальчик! Вот дядя... Он тебя возьмет блям-блям. Правда, Аркадий Тимофеевич? Вы его возьмете блям-блям?

— Без сомнения,— робко подтвердил я.— Если вы будете добры посвятить меня в цель и значение этого... этой забавы, то я с удовольствием...

— Блям-блям? Неужели вы не знаете? Это значит: покачать его в колясочке.

V

Петька захныкал и, вытянувшись на руках няньки, капризно поднял ручонки кверху.

— Смотри, смотри! — воскликнул пораженный и умиленный Банкин,— на потолок показывает!!

Госпожа Банкина наклонилась к Петьке и спросила:

— Ну что, Петенька... Потолочек? Что Петенька хочет на потолочке? Спросите его, Аркадий Тимофеевич: что он хочет на потолочке?

Я несмело приблизился к Петьке и, дернув его за ногу, спросил:

— Чего тебе там надо, на потолке?

Ребенок залился закатистым плачем.

— Он боится вас,— объяснил Банкин.— Еще не привык. Петенька!.. Ну, покажи дяде, как птички летают?! Ну, покажи! Представьте, он ручонками так делает... Ну, покажи же, Петенька, покажи!

Петьку окружили: мать, отец, нянька, кухарка, пришедшая из кухни, и сзади всех — я.

Они дергали его, поднимали ему руки, хлопали ладонями, подмигивали и настойчиво повторяли:

— Ну, покажи же, Петенька... Дядя хочет посмотреть, как птички летают!

Полет птиц, и даже в гораздо лучшем исполнении, был мне известен и раньше, но я считал долгом тоже монотонно тянуть вслед за кухаркой:

— Покажи, Петенька!.. Покажи...

Наконец ребенку так надоели, что он поднял ручонки и оттолкнул от себя голову няньки.

Снисходительные родители признали этот жест за весьма удачную имитацию птичьего полета, и так как я не оспаривал их мнения, то мы приступили к новым экспериментам над задерганным горемычным Банкиным отпрыском.

— Хотите,— спросил Банкин,— он скажет вам по-немецки?

— Я по-немецки плохо понимаю,— попробовал сказать я, но госпожа Банкина возразила:

— Это ничего. Он все-таки скажет. Дайте ему только в руки какую-нибудь вещь... Ну, пенсне, что ли... Он вас поблагодарит по-немецки.

Со вздохом я вручил Петьке свое пенсне, а он сейчас же засунул его в рот и стал сосать, словно надеясь высосать тот ответ, который от него требовали...

— Ну, Петенька... Ну, что нужно дяде по-немецки сказать?

— Ну, Петенька...— сказал Банкин.

— Что нужно...— продолжила нянька,

— По-немецки сказать? — подхватила кухарка.

— Ну же, Петенька,— поощрил его Банкин, дергая изо рта пенсне.

— Ззз...— капризно пропищал Петька.

— Видите? Видите? Данке! Он вам сказал: данке! А как нужно головкой сделать?

Так как госпожа Банкина (о, материнское сердце), зайдя сзади, потихоньку ткнула в Петькин затылок, вследствие чего его голова беспомощно мотнулась, то все признали, что Петька этим странным способом совершенно удовлетворительно поблагодарил меня за пенсне.

— Вежливый будет, каналья,— одобрительно сказал Банкин.

— Кррра...— сказал Петька, поднимая левую руку под углом сорока пяти градусов.

Все всколыхнулись.

— Что это он? Что ты, Петенька?

Проследили по направлению его руки и увидели, что эта воображаемая линия проходила через три предмета: спинку кресла, фарфоровую вазочку на этажерке и лампу.

— Лампу,— засуетился Банкин.— Дать ему лампу!

— Нет, он хочет вазочку,— возразила кухарка.

— Зу-зу-у...— пропищал Петька.

— Вазочка,— безапелляционно сказала нянька.— Зу-зу — значит, вазочка!

Петьке дали вазочку. Он засунул в нее палец и, скосив на меня глаза, бросил вазочку на пол.

— На вас смотрит! — восторженно взвизгнул Банкин.— Начинает к вам привыкать!..

VI

Перед обедом Банкин приказал вынести Петьку в столовую и, посадив к себе на колени, дал ему играть с рюмками.

Водку мы пили из стаканов, а когда Петьку заинтересовали стаканы — вино пришлось пить из молочников и сахарницы.

Подметая осколки, нянька просила Петьку:

— Ну, скажи — лю! Скажи дяде — лю!

— Как вы думаете... На кого он похож? — неожиданно спросил Банкин.

Нос и губы Петьки напоминали таковые же принадлежности лица у кухарки, а волосы и форма головы смахивали на нянькины.

Но сообщить об этом Банкину я не находил в себе мужества.

— Глаза — ваши, — уверенно сказал я. — А губы — мамины!

— Что вы, голубчик! — всплеснул руками Банкин. — Губы мои!

— Совершенно верно. Верхняя ваша, а нижняя — матери.

— А лобик?

— Лобик? Ваш!

— Ну, что вы!! Всмотритесь!

Чтобы сделать Банкину удовольствие, я долго и пристально всматривался.

— Вижу! Лобик — мамин!

— Что вы, дорогой! Лобик дедушки Павла Егорыча!

— Совершенно верно. Теменная часть — дедушкина, надбровные дуги ваши, а височные кости — мамины.

После этой френологической беседы Петьку трижды заставляли говорить: данке.

Я чувствовал себя плохо, но утешался тем, что и Петьке не сладко.

VII

Сейчас Банкин, радостный, сияющий изнутри и снаружи сидит против меня.

— Знаете... Петька-то!.. Ха-ха!

— Что такое?

— Я отнимаю сегодня у него свои золотые часы, а он вдруг — ха-ха — говорит: «Папа дурак!!..»

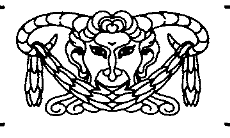
— Вы знаете, что это значит? — серьезно спросил я.

— Нет. А что?

— Это значит, что в ребенке начинает просыпаться сознательное отношение к окружающему.

Он схватил мою руку.

— Правда? Спасибо. Вы меня очень обрадовали.



ЭКСПЕДИЦИЯ В ЗАПАДНУЮ ЕВРОПУ САТИРИКОНЦЕВ: ЮЖАКИНА, САНДЕРСА, МИФАСОВА И КРЫСАКОВА (1911)

зайчики на стене



I. ВВЕДЕНИЕ

О пользе путешествий. — Кто такой Крысаков. — Душевные и телесные свойства Мифасова. — Кое-что о Сандерсе. — Я. — Наш слуга Митя

Как часто случалось нам останавливаться в восторге и восхищении, с раскрытым сердцем перед чудесами природы, созданной всемогущими руками Творца!

Некоторые восторженные простоватые натуры раскрывают даже при этом рот, и на закрытие его соглашаются только при усиленных уговорах или после применения физического насилия.

Спрашивается: каким же образом можем мы получать наслаждение от созерцания природы во всем ее буйном размахе и многообразии?

Ответ один: путешествуя.

Да! Путешествие — очень полезное препровождение времени. Оно расширяет кругозор и облагораживает человека... Один мой приятель, живя безвыездно в России, приводил всех в ужас огрубением своего нрава: он беспрестанно и виртуозно ругался самыми отчаянными словами, не подозревая, что существует кроме брани и обыкновенный разговорный язык.

Однажды поехал он за границу. Объездил Германию, Францию, Италию и Испанию. Вернулся... и что же! После возвращения этот человек стал ругаться и поносить встречных не только по-русски, но и на немецком, французском, итальянском и испанском языках.

Такое поведение вызвало всеобщее изумление, и дела его поправились.

Даже небольшие путешествия облагораживают и развивают человека. Это можно видеть на примере обыкновенных учеников. Ежедневные краткие их путешествия в училище делают из них образованных людей, которые никогда не заблудятся в лесу, несмотря на то, что главная его составная часть — буква «Ѣ»[1].

А открытие Америки? Была ли бы она открыта, если бы Колумб не путешествовал? Конечно, нет. А неоткрытие Америки вызвало бы экономические неурядицы. Европейские герцоги и принцы, не встречая богатых американок, впадали бы в бедность и вымирали, а американки, не подозревая о существовании материка, битком набитого гербами, титулами и высокопоставленными их носителями — быстро разбогатели бы до того, что денег девать было некуда, ценность их упала, и экономический кризис, этот бич народов, обрушился бы от одного океана до другого на этот замечательный материк.

А что может быть прекраснее путешествия в тропическую страну, например Африку? Я читал об одном англичанине, который задумал исследовать берега таинственной Танганайки; он взял с собой палатку, носильщиков, верблюдов и чемоданы. На берегу таинственной Танганайки он наткнулся на такое прожорливое племя, что оно съело, помимо англичанина, верблюдов и носильщиков, — даже чемоданы и съедобные части палатки.

Даже в этом трагическом случае можно наблюсти пользу и культурное значение путешествий: невежественные дикари приняли чрезвычайно цивилизованный вид, украсив уши своих жен коробками из-под консервов, а королю нахлобучив на голову, вместо короны, керосиновую кухню.

Это пустяк, конечно. Но это — первый шаг в обширную область культуры.

Я мог бы еще сотнями примеров доказать пользу и значение путешествий, но не хочу ломиться в открытую дверь. Это только гимназисты в классных сочинениях на тему «о пользе путешествий» измышляют, как бы поосновательнее доказать, что дважды два — четыре.

---

[1] Здесь игра слов, основанная на старом написании слова «лес» — через букву «ять» Эта буква, совпадавшая по звуку с «е», была упразднена послереволюционной орфографической реформой.

1

Четверо нас (кроме слуги Мити) единогласно решили совершить путешествие в Западную Европу. Цели и стремления у нас были разные: кое-кто хотел просто «расширить кругозор», кое-кто мечтал по возвращении «принести пользу дорогой России», у одного явилось скромное желание «просто поболтаться», а слуге Мите рисовалась единственная заманчивая перспектива, между нами говоря, довольно убогая: утереть, по возвращении, своим коллегам нос.

В этом месте я считаю необходимым сказать несколько слов о каждом из четырех участников экспедиции, потому что читателю впоследствии придется неоднократно сталкиваться на страницах этой книги со всеми четырьмя, не считая слуги Мити.

Крысаков (псевдоним). Его всецело можно причислить к категории «оптовых» людей, если существует такая категория. Он много ест, много спит, еще больше работает, а еще больше лентяйничает, хохочет без умолку, в глубине сердца чрезвычайно деликатен, но на ногу наступить себе не позволит. При необходимости полезет в драку или в огонь, без необходимости — проваляется на диване неделю, читая какую-нибудь «Эволюцию эстетики» или «Собрание светских анекдотов на предмет веселья». Иногда не прочь, ради курьеза, соврать, но, уличенный, не спорит, а вместо этого бросается на уличителя и начинает его щекотать и тормошить, заискивающе хихикая. В жизни неприхотлив. Спокойно доливает поданную чашку кофе — пивом, размешивает его с сахаром, а если тут же стоит молоко, то и молоко переливается в чашку. Пепел, упавший случайно в эту бурду, размешивается ложечкой для того, «чтобы не было заметно». Любит задавать официантам нелепые, бессмысленные вопросы. Раздеваясь у ресторанной вешалки, обязательно осведомится: приходил ли Жюль Верн? И чрезвычайно счастлив, если получит ответ:

— Полчаса, как ушли.

Беззаботность и лень его иногда доходят до героизма. Когда мы выехали из России, то, начиная от Берлина, у него постепенно стали отваливаться пуговицы от всех частей одежды. Постепенно же он заменял их булавками, иголками и главным образом замысловатой комбинацией из спичек и проволоки от лимонадных бутылок. Чтобы панталоны его

сидели как следует, ему приходилось надменно выпячивать вперед живот и беспрестанно, с кажущейся беззаботностью, засовывать руки в карманы.

Положение его ухудшалось с каждым днем. Хотя еще стояла прекрасная весна, но крысаковские пуговицы, вероятно, совершенно созрели, потому что падали сами собою, без посторонней помощи.

В Венеции наступил крах. Когда мы собрались идти обедать в какое-то «Капелла Неро», Крысаков сел в своем номере на кровать и тоскливо сказал:

— Идите, а я посижу.

— Что ты, крысеночек,— участливо спросил я,— болен?

— Нет.

— Тебя кто-нибудь обидел?

— Нет.

— А что же?

— У меня не осталось ни одной...

— Лиры?

— Пуговицы.

— Купи другой костюм.

— Да у меня есть костюм.

— Где же он?

— В чемодане.

— Так чего ж ты, чудак, грустишь? Достань его, переоденься и пойдем.

— Не могу. Потерял ключ.

— Взломай!

— Попробуйте! Он из крокодиловой кожи.

Из угла вытащили огромный, чудовищно распухший чемодан и с озверением набросились на него. Схватили сначала за ручки — отлетели. Схватили за ремни — ремни лопнула.

— Раскрывайте ему челюсти,— хлопотливо советовал художник Мифасов, лежа на постели.— Засуньте ему палку в пасть.

После получасовой борьбы чудовище сдалось. Замок застонал, крякнул, крышки разжались, и душа его полетела к небу.

Первое, что лежало на самом верху — было зимнее пальто, под ним галоши, ящик из-под красок и шелковый цилиндр, доверху наполненный мелом, зубным порошком и зубными щетками.

— Вот они!— сказал радостно Крысаков.— А я их с самого Вержболова искал. А это что? Ваза для кистей... Зачем же я, черт возьми, взял вазу для кистей?

— Лучше бы ты,— сказал Сандерс,— взял стеклянный футляр для каминных часов или стенную полку для книг.

— Братцы! — восторженно сказал Крысаков, вынимая какую-то часть туалета.— Пуговиц, пуговиц-то сколько!.. Прямо в глазах рябит...

Он переоделся и, схватив свой чемодан, похожий на животное с распоротым брюхом, из которого вывалились внутренности, оттащил его в угол.

— Жалко его,— растроганно сказал он, выпрямляясь,— я так люблю животных...

— Что это у тебя сейчас упало?

— Ах, черт возьми! Пуговица.

Так он и ездил с нами — веселый, неприхотливый, пускавшийся иногда среди шумных бульваров в пляс, любующийся на красоту мира и таскавший за обрывок ручки свой ужасный полураскрытый чемодан, из которого изредка вываливался то тюбик краски, то ботинок, то фаянсовая пепельница, то рукав сорочки, радостно подпрыгивавший на неровностях тротуара.

Второй член нашей экспедиции — Мифасов (псевдоним) был молодцом совсем другого склада. Я не встречал человека рассудительнее, осмотрительнее и осведомленнее его. Этот юноша все видел, все знает — ни природа, ни техника не являются для него книгой тайн. Ему 25 лет, но по спокойному достоинству его манер и мудрости суждений — ему можно дать 50. По внешности и костюму он — полная противоположность бедняге Крысакову. Все у него зашито, прилажено, манжеты аккуратно высовываются из рукавов, не прячась внутрь и не вылезая за четверть аршина, воротничок рассудительно подпирает щеки, и шея подвязана настоящим галстуком, а не подкладкой от рукава старого сюртука (излюбленная манера Крысакова одеваться шикарно).

Осведомленность Мифасова приводила нас в изумление.

Уже спустя несколько часов после отъезда из Петрограда этот энциклопедический словарь, эта справочная машина заработала.

— Мы будем проезжать через Вильно? — спросил Крысаков.

— Что вы! — поднял плечи Мифасов.— Где наша дорога, а где Вильно. Совсем противоположная сторона. Неужели вы даже этого не знаете?

В глазах его светилась ласковая укоризна.

Мы проезжали через Вильно.

— Мифасов! — сказал я, наклоняясь к нему (он лежа читал книгу).— Ты говорил, что Вильно в стороне, а между тем мы его сейчас проехали.

Он скользнул по мне взглядом, сомкнул глаза и захрапел.

Перед Нюрнбергом он долго и подробно рассказывал о красоте замка Барбароссы и потом, по нашей просьбе, сообщил старинное предание о знаменитом тысячелетнем дубе, посаженном во дворе замка графиней Брунгильдой. Притихшие, очарованные, слушали мы прекрасную легенду о Брунгильде.

В одном только Мифасов, рассказывая это, оказался прав — он действительно рассказывал легенду: потому что дерево, как выяснилось, посадила не Брунгильда, а Кунигунда — и не дуб, а липу, которая, по сравнению с тысячелетним дубом, была сущей девчонкой.

По этому поводу Мифасов саркастически заметил:

— Нам не нужно было ехать через Вильно. Тогда бы все оказалось в порядке.

Свободное время Мифасов распределял аккуратно на две половины. Первая — безжалостно ухлопывалась на чистку ногтей, вторая — на боязнь заболеть. Между нами была та разница, что мы любили жизнь, а осторожный Мифасов боялся смерти. Каждое утро он брал зеркало, засматривал себе в горло, ощупывал тело и с сомнением качал головой.

— Что? — спрашивал его порывистый Крысаков.— Еще нет чахотки? Сибирская язва привилась? Дифтерит разыгрывается?

— Не оваите упосей,— невнятно бормотал Мифасов, ощупывая язык.

— Что?

— Я говорю: не говорите глупостей!

— Смотрите на меня! — восторженно кричал Крысаков, вертясь перед своим другом.— Вот я становлюсь в позу, и вы можете дотронуться до любой части моего тела, а я вам буду говорить.

— Что?

— Увидите!

Мифасов деликатно дотрагивался до его груди.

— Плеврит!

Дотрагивался Мифасов до живота.

— Аппендицит!

До рук.

— Подагра!

До носа.

— Полипы!

До горла.

— Катар горла!

Мифасов пожимал плечами:

— И вы думаете, это хорошо?

Мы бессовестно эксплуатировали осторожного Мифасова во время завтраков или обедов.

Если креветки были особенно аппетитны и Мифасов протягивал к ним руку, Крысаков рассеянно, вскользь говорил:

— Безобидная ведь штука на вид, а какая опасная! Креветки, говорят, самый энергичный распространитель тифа.

— Ну? Почему же вы мне раньше не сказали; я уже 2 штуки съел.

— Ну, две-то не опасно,— подхватил я успокоительно.— Вот три, четыре — это уже риск.

Подавали фрукты.

— Холера нынче гуляет — ужас! — сообщал таинственно Крысаков, набивая рот сливами.— Как они рискуют сейчас подавать фрукты?!

— Да, пожалуй, еще и немытые,— говорил я с отвращением, захватывая последнюю охапку вишен.

Оставалась пара абрикос.

— Мифасов, кушайте абрикосы. Вы ведь не из трусливого десятка. Правда, по статистике, абрикосы — наиболее питательная почва для вибрионов...

— Я не боюсь! — возражал Мифасов.— Только мне не хочется.

— Почему же? Скушайте. Вот ликеров — этого не пейте. От них бывают почечные камни...

В чем Мифасов — в противоположность своей обычной осторожности — был безумно смел, расточителен и стреми-

телен — это в ....[1] это был прекраснейший человек и галантный мужчина.

В наших скитаниях за границей он восхищал всех иностранцев своим своеобразным шиком в разговоре на чужом языке и чистотой произношения».

Правда, багаж слов у него был так невелик, что свободно мог поместиться в узелке на одном из углов носового платка. Но эти немногие слова произносились им так, что мы зеленели от зависти.

Этот человек сразу умел ориентироваться во всякой стране.

В Германии, входя в ресторан, он первым долгом оглядывался и очертя голову бросал эффектное «Кёльнер!», в Италии: «Камерьере!» и во Франции: «Гарсон!»

Когда же перечисленные люди подбегали к нему и спрашивали, чего желает герр, сеньор или мсье — он бледнел, как спирит, неосторожно вызвавший страшного духа, и начинал вертеть руками и чертить воздух пальцами, графически изображая тарелку, вилку, курицу или рыбу, пылающую на огне.

Сжалившись над несчастным, мы сейчас же устраивали ему своего рода подписку, собирали с каждого по десятку слов и подносили ему фразу, которую он тотчас же и тратил на свои надобности.

Третьим в нашей компании был Сандерс (псевдоним) — человек, у которого хватило энергии только на то, чтобы родиться, и совершенно ее не хватало, чтобы продолжать жить. Его нельзя было назвать ленивым, как Мифасова или меня, как нельзя назвать ленивыми часы, которые идут, но в то же время регулярно отстают каждый час на двадцать минут.

Я полагаю, что хотя ему в действительности и 26 лет, но он тянул эти годы лет сорок, потому что так нудно влачиться по жизненной дороге можно, только отставая на двадцать минут в час.

От слова до слова он делал промежутки, в которые мы успевали поговорить друг с другом a part, а между двумя фразами мы отыскивали номер в гостинице, умывались и, приведя себя в порядок, спускались к обеду.

Плетясь сзади за нами, он задерживал всю процессию, потому что, подняв для шага ногу, погружался в раздумье: стоит ли вообще ставить ее на тротуар? И только убедившись,

---

[1] «Цензуровано Мифасовым (*Примеч авт*)

что это неизбежно, со вздохом опускал ногу; в это время ее подруга уже висела в воздухе, слабо колеблясь от весеннего ветерка и вызывая у обладателя тяжелое сомнение: хорошо ли будет, если и эта нога опустится на тротуар?

Кто бывал в Париже, тот знает, что такое — движение толпы на главных бульварах. Это — вихрь, стремительный водопад, воды которого бурно несутся по ущелью, составленному из двух рядов громадных домов, несутся, чтобы потом разлиться в речки, ручейки и озера на более второстепенных улицах, переулках и площадях.

И вот, если бы кто-нибудь хотел найти в этом бешеном потоке Сандерса — ему было бы очень легко это сделать: стоило только влезть на любую крышу и посмотреть вниз... Потому что среди бешеного потока людей маячила только одна неподвижная точка — голова задумавшегося Сандерса, подобно торчащему из воды камню, вокруг которого еще больше бурлит и пенится сердитая стремнина.

Однажды я сказал ему с упреком:

— Знаете что? Вы даже ходите и работаете из-за лени.

— Как?

— Потому что вам лень лежать.

Он задумчиво возразил:

— Это пара...

Я побежал к себе в номер, взял папиросу и, вернувшись, заметил, что не опоздал:

—... докс,— закончил он.

Сандерс — человек небольшого роста, с сонными голубыми глазами и такими большими усами, что Крысаков однажды сказал:

— Вы знаете, когда Сандерс разговаривает, когда он цедит свои словечки, то часть их застревает у него в усах, а ночью, когда Сандерс спит, эти слова постепенно выбираются из чаши и вылетают. Когда я спал с ним в одной комнате, мне часто приходилось наблюдать, как вылетают эти застрявшие в усах слова.

Сандерс промямлил:

— Я брежу. Очень про...

— Ну, ладно, ладно... сто? Да? Вы хотели сказать: «просто»? После договорите. Пойдем.

При его медлительности у него есть одна чрезвычайная страсть: спорить.

Для того чтобы доказать свою правоту в споре на тему, что от царь-колокола до царь-пушки не триста, а восемьсот шагов, он способен взять свой чемоданчик, уложиться и, ни слова никому не говоря, поехать в Москву. Если он вернется ночью, то, не смущаясь этим, пойдет к давно забывшему этот спор оппоненту, разбудит его и торжествующе сообщит:

— А что? Кто был прав?

Таков Сандерс. Забыл сказать: его большие голубые глаза прикрываются громадными веками, которые непоседливый Крысаков называет шторами:

— Ну, господа! Нечего ему дрыхнуть! Давайте подымем ему шторы — пусть посмотрит в окошечки. Интересно, где у него шнурочек от этих штор. Вероятно, в ухе. За ухо дернешь — шторы и взовьются кверху.

Крысаков очень дружен с Сандерсом. Иногда остановит посреди улицы задумчивого Сандерса, снимет ему котелок и, не стесняясь прохожих, благоговейно поцелует в начинающее лысеть темя.

— Зачем? — хладнокровно осведомится Сандерс.

— Инженер вы. Люблю я чивой-то инженеров...

Четвертый из нашей шумливой, громоздкой компании — я.

Из всех четырех лучший характер у меня. Я не так бесшабашен, как Крысаков, не особенно рассудителен и сух, чем иногда грешит Мифасов; делаю все быстро, энергично, выгодно отличаясь этим свойством от Сандерса. При всем том, при наших спорах и столкновениях — в словах моих столько логики, а в голосе столько убедительности, что всякий сразу чувствует, какой он жалкий, негодный, бесталанный дурак, ввязавшись со мной в спор.

Я не теряю пуговицы, как Крысаков, не даю авторитетных справок о Кунигунде и ее дубе, не еду в Москву из-за всякого пустяка... Но при случае буду веселиться и плясать, как Крысаков, буду в обращении обворожителен, как Мифасов, буду методичен и аккуратен, как Сандерс.

Я не писал бы о себе всего этого, если бы все это не было единогласно признано моими друзьями и знакомыми.

Даже мать моя — и та говорит, что никогда она не встречала человека лучше меня...

Будет справедливым, если я скажу несколько слов и о слуге Мите — этом замечательном слуге.

Мите уже девятнадцать лет, но он до сих пор не может управлять как следует своими телодвижениями.

Обыкновенная походка его напоминает грохот обвалившегося шкапа со стеклянной посудой. Желая пошевелить руками, он приводит их в такое бешеное движение, что оно грозит опасностью прежде всего самому Мите. Рассчитывая перешагнуть одну ступеньку лестницы, он неожиданно для себя взлетает на самый верх площадки; однажды при мне он, желая чинно поклониться знакомому, так мотнул головой, что зубы его лязгнули и шапка сама слетела, описав эффектный полукруг. Митя бросился к шапке таким стремительным прыжком, что перескочил через нее, обернулся, опять бросился на нее, перескочил, и только в третий раз она далась ему в руки. Вероятно, если человека заставить носить до двадцати лет свинцовые башмаки, а потом снять их, — он также будет перехватывать в своих телодвижениях и прыжках.

Почему это происходит с Митей — неизвестно.

О своей наружности он мнения очень определенного. Стоит ему только увидеть какое-нибудь зеркало, как он подходит к нему и на несколько минут застывает в немом восхищении. Его неприхотливая натура выносит даже созерцание самого себя в крышке от коробки с ваксой или в донышке подстаканника. Он кивает себе дружески головой, подмигивает, и рот его распускается в такую широчайшую улыбку, что углы губ сходятся где-то на затылке.

У Крысакова и у меня установилась такая система обращения с ним: при встрече — обязательно выбранить, упрекнуть или распечь неизвестно за что.

Качества этой системы строго проверены, потому что Митя всегда в чем-нибудь виноват.

Иногда, еще будучи у себя в кабинете, я слышу приближающийся стук, грохот и топот. Вваливается Митя, зацепившись одним дюжим плечом за дверь, другим за шкап.

Он не попадался мне на глаза дня три, и я не знаю за ним никакой вины; тем не менее подымаю глаза и строго говорю:

— Ты что же это, а? Ты смотри у меня!

— Извините, Аркадий Тимофеевич.

— «Извините»... я тебя так извиню, что ты своих не узнаешь. Я не допущу этого безобразия!!! Я научу тебя! Мо-

лодой мальчишка, а ведет себя черт знает как! Если еще один раз я узнаю...

— Больше не буду! Я немножко.

— Что немножко?

— Да выпил тут с Егором. И откуда вы все узнаете?

— Я, братец, все знаю. Ты у меня узнаешь, как пьянствовать! От меня, брат, не скроешься.

У Крысакова манера обращения с Митей еще более простая. Встретив его в передней, он сердито кричит одно слово:

— Опять?!!

— Простите, Алексей Александрович, не буду больше. Мы ведь не на деньги играли, а на спички.

— Я тебе покажу спички! Ишь ты, картежник выискался.

Митя никогда не оставляет своего хозяина в затруднении: на всякий самый необоснованный окрик и угрозу — он сейчас же подставляет готовую вину.

Кроме карт и вина слабость Мити — женщины. Если не ошибаюсь, система ухаживать у него пассивная — он начинает хныкать, стонать и плакать, пока терпение его возлюбленной не лопнет, и она не подарит его своей благосклонностью.

Однажды желание отличиться перед любимой женщиной толкнуло его на рискованный шаг.

Он явился ко мне в кабинет, положил на стол какую-то бумажку и сказал:

— Стихи принесли.

— Кто принес?

— Молодой человек.

— Какой он собою?

— Красивый такой блондин, высокий... Говорит, «очень хорошие стихи»!

— Ладно,— согласился я, разворачивая стихи.— Ему лучше знать. Посмотрим.

Вы, Лукерья Николаевна,
Выглядите очень славно
Ваши щеки, как малина,
Я люблю вас, очень сильно —
Вот стихи на память вам,
До свиданица, мадам.

— Когда он придет еще раз, скажи ему, Митя: «до свиданьица, мадам». Ступай.

На другой день, войдя в переднюю, я увидел Митю.

Машинально я закричал сердито обычное:

— Ты что же это, а? Как ты смел?

— Что, Аркадий Тимофеевич?

— «Что»?! Будто не знаешь?!

— Больше не буду. Я думал, может, сгодятся для журнала. Я еще одно написал и больше не буду.

— Что написал?

— Да одни еще стишки.

И широкая виноватая улыбка перерезала его лицо на две половины.

Когда мы объявили ему, что он едет с нами за границу — радости его не было пределов.

— Только вот что, — серьезно сказал Крысаков. — Отвечай мне... Ты наш слуга?

— Слуга.

— И должен исполнять все то, что тебе прикажут?

— Да-с.

— Так вот — я приказываю тебе изучить до отъезда немецкий язык. Через неделю мы едем. Ступай!

Сейчас же Крысаков и забыл об этом распоряжении.

Но Митя за день перед отъездом явился к нам и сказал:

— Готово.

— Что готово?

— Немецкий язык.

— Какой?

— Коммензи мейн либер фрейлен, их либези, данке, зицен-зи, гиб мир эйн кусс.

— Все?

— Все.

— Проваливай.

Думал ли Митя, что за границей его постигнет такая страшная, никем не предугаданная судьба.

2

Краткое описание Европы. — Статистические данные. — Флора. — Фауна. — Климат. — Мои беседы с путешественниками

Начиная описание нашего путешествия, я полагаю, будет нелишне дать краткий обзор места наших будущих подвигов...

Европа лежит между 36-й и 71-й параллелями Северного полушария. Мы собственными глазами видели это.

Берега Европы омывают два океана сразу: Северный Ледовитый и Атлантический. Не знаю, как омывает Европу Ледовитый океан, но Атлантический — особой тщательностью в возложенной на него работе не отличается — грязи на берегу сколько угодно.

Относительно общей фигуры Европы во всех учебниках географии говорится одно и то же:

«Фигура Европы не представляет никакой правильности... Но если срезать три самых больших полуострова

— Скандинавию, Бретань и Ютландию, то окажется, что форма материка — прямоугольный треугольник».

Это очень наглядно. Можно то же сказать при описании фигуры жирафы: «Если срезать у нее шею и ноги, то получится обыкновенный прямоугольный треугольник».

Конечно, если вздорное самолюбие европейцев завлечет их так далеко, что из желания жить в прямоугольном треугольнике они отрежут от материка упомянутые полуострова -- я готов признать на будущее время эту форму типичной для Европы.

Пока же об этом говорить преждевременно...

Народонаселение Европы достигает 400 миллионов людей.

Здесь нелишне будет привести (кажется, это всегда делается в подобных случаях) несколько наглядных статистических данных.

1) Если бы все народонаселение Европы поставить друг на друга, то высота этой пирамиды была бы *свыше* 300 000 верст. Мы знаем, что от Москвы до Петрограда 600 верст, следовательно, все народонаселение Европы уложилось бы 500 раз, немного менее ста раз на версту.

2) Если у каждого европейца выдернуть из головы только по одному волоску, то количество собранных волос, посаженных в землю, займет пространство величиной в $4\frac{1}{2}$ акра. Чтобы скосить этот «урожай», потребуется работа $2\frac{7}{8}$ в косарей в течение 9 суток!

3) Наиболее наглядным является такой статистический пример: если бы кто-нибудь захотел лично познакомиться со всем народонаселением Европы, то, считая полторы секунды на каждое рукопожатие, этому человеку пришлось бы затратить на знакомство (считая восьмичасовой рабочий день)

около 600 лет. Средняя продолжительность человеческой жизни 68 лет, то есть, другими словами, для этого опыта потребовалось бы 8,9 человека. Во что бы превратились правые руки этих тружеников?

Откуда же взялось такое количество людей?

Детские учебники географии отвечают на этот вопрос довольно точно:

«Потому что Европа лежит в умеренном климате, способствующем наибольшему развитию и напряжению человеческих способностей».

Всю эту ораву в 400 миллионов человек приходится одевать и кормить. Отсюда выросла промышленность и сельское хозяйство.

Промышленность распределяется так: в России — главным образом добывающая, за границей — обрабатывающая. Я до сих пор не могу забыть, как хозяин римского отеля обсчитал меня на 60 лир, добытых в России.

Фауна Европы очень бедна: в городах — собаки, лошади, автомобили; за городом — гуси, коровы, автомобили. В одной России до сих пор водятся медведи, и то вожаками, на цепи.

Флора Европы богаче — растет почти все, от апельсин и морошки до процентов на банковские ссуды. Особое внимание уделяется винограду, потому что всякая страна гордится каким-нибудь вином, кроме Англии, которая никаких вин не имеет. Оттого-то, вероятно с горя, англичане такие горькие пьяницы.

Первенство в отношении вин надо, конечно, отдать Франции. Оттого-то во Франции и пьют так много.

Впрочем, немцы качеством своих вин не уступают французам, и поэтому пьянство немцев вошло в пословицу.

В России виноделие стоит на очень низкой ступени. Поэтому ли или по другой причине, но встречаешь трезвого русского чрезвычайно редко.

Справедливо будет упомянуть еще об испанцах. Отношение их к вину таково, что даже свои лучшие города они прозвали «Хересом» и «Малагой». Не думаю, чтобы кто-нибудь из испанцев отважился на это в трезвом виде. В этом отношении португальцы гораздо скромнее: хотя и поглощают свой портвейн и мадеру в неимоверном количестве, но города носят приличные названия: Опорто, Мадейра и т. д.

В том же учебнике географии, автор которого безуспешно пытался срезать все европейские полуострова, сказано:

«В Америке, где пьют довольно много, трезвость европейцев вошла в пословицу».

Климат Европы разнообразный: есть много европейцев, которые с трудом излечивались от солнечного удара для того, чтобы через шесть месяцев замерзнуть самым неизлечимым образом. Ученые связывают климат Европы с какими-то воздушными течениями, то холодными, то теплыми. К сожалению, холодные течения появляются всегда зимой, а теплые летом, что никого устроить и утешить не может.

Площадь, занимаемая Европой, равняется 9 миллионам верст, то есть на каждую квадратную версту приходится 44 ½ человека. Таким образом, в Европе абсолютно невозможно заблудиться в безлюдном месте. Скорее есть риск быть зарезанным этими 44 ½ людьми с целью получить лишний клочок свободной земли.

Начиная описание нашего путешествия, я должен оговориться, что нам удалось объехать лишь небольшую часть 9 миллионов верст и увидеть только ничтожный процент 400 миллионов народонаселения. Но это неважно. Если самоубийца хочет определить сорт дерева, на котором ему предстоит повеситься, он не будет изучать каждый листок в отдельности.

Перед отъездом я попытался собрать кое-какие справки о тех странах, которые нам предстояло проезжать.

Мои попытки ни к чему не привели, хотя я и беседовал с людьми, уже бывавшими за границей.

Я пробовал подробно расспрашивать их, выпытывать, тянул из них клещами каждое слово, думая, что человек, побывавший за границей, сразу должен ошеломить меня целым каскадом метких наблюдений, оригинальных характеристик и тонких штришков, которые дали бы мне самое полное представление о «загранице».

Пробовали вы беседовать с таким обычного сорта путешественником?

Вы. Ну, расскажите же, милый, рассказывайте поскорее — как там и что, за границей?

Он (холодно). Да что ж... Ничего. Очень мило.

Вы. Ну, как вообще, там... люди, жизнь?

Он. Да, жизнь ничего себе. В некоторых местах хорошая, в некоторых плохая. В Париже трудно через улицу переходить. Задавят. А то — ничего.

Вы. Ага! Так, так!.. Ну, а Эйфелеву башню... видели? Какое впечатление?

Он. Большая. Длинная такая, предлинная. Я еще и в Италии был.

Вы. Ну, что в Италии?!! Расскажите!!!

Он (зевая). Да так как-то... Дожди. А в общем, ничего.

Вы. Колизей видели?

Он. Ко... Колизей? Позвольте... гм... Сдается мне, что видел. Да, пожалуй, видел я и Колизей.

Вы. Ну, а что произвело там на вас, в Италии, самое яркое впечатление?

Он. Улицы там какие-то странные...

Вы. Чем же странные...

Он. Да так какие-то... То широкие, то узкие... Вообще, знаете, Италия!

Вы (обрадовавшись. Лихорадочно). Ага! Что Италия?! Что Италия!

Он. Гостиницы скверные, рестораны. Альберго, по-ихнему. Ну, впрочем, есть и хорошие...

Попробуйте беседовать с этим бревном час, два часа — ничего он вам путного не скажет. Вытянете вы из него клещами, с помощью хитрости, неожиданных уловок и ошеломляющих вопросов, только то, что в Германии хорошее пиво, что горы в Швейцарии «очень большие, чрезвычайно большие», что «Вена веселый город, а Берлин скучный город», что в Венеции его поразило обилие каналов, такое обилие, которого ему нигде не приходилось встречать...

Да пожалуй еще, если он расщедрится, то сообщит вам, что Париж — это город моды, роскоши и кокоток, а в Испании в гостиницах двери не запираются.

И потом внезапно замолчит, как граммофон, в механизм которого сунули зонтик...

Или начнет такой путешественник нести отчаянный вздор. Долго плачется на то, что, будучи в Страсбурге, целый день разыскивал прославленный Кёльнский собор, а никакого Кёльнского собора и нет... Куда он девался — неизвестно.

У некоторых путешественников есть другая манера — все отрицать, всякое установившееся мнение, сложившуюся репутацию — переворачивать кверху ногами...

Вы. Говорят, итальянки очень красивы?

Он. Чепуха! Не верьте. Толстые, неуклюжие и — удивительно — почему-то на одну ногу прихрамывают. Одни разговоры о прославленной красоте итальянок!

Ошибочно думать, что этот глупец изучил итальянских женщин со всех сторон, во всех деталях. Просто был он в Риме два дня, все это время проторчал в грязном кабачке на окраине, и прислуживала ему одна-единственная итальянка, толстая, неуклюжая, прихрамывающая на одну ногу.

Вы. А в Испании небось жарко?

Он. Вздор! Дожди вечно жарят такие, что ужас. Без непромокаемого пальто не показывайся. (Два часа. От поезда до поезда — случайно шел дождь.)

Вы. А француженки — очень интересны?

Он. Ну что вы! Накрашены, потерты и при первом же знакомстве папироску клянчат.

Вышеизложенные характеристики посторонних путешественников приведены для того, чтобы подчеркнуть: а сатириконцы (и Митя) не такие, а сатириконцы (и Митя) будут вдумчиво, внимательно и своеобразно подходить к укладу заграничной жизни и постараются осветить в ней такие стороны, что все раскроют удивленно глаза и ахнут.

ГЕРМАНИЯ ВООБЩЕ

Один немец спросил меня:

— Нравится вам наша Германия?

— О да,— сказал я.

— Чем же?

— Я видел у вас, в телеграфной конторе, около окошечка телеграфиста сбоку маленький выступ с желобками; в эти желобки кладут на минутку свои сигары те лица, которые подают телеграммы и руки которых заняты. При этом над каждым желобком стоят цифры — 1, 2, 3, 4, 5 — чтобы владелец сигары не перепутал ее с чужой сигарой.

— Только-то? — сухо спросил мой собеседник.— Это все то, что нравится?

— Только.

Он обиделся.

Но я был искренен: никак не мог придумать — чем еще Германия могла мне понравиться.

Немцы чистоплотны,— но англичане еще чистоплотнее.

Немцы вежливы[1],— но итальянцы гораздо вежливее.

Немцы веселы,— французы, однако, веселее.

Немцы милосердны[1] — нет народа милосерднее русских — в частности, славян — вообще.

Немцы честны[2],— но кто же может поставить это кому-нибудь в заслугу? Это пассивное качество, а не активное.

Ни один огурец не сделал в течение своей жизни ни одной подлости или мошенничества; следовательно, огурец следует назвать честным? Отнюдь. Честность его просто следствие недостатка воображения.

Большинство немцев честны по той же причине — по недостатку воображения.

Не то хорошо, что немцы честны, а то плохо, что все остальные народы, исключая французов и англичан, отъявленные мошенники.

Когда в России встречаешься с французской или английской честностью — это производит крайне выгодное впечатление.

Однажды в Харькове я зашел в английский магазин купить шляпу.

— Сколько стоит эта шляпа? — спросил я.

— Десять рублей,— сказал хозяин.

— Хорошо, заверните. Вот вам 25 рублей — позвольте сдачу.

— Пожалуйста.

— Позвольте!.. Мне нужно сдачи 15 рублей, а вы даете 18. Вы ошиблись в мою пользу.

— Нет, не ошибся. Дело в том, что шляпа стоит всего 7 рублей, и я не могу взять за нее больше...

— А почему же вы сказали раньше — 10.

— Я думал, вы будете торговаться — русские всегда торгуются. Я бы и сбросил 3 рубля. Но раз вы не торгуетесь — не могу же я взять за нее больше...

---

[1] Настоящая книга написана до войны с немцами (*Примеч. авт*)

[2] До войны мы, русские, все думали это (*Примеч авт*).

Вот я рассказал этот эпизод. Но если бы русские купцы не были такими мошенниками — мне и в голову бы не пришло восхищаться поступком иностранца-шляпника.

* * *

Немецкая аккуратность, немецкая методичность — это все выводит настоящего русского из себя.

В Берлине мы зашли однажды в какой-то музей военных трофеев.

Подошли в первой зале к монументальному сторожу и спросили:

— А где тут знамена?

Он оглядел нас и стал со вкусом медленно чеканить:

— Знамена есть налево; знамена есть направо; знамена есть впереди; знамена есть в нижнем этаже; знамена есть в верхнем этаже; знамена есть в среднем этаже. Какие именно знамена хотели бы вы видеть?

В одной немецкой гостинице я наблюдал следующий факт: какой-то человек постучал в дверь первого номера и сказал:

— Очень прошу извинения — не здесь ли находится в гостях господин Шульц; он мне нужен по одному мануфактурному делу.

После этого он постучал во второй номер:

— Очень прошу извинения — не здесь ли находится в гостях господин Шульц; он мне нужен по одному мануфактурному делу. Я уже спрашивал в первом номере — его нет.

То же самое он повторил в третьем, четвертом и пятом номере. В шестом уже добавлял: я искал господина Шульца в первом номере, я искал господина Шульца во втором номере, в третьем и в четвертом, я искал господина Шульца также в пятом — его там не было. Нет ли у вас господина Шульца, необходимого мне по мануфактурному делу?

У нас в России после этого монолога открылась бы дверь третьего или четвертого номера, и сапог полетел бы в голову незадачливого мануфактурщика.

А в немецкой гостинице голоса отвечали из-за дверей:

— Я очень сожалею, но у меня в пятом номере нет в гостях господина Шульца, необходимого вам по мануфактурному делу; но нет ли господина Шульца в номере шестом?

Все немецкие двери украшены надписями: «выход», будто кто-нибудь без этой надписи воспользуется дверью, как машинкой для раздавливания орехов, или, уцепившись за дверную ручку, будет кататься взад и вперед. Надписи, украшающие стены уборных в немецких вагонах,— это целая литература: «просят нажать кнопку», «просят бросать сюда ненужную бумагу», под стаканом надпись «стакан», под графином «графин», «благоволите повернуть ручку», в «эту пепельницу покорнейше просят бросать окурки сигар, а также других табачных изделий».

Одним словом, всюду — битте-дритте, как говорил Крысаков.

Существует и немецкая любовь к изящному: в Берлине большинство автомобилей раскрашено разноцветными розочками; всякая вещь, которая поддается позолоте — золотится; не поддается позолоте — ее украсят розочкой...

Наряд немецкой женщины — это целая симфония. На голове зеленая шляпа с желтым пером и красной розочкой. Юбка голубая, обшита внизу оранжевыми полосками. Только кофточка отличается скромным фиолетовым цветом, но одета она так, что грудь делается плоской, а спина пузырится, как волдырь на обваренном месте; башмаки хотя из грубой кожи, но зато большие; чулки прекрасной верблюжьей шерсти.

Из этих элементов составляется вся немецкая женщина, из женщин — толпа на главных улицах, толпа дает физиономию всему Берлину, а Берлин — Германии.

Немецкий мужчина — это вторая сторона вышеописанной физиономии. Средний немецкий мужчина не имеет ни страданий, ни сомнений, ни очень возвышенных, ни очень низменных чувств.

Он любит прежде всего себя, за то, что никогда не доставлял сам себе ненужных страданий; потом семью, потому что дети не огорчают его, а жена не изменяет, по недостатку темперамента или поклонников; наконец, любит родину, потому что она заботится о нем, пишет на каждых дверях «выход» и устраивает удобные перенумерованные желобки для сигар у телеграфных окошечек.

Он спокоен за себя, за семью и за родину.

Спокойствие дает ему возможность веселиться, и он действительно каждый день веселится, но не утром или

днем — когда нужно устраивать свое благосостояние,— а вечером. Как он веселится?

За столом в любимой пивной собирается каждый день одна и та же компания: Фриц Штумпе, Яков Миллер, Иоганн Миткраут и Адольф Гроссшток.

Целый вечер взрывы хохота несутся со стороны стола, занятого веселыми собутыльниками.

— Эге,— думает зритель в отдалении,— наверное, что-нибудь забавное рассказывают. Прислушаюсь-ка...

Прислушивается...

— Герр Штумпе! Отчего вы сегодня молчите? Не бьет ли вас ваша жена?

Взрыв гомерического хохота следует за этими словами.

— Ох,— говорит Иоганн Миткраут, задыхаясь от смеха.— Вечно этот Миллер придумает какую-нибудь штуку. А? «Не бьет ли,— говорит,— вас ваша жена?» Ха-ха-ха!

— Хо-хо-хо!

Всеобщий восторг пьянит толстую голову Миллера; надо сказать что-нибудь еще, чтобы закрепить за собой славу присяжного весельчака и юмориста.

— Герр Штумпе! Говорят, что вы уже целый год не носите ваших сбережений в ваш банк?

— Почему? — недоумевает простоватый Штумпе.

— Потому что весь ваш бюджет уходит на покупку ваших зонтиков, которые ломает о вашу спину ваша жена.

Будто скала обрушилась — такой хохот потрясает стены пивной.

— Хо-хо-хо! — стонет басом изнемогающий Гроссшток.

— Хи-хи-хи,— октавой выше заливается, нагнув к столу голову, совершенно измученный Миткраут.

— Хе-хе-хе!

— Хо-хо-хо!!

— Э,— думает Штумпе,— дай-ка и я что-нибудь отмочу. Тоже когда-то острили не хуже.

— Вы, герр Миллер, кажется, купили вашего нового мопса? — спрашивает Штумпе, обводя компанию взглядом, который ясно говорит: «Слушайте, слушайте! Сейчас я выкину штуку еще позабористее».

— Да, герр Штумпе. Не хотите ли вы на нем покататься верхом? — подмигивает неистощимый Миллер, вызывая долгий хохот.

— Нет, герр Миллер. Но теперь нам опасно прийти в ваш дом есть ваш обед.

— Почему? — хором спрашивают все, затаив дыхание.

— Потому что вы можете угостить нас вашими сосисками из вашего мопса.

— Хо-хо-хо!!!

— Хи-хи!

— Хо-хо. Кхх... Рррр. Однако этот Штумпе тоже с язычком! Хо-хо... Так как вы говорите? «Колбаса из мопса?» Ну и чудак же! Вам бы попробовать написать что-нибудь в «Lustige Blaätter»...

Так они веселятся до двух часов ночи. Потом каждый платит за себя и все мирно возвращаются под теплое крылышко жены.

— Сегодня мы прямо помирали от хохоту,— говорит длинный Гроссшток, накрываясь периной и почесывая живот.— Этот чудила Штумпе такую штуку выкинул! «Накорми-ка нас,— говорит,— герр Миллер, собачьими колбасами». Все со смеху полопались.

ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ

Сейчас я буду писать о том, что наполовину испортило наше путешествие, о том, что повергло нас в чрезвычайное уныние и благодаря чему мы потеряли человека, который доставлял нам немало хороших веселых минут.

Одним словом — я расскажу об инциденте с Митей.

Митя, пожив несколько дней в Берлине, начал уже приобретать некоторый навык в языке и стал понемногу отставать от неряшливой привычки путать: «бутер» и «брудер», «шинкен» и «тринкен».

Уже лицо его приняло выражение некоторого превосходства над нами, а разговор — тон легкого снисхождения к нашим словам и шуткам.

Уже он, отправляясь куда-нибудь с Крысаковым и надев яркий галстук и старую панаму, пытался изредка принимать вид барина, путешествующего со слугой, так как шел он впереди, заложив руки в карманы и насвистывая марш, в то время как безропотный Крысаков, неся в одной руке

ящик с красками, в другой — фотографический аппарат, скромно плелся сзади.

Мы не могли налюбоваться на него, когда он, проходя по Фридрихштрассе, бросал влюбленный взгляд на свое отражение, затем задевал плечом пробегавшую мимо горничную с покупками и говорил густым, как из пустой бочки, голосом:

— Пардон!

Горничная испуганно оглядывалась, а он пускал ей вслед самый лучший излюбленный прием своего несложного донжуанства:

— Гиб мир эйн кусс.

И все-таки то, что случилось с Митей, было для нас совсем неожиданно. Постараюсь восстановить весь инцидент в полном объеме, как он выяснился потом из расспросов, справок и сопоставлений.

Прошло уже несколько дней после нашего приезда в Берлин.

Так как ясные дни были для нас очень дороги, то мы, выбрав одно туманное, дождливое утро, решили посвятить его Вертгейму. Кто из бывших в Берлине не знает этого колоссального сарая, этого апофеоза немецкой промышленности, этого живого памятника берлинской дешевизны, удобства и безвкусицы?

— Митя! — сказали мы, поднявшись в башмачное отделение.— Этот магазин очень велик, и тут легко заблудиться и потеряться. Ты парень, может быть, и неглупый, да только не на немецкой почве. Поэтому сядь вот тут за столиком в ресторанном отделении, попроси стакан чаю и жди нас.

— Слушаю-с,— сказал он, смотря в потолок.— Ой-ой, как тут высоко...

— Митя! — строго крикнул Крысаков.— Опять?!

— Что, Алексей Александрия?

— «Что»... Будто я не знаю. Я тебя насквозь вижу!

— Простите... И откуда вы все знаете? Я всего только одну кружечку выпью. Мюнхенского. Чаю не хочется. Удивительно — только подумаешь, а вы уже знаете.

— Ну ладно. Только одну кружечку, не больше.

Мы оставили его за столиком, ушли в бельевое отделение — и больше его не видели. Вернулись, нашли столик пустым, обегали все этажи, но так как у Вертгейма миллион

закоулков — пришлось махнуть на поиски рукой, надеясь на то, что каким-нибудь образом добрался Митя до нашей гостиницы и ждет нас в номере.

Увы! Его не было там; он не пришел и вечером; не пришел на другой день. Мы заявили в полицию, сделали публикацию в трех берлинских газетах — о Мите не было ни слуху ни духу. А на третий день нам уже нужно было ехать дальше, в Дрезден. Мы оставили консулу некоторые распоряжения, немного денег и полные мрачных предчувствий и грусти — уехали.

Что же делал Митя?

Оставшись один, он выпил кружку пива, потом еще одну, и еще; мир показался ему светлым, радостным, а люди добрыми и благожелательными.

— Пока мои хозяева вернутся — пойду-ка я полюбуюсь на магазин. Я думаю, они не рассердятся.

Он нацарапал карандашом на мраморном столике (мы не заметили тогда этой надписи):

«Немножко я погуляю пока звините скоро завернусь пейте хорош, пиво Саветую. Прият, опетита. Ваш слу. Митя».

После этого Митя принялся бродить по галереям, спускаясь с каких-то лестниц, подымаясь куда-то на лифте и заглядывая во все закоулки.

Не прошло и получаса, как Митя должен был убедиться, что он заблудился. Он искал ресторан — ресторан как в воду канул.

Он остановил какого-то покупателя с целью спросить, где ресторан, но тут же вспомнил, что не знает, как по-немецки ресторан...

Хмель выскочил из головы, и Митя почувствовал, что тонет.

У него было два выхода: или найти нас, или отправиться в гостиницу; но второе было не исполнимо — он не знал названия гостиницы.

Всему виной было его неуместное франтовство. Предусмотрительный Крысаков по приезде в Берлин заставил Сандерса изготовить следующий плакат на немецком языке для ношения на груди:

«Добрые туземцы! То, на чем навешен этот плакат, принадлежит нам, четырем чужестранцам, и называется слугой Митей. Если он потеряется — доставьте этого человека Отель

Бангоф, № 26. Просят обращаться ласково; от жестокого обращения хиреет».

Плакат был составлен очень мило, наглядно, но, как я сказал выше, в Митю вселился бес франтовства: он категорически отказался от вывешивания на груди плаката.

— Почему же? — увещевал его Крысаков.— Хочешь, мы сделаем приписку, как в скверах: «волос не рвать, на велосипедах по нем не ездить».

Митя отказался — и теперь жестоко платился за это.

Долго бродил он, усталый, измученный, по разным лестницам и отделениям. Теперь он желал только одного: найти выход на улицу.

Но это было не так-то легко. Митя, шатаясь от усталости, ходил между чуждыми ему людьми, наполнявшими магазин, и призрак голодной смерти рисовался ему в чужом городе, в громадном магазине, среди чужих, не понимавших его людей.

Один раз он остановил покупательницу и попытался навести справки о выходе:

— Мейн герр! Битте цаллен. Их либе зи.

Нищенский запас немецких слов, имевшийся в его распоряжении, связывал его мысль; и весь разговор его, волей-неволей, должен был вращаться в сфере ресторанных или сердечных представлений.

Дама изумленно посмотрела на растрепанного Митю, пробормотала что-то и нырнула в толпу.

— Гм...— печально подумал Митя.— Не понимает.

Он обратился к господину:

— Где выход, а? Такой, знаете? Дверь, дверь! Понимаете?

— Was?

— Я говорю, выход. Гиб мир эйн кусс. Битте цаллен. Цузамен.

Господин задрожал от страха и убежал.

Бродил Митя так до вечера; покупатели стали редеть, зажглись огни... Мучимый голодом Митя заметил около одной покупательницы на стуле коробку конфет; потихоньку стащил ее, забрался в укромный уголок чемоданного отделения, съел добычу — и сон сморил его.

Только утром нашли его; он спал, положив под голову пустую раздавленную коробку из-под конфет, и на лице его были видны следы ночных слез. Бедный Митя...

Вот что последовало за этим: сердобольные продавщицы накормили его, одна из них поговорила с ним по-русски, выяснила положение, но так как нашего адреса Митя не знал, то дальнейший путь его жизни резко разошелся с нашим.

Мы уехали в Дрезден, а Митя, поддержанный вертгеймовскими продавщицами, которые были очарованы его простодушным немецким разговором и веселостью нрава, Митя открыл торговлю: стал продавать газеты, спички и букетики цветов — одним словом, все то, сбыт чего не требовал знания тонкостей немецкого диалекта.

Только на обратном пути в Россию отыскали мы через вертгеймовских продавщиц нашего Митю; он сначала встретил нас презрительно, потом обрушился на нас с упреками, а в конце концов расплакался и признался, что хотя богатство и прельщает его, но родину он не забывает и, вернувшись, сделает для нее все, что может.

ТИРОЛЬ

Инсбрук. — Пернатые. — Тяжелый разговор. — О немецком остроумии. — Теория приливов и отливов. — Сандерс болен. — Еще одна теория. — В Штейнах. — Зловещее место. — Ссора с Крысаковым. — Отъезд в Фаркартен

Инсбрук — столица Тироля. Правильнее Инсбрук — мировая столица скуки, самодовольно-мелкого прозябания, сытости и сентиментальной тирольской глупости.

Приехав в Инсбрук, мы первым долгом на вокзале наткнулись на существо, которое во всяком нормальном здравомыслящем русском должно было вызвать смешанное чувство изумления и веселья.

Это был краснощекий, туполицый, голоногий тиролец, с ног до головы убранный разноцветными лентами и утыканный перьями, точно петух, которого кухарка начала ощипывать и, не окончив, побежала в мелочную лавочку за бутылкой прованского масла.

Голова этого дюжего парня была украшена какой-то бумажной короной, а за ушами торчали два пучка цветов.

Он что-то мурлыкал и приплясывал.

— Если бы не перья,— сказал Крысаков,— я мог бы предположить, что это человек.

— Больше того,— поддержал Мифасов.— Это похоже на девушку. Смотрите, сколько на ней лент.

В это время откуда-то вынырнул еще десяток людей, разукрашенных подобным же странным образом.

— Боже ты мой! Вероятно, где-нибудь поблизости лопнул сумасшедший дом и содержимое его вытекло на потеху мальчишек и на страх взрослым.

Но сейчас же мы заметили, что странная компания не только не пугала аборигенов, но даже не останавливала на себе ничьего мимолетного внимания. Взрослые тирольцы, тирольки и маленькие тирольчата проходили мимо не оглядываясь, и только некоторые раскланивались с предводителем труппы.

— Сандерс,— сказал Крысаков,— узнай, что с ними случилось? Не надо ли им чего?

Если судить о немецком языке по Сандерсову разговору — можно вывести заключение, что нет на свете языка длиннее, сложнее и утомительнее.

Сандерсу нужно было сказать только две фразы: «Кто вы такие? Почему так странно одеты?»

Он подошел к предводителю тирольцев из семейства ленточных, понурился и пробормотал что-то.

Тиролец ему ответил. Сандерс покачал головой с безнадежным видом и сказал такую длинную фразу, что два поезда успели уйти и один подкатил к вокзалу. Тиролец хлопнул себя по бедрам, прищелкнул пальцами и стал что-то объяснять, перепрыгивая с ноги на ногу. Объяснения тирольца не могли вырвать Сандерса из бездны уныния, угнетенности и сомнения. Он собрался с духом и размотал с невидимой катушки такую длинную фразу, что тиролец начал линять. Он потерял два пера с короны и одно с плеча и, не заметив убытка, высказал Сандерсу такое количество слов, что в них должно было заключаться географическое описание Тироля, характеристика нравов народонаселения и перечисление главнейших видов флоры и фауны. Утешило ли это Сандерса? Разъяснило ли ему что-нибудь? Нет! Он потрогал зеленую пуговицу на толстом животе тирольца и вытянул из себя длинную, как осенняя ночь, фразу.

И только получив обоснованный ответ на это, отошел он от тирольца, переваливаясь, как объевшаяся утка.

— Ну?! — спросил нетерпеливый Крысаков.

— Обыкновенные тирольцы. Ферейн. Возвращаются после воскресной экскурсии.

— Скрытный народец,— подмигнул Крысаков.— Трудненько было вам вытянуть у этого оболтуса столь краткие сведения.

— Нет, ничего,— пожал плечами Сандерс.— Я только спросил, кто они такие, а он ответил...

— Тошнит меня от этих тирольцев,— признался Крысаков.— Чистенькие, куцые, кругозор ограничен горами и собственным недомыслием, благонравно ухаживают за тирольками и благонравно женятся. Здесь не бывает сцен ревности, убийств, измен и сильных душевных движений, как в сторону благородства, так и в сторону подлости. Шесть дней благонравно трудятся, седьмой день благонравно пляшут в какой-нибудь таверне. Кстати, как неимоверно сладок и противен их дефрегер! Брр!

Самодовольно пляшут и самодовольно острят. Вы знаете, что такое ихние остроты? Вообще немецкое остроумие! В Берлине один господин с гордостью говорил, что немецкие дети не чета нашим. Они смелы, находчивы, сообразительны и в ответах не смущаются, а отвечают метко и остроумно. Мы сделали даже опыт... Встретили какого-то известного своей находчивостью знакомого господину школьника и вступили с ним в беседу. «Что ты любишь больше всего на свете?» — «Свою прекрасную родину».— «Неужели? А я думал, что больше всего тебе должно нравиться заехать в ухо мальчишке, который обидел бы тебя!» — «О нет. Вступать в драку стыдно. Лучше сообщить о нехорошем поступке мальчика его родителям, которые скажут ему, что он их огорчил, и ему станет стыдно».— «Та-ак... И, наверное, по воскресеньям вы собираетесь в школе и поете духовные псалмы?» — «О да. Это лучший наш отдых в свободное время».— «Видите,— сказал мне господин, когда мы отошли.— Преострый мальчуган. За словом в карман не лезет».— «Может быть, может быть». И тут только я заметил, что мой господин тоже немецкий дуралей. Кстати о немцах. Меня томит жажда. Не выпить ли нам пива?

В этих случаях инициатива всегда принадлежала Крысакову. И удивительно, что мы — поднимавшие бесконечные споры по поводу выбора номера в гостинице или места в вагоне — в этом случае никогда не возражали и не спорили.

— Вы хотите выпить? Пойдем.

— А вы разве не хотите?

Все мы сразу делались чрезвычайно предупредительны к Крысакову, оставляя в забвении собственное желание и настроение.

— При чем тут мы? Раз вы хотите — пойдем.

— Да мне неудобно, что вы из-за меня идете.

— Ну вот глупости. Отчего вам и не доставить удовольствия.

Иногда от меня исходило предложение «кой-чего перекусить». И в этом случае — наша дружба разыгрывалась в полном блеске.

— Отчего же вы не обедали вместе с нами?

— Я тогда не хотел, а теперь хочу.

— Эх, ну что с вами делать. Придется пойти с вами.

— Вы можете посидеть. Я скоро закушу.

— Да чего там... Вы не спешите. Я тоже чего-нибудь глотну.

Покорные желанию Крысакова, мы уселись, и нам подали четыре кружки прекрасного пенистого пива. Крысаков отхлебнул и благодушно сказал:

— Не люблю я, чивой-то, Тироля. Отчего у них, братцы, колени голые? Что это за обычай?

После недолгого раздумья я нерешительно сказал:

— Я думаю — это в целях сохранения тирольской нравственности...

— При чем тут нравственность?

— А как же? Местность у них гористая, мужчины же при объяснении девицам в любви обязательно становятся на колени.

— Ну?!

— Ну, а в гористой местности на голые колени не очень-то встанешь...

— Это вздор! Нет ничего нелепее ваших теорий.

— А у вас никаких теорий и вообще-то нет.

— Вы думаете? А моя теория причины приливов и отливов? Это не мысль, а молния!

— Воображаю!

— Вы знаете, господа? По-моему, на земном шаре не хватает воды. Все дело в том, что два противоположных берега океана можно сравнить с головой и ногами спящего человека, прикрытого коротким одеялом — океаном. Теперь: если натянуть короткое одеяло на голову, обнажаются ноги, натянуть на ноги — обнажается голова. Так и океан — если тут прилив, там должен быть отлив. Понятно?

— Садитесь! Два!

— Не два, а четыре.

— Идея. Кёльнер! Еще четыре кружки.

— Я не хочу пива,— неожиданно сказал Сандерс, глядя на нас помутневшими глазами.— Мне нездоровится.

Мы засуетились, а больше всех Крысаков:

— Ну вот! Говорил я, что вам не нужно было есть яиц утром.

— Да при чем тут яйца?

Крысаков не медик, но у него своя стройная система распознания болезней и лечения их; кроме того, у него собственное, ни у кого не заимствованное представление о человеческом организме.

— Как при чем яйца? У вас еще вчера была немного повышена температура. Крутые яйца при повышении температуры являются бродильным ферментом и, давя на печень, производят отлив крови от сердца.

— Вот-то чепуха.

Крысаков рассвирепел.

— «Чепуха»? Сначала не слушаете меня, а потом — чепуха?! Говорил я вчера, чтобы вы взяли холодную ванну? Говорил?

— Говорили.

— Ну вот. А вы не взяли. У меня, батенька, отец доктор.

— Наверное, прекрасный доктор,— вежливо поддержал я.— Я думаю, тысяча его бывших больных возносят на том свете за него молитвы.

— Сандерс! Сейчас же в постель! Мы поднимемся на фуникулере на гору, посидим с полчасика и потом займемся вами.

Опечаленные, поднимались мы по головоломной дороге в хрупком вагончике на вершину горы.

Крысаков рассеянно смотрел на зеленеющий скат, сбегавший к серебряной реке, и несколько раз бормотал про себя:

— Да, несомненно... Типичный брюшной тиф. Без впрыскивания кокаина не обойтись. Гм... Ножные ванны.

Его красивое лицо с орлиным носом было сумрачно.

Чтобы отвлечь его от печальных мыслей, я спросил:

— Интересно, какой силой этот вагончик поднимается в гору.

— Очень просто,— пожал плечами Мифасов.— Один вагончик ползет вверх, другой вниз. Тот, который ползет вниз, подымает своей тяжестью первый, то есть идущий вверх.

— Я не техник,— возразил я,— но здравый смысл подсказывает, что это не так. По твоей теории выходит, что вагон, ползущий вниз, должен быть всегда в несколько раз тяжелее ползущего вверх.

— Он и тяжелее.

— А как же тогда следующая очередь, когда тяжелый должен ползти вверх, а легкий вниз?

— Очевидно, перекладывают какую-нибудь тяжесть.

— Как же перекладывать, когда вагончики ни разу не сходятся вместе внизу или вверху.

— Ну, это уже дело техники. Я говорю только то, что знаю наверное.

— А я думаю, что тяга электрическая...

— Что?!! Ха-ха! Ну и скажет же, ей-Богу.

Немного спустя выяснилось, что тяга действительно электрическая.

— Ну что? — безжалостно спросил я Мифасова.— Кто был прав?

— Что? Ну, милый мой, мне вообще ни тепло ни холодно, какая там тяга. Вообще не приставай ко мне.

Через час Сандерс с термометром под мышкой сидел, окруженный нами, и говорил:

— Ну, ребятки, плохо мне. Ужасно не хотелось бы умереть в Тироле.

Сердца наши разрывались от тоски и жалости.

— Подумайте, господа,— сказал я.— Четыре иностранца, сыны бедной России, заброшены судьбой в далекую тирольскую дыру. И вот один умирает... Как раз тот самый, который хоть и не спеша, но разговаривал по-немецки. Остаемся мы... Трое... Надо его хоронить, обычаев мы не знаем, положение отчаянное. Идем в лесок, срубаем дерево, выдалбливаем гробик и кладем туда Сандерса... И вот тирольцы видят странную, щемящую душу процессию. Три весельчака, понурив головы, в черных шапках, плетутся

за гробом четвертого, влекомого равнодушной ко всему тирольской лошадью... Это сатириконцы хоронят своего товарища... Опустили гроб в могилу... «Прощай, товарищ! Недолго ты прожил среди нас... Спи спокойно...»

Крысаков всхлипнул, Мифасов сделал вид, что рассеянно глядит в окно; он махнул перед лицом рукой, будто сгоняя с него назойливую муху. Было тихо... Только слышалось тяжелое дыхание Сандерса.

— Да... вернемся мы втроем... Первый раз втроем! Придем в свои комнаты. У стены сиротливо лежит чемоданчик Сандерса. Он ему уже не нужен! «А что, господа,— скажет тихо Крысаков,— ведь в этом чемоданчике лежат деньжонки, которые Сандерсу уже не нужны. Не поделиться ли нам? Жаль, что он такого маленького роста, а то бы можно было и одежонкой его воспользоваться...»

— Я бы пива выпил,— неожиданно сказал больной.

Поднялась буря протестов.

Решили сделать так: мы с Мифасовым уезжаем немедленно прямо в Штейнах, до которого час езды, а Крысаков остается с больным в Инсбруке.

— Я его вылечу! — сурово обещал Крысаков.

— Он на меня все время кричит,— пожаловался больной.— В Дрездене чуть не поколотил меня...

— Как же вас не бить? Представьте себе, господа, я ему говорю: у вас ангина, вам нужно есть для очищения горла орехи, а он не хочет.

С тяжелым сердцем уехали мы с Мифасовым, оставив за своей спиной эту странную пару.

Крупный дождь... ветер гнул деревья, шумел, метался и выл в тесных горах. У подножия одной из них приютился Штейнах.

До сих пор мы все не можем выяснить, почему, по каким соображениям дремлющий Сандерс включил Штейнах в наш маршрут. После громадного, чудовищного Берлина, веселого, красивого Мюнхена — эта таинственная дыра с вымершим населением в несколько десятков человек — показалась нам тюрьмой, тем более что горы со всех сторон окружили ее, стеснили ее, сдавили ее.

Помню крохотный вокзал, у которого поезд приостановился на одну минуту, помню черный, как вакса, вечер, мокрую от дождя землю и абсолютное страшное безмолвие.

Мы выползли со своими чемоданами, постояли минут пять и наконец в ужасе завыли:

— Треге-е-ер!!

— Здесь нет трегеров,— ответил нам откуда-то с неба неизвестно чей голос.

— О, черт возьми! Изво-о-озчик!!

— Здесь нет извозчиков,— ответил тот же беспощадный голос с неба.

— Швейцар из гостиницы!!

— Швейцаров нет.

— Дайте нам какого-нибудь человека.

И прозвучало похоронное:

— Здесь нет людей.

— Да вы-то кто? Не человек?

— Я начальник здешней станции.

— Где вы?

— Наверху. Во втором этаже.

— Посоветуйте, как нам найти гостиницу?

— Идите прямо.

— Да тут забор!

— Идите влево.

— Тут тоже забор!

Проклятый начальник станции неожиданно замолчал, будто ему заткнули платком рот.

— Эй, вы-ы! Как вас!! Тут забо-о-ры!

Дождь обливал нас сверху, грязь хлюпала внизу под ногами... Молча взвалили мы на плечи чемоданы, перелезли через забор и наткнулись на какую-то дверь.

— Это что?

— Гостиница.

Так мы приехали в Штейнах. Приезд был невеселый, житье наше печальное и отъезд угрюмый.

Все мы ко дню отъезда перессорились в самых разнообразных комбинациях: Крысаков с Сандерсом, я с Сандерсом, Сандерс с Мифасовым.

Вообще, должен признаться, к стыду нашему, что ссорились мы частенько. При этом ссора кого-нибудь из нас с товарищем вызывала необычайное повышение симпатии в поссорившемся — к остальным. Другими словами, если X разрывал отношение с Y, то к Z он относился настолько

повышенно нежнее, насколько это чувство расходовалось раньше на Y.

Ничто в мире не пропадает, и ничто вновь не появляется.

Самая тяжелая ссора случилась в Берлине, когда Крысаков оказался на одной стороне, а мы трое — на другой.

Впечатлительный Крысаков выносил такое положение вещей только сутки... На другое утро он взял свой незакрывающийся чемодан, ящик с красками и, скорбно понурившись, сказал Мите (единственному, с кем отношения были хороши):

— Митя! Проведи меня до вокзала... Я уезжаю. Что уж там... Пожили! Эх, эх...

Я не выдержал:

— Вы с ума сошли! Куда вы уезжаете?

Он опустился на чемодан и, ни на кого не глядя, под журчание Митиных слез сказал:

— Уеду... Что ж, и без меня проживете. Не бойтесь, я поездку не бросаю... Только эти четыре дня, что вы проживете в Берлине,— я посижу в том благословенном местечке, которое приглядел еще давеча.

— Какое местечко! Что вы задумали?!

— Такое... Я думаю, там будет тихо... Ни криков, ни попреков. Посижу там один. Может, когда меня не будет, вы поймете.

— Ну слушайте, это черт знает что! Какое там вы местечко выбрали, не зная языка, с вашим «битте-дритте»? Мы вас не пустим!

— Нет уж, что уж там. Митенька, бери чемодан. Тебе не тяжело, милый Митя... дорогой Митечка?

По принятому обыкновению, вся любовь и приязнь изливалась теперь на единственного человека, который был с ним в хороших отношениях,— на Митю.

— Извини меня, Митенька, что я тебя затрудняю... Может быть, мне самому лучше понести чемодан, а ты, Митя, отдохни.

Воксал был в двух шагах, и поэтому берлинцы могли любоваться диковинной, нелепой процессией: впереди шагал плачущий, растроганный слуга с чемоданом, сзади барин с видом погребальной лошади, нагруженный ящиком для красок, а сбоку бежали три друга, умоляя непреклонного Крысакова одуматься, уговаривая и успокаивая его.

— Нет уж... не уговаривайте. Уеду... Не поминайте лихом!

— Ну куда? куда вы едете? В какое местечко?

— Сейчас узнаете.

Он подошел к билетному окошечку и грустно сказал кассиру:

— Битте-дритте, эйн билет! В Фаркартен!

— Куда? — ахнули мы.

— В Фаркартен. Это, вероятно, такое местечко под Берлином. Я тут на доске прочел. С указательным пальцем. Туда и поеду. Уж вы не удерживайте. Раз я облюбовал.

— Вы знаете, что такое фаркартен? — зловеще спросил Сандерс.

— А что? Может быть, очень болотистое место?

— Нет. Фаркартен значит — «дорожные билеты».

— Митечка! — сказал Крысаков, помолчав.— Бери-ка, тащи назад чемодан. Битте-дритте!

Мы подхватили его под руки и с заискивающим смехом повлекли обратно.

К сожалению, впоследствии частенько случалось, что у каждого из нас поочередно мутился разум, и он, забыв дружбу, «собирался в Фаркартен»...

Заканчивая эту главу, искренно хочу крикнуть:

— Да здравствует дружба! Долой проклятый Фаркартен!

ВЕНЕЦИЯ

1

Город лени и музыки.— Cartolina postale.— Способ Крысакова.— Способ Мифасова.— Способ Сандерса.— Демократия и аристократия.— Пир с нищенкой.— Сандерс втягивается в лихорадку.— Лечение

Мы в Венеции.

Если бы какой-нибудь гениальный писатель обладал таким совершенным пером, что дал бы читателю, не видевшему Венеции, настоящее о ней представление,— такой писатель принес бы много несчастья и тоски читателям. Потому что узнать, что такое Венеция, и не увидеть ее — это сделаться навеки отравленным, до самой смерти неудовлетворенным.

Когда я приехал в Венецию, я подумал: «Ведь миллионы людей живут и умирают, не видя Венеции. Если бы они знали то, чего они лишены, жизнь их потеряла бы краски, и тоска по далекой невыразимой красоте иссушила бы сердце».

Я пишу эти строки в холодном угрюмом Петрограде, но стоит мне только закрыть глаза, как я до последних мелочей вижу Венецию. Она врезалась в память неизгладимо, я по ней тоскую и мечтаю, как о далекой прекрасной любовнице, свидание с которой сделает меня снова счастливым.

Я закрываю глаза...

Мягкий густой вечерний воздух, нежащий, как прикосновение, невыразимая истома во всем теле; хочется встать в гондоле и закричать от полноты настоящего наслаждения и счастья. Но не встаешь... Наоборот, развалившись на уютных подушках, погружаешься в блаженную неподвижность и всем телом, всеми органами, всеми порами впитываешь в себя ленивый, теплый, сладкий воздух, сладкую песню, лениво доносящуюся издалека, и молчишь, молчишь... Черная густая вода тихо журчит за гондолой, нежно плещет весло ленивого парня на корме, и таинственно молчат сбежавшиеся к воде старые-престарые дома, среди которых скользит тихая лениво-проворная гондола. Узенький канал кончился... Над головой мелькнул еще видимый изгиб мостика — и мы выносимся на широкий canale grande. Здесь широкое, пышное небо черным бархатом разметалось над нами и застыло, усеянное редкими сверкающими осколками-звездами. И внизу плещется черная теплая, слепая вода, и плывет далеко по каналу нежная, сладострастная серенада оттуда, где целый сноп огней, фонариков собрал полчища гондол, как свеча собирает мотыльков. Какие-то фигуры мелькают на огненном фоне, и изредка песню прорезает смех и веселый говор.

Замерла посреди канала большая, изукрашенная фонариками барка. На ней море огня, а все остальное зачернено ночью. Десятки гондол сползлись к огню, окружили его и, притихшие, почти невидимые, колышутся. Изредка багровый свет на барке выхватит из темноты резной нос гондолы, блеснет на металле и погаснет.

Тихо колышутся гондолы; сладко нежит песня; все необычно; рядом с нашей гондолой трется о ее борт чужая, за ней еще одна, а остальные тонут, невидимые... Боже мой, как

хорошо! Пусть все это искусственное, пусть барка принадлежит корыстолюбивому антрепренеру, а у певцов, наверно, грязные руки, а какие-то подозрительные молодцы с ухватками кошек или разбойников ползают по бортам ваших гондол, собирая за пение сольди и лиры...

Все равно не убить им этой Божьей красоты, пышного теплого неба и теплой воды, которая, как добрая нянька-колыбель — качает нашу гондолу. Пусть певцы нахальны и жадны, а немцы, самодовольно развалившиеся на подушках гондол, скупы до омерзения. Я все же нашел красоту, и ее у меня не отнять — я крепко прижал ее к моему сердцу. Боже, как далеко от меня Россия, Петроград, холод, грабежи, грязные участки, глупые октябристы, мой журнал, корректуры, цензурный комитет и немолчный телефон!..

Поют... Тихо постукивают гондолы боками одна о другую. Качаются.

Хорошо, когда усталого баюкают.

А утром другая — томительно-сладкая жизнь; зазвучит все по-другому... засверкает ослепительное солнце, четко вырежется на голубом небе кружево белых дворцов и легких мостиков, зазвучит музыкальная брань гондольеров, польется с неба золотой зной, и замелькают всюду живые, проворные, как обезьяны, и ленивые, как черепахи, итальянцы, наполняя жгучий воздух немолчным жужжаньем.

Ах, эти итальянцы... Над ними можно смеяться, но не любить их нельзя.

Уличная толпа сплошь состоит из беспардонных лгунов, мелких мошенников и попрошаек, но это такая веселая, живая толпа, плутовство их так по-дикарски примитивно и неопасно, что не сердишься, а только добродушно смеешься и отмахиваешься.

— Cartolina postale.

— No, signore.

— Cartolina postale!!

— No, no!

— Cartolina postale!!

— Не надо, тебе говорят!!

— Русски! Ошень кароши cartolina... Molto bene.

— Русски, а? Купаться! Шеловек! Берешь cartolina postale?

— Убирайся к черту! Алевузан, пока тебе не попало.

— Господин, купаться, а? — заискивающе лепечет этот

разбойничьего вида детина, стараясь прельстить вас бессмысленными русскими словами, Бог весть когда и где перехваченными у проезжих forestieri russo.

Я сначала недоумевал — чем живут эти люди, от которых все отворачиваются, товар которых находится в полном презрении и его никто не покупает?

Но скоро нашел; именно тогда, когда этот парень шел за мной несколько улиц, переходил мостики, дожидался меня у дверей магазинов, ресторана и, в конце концов, *заставил* купить эти намозолившие глаза венецианские открытки.

— Ну черт с тобой,— сердито сказал я.— Грабь меня!

— О, руссо... очень карашо! Краль.

— Именно — грабь и провались в преисподнюю. Ведь ты, братец, мошенник?

— Купаться,— подтвердил он, подмигивая.

Замечательно, что венецианцы знают одно только это русское слово и употребляют его в самых разнообразных случаях.

У Крысакова, по обыкновению, своя манера обращаться с этими надоедливыми комарами.

Он мерно шагает, не обращая ни малейшего внимания на приставания грязнорукого, темнолицего молодца, нагруженного пачками открыток и альбомов. Тот распинается, немолчно выхваляет свой товар, забегает спереди и сбоку, заглядывает Крысакову в лицо,— Крысаков с каменным, сонным лицом шагает, как автомат. И вдруг, среди этой болтовни и упрашиваний, Крысаков неожиданно оборачивается к преследователю, раскрывает сомкнутый рот и издает неожиданно такой пронзительный нечеловеческий крик, что итальянец в смертельном ужасе, как бомба, отлетает шагов на двадцать. У Крысакова опять спокойное каменное лицо, и он равнодушно продолжает свой путь.

Мифасов, наоборот, враг таких эксцентричностей. Разговор его с этими паразитами — образец логики и внушительности.

— Cartolina postale! — в десятый раз ревет продавец.

— Милый мой,— оборачивается к нему Мифасов.— Ведь мы уже тебе сказали, что нам не надо твоих открыток, зачем же ты пристаешь? Когда нам будет нужно, мы сами купим, а пока — настойчивость твоя останется без всякого результата.

У каждого свой характер. Сандерс и здесь остается Сандерсом.

— Carrrrrtolina postale!!!

Сандерс останавливается и начинает аккуратно пересматривать все открытки. Он берет каждую и медленно подносит ее к близоруким глазам. Пять, десять, двадцать минут...

— Нет, брат. Плохие открыточки.

Умирающий от скуки итальянец рад, наконец, когда эта пытка кончается, хватает забракованные открытки и удирает в какую-нибудь щель, чтобы прийти в себя и собраться с духом.

Когда мы подъезжали к Германии, Крысаков лаконично сказал:

— Тут пьют пиво.

И мы, покорные обычаям приютившей нас страны, принялись поглощать в неимоверном количестве этот национальный напиток.

В Венеции, едва мы переоделись после дороги и спустились на еще не остывшую от дневного зноя пьяцетту, Крысаков потянул носом воздух и сказал:

— Жареным пахнет. Вы спросите, что здесь пьют? Вино. Кьянти.

И началось царство кьянти. Добросовестность наша в этом случае стояла вне сомнений. Мы решились есть и пить во всякой стране только то, чем эта страна славится.

Поэтому в Германии выработался свой шаблон.

— Четыре кружки пива, бульон «мит-ай», шницель и братвурст мит-краут.

К этому заказу Крысаков неизменно прибавлял единственную немецкую фразу, которую он сам сочинил и которой оперировал в самых разнообразных случаях:

— Битте-дритте.

Он был ошеломляющим среди скучных немцев, со своим сияющим лицом, костюмом, осунувшимся от отсутствия пуговиц, чемоданом, распухшим, как дохлый слон, внутри которого скопились газы, и неизменным припевом ко всем нашим распоряжениям:

— Битте-дритте.

Ехал он в Европу с самым независимым видом, обещая поддержать нас в смысле языка, но в Германии ему не при-

шлось этого сделать, так как он знал только французский язык, в Италии его французского языка итальянцы не понимали, а во Франции французы вполне присоединились в этом смысле к итальянцам.

Так он и остался со своим загадочным:

— Битте-дритте.

Начиная с Венеции, мы разбились на две резкие группы: Мифасов и Сандерс — благомыслящая, умеренная группа, я с Крысаковым — бесшабашная разгульная пара, неприхотливая и небрезгливая до последней степени. Мы якшались с подонками населения, пили ужасное грошовое вино, ели каких-то пауков, каракатиц и разных морских чудовищ, пожирали червяков, похожих на макароны, и макароны, очень смахивавшие на червяков, а Мифасов и Сандерс, обедая в приличных дорогих ресторанах, лишь изредка ходили за нами, наблюдая издали за нашими поступками.

Однажды мы затащили их в такую остерию, что Мифасов, прежде чем сесть на скамью, покрыл ее осторожно газетой.

— Ну, ребятки,— оскалил зубы Крысаков.— Покушаем, ха-ха, покушаем... Женщина! Синьора хозяйка! Дайте нам вон этих штучек и этих... Эту рыбку зажарьте да макарон закатите посмешнее. Да кьянти не забудьте, лучшее, что есть в вашем погребе.

Нам подали стряпню, о которой лучше не говорить, и вино, о котором нужно сказать только то, что хотя бутылка и была покрыта паутиной, но, вероятно, в этом погребе паук содержался на определенном жалованье — так все было нехорошо сделано.

— А вы что же, милые? — радушно обратился Крысаков к Мифасову и Сандерсу.— Кушайте, угощайтесь.

— Я сыт,— осторожно сказал Мифасов,— и кроме того, сейчас иду в ресторан.

Бедному Сандерсу очень хотелось заслужить наше расположение; он принял молодецкий вид, наложил себе на тарелку немного кушанья и, осмотрев его, спросил:

— Это что? Рыба или мясо?

— Бог его знает. Среднее между рыбой и мясом. Земноводное. Во всяком случае, оно уже умерло, и вы его не жалейте.

Наши друзья смотрели на нас с отвращением, мы на них с презрением...

Утолили голод прекрасно, хотя на тарелке осталась целая гора макарон; в остерию зашла нищенка, увидела, что мы оставили недоеденным лакомое блюдо, и попросила разрешения докончить его.

Мы радушно усадили ее между застывшим Мифасовым и Крысаковым, налили ей винца, чокнулись и выпили за благополучие красавицы Венеции.

Без хвастовства могу сказать, что мы двое чувствовали себя вполне в своей тарелке, отличаясь этим от макарон, быстро перешедших с тарелки в желудок нашей соседки.

— Что, миленькие мои,— язвительно спросил Крысаков, когда мы вышли.— Вы ведь привыкли «спускаться к обеду, когда ударит гонг»? Здесь это проще: трахнет один гость другого бутылкой по голове — вот тебе и гонг. Можешь обедать с чехлом от чемодана на плечах вместо смокинга...

Сандерс и Мифасов нас презирали, не скрываясь — это было ясно.

— Вы заболеете от такой пищи! — предупредил Сандерс.

Он угадал: на другой день я был болен легкой лихорадкой, но, к несчастью, заболел и Сандерс, который питался «по гонгу». Этим блестяще опровергалась его теория.

И опять Крысаков трогательно, как сестра милосердия, ухаживал за нами. Сочинял нам разные лекарства, натирал нас вином и коньяком, отделяя для себя известный процент этих медикаментов в виде гонорара; совал нам под мышку термометры, вскакивал ночью и, встревоженный, прибегал к нам, чтобы пробудить нас от крепкого сна; мне рекомендовал холодную ванну, а Сандерсу горячую, хотя симптомы были у нас совершенно одинаковые...

2

Купанье на Лидо.— «Русским языком я тебе говорю!» — Гондолы.— Паразиты.— Собор св. Марка.— Перепроизводство дожей.— Школа св. Маргариты.— Снова и снова Сандерс болен.— Как мы купались

Через два дня Крысаков нашел нас совершенно здоровыми и повез на Лидо купаться.

И опять на долгое время погрузился я в состояние тихого восторга. Небо, какого нет нигде, вода, которой нет нигде, и берег, которого нет нигде.

Милые, милые итальянцы!.. Они не стыдливы и просты, как первые люди в раю. И удивительно, как сатириконцы быстро ко всему приспосабливаются: едва мы разделись и натянули на себя «трусики» величиной в носовой платок — как сразу почувствовали себя маленькими детьми, которых нянька полощет в ванне. Похлопывая себя по груди и бокам, ринулись мы на песок, не стесняясь присутствия дам, зарылись в него, выскочили, огласили воздух победным криком и обрушились в воду, подняв такое волнение, что, вероятно, не одно судно, паруса которых мелькали вдали, перевернулось и пошло ко дну.

Мужчины и дамы, полоскавшиеся около, смотрели на нас с некоторым удивлением. Эта обуглившаяся от солнца публика долго любовалась на наши белые, как молоко, северные тела, причем один из ротозеев соболезнующе сказал:

— Это недолго. Через три дня почернеете.

— О, милые! — возразил Крысаков.— Мы пожираем таких же пауков и спрутов, каких пожираете вы, пьем ваше кьянти, готовы петь и плясать по-вашему целый день, разделись голые, как вы сейчас, не стесняясь дам — почему же нам и не сделаться такими же черными, как вы?

Мы упали животами на песок и, надвинув на затылки панамы, подставили свои плечи и ноги под жгучий каскад горячего, как кипяток, солнца.

Крысаков, впрочем, нашел в себе силы доползти до Сандерса, приподнять его панаму и нежно поцеловать в темя.

— Зачем? — лениво спросил Сандерс.

— Инженер. Люблю инженеров.

И мы погрузились в нирвану.

Когда мы одевались, я услышал в соседней кабинке странный диалог.

Незнакомый сиплый голос говорил:

— Русским языком я тебе говорю или нет: принеси мне лампадочку вермутцу позабористее.

Голос слуги при кабинках — старого, выжженного солнцем итальянца-старика в матроске (я его видел раньше) отвечал:

— Нон каписко.

— Не каписко! Чертова голова! Не каписко, а вермут. Ну? Русским языком я тебе, кажется, говорю: вермут принеси, понимаешь? винца!

— Нон каписко.

— Да ты с ума сошел? Кажется, русским языком я тебе говорю... и т.д.

— Слушайте! — крикнул я.— Вы русский?

— Да, конечно! Кажется, русским языком говоришь этому ослу...

— На них это не действует... Скажите ему по-итальянски...

— Да я не умею.

— Как-нибудь... «прего, синьоре камерьере, дате мио гляччио вермуто...» Только ударение на «у» ставьте. А то не поймет.

— Ага! Мерси. Эй ты, смейся паяччио! Дате мио, как говорится, вермуто. Да живо!

— Субито, синьоре,— обрадовался итальянец.

— То-то, брат. Морген фри.

Мы оделись, уселись на пароход и покатили в Венецию, свежие, безоблачно радостные, голодные как волки зимой.

Это были прекрасные дни. Долгими часами бродили мы по закоулкам среди старых величавых дворцов, любуясь небом, прислушиваясь к мрачной тишине узеньких каналов, которую редко-редко когда нарушит тяжело нагруженная кирпичом или овощами лодка. В лодке — итальянец и, конечно, он спит, прикрыв шляпой бронзовое лицо и щедро подставляя под солнце бронзовые руки и ноги...

По всей Венеции разлит сладкий яд невыразимой лени и медлительности... Уличного шума нет, потому что нет грохота экипажей и криков извозчиков. А венецианские гондольеры, в большинстве случаев, молчаливы и сосредоточенны. Жизнь — вечный медленный праздник. Публика шагает не спеша, останавливаясь на каждом шагу, гондолы ползут лениво, потому что спешить некуда и пассажир все равно дремлет, изредка поднимая отяжелевшие от истомы веки и скользя ленивым взглядом по облупившимся фасадам примолкших дворцов и покосившимся причалам, которые зыбкой линией отражаются в черной воде уснувшего канала...

На пьяццете, у берега большого канала, жизнь шумнее. Здесь десятки черных гондол мерно качают своими благородными, прекрасной формы носами, а лодочники, как стая разбойников, притаившись, стерегут проходящего

форестьера, растерянного и сбитого с толку необычностью всего окружающего.

Стоит только показаться иностранцу, как поднимается неимоверный крик десятков хриплых глоток:

— Гондола, гондола, гондола!

Выйдя из гостиницы (тут же на пьяццете), я подхожу к берегу и делаю знак. С радостным воем гондольер прыгает в гондолу и, как птица, подлетает ко мне. Сейчас же откуда-то из-за угла дома вылетают: 1) здоровенный парень, роль которого — подсадить меня, поддержав двумя пальцами под локоть; 2) другой здоровенный парень, по профессии придерживатель гондолы у берега какой-то палочкой, — хотя гондола и сама знает, как вести себя в этом случае; 3) нищий, по профессии пожелатель доброго пути, и 4) мальчишка-зритель, который вместе с остальными тремя потребует у вас сольди за то, что вы привлекли этой церемонией его внимание.

Я сажусь; поднимается радостный вой, маханье шапками и пожелания счастья, будто бы я уезжаю в Африку охотиться на слонов, а не в ресторанчик через две улицы.

При этом все изнемогают от работы: парень, который подсаживал меня двумя пальцами, утирает пот с лица, охает и, тяжело дыша, придерживает рукой готовое разорваться сердце; парень, уцепившийся тоненькой палочкой за борт гондолы, стонет от натуги, кряхтит и всем своим видом показывает, что если в Италии и существуют каторжные работы, то только здесь, в этом месте; нищий желает вам таких благ и рассыпается в таких изысканных комплиментах, что не дать ему — преступно; а ротозей-мальчишка вдруг бросается в самую средину этого каторжного труда и немедленно принимает в нем деятельное участие: поддерживает под локоть того парня, который поддерживал меня.

Если вдумаешься в происшествие, то только всего и случилось, что я сел в лодку... Но сколько потрачено энергии, слов, споров, советов и пожеланий. Четыре руки с четырьмя шляпами протягиваются ко мне, и четверо тружеников, получив деньги, дают клятвенное уверение, что теперь, после моего благородного поступка, обо мне позаботятся и святая Мария, и Петр, и Варфоломей!

Я говорю гондольеру адрес, мы отчаливаем, тихо скользим по густой воде и, после получасовой езды, подплываем

к самому ресторану. Кто-то на берегу приветствует меня радостными кликами. Кто это? Ба! Уже знакомые мне: придерживатель гондолы, подсаживатель под руку, пожелатель счастья и мальчишка поддерживатель поддерживателя под руку.

Они объясняют мне, что слышали сказанный мною гондольеру адрес и почли долгом прийти сюда, чтобы не оставить доброго синьора в безвыходном положении. Опять кипит работа: один придерживает гондолу, другой суетливо призывает благословение на мою голову, третий меня придерживает под руку, а четвертый поддерживает третьего.

Милая, голодная, веселая, мелкожульническая и бесконечно красивая даже в этом жульничестве Италия!

Нас обманывали на каждом шагу, но так мелко, так дешево, что мы только посмеивались.

У собора св. Марка целая туча гидов. Показывают собор, показывают могилу какого-то знаменитого дожа, настолько знаменитого, что потом в каждой церкви нам показывали могилу, где лежали настоящие, подлинные останки этого удивительного дожа.

Однажды я не вытерпел и спросил:

— Вы говорите, что это настоящая могила, в которой лежит настоящее, подлинное тело дожа Марка X?

— Си, синьоре, только у нас!

— Странно... я до вас был в семи церквах и в каждой мне показывали настоящее трупохранилшце Марка X.

— Они вам показывали? — презрительно возразил проводник. — Хотел бы я посмотреть ихнего дожа! Воображаю... Вероятно, что-нибудь курам на смех. Туда же... лезут со своими дожами. У нас, синьор, такой дож Марко X похоронен, что пальчики оближете.

У меня осталось смутное впечатление, что в прежние времена трупы знаменитых дожей заготовлялись оптовым способом на одной из немецких фабрик и потом рассылались во все церкви, чтобы никому не было обидно...

Когда мы осмотрели собор св. Марка, гид, показывавший нам собор, опустил голову, отошел поодаль и задумался: «Что бы еще такое показать?»

Вспомнил. Показал то место, где Барбаросса стоял перед папой на коленях. Место было самое обыкновенное. Задумался. Вспомнил. Показал то место, где сидел папа.

— Ну, довольно,— сказали мы.— Все!

— Нет! — остановился гид.

Задумался. Вспомнил. Показал то место, на котором Барбаросса не стоял. Мы внимательно осмотрели указанное место. Понравилось.

— Я сейчас вам покажу мраморную колонну, отнятую у турок.

— Не надо,— сухо сказали мы.

— Покажу то место, где стояли кардиналы, когда Барбаросса...

— Не надо!

Он призадумался.

— Хотите, может быть, красивую синьору? Очень скромная, молодая, а?

— Пойди к черту!

— Открыток не надо ли? Вот хорошие есть. Эй, Джузеппе! Иди сюда, вот господам нужно открытки.

— К дьяволу! Ничего нам не нужно.

— Ага! Я знаю, что вам показать... Хотите видеть школу святой Елизаветы?

— Это интересно,— сказал Крысаков, обращаясь к нам.— Мне очень хотелось бы видеть, как у них поставлено учение... Ведите!

Мы последовали за гидом.

Он привел нас в какое-то помещение, одна часть которого была занята венецианским стеклом, а другая — несколькими десятками рабочих, копавшихся над какими-то мраморными статуэтками и мозаикой.

— Вот,— сказал гид, подмигивая хозяину,— эти господа хотят что-нибудь купить.

— Это что такое? — сурово спросил Мифасов.

— Школа святой Елизаветы!

— Это такая же школа, как ты честный человек. Ах ты, мошенник! Какая это школа?! Разве такие школы бывают?

— Я не понял синьоров,— сказал гид, сверкая зубами... — Школу желаете? Пожалуйте, я проведу вас в школу. Школу святой Маргариты! Синьоры останутся довольны.

Он повел нас, треща, как попугай, приплясывая и беспрестанно оборачиваясь...

Привел... Среди десятка манекенов сидели и плели кружева несколько прехорошеньких девушек.

— Вот,— сказал гид.— Настоящие венецианские кружева.

Меня удивило, что никто из нас не рассердился.

Наоборот, все подошли к красавицам и с захватывающим интересом стали следить за их работой.

Крысаков настолько заинтересовался проворством маленьких ручек, что взял одну из них и поцеловал.

— Нет,— сказал гид.— Я только хотел предложить вам купить кружева.

В другом углу Сандерс внимательно рассматривал плетенье, остановив работу самым примитивным способом: взял обе руки работницы в свои.

— Мифасов! — печально сказал я.— Только мы с тобой и отличаемся суровой нравственностью и закаленным сердцем.

— Да, да... Послушай... Тебе не нужен тот цветочек, что торчит в твоей петлице? Дай мне. Я приколю его к груди той, вон, высокой, черной...

«Боже,— подумал я с отвращением.— Эти люди, как тигры, набросились на беззащитных девушек...»

Глубокое чувство сожаления охватило меня. Я нежно-покровительственно обвил талию ближайшей работницы и шепнул:

— Не бойтесь! Я не подпущу их к вам.

— Пойдем, синьоры,— сказал гид, лицо которого вытянулось.— Я вижу, что вы ничего не купите...

Действительно, мы вышли из «школы Маргариты», не купив даже аршина кружев.

— Все-таки,— задумчиво сказал Крысаков.— У них школьное дело обставлено недурно.

Когда наступил назначенный заранее день нашего отъезда из Венеции, мы с Сандерсом снова заболели.

Поезд уходил в пять часов вечера, и мы аккуратно пролежали до 4 часов вечера.

— Теперь уже на поезд не успеешь? — осторожно спросил Сандерс.

— Нет. Пока соберемся, пока гондола доползет...

— Ну, значит, можно вставать. Господи! Какое счастье еще один денек пожить в Венеции!

Мы вскочили, оделись и пошли бродить.

На другой день печаль разрывала наши сердца — нужно было уезжать.

Мы обошли все уголки, простились с Венецией, но... случилась непредвиденная вещь: в три часа дня заболел Мифасов.

— Плохо мне что-то,— сказал он.— Знаю, что нынче обязательно нужно ехать, но не могу встать.

— Гм... Ну, ты полежи, а мы поедем на Лидо купаться. Все равно уж, раз остались...

— И я с вами...

— С ума вы сошли! Смотрите-ка! У него лихорадка, а он — купаться!

Укутали Мифасова, пошли завтракать, побродили по переулкам и поехали на Лидо.

Разделись, легли на песок. Вдруг Крысаков поднялся на локтях и, глядя в воду, неуверенно сказал:

— Гм! Если бы Мифасов сейчас не лежал в Венеции в жестокой лихорадке, я бы подумал, что это он!

— А, это вы, братцы,— пролепетал Мифасов, сконфуженно потирая тощую грудь.— А мне сделалось этого, знаете... как его? лучше! Да, сделалось лучше — я и приехал.

Признаться ли? Все мы втайне были благодарны за его ловкий прием. Пожить еще один день в Венеции! Этот Мифасов всегда придумает что-нибудь остроумное.

И в последний раз вошли мы в лазурные воды Лидо...

У всякого была своя манера купаться. Сандерс заплывал так далеко, что я, теряя его из виду, начинал подумывать о приискании, по возвращении в Россию, нового секретаря.

Крысаков, повертевшись в воде две минуты и наглотавшись соленой воды, вполне удовлетворенный, выбегал на берег и принимался за разные гадости: бросал в нас песком, завязывал узлы на рубашках и носился, как сорвавшийся с цепи слон, по всему побережью.

Мифасов входил в воду с таким лицом, что будто бы он уже махнул рукой на жизнь и что морская пучина — близкая его могила. Валился на полуаршинной глубине во весь свой длинный рост и, выпучив в безумном паническом ужасе глаза, размахивал бешено руками с видом человека, решившегося дорого продать жизнь.

Со стороны казалось, что это человек среди океана борется с гигантским волнением и тонет, одинокий... На самом деле стоило ему только протянуть руку, чтобы она коснулась берега.

В первый раз, когда я увидел его полный отчаяния взгляд и бешеные спазматические движения на полуаршинной глубине, то, обеспокоенный, спросил:

— Боже мой! Что это ты делаешь?

— Плаваю! — прохрипел этот лихой малый.

— Где? Ведь тут глубины не больше двух футов.

— Что ты! Я ведь ногами до самого дна достаю.

Я не хотел ему говорить, что этого же результата он достигает на любой городской улице, где воды нет. Но, взглянув на его покрытое предсмертным потом лицо и отчаянный лихой взгляд — промолчал.

Может быть, кто-нибудь спросит, как плаваю я?

Боже мой! Да конечно — превосходно.

ФЛОРЕНЦИЯ

Мнение путеводителя. — Испорченный механизм Мифасова. — Фьезоле. — Катанье в странном экипаже. — Человек, перещеголявший Сандерса. — Мы растерялись. — Поиски. — Остроумный плакал. — Опять Фьезоле

В путеводителе о Флоренции сказано:

«Этот город можно назвать самым красивым из всех итальянских городов».

А о Венеции в том же путеводителе сказано:

«Этот город считается самым красивым из всех итальянских городов».

К Риму составитель путеводителя относится так:

«Рим можно назвать самым красивым из всех итальянских городов».

Можно сказать с уверенностью, что жена составителя путеводителя в своей семейной жизни была не особенно счастлива. Каждую встретившуюся женщину увлекающийся супруг находил «лучше всех».

Венеция — царица, а Флоренция — ее красивая фрейлина, поддерживающая царственный шлейф. В Венеции нужно наслаждаться жизнью, во Флоренции — отдыхать от жизни.

Благородным спокойствием обвеяна Флоренция.

Улицы без крика и гомона, роскошная зелень недвижно дремлет около белых дворцов, а солнце гораздо ласковее, нежнее, чем в пылкой Венеции.

Едва мы умылись в гостинице и переоделись, я спросил:

— Что хотел бы каждый из вас сейчас сделать?

— Меня интересует,— нерешительно сказал Мифасов,— постановка их школьного дела.

Крысаков пожал плечами и взглянул на часы:

— Поздно! Они уже, наверно, кончили свои кружевные дела. Меня интересует — едят ли здесь что-нибудь? Я хочу есть.

— А вы, Сандерс, чего хотите?

Он вздохнул, поглядел в окно, передвинул ногой чемодан и сказал:

— Я...

Мы терпеливо подождали.

— Ну ладно! Выскажетесь по дороге. Некогда.

— Надо, господа, ехать во Фьезоле,— предложил Мифасов.— Полчаса езды на трамвае. Там прекрасно. Красивое местоположение, зелень.

Совет Мифасова поставил нас в затруднительное положение. За час перед этим я заглядывал в путеводитель и нашел такие сведения: «Фьезоле, полчаса езды от Флоренции в трамвае; прекрасное местоположение, масса зелени».

Но раз это же самое утверждал Мифасов, я усомнился: нет ли ошибки в путеводителе? Потому что не было большего неудачника в подобных случаях, чем Мифасов. У него была прекрасная память, но какая-то негативная: все запоминалось наоборот.

— Может быть, Фьезоле не около Флоренции, а около Рима? — спросил, колеблясь, я.

— Нет, здесь.

— Может быть, это какая-нибудь скверная дыра? Не спутал ли ты, Коленька... А? Ну-ка, вспомни.

— Нет, там хорошо.

И что же... Не успел трамвай доехать до места назначения, как мы убедились, что это Фьезоле и что оно действительно прекрасно.

— Тут есть, господа, остатки древнего цирка. Можно взять лошадок и съездить посмотреть. Близко.

— Коля, — осторожно сказал Крысаков, — может быть, это не цирк, а театр, а? И не старый, а новый? Ну-ка вспомника. Может, до него далеко? Может, тут не лошадки возят, а мулы или верблюды?

В механизме Мифасова что-то испортилось: цирк был действительно древний и находился он близехонько.

Когда я сравниваю себя с товарищами, мне прежде всего бросается в глаза разница нашей духовной организации. Попробуйте спросить меня, что осталось в моей памяти от Флоренции и Нюрнберга? Я отвечу в первом случае: красивая грусть, которой проникнуто было все; во втором случае: идиллическое настроение на фоне суровых, тесно сдвинувшихся зданий, в окна которых, казалось, грозно глядят прошлые, серые века, закованные в латы и отягощенные доспехами. А спросите о Флоренции и Нюрнберге моих товарищей. От всего Нюрнберга уцелел толстый немец Герцог, хозяин кабачка, в котором нас угостили несравненными кровяными колбасами, братвурстом и изумительным пивом. Я до сих пор не могу забыть ни этих колбас, ни этого пива... Флоренция? Фьезоле? О, конечно, при этом слове у моих друзей засверкают глаза и польются воспоминания:

— Помните кьянти? Нигде во всей Италии нам не давали такой прелести! А асти? Нигде нет такого! А мартаделла, а гарганзола!! А какая-то курица, приготовленная таинственно и чудесно. Ах, Фьезоле, Фьезоле!..

Действительно, должен сознаться, что ни этого вина, ни этих чудесных кушаний забыть нельзя. Ах, Фьезоле, Фьезоле!

После этого чудесного пира мы, ласковые и разнеженные, вышли из увитого зеленью дворика крохотного ресторана и бодро зашагали, полные искренней любви друг к другу. Крысаков не преминул снять с Сандерса шляпу и нежно поцеловать его в темя.

— Почему? — спросил сонно Сандерс.

— Славный вы человек. Дай Бог вам всего такого...

Идя сзади под руку с Мифасовым, я шепнул ему:

— В сущности, они хорошие ребята, не правда ли?

— Превосходные. В них есть что-то такое...

Он споткнулся, но я дружески поддержал его.

— Стойте! — закричал Крысаков. — Экипаж! Поедем на нем. Эй, ты! Свободен?

Это был большой, черный, поместительный экипаж, влекомый парой лошадей, которых вел под уздцы парень в грязном темном костюме.

— А флорентийцы, как и венецианцы,— люди одного вкуса. Все у них выдержано в черных тонах. Садитесь, господа! Фу ты, как неудобно...

Кучер что-то закричал и стал прыгать и кривляться около экипажа.

— Что он делает?

— Наверное, какая-нибудь секта. Эти итальянцы, вообще...

— Может быть, он занят? Спросите его по-французски.

По-французски возница не понимал.

— Свободен? — спросил Мифасов.— Либро? Э? Твоя экипажа свободна есть? Либро?

Экипаж оказался свободен, и тем не менее возница очень не хотел, чтобы мы садились. Он кричал и бесновался...

— Покажите этому флорентийскому ослу пять лир. Может быть, это его успокоит.

Мы показали смятую бумажку и победоносно полезли в экипаж.

Возница застонал, всплеснул руками, вскочил на облучок, ударил по лошадям,— и экипаж поскакал, бешено подпрыгивая на каменистой мостовой.

Прохожие, встречаясь с нами, взмахивали руками и кричали что-то нам вслед; мальчишки бежали за нами, приплясывая и оглашая воздух немолчными воплями.

— Какое приветливое народонаселение,— сказал Мифасов удовлетворенно.— Вообще итальянцы всегда хорошо относятся к иностранцам.

— А может быть, они принимают нас за каких-нибудь должностных лиц? — спросил честолюбивый Крысаков.

— Ну знаете... Мы больше смахиваем на конокрадов.

— О черт. Ударился головой о верх! Знаете, я думаю, этот экипаж не создан для быстрой езды.

В справедливости слов Крысакова мы не замедлили убедиться через две минуты. Навстречу нам очень медленно подвигался такой же самый экипаж. Возница степенно вел четырех лошадей под уздцы, а сзади шагали погруженные в задумчивость люди. В экипаже был только один пассажир, и тот не сидел, а лежал, чинно сложив ва груди руки.

— Посмотрите-ка, что это?

— Д-а-а... Гм!..

— Знаете что? Тут уж нам недалеко; пройдемся пешком.

— Идея! А то мы совсем без движения...

— Растолстеешь,— согласился Крысаков, поспешно спрыгивая с нашего странного экипажа.

Домой мы добрели молча. Говорить не хотелось.

Уезжали на другой день утром. Во Флоренции нам удалось видеть самого медлительного человека в мире. Сандерс казался перед ним человеком-молнией.

Наша гостиница была около самого вокзала, через дорогу. Портье сказал, что он довезет наши вещи на тележке; а мы можем пойти вперед, брать билеты. До поезда оставалось двадцать пять минут. Мы взяли билеты, просмотрели юмористические журналы; до поезда осталось десять минут. Выпили бутылку вина, проверили билеты, проверили время отхода — осталось три минуты.

— Проклятое животное! Мы опоздали. Не украл ли он наши вещи?

— Пусть кто-нибудь побежит за ним.

— А вдруг он сейчас откуда-нибудь вынырнет?

— Как же мы поедем без одного. Нам разлучаться нельзя.

— Теперь уж не разлучимся.

— Почему?

— А вот... наш поезд... тронулся.

Когда хвост поезда скрылся где-то за горизонтом, послышалось тихое пение, и портье, мурлыча популярную канцонетту и толкая впереди тележку с нашими вещами, показался из-за угла. Он подвигался популярным среди нас «шагом Сандерса» со скоростью десяти ругательств спутника в минуту.

Остановился... Вытер лицо красным платком, закурил сигару, пожал руку знакомому факкино и, заметив в углу нашу молчаливую группу, благодушно спросил:

— Опоздали? Поезд ушел?

— Ушел.

— Та-ак.

— Ну, что новенького в Риме? — спросил, сдерживая себя, Крысаков.

— О, я, синьоры, к сожалению, не был там.

— Неужели? Я думал, вы сейчас туда заезжали по дороге. Благополучно ли вы переправились через неприступное ущелье, отделяющее гостиницу от вокзала?

— О, синьоры, дорога совершенно прямая.

— Знаете, кто вы такой, синьор портье? Идиот, грязное животное, негодяй и бригант!

К французскому языку он относился совершенно равнодушно, что было видно из того, что лицо его оставалось сонным, и под градом ругательств он сладко затягивался отвратительной сигарой.

— По-итальянски бы его,— свирепо сказал я.

— Ладно. Кто будет?

— Говорите вы. А мы будем составлять фразы.

Каждый из нас знал по несколько итальянских ругательств, но это было плохое, разрозненное издание. Приходилось собирать у каждого по несколько слов, систематизировать и потом уже в готовом виде подносить их Крысакову для передачи по адресу.

Мы расселись на своих чемоданах, и фабрика заработала. Мы с Мифасовым произносили слова, Сандерс их склеивал, а Крысаков громовым голосом бросал уже готовый фабрикат в лицо обвиняемому.

Обвиняемый присел на пустую тележку, надвинул шапчонку на глаза и закрыл лицо руками.

Когда мы с Мифасовым опустошили себя, оказалось, что негодяй заснул.

— Пойдем жаловаться хозяину гостиницы.

Они ушли, а я остался около вещей. Прошло очень много времени; я видел, как ушел второй поезд на Рим, и узнал, что следующий уходит только через три часа. Велел факкино отнести вещи в багаж, а сам пошел бродить по городу, чтобы протянуть время до поезда. Обиженный, покинутый, плотно позавтракал. За час до отхода поезда вернулся на вокзал. Никого не было. Потом оказалось, что Сандерс, Крысаков и Мифасов пришли после моего ухода на вокзал. Увидели, что меня нет, и отправились искать меня по городу. Зашли по дороге в альберго, хорошо позавтракали. Потом опять искали. А я пришел на вокзал, никого не нашел и, встревоженный, отправился на поиски. Искал долго, устал... Зашел в ресторан пообедать. В это время потерянные друзья опять навестили вокзал, не нашли

меня и снова пустились в поиски; заглядывали в рестораны, остерии; в одной решили пообедать. А поезда приходили из Рима, уходили в Рим, сновали туда и сюда, не дожидаясь несчастной, расползшейся по всему городу компании. Группа «Мифасов, Сандерс и Крысаков» устроила заседание, по поводу потерявшейся группы «Южакин», и решила поставить поиски на самую широкую ногу: город был разбит на районы; на углах улиц поставлена была цепь сторожевых (Мифасов); член этой человеколюбивой экспедиции Сандрес был командирован на вокзал со специальным поручением: наклеить в багажном отделении на мой чемодан глубокомысленный плакат:

«Если вы придете на вокзал, забирайте вещи и идите в гостиницу «Палермо», где мы ночуем. А если не придете на вокзал, мы вечером — в шантанчике у Рынка Свиньи, туда прямо и идите».

Ниже приписка карандашом:

«Впрочем, что я за дурак: если вы не придете на вокзал, как же вы узнаете, что мы вечером у Рынка Свиньи? Тогда ведь вы не будете знать, где мы. В таком случае, поезжайте в «Палермо» и вечером просто ложитесь спать. Крысаков кланяется».

— А, ну вас,— подумал я.— Не люблю людей, делающих ложные шаги. К черту ваш Рынок Свиньи! Поеду-ка я лучше на Фьезоле, в этот милый кабачок.

Потом я выяснил, что мои спутники к концу вечера растеряли друг друга и каждый очутился в одиночестве. Это произошло потому, что Крысаков, вместо того чтобы ждать Сандерса в условленном месте, решил пойти ему навстречу; Сандерс, наоборот, решил зайти по дороге за Мифасовым, а Мифасов отправился к Крысакову, не нашел его, полетел на вокзал,— и четыре человека весь день бродили в одиночестве по флорентийским улицам. Каждый из них был раздражен глупостью других и, не желая их видеть, решил провести вечер в одиночестве.

Поэтому Крысаков был чрезвычайно изумлен, обнаружив меня на Фьезоле, в излюбленном ресторанчике, а Сандерс и Мифасов, появившиеся почти в одно время за нашими спинами, сочли это каким-то колдовством.

Сначала, усевшись, мы сделали кое-какую попытку разобраться в происшедшем, но это оказалось таким сложным,

что все махнули рукой, дали клятву не разлучаться и... курица по-итальянски, выплывшая из ароматной струи асти, смягчила ожесточившиеся сердца.

РИМ

Сандерс сокрушается.— Старина.— Я стараюсь перещеголять гида.— Колизей.— Сандерс в катакомбах. — Музей.— Тяжелая жизнь.— Художественное чутье.— Дорогая палка.— Уна лира

Рим не на всех нас произвел одинаковое впечатление. Когда мы осмотрели его как следует, Сандерс засунул руки в карманы и спросил:

— Это вот и есть Рим?

— Да.

— Это такой Рим?

— Ну конечно. А что?

— Гм, да...— протянул он, ехидно усмехаясь.— Так вот он, значит, какой Рим...

— Да, такой. Вам он не нравится?

— О, помилуйте! Что вы! Как же может Рим не нравиться? Смею ли я...

Свесив голову, он долго повторял:

— Да-с, да-с... Вот оно как! Рим... Хи-хи. А я-то думал...

— Что вы думали?

— Ничего, ничего. Городок-с... Городочек-с! Хи-хи.

Мы пробовали рассеять его огорчение.

— Он, правда, немножко староват... Но зато...

— Да, да... Староват. Но зато он и скучноват. Он и грязноват. Он и жуликоват. Хи-хи!

В этом смысле я резко разошелся с Сандерсом. Рим покорил мое сердце. Я не мог думать без умиления о том, что каждому встречному камню, каждому обломку колонны — две, три тысячи лет от роду. Тысячелетние памятники стояли скромно на всех углах, в количестве, превышающем фонарные столбы в любом губернском городе.

А всякая вещь, насчитывавшая пятьсот, шестьсот лет, не ставилась ни во что, как девчонка, замешавшаяся в торжественную процессию взрослых.

Я долго бродил с гидом по Форуму, среди печальных обломков старины, и в ушах моих звенели диковинные цифры:

— Две тысячи лет, две с половиной! Около трех тысяч лет...

Когда мы брели усталые по сонным от жары улицам, я остановился около мраморного, позеленевшего от воды и лет фонтана и сказал:

— О! Вот тоже штучка. Я думаю, не из новых.

Гид пожал плечами, сплюнул в струю воды и возразил:

— Дрянь! Всего-то восемьсот лет.

На углу меня заинтересовала чья-то бронзовая статуя.

— Господин,— сказал гид,— если мы будем останавливаться около таких пустяков — у нас не хватит недели.

— Вы это считаете пустяком?

— О, Господи ж! Поставлен в прошлом столетии.

— Однако,— сказал я.— Как же вы терпите эту ужасную новую ярко позолоченную конную статую Виктора Эммануила?

— О, ведь это вещь временная. Этот памятник еще не готов.

— Почему?

— Он будет готов через шестьсот — семьсот лет, когда позолота слезет. Тогда это будет благороднейшее старинное произведение искусства.

— Странный обычай. У нас, в России, таким способом заготовляют только огурцы впрок. Раз он не готов — не нужно было его открывать...

— Закрытыми такие вещи нельзя держать,— возразил гид.— Тогда позолота и в тысячу лет не слезет.

Я проникся культом старины даже гораздо раньше, чем этого мог ожидать гид.

В сумерки он зашел ко мне в гостиницу и предложил, лукаво ухмыляясь:

— Не желает ли господин посмотреть тут один шантанчик?

— Старый? — спросил я.

— О нет, совершенно новый, недавно отремонтированный.

— Так что ж вы мне его предлагаете! Еще если лет восемьсот, девятьсот...

— О, тогда господину нужно пойти в кафе Греко.

— Старое?

— О да. Еще в восемнадцатом веке...

— Только-то? Нет, мой дорогой. Я полагаю, его можно будет посещать лет через триста... и то с большой натяжкой...

Я имею основание думать, что гид почувствовал ко мне тайное почтение. Он поклонился и сказал:

— В таком случае не посмотрите ли вы завтра собор святого Петра?

— О,— равнодушно пожимая плечами, промямлил я, — вы говорите — святого? Это, вероятно, что-нибудь уже после Рождества Христова?

— Да, но...

— Знаете что? Отложим это до будущего приезда. Все-таки будет годиком больше, а?

— Ну, я знаю, что господину нужно... Он завтра утром посмотрит Колизей и термы Каракаллы.

— Ну что ж,— сказал я.— Я полагаю, что это меня позабавит.

На другой день утром автомобиль в двадцать минут доставил нас прямо к Колизею. Был прекрасный жаркий день.

Лицо гида сияло гордостью и торжеством.

— Вот-с! Извольте видеть.

— А где же Колизей?

Гид побледнел:

— Как... где?.. Вот он, перед вами!

— Такой маленький? Тут повернуться негде.

— Что вы, господин! — жалобно вскричал гид. — Он громаден! Это одно из величайших зданий мира. Пожалуйте, я вам сейчас покажу ямы, где содержались звери до представления и откуда их выпускали на христиан.

— Там сейчас никого нет? — осторожно спросил положительный Мифасов.

— О синьор, конечно. Вам со мной нечего бояться. Вот видите, остатки этих громадных стен; все они были облицованы белым мрамором — такую работу могли сделать только рабы.

— А где же мрамор?

— Монахи утащили в Ватикан. Весь Ватикан построен из награбленного отсюда мрамора.

— Ага! — сказал Сандерс,— око за око... Сначала звери в Колизее драли христиан, потом христиане ободрали Колизей.

— О, — сказал гид, — христианство погубило красоту Рима. Это была месть язычеству. Лучшие памятники разграблены и уничтожены Ватиканом. Вам еще нужно взглянуть на бани Каракаллы и на катакомбы.

Добросовестный гид потащил нас куда-то в сторону, и мы наткнулись на грандиозные развалины, на стенах которых еще кое-где сохранилась живопись, а на полу — чудесная мозаика.

Мы, притихшие, очарованные, долго стояли перед этим потрясающим памятником рабства и изнеженности, над которым несколько тысячелетий пронеслись, как опустошительный ураган, пощадив только то немногое, что могло дать представление нам, узкогрудым потомкам, о мощном размахе предков.

И мне захотелось остаться тут одному, опуститься на обломок колонны и погрузиться в сладкие мечты о безвозвратно минувшем прошлом. Так хотелось, чтобы никого около меня не было, ни гида, ни Сандерса, с его сонным видом и вечным стремлением завязать спор по всякому ничтожному поводу, ни размашистого громогласного Крысакова, ни самоуверенного кокетливого Мифасова, которому до седой старины такое же дело, как и ей до него.

В это время ко мне приблизился Мифасов и сказал тихонько:

— Вот она, старина-то!.. Так хочется побыть одному, без этого хохотуна Крысакова, без вялого дремлющего Сандерса, которому, в сущности, наплевать на всякую старину... Так хочется посидеть часик совсем одному.

За моей спиной послышался шепот Сандерса:

— Вас не смешат, Крысаков, эти два дурака, которые, вместо того чтобы замереть от восторга, шепчутся о чем-то? Как бы мне хотелось, чтобы никого из них не было!.. Сесть бы в уголочке да помечтать.

— Да, да, — сказал Крысаков. — Мне тоже. Чтобы никого не было!.. Ну, разве только вы, — деликатно добавил он.

Были мы в катакомбах. Сырой, холодный воздух, зловещий шорох наших ног, огонек свечи, освещающий пространство в ладонь величиной, и тяжелое смутное настроение, которое еще больше усиливали вопросы Сандерса, неожиданно вступившего в полосу разговорчивости в этом неподходящем месте.

— Почему тут так темно? — осведомился он у монаха.

— Катакомбы.

— Ну, я понимаю — катакомбы! А все-таки могло быть светлее. Тут никто не живет?

— Конечно нет. Здесь хоронили мучеников, а в последнее время — пап.

— Чьих? — бессмысленно спросил Сандерс, отколупывая пальцем кусок воска от свечки.

— Римских.

— Ага! Теперь уже, вероятно, нет древних христиан? Времени-то, слава Богу, прошло немало.

— Ради Бога, довольно! — сурово перебил Крысаков.

— Теперь я понимаю, почему Сандерс так редко разговаривает... У него есть солидные основания.

Большую часть времени, проведенного в Риме, мы тратили на хождение по музеям и картинным галереям.

Я подозреваю, что с музеями у нас с самого начала вышло недоразумение: художники боялись показаться мне и Сандерсу людьми некультурными, не интересующимися искусством и потому, едва успев приехать в город, уже неслись с искаженными тоской лицами во все картинные галереи города; мы, не желая показать себя перед художниками людьми отсталыми, равнодушными к их профессии, носились за ними.

Сколько мы видели картинных галерей? Сколько музеев обежали мы за все время наших скитаний по Европе? Какое количество картин больших и маленьких промелькнуло перед нашими утомленными глазами? Берлин, Дрезден, Мюнхен, Нюрнберг, Венеция, Флоренция, Рим, Неаполь, Генуя, Париж... Всюду целое море полотна — зеленого, красного, розового, старинного и нового...

В Ватикане Сандерс заснул в музее за дверью, а в другом музее — забыл его название — мы так разошлись, что, поднимаясь все выше и выше, попали в большую комнату, уставленную столами, за которыми сидели несколько живых стариков. Мы тупо осмотрели их, постояли добросовестно около портрета Виктора Эммануила и потом потащились обратно, шатаясь от усталости.

— Вот столб какой-то, — указал Мифасов, когда мы спускались по темной лестнице.

— Старинный?

— Бог его знает! Спокойнее будет, если осмотрим.

Осмотрели столб. Как говорится, ничего особенного.

Начиная с Мюнхена, мы, по приезде в каждый город, усвоили привычку робко спрашивать у обывателей:

— Нет ли тут каких-нибудь музеев или картинных галерей?

И если музеи были, Крысаков решительно надевал шляпу и с суровой складкой у углов рта с видом подвижника говорил:

— Ну, ничего не поделаешь... Надо идти.

Остальные трое безропотно надевали шляпы и шагали за ним, угрюмо опустив головы.

— Может быть, он закрыт? — шептал Сандерс, с надеждой поглядывая на Крысакова.

— Глупости! Почему бы ему быть закрытым?

— Ремонт... Или по случаю пожара.

— Вздор! Пойдем. Я вам покажу тут такого Луку Кранаха, что даже ахнете.

Как люди деликатные, мы с Сандерсом ахали.

— Смотри, Сандерс — Кранах!

— Да, да! Лука. Изумительно.

Крысаков и Мифасов распознавали художников и их картины по общепринятой системе; у Сандерса же была своя система — очень дикая, но, к общему изумлению, довольно верная. Например, Рубенса он узнавал по цвету женских колен, а какого-то французского художника единственно по тому признаку, что на всякой его картине в центре была нарисована белая лошадь. И действительно, в десятке разбросанных картин было заключено десять лошадей, и все белые, и каждая в центре.

Я с завистью смотрел на трех друзей, которые издали безошибочно, по одним им известным признакам, узнавали среди десятков — какого-нибудь Гверчино, Зурбарана или Луку Кранаха.

В конце концов, я придумал следующий практичный и простой способ конкурировать с ними: когда они застывали в изумлении перед какой-нибудь картиной, я потихоньку прокрадывался в следующую комнату, прочитывал подписи под картинами, возвращался и потом, шествуя в хвосте в эту следующую комнату, говорил, выглядывая из-за спин товарищей:

— А! Что это? Если не ошибаюсь, эта старина Лауренс? Похоже на его письмо...

— Да, это Лауренс,— неохотно соглашался Крысаков.

— Еще бы! Я думаю. А этот, вот в углу висит — убейте меня, если это не Бёрн-Джонс. Сразу можно узнать этого дьявольского виртуоза! Ну конечно. Да тут, если я не ошибаюсь, и Гэнсборо, и Рейнольдс!

Сандерс, Мифасов и Крысаков изредка ошибались. Я никогда не ошибался.

— Смотрите! — говорил Крысаков.— Ведь это Коро! Его сразу можно узнать.

Я читал на дощечке «Ван Хиггинс. Голландская школа».

— Неужели? А ведь совсем Коро!.. Не правда ли, Мифасов?

— Да! — подтверждал Мифасов, очень ревниво относившийся к поддержанию их профессионального престижа.— Ну, Добиньи, конечно, вы сразу узнали?

— Это не Добиньи,— поправлял я.— Это Курбе.

— Ну, Курбе! Их часто смешивают.

— У Курбе всегда толстое дерево сбоку,— авторитетно замечал дремавший Сандерс.

И мы шли дальше, пробегая одним взглядом десятки картин, лениво волоча усталые ноги и судорожным движением выпрямляя изредка натруженные спины и затылки.

Когда уже все было осмотрено, несносный проныра Крысаков неожиданно говорил:

— А вот тут есть еще один закоулочек — мы в нем не были.

— Ну, какой там закоулочек... Стоит ли? Я уверен, там ничего путного нет.

— Нет, Сандерс,— так нельзя. Нужно все осматривать...

— Милые мои! Отпустите вы меня...

— Что вы! Там целых два Фрагонара.

— Два?.. Эх! Ну, идем!!

Всюду нам сопутствовала компания англичанок. Англичанки все, как на подбор, были старые — ни одной молоденькой, ни одной красивой.

За все время мы видели несколько сот англичанок — все они были старые, отвратительные. Я уверен, что в Англии есть много и молодых, но они на континенте не показываются. Их, вероятно, держат где-нибудь взаперти, выдерживают в каком-то погребе, дожидаясь, пока они постареют. А когда они готовы — их выпускают на континент большими партиями. Ездят они всюду по Куковскому маршруту, сопровождаемые длинными, иссохшими от времени англичанами;

забавно видеть, как Куковский проводник набивает чудовищно громадный автомобиль этим старым мясом, хватая леди и джентльменов за шиворот и пропихивая их ногой в затруднительных местах. Ничего, довольны.

И бродят они, несчастные, подобно нам, застывая с видом загипнотизированных кроликов перед какой-нибудь «головой старика» или «туманным вечером в Нидерландах».

Это позор и несчастье — изучать сокровища искусства таким образом. Что у меня осталось в памяти? Несколько Рубенсов, два-три Рембрандта, полдюжины Бёклинов и кое-что испанское: поразительные Сулоага, Англада и Саролла-Бастила. А сколько я видел? Зеленые, желтые пейзажи, розовые тела, разные девушки с кошкой, девушки без кошек и кошки без девушек; цветы, сырая рыба рядом с персиками и вечный Святой Себастьян, которого не изображал только тот, кто вместо живописи занимался другими делами. Потом было много каких-то уродливых облупленных картин с детской перспективой и кривыми телами.

Корректный Мифасов считал необходимым восхищаться и этими облупленными обрывками старины; а хронический протестант Сандерс в таких случаях ввязывался в ожесточенный спор:

— Замечательно! Ах, как это замечательно! Крысаков! Посмотрите, какой это чудесный тон! И как проштудировано!

— Да, действительно... тон,— деликатно подтверждал Крысаков.

— Послушайте,— начинал Сандерс, как бык, потупив голову и озираясь.— Неужели эта ерунда вам нравится?

— Милый мой, это не ерунда!

— Это не ерунда? Вы посмотрите, как нарисовано! Теперь гимназист пятнадцати лет нарисует лучше.

— Вы забываете исторические перспективы.

— Тогда при чем здесь «тон», «проштудировано»? Изумляйтесь исторически — и этого будет довольно.

— Вы варвар!

— А вы сноб!

— Ах так? Надеюсь, наши отношения...

— Ну, поехала! — кривился Крысаков.— «Не осенний мелкий дождичек»...

И Крысаков, и Мифасов, как авгуры, упорно охраняли своих богов, а мы, честные, откровенные люди без традиций —

не церемонились. Впрочем, однажды, изловив Крысакова в темном уголку, я путем вопросов довел до его сознания, что Боттичелли не так уж хорош, чтобы захлебываться перед ним. На сцену, правда, выступила историческая перспектива, но я налег — и Крысаков сдался. Это меня тронуло, и я, помню, очень расхвалил какую-то незначительную картинку, которая ему понравилась.

Он очень любил живопись, но под конец нашего путешествия, если по приезде в новый город в нем не оказывалось музея, Крысаков оживлялся, шутил и вообще начинал чувствовать себя превосходно.

К концу нашего путешествия мы с Крысаковым оказались обладателями очень драгоценных предметов: я — палки, он — фотографического аппарата. Эти две вещи мы вывезли из России, и на месте они стоили: палка — рубль, аппарат — двенадцать рублей.

Мы с ними нигде не расставались, и поэтому при входе во всякий музей или галерею у нас их отбирали, а потом взыскивали за хранение.

В Риме я решил бросить эту дрянную рублевую палку, но она уже стоила около пятидесяти лир,— было жаль. В Неаполе цена ее возросла до семидесяти лир, начиная от Генуи — до ста, а после Парижа — потеря ее совершенно бы меня разорила. Эта палка и сейчас находится у меня. Любопытные долго ее осматривают и очень удивляются, что такая неказистая на вид вещь обошлась мне около двухсот франков. А крысаковский аппарат к концу путешествия разорил своего хозяина, потому что, как верная собака, таскался за ним в самые неподходящие места.

Рим в отношении поборов — самый корыстолюбивый город. Там за все берут лиру: пойдете ли вы в Колизей, захотите ли взглянуть на картинную галерею, на памятник или даже на собственные часы.

В Ватикане с нас брали просто за Ватикан (лира!), за картинную галерею Ватикана (лира!), за левую сторону галереи (лира!), за правую (тоже!), за Сикстинскую капеллу (лира!) и еще за какой-то закоулочек, где стоит подсвечник — ту же лиру.

Немудрено, что самый захудалый папский кардинал имеет возможность носить бархатную шапку.

Все это сделано на наши лиры.

Извиняюсь за это лирическое отступление, но оно необходимо для того, чтобы пристыдить некоторых итальянцев, если они прочтут эту книгу.

НЕАПОЛЬ

1

Неаполитанцы.— Случай с монетой.— Город нищих. — Неаполитанский купец.— Первое появление Габриэля.— Аквариум.— Позилиппо.— Тарантелла.— Мы разрываем с Габриэлем.— Кафе-концерт.— Ресторанная тактика.— Помпея.— Гривуазность Габриэля.— Самая богатая страна

В путеводителе сказано, что Неаполь один из самых больших городов Италии — в нем свыше полумиллиона жителей.

Я думаю, путеводитель сказал на этот раз правду, потому что уже на вокзале я насчитал очень много народу.

Неаполитанцы у нас, в России, известны своими оркестрами. Мифасов сообщил нам некоторые сведения об оригинальном подразделении этого народа на группы: весь Неаполь делится на так называемые оркестры, а оркестры делятся на отдельных жителей, мужчин (игра на гитаре и пение) и женщин (пение и танцы).

Конечно, Сандерс не преминул вступить с ним в бесконечный спор, оспаривая правильность этого простого и ясного подразделения. Мне оно понравилось.

Стремление неаполитанца надуть туриста возведено в культ. В Венеции и Риме это делается спешно, по-любительски, без установленных приемов и твердой организации. Неаполь же может похвастаться серьезным и добросовестным отношением к своему делу.

Один мой знакомый рассказывал следующий случай из неаполитанской жизни...

Сидел он однажды в кафе и пил кофе. Народу было мало — несколько итальянцев за мороженым и одинокий турист-англичанин, мирно пивший в углу кофе. Выпив его, англичанин вынул портмоне, стал рыться в нем и при

этом нечаянно выронил золотую монету. Никто не трогался с места. Только один слуга прошел в этот момент мимо, обремененный подносом с новыми порциями мороженого.

Англичанин позвал других слуг, попросил поднять монету, но — монета как в воду канула. Все слуги искали ее на глазах у англичанина — утаить было невозможно, монета не могла куда-нибудь закатиться, потому что щелей в полу не было.

И тем не менее монета исчезла.

Выругавшись, англичанин расплатился и ушел.

Тогда мой знакомый подозвал к себе человека, несшего в момент потери громадный поднос, и потихоньку сказал:

— Послушайте, камерьере... Я не буду поднимать истории — расскажите мне, как вы это сделали?

— Что я сделал?

— Ну вот... укр... присвоили себе монету. Каким это образом?

— Господин ошибается. Я никакой монеты и не видел,— возразил итальянец, скаля зубы.

— Послушайте... я же прекрасно видел, как она упала, как вы, проходя, наступили на нее ногой и как она сейчас же исчезла...

— Не знаю, о чем синьор говорит.

— О, черт возьми! Я ведь не полицейский, и мне все равно, но, если вы не расскажете, я заявлю обо всем хозяину кафе.

— В таком случае,— усмехнулся слуга,— дело это очень простое. Средина моей подметки была смазана клеем. Я увидел, как монета упала, и сию же секунду наступил на нее. Вот и все.

— Послушайте... Но ведь не могли же вы сегодня, когда смазывали подметку сапога, предвидеть, что кто-нибудь уронит золотую монету?

— О, сударь, золотая, серебряная — это все равно,— возразил добрый слуга,— и падают они, конечно, не так часто, но подметки — все мы смазываем с утра *на всякий случай.*

Это ли не организация?

И вместе с тем нет итальянца ленивее, чем неаполитанец. Целыми днями валяются они на набережной, в узких кривых переулках и между мраморных колонн домов. Вероятно, лежат и мечтают: как бы почуднее надуть туриста?

Но трудно собраться с мыслями, когда солнце так приятно поджаривает оборванца, а море дышит в самое лицо вкусным соленым запахом.

Много ли ему нужно? На целый день оборванцу заработать, найти или украсть пару сольди. На эту пышную сумму он с заходом солнца купит в грязной, шумной обжорной улице, сплошь заставленной громадными чанами с кипящей снедью, какую-нибудь жареную рыбку или тарелочку макарон и тут же съест все это бок о бок с таким же оборванным любителем dolce far niente. Жаркий климат много еды не требует, и в пище все очень умеренны.

Все жизненные потребности до смешного невелики.

Проезжая по рынку — одно из самых интересных живописных зрелищ Неаполя,— я видел такого рода купцов: около корзиночки, сооруженной из щепочек и наполненной двумя крохотными жалкими полудохлыми рыбками, сидит продавец и пронзительным голосом выкликает свой товар. Сколько могут стоить эти рыбки величиной с ладонь — в Неаполе, в этом рыбном царстве? Нужно добавить, что грязная простоволосая женщина, которая закупит оптом весь запас этого товара, будет торговаться до седьмого пота, хватая несчастных рыбок, подбрасывая их, перевертывая, нюхая и вообще стараясь выжать из флегматичного купца все, что можно.

Большинство неаполитанских промышленников — это «купец, продающий пару рыбок».

Часто мы встречали целую длинную процессию: два дюжих итальянца везут крохотную тележку, на которой стоит обыкновенная шарманка. Третий, мускулистый мужчина, гордо идет сбоку, положив одну руку на шарманку (очевидно, это настоящий владелец ее), а еще два здоровяка подталкивают тележку сзади.

В сущности, эту тележку могла бы повезти вскачь обыкновенная кошка; но пять верзил присосались к шарманке как пиявки, и каждый всеми силами старается доказать, что он честным трудом зарабатывает свой хлеб.

Шарманка останавливается... Двое начинают вертеть ручку, меняясь с видом полного изнеможения каждые две минуты; один горланит какое-нибудь «sole mio», а остальные двое энергично собирают у слушателей деньги.

Соберут копеек десять, покроют чехлом шарманочку и поплетутся дальше, придерживая, подпихивая и таща тележку, точно русские многострадальные бурлаки по берегу Волги баржу тянут.

Ленивые... Если у итальянца чешется затылок, он не почешет его до того случая, когда встретится со знакомым и снимет шляпу; тогда заодно и почешется.

Вся нечеловеческая энергия целиком, как в громадных коллекторах, собралась в продавцах открыток и разносчиках газет.

Только в Неаполе возможен такой прямо-таки невероятный способ распространения газет.

Газетчик, опережая вас, вдруг ловко подбрасывает вам под ноги какую-нибудь «Миланскую газету» или «Popolo Romano», с таким расчетом, чтобы вы с разгону наступили ногой на газету... Тогда газетчик поднимает крик и взыскивает деньги за якобы испорченную вашей ногой газету.

Добродушные туземцы, зная этот способ, остерегаются и ставят ногу с разбором, а форестьеры всегда попадаются.

Никаким промыслом не брезгуют оборванные юнцы, если можно получить несколько чентезимов.

Один итальянский мальчишка, пробегая мимо меня, вдруг остановился и указал мне на проходившего жирного патера.

— Ну? Что?

— Патер.

— Прекрасно. Что же дальше?

— Это патер. Господин мне даст что-нибудь?

— За что?!

— За то, что я указал господину патера.

Таких указателей патеров в Неаполе несметное количество.

Едва мы приехали и, оставив вещи в гостинице, отправились купаться, как перед нами выросла фигура молодца самого подозрительного вида, с грязными руками и бегающими вороватыми глазами.

Этот человек на все время нашего пребывания в Неаполе сделался нашей тенью, нашим эхом, нашим вторым я.

Увидев, что он отделился от группы людей не менее подозрительных, мы инстинктивно сдвинулись ближе и вынули руки из карманов, но грязный парень сказал:

— Господа путешественники! Я могу предложить себя в качестве гида. Хорошо знаю город, могу показать самое интересное.

— Не надо! — хором ответили мы.

— Могу показать вам Везувий, повезти вас на Позилиппо и порекомендовать самый лучший кафешантан в городе.

— Не надо!

— В таком случае я знаю, что заинтересует молодых путешественников (он засмеялся с самым развратным видом) — тарантелла!

— А-а, тарантелла,— заинтересовались мы.— Это любопытно. Посмотрим...

— Где господа остановились? «Эксцельсиор»? Тут за углом! Знаю. Я сегодня вечером зайду. Сейчас купаться? Знаю! Пойдемте, я вас провожу.

— Да не надо,— сказали мы.— Зачем же? Купальня ведь в двух шагах.

— Нет, что вы! Я вам помогу. Разве можно? Вот тут купальня. Видите — вот она. А это вот будка, где продают билеты! Здравствуйте, мамарелла! Вам, конечно, нужны билеты? Вот этим господам нужны билеты! Дайте им билеты! Они очень нуждаются в билетах! Пожалуйста, три билета. Вот они платят вам деньги. Позвольте, я заплачу. Нет, нет, не беспокойтесь. Вот их деньги, мамарелла. Сдачи! А вот сдача. Получите сдачу, синьоры. Это сдача. Позвольте, я проведу вас в купальню. Это вот называется купальня. Это тут раздеваются, а там вот купаются, видите, где вода. Прислужник! Вот эти господа хотят выкупаться. Это прислужник, господа. Не бойтесь, господа,— он славный малый. А то вон пароход идет. Здесь вот раздевайтесь. Позвольте, я вам расстегну жилет — вам неудобно. Я вам расшнурую ботинки. Сядьте на стул, а ножку свою поставьте мне на колено. Прислужник! Эти господа будут купаться. Они добрые, хорошие господа. Надо, чтобы им было хорошо купаться. Позвольте, я галстук развяжу.

— Ради Бога, нам ничего не нужно! Мы все сами сделаем.

— Позвольте, я разверну вам простыню.

— Ничего, ничего не надо. Мы сами все сделаем — вернитесь к своим повседневным делам.

— Так я вас тут около купальни подожду...

Он ушел с глубоким сожалением. «Вернулся к своим повседневным делам», по выражению Мифасова.

Но, очевидно, кроме нас — у него никаких повседневных дел не было. Вообще, этот человек произвел, в конце концов, на нас такое впечатление, что до нашего приезда у него никаких дел не было, что все его существование на этой планете приспособлено исключительно к нашему появлению в Неаполе и что после нашего отъезда он, исполнив свое земное предназначение, вернется к небытию.

Когда мы вышли, он ждал нас у входа, задремав на закатном солнышке.

Мы хотели потихоньку пройти мимо, но он очнулся, вскочил, рассыпался в извинениях и завертелся, как мельница.

— Господа искупались и идут в гостиницу? Я провожу их в гостиницу.

— Не надо! Нам тут два шага. Мы знаем, где гостиница.

Он замотал головой и, отстраняя попавшегося нам навстречу прохожего, понесся на всех парах.

— Я вас провожу! Пустите, прохожий, этих господ. Они идут к себе в гостиницу, не преграждайте им пути. Они в гостинице, вероятно, освежившись купаньем, будут пить чай или вино, не так ли?

— Прованское масло! — отвечал Сандерс. — Пустите нас, или я задушу вас, как котенка.

— Ха-ха-ха! Господин очень веселый, он шутит. Итальянцы тоже веселые. Эввива, руссо! Швейцар! Вот эти господа пришли в вашу гостиницу, они тут остановились. Это хорошие господа, и ты, швейцар, относись к ним внимательно. Не нужно ли вам разложить ваши чемоданы, ваши вещи? Что? К черту? О, господин большой весельчак. Имею честь кланяться. До вечера!

Стоя внизу, в пролете лестницы, он долго посылал нам приветственные знаки и махал грязным платком.

Через час я вышел на улицу с целью побриться. Первое лицо, которое я увидел около гостиницы, был Габриэль, наш знакомец.

— Что вы тут делаете? — изумленно спросил я.

— Ожидаю. Может быть, синьорам что-нибудь понадобится.

— Ничего не надо. Как дойти до парикмахерской: налево или направо?

— О, я, конечно, провожу вас! Пойдемте, я знаю, где парикмахерская. О, действительно, хорошо было бы, если бы Габриэль не знал, где парикмахерская.

— Не надо провожать меня. Я просто возьму извозчика.

— Извозчика? Сейчас!

Он исчез, и через полминуты ко мне подкатил экипаж. Я взглянул на извозчика...

Это был Габриэль.

— Как?! Разве вы и извозчик?!

— Я все, господин. Все, что вам понадобится.

— Я хочу акробата,— пошутил я.

Габриэль камнем скатился на мостовую, положил бич и, хлопнув в ладоши, стал на голову. Еле уговорил я его усесться на козлы.

В тот же день мы с Сандерсом отправились в знаменитый неаполитанский аквариум.

Человек, продававший билеты, попросил на чай, человек, отбиравший билеты, попросил на чай же, и сторож при рыбах попросил тоже на чай за то, что он палочкой пошевелил какого-то гада.

Аквариум действительно был чудесный. Громадные омары и крабы медленно шевелились за стеклом, беззвучно перебирая чудовищными клешнями... Отвратительные осьминоги такого вида, который только и может пригрезиться в ночных кошмарах, смотрели на нас страшным неподвижным взглядом, присосавшись к стеклу и медленно втягивая и вытягивая тошнотворные лапы, покрытые, как маленькими белыми блюдцами, присосками.

Какие-то толстые рыбы с презрительно отвисшей нижней губой, точно сытые бюрократы, еле шевелили плавниками в тупой дремоте... Стаи юрких рыбок стрелой неслись по воде, моментально, как по команде, поворачивались и так же стройно неслись в другую сторону. Одна суетливая рыба чрезвычайно напомнила нам провинциальную сплетницу: она без толку шныряла от одной группы к другой, подсматривала, что делают омары, и, взмахнув возмущенно плавниками, неслась сейчас же к угрям, рассказывала о виденном и, махнув хвостом, летела уже к сонному крабу, донося на поведение угрей. Всюду она вынюхивала, шпионила и подслушивала. И еще потому была она похожа на человеческую сплетницу, что имела рот узенький, со-

бранный в ниточку, глазки остренькие, а на голове нечто вроде природного капора.

В то время как я за ней наблюдал, Сандерс задумчиво стоял около другого стеклянного ящика, изредка вертя головой во все стороны.

— Вот чудаки! — сказал он.— Насыпали песку и поставили пустой ящик.

Сторож, услышав это, по выражению лиц заметил наше недоумение и, хлопнув Сандерса ободряюще по плечу, исчез.

Через минуту он явился с длинной палкой. Сунул ее в пустую вазу и — вдруг песок зашевелился, разорвался на десяток кусков, и каждый кусок песку оказался плоской рыбой,— до смешного точно — сотворенной мудрой природой под цвет и вид настоящего песка.

— Мимикрия! Защитный цвет. До сих пор я видел это только у бабочек.

Так как мы не были одарены свойством мимикрии и не могли слиться с окружающей нас обстановкой, то сторож, вернувшись, без труда отыскал нас и потребовал на чай, за то, что пошевелил палкой.

Осьминог, присосавшись к стене, смотрел, как мы расплачивались, и в его страшных выпученных глазах тоже ясно читалось всеобщее, как эпидемия, желание получить с форестьера на чай.

— А вот,— сказал я Сандерсу,— посмотрите-ка, какие хорошие раковины. Если бы на каждой из них было еще написано: «Привет из Ялты» — совсем они были бы настоящими раковинами.

— А вот это так называемая чернильная рыба,— сказал Сандерс,— кстати, надо будет нынче вечером написать домой письмо.

Сандерс никогда ни в чем не хотел от меня отставать. Стоило только сострить мне, как острил и он.

— Однако,— ледяным тоном сказал я.— Атмосфера начинает сгущаться. Пожмите осьминогам лапы и пойдем отсюда.

Конечно, Габриэль уже дожидался при выходе. И, конечно, он уговорил нас ехать на Позилиппо.

Мы не жалели, что поехали. Чудесная живописная дорога... С одной стороны обрывистый берег моря, с другой — непрерывный многоверстный ряд домишек, населенный ужасающей

беднотой. Но все это так красиво: грязные растрепанные дети, ленивые прохожие, тяжелые простоволосые простолюдинки, перебрасывающиеся из окна с соседкой тихими односложными словами или перебегающие дорогу с фьяской вина под мышкой, живописное тряпье, развешанное на стенах и окнах домишек, обрывок песни, донесшейся слева, запах свежей рыбы, донесшийся справа, клуб золотой от заходящего солнца пыли впереди и крики мальчишек, бегущих сзади за экипажем, в чаянии получить что-нибудь с ошалелого иностранца...

Позилиппо... Ресторан с верандой на громадной высоте, над морем. Вдали выгнулась из воды мощная спина Капри — место невольного заточения Максима Горького[1].

Чисто физическое, животное чувство довольства охватило нас, когда мы, потребовав вина и музыки, погрузились в созерцание тихого синего моря, теплого неба и осколка бледно-розовой луны в чистой прозрачной высоте.

Нежная, сладкая итальянская песня, тихий рокот двух гитар, теплота наступающего вече...

— Cartolina postale!!

— О, чтоб тебя черти забрали! Что такое?

— Cartolina postale...

— Провались ты с ними вместе! Даже сюда забрался, каналья.

— Возьмите. Хорошие карточки.

— Отстань, тебе говорят.

— Тогда, знаете что? Я вас познакомлю с барышней... Синьорита беллиссима! Рариссима! Чрезвычайно честная девушка, но вы сами понимаете... Отец бедный...

— Не надо.

— Уверяю вас — красавица...

Сандерс сделал вид, что заинтересовался. Стал участливо расспрашивать.

— Неужели красавица?

— О, mio Dio!

— И вы говорите — честная девушка?

— Чрезвычайно честная.

— Ну что вы говорите?! Это неслыханно! А отец бедный?

— О, очень бедный!

— Неужели? Что же это он так... Работы нет?

[1] Написано в 1912 году — *Авт*

— Нет. Так хотите — поедем?
— Вы говорите — красавица?
— Да, очень. Но бедность — сами понимаете...
— Ничего, ничего. И очень красивая, вы говорите?
— О да.
— Она, может быть, просто хорошенькая... Или действительно — красавица?
— Настоящая!
— Так, так... Ну, ступайте! Нам ничего не надо.
— Синьоры! Это вас ни к чему не обязывает,— отчаянно возопил продавец открыток, видя, что добыча ускользает.— Вы только можете посмотреть! Право, поедем.

Но в это время Габриэль, подойдя к веранде, услышал его слова и налетел на него как коршун, изгнав беднягу в одну минуту.

Смысл его протеста был такой, что, дескать, эти хорошие господа принадлежат ему, он их нашел, честно около них кормится и никому другому не позволит переходить себе дорогу.

Они спорили, будто два гуртовщика о стаде баранов.

Впрочем, мы их умиротворили, выслав остатки вина и мартаделлы; вся компания продавцов открыток и просто ротозеев, под предводительством Габриэля, уселась на ступеньках и стала пировать, издавая в нашу честь восторженные крики и произнося заздравные тосты.

Я заметил, что Сандерс был наверху блаженства: около нас гремела специально нанятая нами музыка, пели для нас певцы, внизу пировала восторженная чернь под командой нашего первого министра... Я подозреваю: не чувствовал ли Сандерс себя в этот момент королем среди своего доброго народа?

Вечером каналья Габриэль действительно повез нас «смотреть тарантеллу».

В этот вечер изучение неаполитанского быта ни на шаг не подвинулось вперед.

Мы были бессовестно обмануты.

Вас,— путешественников, которые когда-нибудь попадут в Неаполь,— хочу я предупредить, что такое «тарантелла», которую так усиленно рекомендуют нечестные гиды...

Нас (меня и Сандерса) ввели в большую круглую комнату, стены и потолок которой были покрыты зеркалами.

Вокруг стен диваны, посредине комнаты круглое бархатное возвышение — все это аляповатое, ужасающе грубое.

— Садитесь, господа,— загадочно ухмыляясь, сказал Габриэль, и сейчас же засуетился, обращаясь к тучной женщине, на лице которой была написана целая книга былых преступлений и порока.— Вот эти господа, мамарелла, очень желают видеть тарантеллу, им нужно показать тарантеллу... Ах, да покажите же этим добрым господам вашу тарантеллу. Это прекрасные и хорошие господа, и им надлежит посмотреть тарантеллу.

«Мамарелла» хлопнула в жирные ладони, и тотчас же шесть женщин выбежали из боковых дверей.

Были они в том, «в чем», по русской поговорке, «мать родила», и даже еще меньше, принимая во внимание, что какая-нибудь из них в свое время родилась в сорочке. Одним словом, были они абсолютно, безусловно и радикально голы.

С заученными жестами дефилировала эта армия перед нами, а мы сидели с Сандерсом, опечаленные этим обманом, оскорбленные в нашей скромности.

— Нравится? — спросила торжествующим тоном бесхитростная мамарелла.

Бедняге и в голову не могло прийти, что ее «тарантелла» могла в ком-нибудь не вызвать одушевления.

— Гм, да...— смущенно сказал Сандерс.— Вещь забавноватая. Недурно, как говорится, задумано. Женщины?

— Конечно. Вы же видите.

— Так, так... Гм... Не холодно?

Пансион мамареллы, привыкший к скотской разнузданности немцев и к шумному поведению галантных французов, был изумлен нашей сдержанностью; все поглядывали на нас с недоумением.

— Протанцуйте им, деточки,— скомандовала мамарелла.— Пусть посмотрят вашу тарантеллу.

Она взяла в руки бубен, и шесть женщин закружились, заплясали; откормленные торсы сотрясались от движений, и вообще, все это было крайне предосудительно.

— Помпейские позы! — скомандовала мамарелла, уловив на нашем лице определенное выражение холодности и осуждения.

Но и помпейские позы не развеселили нас. Женщины становились в неприличные сладострастные позы с таким

деловым, небрежным от частых повторений видом, как утомленный приказчик мануфактурного магазина к концу вечера показывает надоевшим покупательницам куски товара.

На сцене вдруг появился дожидавшийся где-то неподалеку Габриэль.

— О!.. А почему господа так скромно сидят? Почему они не приласкают этих красавиц? Смотрите, какие красоточки. Вот эта или эта... Или вот эта! Настоящая богиня. А эта! Красавица, а? Не нравится? Пошла вон. Тогда, может, эта? Украшение Неаполя, знаменитая красав... Не надо? Ну ты, лошадь, отойди, не мешайся тут. А вот эта... Что вы о ней скажете, синьоры?..

Он с деланным восторгом хлопал женщину по плечам, трепал по щекам, отгонял равнодушно «первых красавиц» и «богинь», а красавицы и богини с таким же холодным видом шептались около нас, ожидая нашего одобрения и благосклонности.

— Пойдем! — сказал Сандерс.

— Что вы, синьоры! Куда? Неужели вам не нравится?!

— Не нравится? Мы в восторге! Это прямо что-то феерическое... Когда-нибудь после... гм... на днях... Мы уж, так сказать, к вам денька на три. А теперь — прощайте.

Мы, угрюмые, замкнутые, спускались по лестнице, а Габриэль вертелся около нас, юлил и заглядывал в наши лица, стараясь отгадать впечатление.

— Видишь вот эту улицу? — обратился к нему Сандерс. — И вот эту улицу?.. Ты иди по этой, а мы по этой... И если ты еще к нам пристанешь — мы дадим тебе по хорошей зуботычине.

Он захныкал, завертелся, заскакал, но мы были непреклонны. Отношения были прерваны навсегда.

Я уверен, что настоящим неаполитанцам никогда бы в голову не пришло пойти на тарантеллу и «помпейские позы». Все это создано для туристов и ими же поддерживается. Для них же весь Неаполь принял облик какого-то громадного дома разврата.

Пусть иностранец попробует пройтись в сумерки по Неаполю. Из-за каждого угла, из каждой подворотни, буквально на каждом шагу к нему подойдет гнусного вида незнакомец и тихо, но назойливо предложит «красивую синьору», «обольстительную синьору» или даже рогаццину (девочку).

Эти поставщики осаждали нас, как мухи варенье.

— Что такое?

— Синьоры... берусь показать вам одну прекрасную даму. Познакомлю даже... тут сейчас за углом. Пойдем...

— К ней? К даме? Явиться одетому по-дорожному — что вы! Это неудобно.

— Ничего! Я ручаюсь вам — можно.

— Ну что вы... И потом неловко же являться в чужой дом, не будучи знакомыми.

— Пустяки! С ней нечего — хи-хи — церемониться.

— Ну вам-то нечего — вы, конечно, хорошо знакомы... По праву старой дружбы можете и без смокинга. А нам неудобно.

— Но я вам ручаюсь...

— Милостивый государь! Мы знаем правила хорошего тона и не хотим делать бестактности. Мы уверены, что дама будет шокирована нашим бесцеремонным вторжением. Она примет нас за сумасшедших.

...Итальянский кафе-концерт — зрелище, полное интереса и разных неожиданностей.

Действие происходит больше в публике, чем на сцене. Весь зал подпевает, притоптывает, вступает с певицей в разговоры, бешено аплодирует или бешено свищет.

Если певица не нравится — петь ей не дадут. Понравится — измучают повторениями.

У всех душа нараспашку. Подстерегают всякого удобного случая, чтобы выкинуть коленце, посмеяться или посмешить публику. Зал набит порохом, взрывающимся от малейшей искры.

Всякого вновь входящего зрителя сидящая публика приветствует единогласным доброжелательным:

— А-а-а!..

Приветствуемый, гордый всеобщим вниманием, пробирается на свое место и через минуту присоединяет уже свой голос к новому приветствию:

— А-а-а!

Выходит на сцену толстая немка... берет несколько хриплых нот.

Музыкальная публика этого не переносит:

— Баста. Баста!!

— Баста!!!

Немка, не смущаясь, тянет дальше.

И тогда гром невероятных по шуму и длительности аплодисментов обрушивается сверху, перекатывается и растет, как весенний гром.

Петь невозможно. Виден только раскрытый рот, растерянные глаза. Забракованная певица исчезает под гомерический свист.

Когда мы покупали билеты, перед нами вынырнул Габриэль.

— А-а, синьоры идут сюда! Сейчас, сейчас! Кассир! Выдайте этим хорошим господам билеты... Они желают иметь билеты. Это мои знакомые господа — дайте им лучшие билеты. Вот сдача. Вот билеты. Красивые красные билетики. Я вас тут подожду. Когда выйдете, поедем в одно местечко.

— Отстаньте,— сурово сказали мы.— Не смейте нас дожидаться — мы все равно не поедем с вами. Напрасно только потеряете время. И ни чентезима не получите и потеряете время.

— О, добрые господа! Зачем вы обижаете Габриэля? Он бедный человек и подождет вас.

Конечно, когда мы через три часа вышли, бедный человек ждал нас.

— Пройдемся, господа,— сказал Крысаков.— Прелестная ночь.

— Пожалуйте! — подкатил Габриэль.— Тут как раз четыре места. Я вас ждал.

— Убирайся к дьяволу! Мы тебе сказали, что ты не нужен? Отъезжай! Мы хотим идти пешком...

Мы зашагали по озаренному луной тротуару, а Габриэль шагом потянулся за нами.

Узкие улицы, еще сохранившие в каменных стенах и мостовой теплоту солнца, накалившего их днем — нежились и дремали под луной... И везде нам приходилось шагать через груды беспорядочно разметавшихся тел. Весь голодный, нищенский Неаполь спит на улицах... это красиво и жутко. Будто весь город, все дома вывернуты наизнанку.

Аршина два макарон днем и аршина два тротуарной плиты ночью — весь обиход оборванного гражданина прекрасной Италии. Господь Бог хорошо обеспечил этих бездельников...

Странные жуткие улицы.

Какой-нибудь англичанин верхом на осле медленно пробирается среди этой беспорядочной гекатомбы спящих и пожирающих макароны тел, медленно пробирается, напоминая смешную пародию на Штуковскую картину «Бог войны».

— Зайдем в ресторан, господа. Закусим.

Когда мы взбирались по лестнице ресторана, Габриэль крикнул:

— Я подожду вас, синьоры!

— Убирайся к черту!

— Синьоры только крикнут — и я уж тут как тут.

В итальянских ресторанах средней руки у нас своя линия поведения, выработанная общими усилиями хитроумного Сандерса и изобретательного Крысакова.

Дело в том, что рестораторы и слуги — невероятные бестии, жадные, трусливые, нахальные, только и помышляющие о том, как бы надуть бедного путешественника, подсунув ему вместо асти помои, заменив заказанное кушанье отвратительным месивом и приписав к счету процентов пятьдесят.

Поэтому мы, являясь в ресторан, с места в карьер подчеркиваем: с кем им придется иметь дело.

— Почему на скатерти пятно? — яростно кричит Крысаков, свирепо вращая глазами. — Что? Где? Вот оно! Если вы вытираете сапоги скатертью, так можете сунуть ее в карман, а не подсовывать нам!! Это что?? Это что?! Вода? А графин? Его когда мыли? Такие графины на стол ставят?! Позвать метрдотеля! Хозяина сюда! Как же вы нас накормите, если у вас так обращаются с гостями!! На ножах ржавчина! Ложки погнуты! Одна ножка стола короче других!! А? Позовите сюда полицию... Мы консулу пожалуемся!!! Все ваше гнусное заведение по косточкам разнесем!!!

Все обитатели ресторана мечутся около нас в паническом ужасе.

— Будет, — деловито говорит Мифасов. — Довольно. Теперь они подготовлены...

Мы сразу успокаивались.

И действительно, после этого за нами ухаживали, как за принцами. Подавали лучшее вино, прекрасное кушанье, и счет предъявлялся потом такой честный и скромный, что всякий не отказался бы выдать за него собственную дочь.

— Хорошо ли поужинали, синьоры? Габриэль ждет вас — и лошадка его тоже ждет добрых великодушных синьоров...

Какие-то господа сейчас нанимали нас, но мы с лошадкой отказались.

— Вы знаете что? — дрожа от негодования, вскричал Мифасов.— Я думаю, что нам придется из-за этого проклятого человека уехать из Неаполя раньше времени. Вы подумайте, если он умрет с голоду, мы будем виновниками его смерти... Потому что он не пьет, не ест и ездит за нами с утра до ночи. Он ничего не зарабатывает, не получает ни от нас, ни от других пассажиров, которым он из-за нас отказывает! Что привязало его к нам? Какую несбыточную мечту лелеет он, привязавшись к нам, как пиявка к бескровному железу. Постойте! Я ему сейчас скажу все как следует!

— Не надо! Самое лучшее не обращать на него внимания... Представим себе, что его нет.

Мы пошли дальше, весело беседуя, а Габриэль плелся за нами на своей лошаденке, изредка окликая нас, льстя и заискивая.

С этого вечера мы стали прикидываться, что совершенно не замечаем его, не слышим его голоса и не видим тела. Он вертелся около нас, предлагал, клянчил, а мы продолжали начатую беседу и смотрели сквозь него, как сквозь оконное стекло, равнодушным, неостанавливающимся взглядом.

Утром возник спор, ехать ли в Помпею и на Везувий или только в одну Помпею.

— На что нам Везувий? — говорил Сандерс.— Обыкновенная гора с дырой посредине. Ни красоты, ни смысла. Тем более что она ведь и не дымится.

— Тогда, значит, и Траянову арку не нужно было смотреть: обыкновенная арка, с дырой посредине и тоже не дымится.

— Это не то. Не можем же мы рассматривать все интересные предметы только с двух сторон: дымятся они или не дымятся. А вулкан должен дымиться. Это его профессия. Если же он этого не делает — не стоит и смотреть на лодыря.

— Господа! Кто за Везувий,— сказал Крысаков, — пусть подымет руки.

Было так жарко, что никто и не пошевелился. Даже сам Крысаков — поклонник вулканов — помахал рукой, но поднять ее не имел силы.

Везувий провалился.

Гид, нанятый через контору гостиницы, повез нас в Помпею.

Конечно, почти всю дорогу за нами ехал Габриэль, взывая к нам, предлагая освободить нас от гида и суля различные диковинные уголки в Помпее, о которых гид и не слыхивал.

Пустые угрюмые развалины Помпеи производят тягостное, хватающее за душу впечатление. Стоят одинокие пустые, как глазницы черепа, примолкшие дома, облитые жестоким, палящим глаза солнцем... В каждом закоулке, в каждом крошечном мозаичном дворике притаились тысячелетия, перед которыми такими смешными, жалкими кажутся наши «завтра», «на той неделе» и «в позапрошлом году».

Останавливает внимание и углубляет мысль не главное, не вся улица или дом, а какой-нибудь трогательный по жизненности пустяк: камень, лежащий посреди узкой улицы на повороте и служивший помпейским гражданам для перехода в грязную погоду с одной стороны улицы на другую; какой-нибудь каменный прилавок с углублением посредине для вина — в том домишке, который когда-то был винной лавкой.

Это дает такое до жгучести яркое представление о прошлой повседневной жизни! Так хочется закрыть глаза, задуматься и представить толстого, обрюзгшего продавца вина, разгульных покупателей, толпящихся в лавчонке, стук сандалий промелькнувшей мимо женщины; стан ее лениво изгибается от тяжести кувшина с водой, и черные глаза щурятся от солнца, разбивающего золотые лучи о белый мрамор стен...

Спит мертвая теперь, высохшая, изглоданная временем, как мумия, Помпея, — скелет, открытый через две тысячи лет.

Только проворные изумрудные ящерицы быстро и бесшумно скользят среди расщелин стены, покрытой тысячелетней пылью, да болтливый, жадный, вертлявый гид оглашает немолчной трескотней мертвые, как раскрытый гроб, улицы.

Вот посреди улицы фонтан... Бронзовый фавн с раскрытым ртом, из которого когда-то лилась вода. Гид обращает наше внимание: нижняя губа и часть щеки фавна совершенно стерты; на мраморе водоема видна большая глубокая впадина — будто оттиск руки в мягком тесте. Это — следы миллионов прикосновений уст жаждущих помпеян — на лице бронзового фавна, и миллионы прикосновений рук, опирав-

шихся на мраморный край водоема, в то время когда губы сливались с бронзовыми губами фавна...

В Риме, в соборе св. Петра, большой палец бронзовой статуи Петра наполовину стерт поцелуями верующих; в какой-то другой церкви мраморная статуя популярного святого имеет странный вид — одна нога обута в бронзовый башмак. Зачем? Мрамор очень непрочный материал для поцелуев. Надолго его не хватит.

Этот стертый рот фавна и большой палец св. Петра дают такое ясное представление о времени, мере и числе, что сжимаешься, делаешься маленьким-маленьким и чувствуешь себя песчинкой, подхваченной могучим самумом, рядом с миллионами других песчинок, увлекаемых в общую мировую могилу...

— Что он вам показывает какого-то дурацкого фавна. Пойдем со мной, добрые, великодушные синьоры!.. Я вам покажу такие пикантные фрески, что вы ахнете. Только мужчинам их показывают, дорогие, прекрасные синьоры!

Из-за расщелины стены показывается орошенная обильным потом плутоватая физиономия Габриэля.

— Что он вам показывает? Все какую-то чепуху... А я вам, синьоры, мог бы показать неприличную статую фавна.

Наш гид настроен серьезно, академично, мошенник же Габриэль, наоборот, весь погряз в эротике и вне гривуазности и сала — никакого смысла жизни не видит.

Гид отгоняет его, но он увязывается за нами и, следуя сзади, с сардонической улыбкой выслушивает объяснения гида.

— Вот тут, в этом доме, при раскопках нашли мать и ребенка, которые теперь находятся в здешнем музее. Мать, засыпаемая лавой, не нашла в себе силы выбраться из дома — так и застыла, прижав к груди ребенка...

— А неприличную собаку видели, синьоры? — вмешивается Габриэль.— Вот-то штучка... Хи-хи...

Никто ему не отвечает.

В каком-то доме мы, наконец, к превеликому восторгу Габриэля, натыкаемся на висящий на стене деревянный футляр в виде шкапчика...

Его открывают... Если в античные времена эта фреска красовалась без всякого прикрытия — античная публика имела о стыдливости и пристойности особое представление.

Габриэль корчится от циничного смеха; наш гид снисходительно подмигивает, обращая наше внимание на некоторые детали.

Человек, который показывает эту непристойность, просит на чай; тот человек, который впустил нас в дом,— тоже просит на чай; и тот человек, который пропустил нас в какие-то ворота,— взял на чай.

В помпейском музее брали с нас за вход в каждую дверь; неизвестный человек, указав пальцем на иссохшее тело помпейца, лежащее под стеклом, сказал:

— Это тело помпейца.

И протянул руку за подаянием.

Я указал ему на Крысакова и сказал:

— Это тело Крысакова.

После чего, в свою очередь, протянул ему руку за подаянием.

Он ничего мне не заплатил, хотя мои сведения были ценнее его сведений: я знал, что его помпеец — помпеец, а он не знал, что мой Крысаков — Крысаков.

Возвращаясь обратно на станцию, мы наткнулись на громадные штабели лавы, сложенной здесь после раскопок; на несколько верст тянулись эти штабеля.

Вышел из хижины человек, взял несколько кусков лавы в орех величиной и роздал нам на память. Потом попросил уплатить ему за это.

— Сколько? — серьезно спросил Мифасов.

— О, это сколько будет вам угодно!..

— Нет, так нельзя. Всякая вещь должна быть оплачена ее стоимостью. Во сколько вы цените врученные нам кусочки?

— Если синьоры дадут мне лиру — я буду доволен.

— Сандерс! Уплатите ему лиру.

Мифасов оглядел необозримое пространство, покрытое лавой, и завистливо сказал:

— Какая богатая страна — Италия!

— Почему?

— Четыре кусочка лавы общим весом в четверть фунта — стоят одну лиру. Сколько же должно стоить все, что тут лежит? Интересно высчитать.

Возвращались усталые.

— Видели в музее сохранившиеся зерна пшеницы, кусочки почерневшего хлеба и даже остатки какого-то кушанья... Это изумительно!

— Понимаю,— подмигнул Крысаков,— просто вы проголодались и потому сворачиваете все на съестное. Вон, кстати, и ресторанчик.

Первый стакан кьянти приободрил нас.

— Милое винцо! Смотрите, господа, что это Сандерс такой задумчивый? Сандерс! Что с вами?

Он рассеянно поднял опущенные глаза и сказал:

— Приблизительно около двенадцати с половиной миллиардов пудов, на общую сумму девятьсот миллиардов рублей.

— Чего?!!

— Лавы. Тут.

2

Розовая черепаха.— Максим Горький.— Итальянская толпа.— Старик.— Тяжелое путешествие.— Последнее мошенничество.— Опять Габриэль

На Капри пароход отходил утром.

Так как весь Неаполь пропитан звуками музыки и пения, то и на пароходе оказался целый оркестр.

Хорошо живется бездельничающему туристу. Сидит он, развалясь под тентом, а ему играют неаполитанские канцонетты, пляшут перед ним, охлаждают пересохшее от жары горло какой-то лимонной дрянью со льдом — и за все это лиры, лиры, лиры...

Тут же у ног пресмыкается продавец черепаховых изделий и кораллов.

Крысаков, осажденный продавцом, пробует притвориться глухим, но когда это не помогает, прибегает к странному способу: он берет нитку кораллов, осматривает их и пренебрежительно говорит:

— Ну, милый мой, какая же это черепаха!.. Ничего общего.

— Да это, синьор, не черепаха. Это кораллы.

— Что? Не слышу. Ты можешь мне клясться хоть отцом родным — я не поверю, что это черепаха. Разве розовые черепахи бывают?

— Но это не черепаха! Я и не говорю, что это черепаха. Это кораллы.

— Что? Не слышу. А это что? Коралл? Почему же он в форме гребенки?.. Ты, братец, изолгался; ну разве бывает коралл прозрачный, коричневого цвета. Это что-то среднее между янтарем и агатом. Что? Не слышу!

Продавец орет Крысакову в самое ухо:

— Это и есть, господин, черепаха! Настоящий черепаховый гребень.

— Врешь, врешь! Он на коралл ни капельки не похож. Как не стыдно?! Господа, разве это коралл?

— Конечно, не коралл, — в один голос поддерживаем мы.

— Ну вот видишь. Ты уж думаешь, если мы иностранцы, русские, — так и ничего не понимаем. У нас, братец, за такие штуки в полицию тянут. Ступайте, чужеземец.

Скрипки заливаются, солнце печет, винт оставляет сзади на чудесном лазурном зеркале воды длинную вспаханную борозду.

У «голубой пещеры» пароход останавливается. Туча лодок подлетает к пароходу, лодочники разбирают пассажиров, и мы, улегшись на дно лодки, вползаем в пещеру.

За то, что пещера действительно голубая — с нас берет по лире главный лодочник, берут простые лодочники и потом еще взыскивают в пользу какого-то акционерного общества, которое эксплуатирует голубую пещеру.

Туристы нисколько не напоминают баранов, потому что баранов стригут два раза в год, а туристов — каждый день.

Я не сказал о цели нашей поездки на Капри — мы ехали к Максиму Горькому.

Я бы мог многое рассказать об этом чудесном, интереснейшем человеке нашего времени, об этой кристальной душе, узнав которую нельзя не полюбить крепко и надолго; я бы мог рассказать о его жизни, так непохожей теперь на печение булок в пекарне, о его мастерском увлекательном разговоре, о детском смехе и незлобии, с которым он рассказывает о попытках компатриотов в гороховых пальто залучить его на родину; бедные гороховые пальто потратились на дорогу, приехали, организовали слежку, но все это было так глупо устроено, что веселые итальянцы за животы хватались от смеху. Так ни с чем и уехали компатриоты; разве что только русский престиж среди итальянцев подняли.

Я бы мог рассказать о той исключительной приветливости и радушии, с которыми мы были встречены писателем...

Но, щадя его скромность, пропущу все это.

А вот нижеизложенное имеет некоторое отношение к этой книге...

Мы говорили о Неаполе.

— О, видите ли,— сказал Горький,— есть два Неаполя. Один Неаполь туристов: жадный, плутоватый, испорченный и распутный; другой — просто Неаполь. Этот чудесен. И неаполитанцы тоже бывают разные... К сожалению, иностранца встречают только отбросы, специально живущие на счет туристов, обирающие их. Будьте уверены, что настоящий неаполитанец с глубоким отвращением относится ко всем этим «тарантеллам», ко всему тому, что специально создано для нездорового спроса форестьера. Нужно пожить между итальянцами, чтобы узнать их. Они добры, великодушны, горячи и неизменно веселы. Я вам расскажу сейчас один случай, очень характеризующий славных неаполитанцев...

Пришло в Неаполь однажды какое-то русское судно. Матрос, отпросившись на берег, стал бродить по городу, дивясь на незнакомую обстановку, пока не наткнулся на кинематограф. Бедняге вятичу или костромичу, взятому от сохи, никогда не приходилось видеть раньше кинематографа, и он решил посмотреть. Купил билет, сел. Просмотрел всю программу — пришел в такой восторг, что остался снова ее смотреть... Билета с него второй раз не спросили, но покосились... Просмотрел второй раз программу... Восхищение его было так велико, что он остался и на третий раз. Тут уж хозяин не выдержал — потребовал, чтобы матросик взял второй билет. Матросик заспорил, и по незнанию ли итальянского языка или по чему другому, но дал хозяину зуботычину. Поднялся крик — матросика схватили и потащили в полицию.

Итальянская толпа любопытна до истерики. Увидели, что ведут чужеземца в полицию, заинтересовались:

— За что? Что сделал?

Хозяин кинематографа рассказал: «Смотрел, дескать, человек программу два раза, да еще хотел и в третий раз смотреть. А деньги за билет уплатить отказался, да, кроме того, когда его стали выводить,— вступил в драку».

Посмотрели неаполитанцы на матросика.

— Знаете что,— обращаются к полицейским и хозяину.— Отпустите вы его.

— Как так, отпустите?

— Ну чего там... Бедный человек, видит кинематограф впервые, обрадовался, что дорвался, — за что его в полицию?

— В самом деле, отпустите его.

Толпа загудела сначала просительно, потом — не просительно.

— Отпустите этого человека! Отпустите его! — гудела вся улица.

Итальянская толпа шутить не любит. Просят, значит, надо сделать.

— Ну Бог с тобой, — согласился кинематографщик.

— Ступай! Отпустите его, я ничего против него не имею.

Торжествующая толпа бросилась качать кинематографщика, полицейских; потом устроила овацию матросику, подхватила его на руки и с веселым пеньем и плясками повела в ближайший кинематограф.

Ввалились, просмотрели программу, подхватили опять матросика на руки и с той же восторженностью повлекли в другой кинематограф, оттуда в третий, четвертый, и так до самого вечера, пока несчастный матросик не взмолился:

— Братцы, отпустите меня! Тошнит меня от него...

Вот и вся история. Но сколько в ней неожиданности, добродушия и милой шутки. Ко всякому поводу придерется неаполитанец, чтобы погорланить, повеселиться и поплясать.

До сих пор не могу сказать точно, — какое впечатление произвели мы на Максима Горького.

Говорю это потому, что знаю — порознь каждый из нас сносный человек, но все мы in corpore — представляем собою потрясающее зрелище. Человек с самыми крепкими нервами выносит пребывание в нашей компании не больше двух-трех часов. Шутки и веселье хороши, как приправа, но если устроить человеку обед из трех блюд: на первое соль, на второе горчица и на третье уксус — он на половине обеда взвоет и сбежит.

Однажды ехали мы из Петрограда в Москву — Крысаков, Мифасов и я. В четырехместное купе к нам сел какой-то сумрачный старик. Он начал сурово прислушиваться к нашему разговору... Постепенно морщины на его лице стали разглаживаться, через пять минут он стал усмехаться, а через полчаса хохотал как сумасшедший, радуясь, что попал в такую хорошую компанию. В начале второго часа

смех его заменился легкой, немного усталой усмешкой, в середине второго часа усмешка сбежала с лица, и весь он осунулся, со страхом поглядывая на нашу компанию, а к исходу второго часа — схватил свои вещи и в ужасе убежал отыскивать другое купе.

Мы же были свежи и бодры, как втянувшиеся в алкоголь пьяницы, которых и бутылка рому не свалит с ног.

. . . .

На другой день мы решили сами (безо всякой просьбы со стороны Горького) покинуть Капри и вернуться на родину — в Неаполь.

Пароход отходил в 4 часа дня, но был другой способ добраться до Неаполя — на лодке.

Мы с Крысаковым сначала колебались в выборе, но когда Мифасов и Сандерс подали голоса за пароход — мы решили ехать на лодке.

Минусы были таковы: 30 верст по палящей жаре. Если не будет ветра — на веслах 6–7 часов езды (на пароходе 1½ часа), если же будет ветер, то будет и качка. Цена на пароходе — 8 лир, на лодке — 30.

Облив Сандерса и Мифасова потоком холодных, ядовитых, презрительных слов и замечаний, мы вдвоем сели в 10 часов утра и поехали.

Ветер оказался таков: не настолько сильный, чтобы надуть паруса, и не настолько слабый, чтобы не было качки.

Поэтому мы стояли на месте, и нас качало. Я немедленно подружился с лодочниками. Откупорил бутылку кьянти, угостил этих добрых людей, эти добрые люди угостили меня какой-то колбасой с хлебом, и потом я с этими добрыми людьми принялся горланить неаполитанские песни.

Что в это время делалось с Крысаковым — говорить не буду; он частенько наклонялся за борт, и не знаю, что заставляло его вести себя так — проклятая качка, которой он не переносил, или наше энергичное, но нестройное пение.

А сверху палило прежестокое, обваривавшее нас, как раков, солнце, а внизу колыхалась изумрудная вода, и вялый парус ласково трепал Крысакова по лицу.

Бедняга частенько наклонялся за борт, и мы из деликатности отворачивались, рассматривая какую-нибудь чайку и заглушая его стоны визгливым пением «Bella Napoli» и «Sole mio».

Приехали мы на полчаса (они выехали в 4 часа!) позднее Сандерса и Мифасова. То есть приехал я почти один, потому что от большого могучего Крысакова осталась одна оболочка, которую я, как плед, перекинул через руку, выходя из лодки.

Нужно было три дня, чтобы набить эту опустевшую оболочку пищей и чтобы эта оболочка приняла некоторое подобие контуров прежнего Крысакова.

Очнувшись, он протянул мне слабую руку, и первые слова его были таковы:

— Теперь вы можете представить, как я вас люблю, если согласился, ради вас, на такую штуку!

— Спасибо,— добродушно сказал я.— Обещаю вам, что первую попавшуюся картинную галерею исхожу с вами вдоль и поперек...

Прощай, прекрасный Неаполь!.. Мы уезжаем.

Заключительный неаполитанский аккорд был таков: собираясь ехать на пристань, мы с Сандерсом наняли извозчика; сели, тронулись.

Меланхоличный Сандерс, бродя рассеянным взором по окружающему, увидел на стекле таксометра нашего извозчика какую-то маленькую прилипшую бумажечку, в полтинник величиной; от скуки он стал пальцем соскабливать ее. Бумажечка сейчас же отклеилась и — о чудо! Под ней на таксометре красовалась цифра — 2 лиры!

Мы только что тронулись, и поэтому с нас могло следовать не более двадцати чентезимов...

— Стой! — заорали мы.— Это что такое? Откуда у тебя две лиры?

Извозчик сразу прикинулся не понимающим по-французски (в Италии почти все говорят довольно внятно по-французски) и стал что-то объяснять нам, спорить, кричать.

Бедняга не знал нашей системы. Мы сразу подняли такой вой и крик, что сбежалось пол-Неаполя.

— В полицию! — ревел я.— К консулу! Телеграмму посланнику!! Разбойники!..

— Стреляйте в него,— кричал Сандерс.— Где ваш ножик? Нас грабят!! Перережьте ему горло!

Извозчик обрел неожиданный дар французской речи. Подобострастно вскочил, низко кланяясь, перевел механизм таксометра, и мы, сразу заговорив обыкновенными

спокойными голосами, двинулись под восторженные клики собравшейся толпы.

Больше всех был в восторге наш возница. Он смотрел на нас с восхищением, оборачивался, хлопал меня по коленке и говорил:

— Добрый синьор руссо — умный, понимающий человек. Он прекрасный, чудесный путешественник, и пусть он не сердится на Беппо. Ну, вышла маленькая ошибочка — чего там... Хе-хе.

Мы приехали на пристань.

Правду говорит пословица: «кто на море не бывал, тот горя не видал»,— пароход задержался с погрузкой, и нам пришлось ожидать четыре часа.

Всякий развлекался как хотел: Крысаков ел, Сандерс спал, а мы с Мифасовым бросали в воду серебряные монеты. Несколько юрких мальчишек бросались за ними с пристани, ныряли и доставали со дна. Были изумительные искусники.

Какой-то немец тоже бросал монеты, но, как человек экономный, не желающий даром тратить денег, он — или забрасывал монету за двадцать метров от намеченного ныряльщиками места, или старался попасть ныряльщикам в голову...

Прогудел уже второй гудок, и в это время на пристани показался Габриэль. Он долго отыскивал нас глазами, а найдя — закричал, заплясал и стал посылать нам воздушные поцелуи.

— А что, господа,— сказал Мифасов.— Может быть, он всюду увязывался за нами не из-за выгоды, не из-за денег, а просто потому, что искренно полюбил нас. А мы не понимали его, гнали, унижали и не замечали.

Это было совершенно новое освещение поступков Габриэля. Мы наскоро сложились, завернули в бумагу несколько лир и бросили это сооружение Габриэлю.

И за этим последовал не дождь, а целый ливень воздушных поцелуев... с обеих сторон.

— Прощай, Габриэль! Кланяйся иссохшему Помпейскому человеку! Поцелуй от нас мартаделлу.

Бедный, милый Габриэль!.. Прощай. Ты ведь никогда, никогда, вероятно, не узнаешь, что я, где-то в далекой России, вспоминаю о тебе в книге, написанной непонятным тебе, кроме слова «купаться», языком и напечатанной непонятными буквами.

НА ПАРОХОДЕ ИЗ НЕАПОЛЯ В ГЕНУЮ

— А братья есть у вас?

— О да. Семь миллионов, три миллиона и четырнадцать с половиной.

— Простите... что вы такое говорите?

— В этих суммах выражается состояние каждого из них! Трое.

— А матушка ваша... жива?

— Нет. Скончалась. Позвольте... дайте вспомнить... Да! Двадцать восемь тысяч долларов было истрачено на ее похороны.

— Вероятно, ваша семья сильно горевала?

— Еще бы! Приостановка дела на четыре дня дала по конторе убытку около четырехсот тысяч... А когда умерла бабка Стивенсон, их горе не стоило и сотняги тысяч. Вот вы и смекните.

— Да? Какое бессердечие... Смотрите, что за чудесное облако направо от нашего парохода!..

— Будущий атмосферный осадок. Если бы его перегнать на сушу, да спустить на пшеницу — ого!

— А что?

— А то, что за него всякий неглупый сельский хозяин пару сотен отвалит.

Это было мое первое знакомство и первый разговор с мистером Джошуа Перкинсом. Он казался самым обыкновенным американцем: одетый в брюки отвратительного американского фасона и ботинки, похожие больше на лошадиные копыта, он шатался по всему пароходу без пиджака и жилета, с засученными рукавами, распевал пронзительным, фальшивым голосом ужасные американские песенки и презирал всех так откровенно и беззаботно, что все полюбили его.

Только ко мне он благоволил, потому что при первой встрече я выказал себя еще большим американцем, чем он: выйдя после обеда на палубу и заметив, что мистер Перкинс развалился на занятом мною longue chaise's, я подошел и, лениво зевнув, опустился к нему на колени. Он забился подо мной, завыл и, сбросив меня, в бешенстве вскочил на ноги.

— Простите,— заметил я,— но я сел на свое место. Вот карточка с моим именем на спинке.

Он захохотал и, пересев на соседний стул, вступил со мной в вышеприведенный разговор.

После замечания относительно облака он посвистал немного и спросил:

— Женаты?

— Был.

— Жена?

— Умерла.

— От чего?

— О, это тяжелая история... Она сгорела на моих глазах от лопнувшей бутылки с бензином.

— А!

В глазах его засветился живой интерес к моим словам.

— Тяжелая история?

— Да. Очень.

— Хотите дело?

—?..

— Я, вероятно, не говорил вам, что у меня в Нью-Йорке есть две газеты... Опишите вашу историю погуще — у вас есть литературное имя — я смогу заплатить вам по полдоллара за строчку.

— Нет. Не хочу.

— Почему? Мне просто хочется утереть такой штукой нос этому зазнавшемуся каналье Чарли Пегготу. Он изо дня в день пичкает своих читателей историями о вырытых трупах и взбесившихся животных — этот мошенник Пеггот...

— Я не могу принять вашего предложения,— сухо отвечал я.

Он похлопал меня по плечу.

— Молодец! Я, признаться, хотел испытать вас — настоящий вы мужчина или нет. Вы сразу раскусили меня. Действительно, полдоллара за строчку — это сор. All right! Я заплачу вам доллар.

— Не находите ли вы,— угрюмо возразил я,— что покойница, дорогая сердцу мужа,— плохое средство для утирания носов зазнавшимся Чарли Пегготам.

Джошуа Перкинс смутился и крепко пожал мою руку.

— Простите, если я не так выразился. Конечно, утирание носа Пегготу вашей... дорогой покойницей... это скорее метафорический оборот...

— Ничего. Прекратим этот разговор. Вы давно путешествуете по Европе?

— Третий месяц.

— Что же вас тут больше всего интересует?

— Искусство.

— Значит, музеи, картинные галереи, да?

— Да. Есть изумительные вещи. Говорят, тут за одного Рубенса отвалили около двух миллионов?

— Да.

— Вот это приемная вещь!

— Что это такое — приемная?

— Вещь, которую не стыдно повесить в приемной. А, откровенно говоря, все эти Луки Кранахи да Паоло Веронезе — ведь это так... для кабинета или в другую какую комнату... а?

Он нерешительно заглянул в мое непроницаемое лицо.

— А? Как вы думаете?

— Да... Это правда. Кранахом Пегготу носа не утрешь!

— Вы думаете? Это, пожалуй, верно. Можете представить, у него в буфетной комнате, в дверцах буфета, вделаны четыре настоящих Фрагонара!

— Шикарно! Надеюсь, вы утерли нос этому зазнавшемуся выскочке?

Джошуа подмигнул мне:

— Собираюсь. Да так, что он и не ожидает! Хе-хе!

Мы оба долго смеялись.

— Небось,— предположил я,— обмеблируете свою квартиру египетскими мумиями? Они стоят бешеных денег. А живот ей выдолбить, да устроить там погребец для ликеров... То-то позеленеет ваш Пеггот.

— Нет, это почище мумий. Вы знаете, я подыскиваю себе старинный замок!

— Для чего?

— Жить в нем. Буду приезжать месяца на три в год, да и жить в нем. Не правда ли, комфортабельно?

— Нашли что-нибудь подходящее?

— Нет. Есть или простые развалины, или хорошие замки, но не продают. Я приторговывал замок Барбароссы в Нюрнберге... Нет, говорят, нельзя.— Почему? — Неизвестно!

— Как же вы думаете устроиться?

— Я уже говорил с архитектором. Он обещал выстроить новый, но как бы старый. Как вы думаете?

Я подумал немного и сказал решительно:
— Нет, это не то.
— Ну что вы говорите!..
— В старых замках обыкновенно есть прекрасные галереи портретов, где так сладостно-жутко и страшно по ночам, когда желтая луна тускло светит в разбитые, затканные паутиной окна...
— О, за этим дело не станет. Любой антикварий развесит за гроши целую галерею!.. Стекла, если их разбить...
— Пожалуй. Но где летучие мыши, гнездящиеся под потолком полуразрушенной башни, где треск ветхой мебели, шорохи под полом и завывание ветра в трубе громадного, веками закопченного камина?
— Да, это так. Гм...
Джошуа поднял ноги, положил их на перила палубы и, осмотрев свои похожие на лошадиные копыта башмаки, спросил:
— А вы не знаете, как их разводят?
— Кого?
— Летучих мышей.
— Кто же их разводит... Сами разводятся. Черт их знает как. Пустите одну пару для завода, а там видно будет. Остальное, конечно, пустяки. Камин можно закоптить порохом, под полом поставить несколько аппаратов, которые трещали бы при ходьбе, ветер в трубе прекрасно имитируется парой органных труб, вековая пыль в нежилых комнатах оседает в три дня, если десяток дюжин рабочих будет посменно шаркать пыльными сапогами... Все это не так трудно. И устроите вы такое помещеньице, что утрете нос самому Барбароссе... Одного только у вас не будет.
— Ого!
— Да-с. Не будет у вас старого зловещего привидения, которое бродило бы по ночам, пугая обитателей замка.
— Да ведь привидений-то вообще нет.
— Ну, это смотря где. Конечно, в вашем нью-йоркском небоскребе ему не ужиться, а в старых замках их целые гнезда. Может быть, и у меня заведется...
— Не-ет, дорогой мой... На имитацию его не подловишь. Оно, как тесто на муке, замешивается на легенде, на каком-нибудь старинном злодеянии. А старинного злодеяния вам за миллион не устроить.

Джошуа был огорошен искренно и серьезно.

— Наловить их в развалинах да напустить ко мне...

— Убегут. Главное дело — легенды нет. Злодеяния нет.

— Есть дело! — сказал Джошуа, хлопнув меня по колену.— Вы писатель? Так придумайте мне легенду. Легенду старинного замка Джошуа Перкинса.

— Да что ж тут можно придумать? Есть определенные американские легенды: железнодорожные короли Дженкинс и Бридж, имея две параллельные железнодорожные линии, конкурировали в ценах на перевозку скота из места, где его было много, в места, где его было мало. Дженкинс спустил цены за перевозку до минимума, а Бридж, по американскому обычаю, захотел «утереть нос» Дженкинсу и назначил цены себе в громадный убыток. Что же делает умный Дженкинс? Он начинает сам покупать скот и отправлять его за гроши по дороге своего конкурента, кладя в карман огромные прибыли, чем и разоряет его. Вот вам и легенда. А что из нее сделаешь? Если даже Бридж повесился, то и тогда, что он скажет Дженкинсу, явившись к нему темной страшной ночью — в качестве привидения? «Дженкинс, Дженкинс,— скажет он только,— зачем ты отправлял скот по моей дороге?» — «Да ведь и ты, голубчик,— основательно возразит ему Дженкинс,— спустил цены так, что хоть ложись да помирай. Не надо было зарываться». Нет. Такой легенды никакой замок не выдержит.

Джошуа сосредоточился, что-то припоминая.

— А вот у меня дед скончался при крайне таинственных обстоятельствах.

— Именно?

— Его повесили в Канзасе за кражу лошадей...

Я скептически пожал плечами:

— Уж и легенда! Да махните рукой на привидение. Живите так.

— Это не то. Не комфортабельно. Впрочем, я поговорю с архитектором.

— Вам бы жениться лучше,— посоветовал я.

— О, это очень трудная вещь — брак. У меня есть две девушки на примете — не знаю, на какой из них остановиться.

— А какая между ними разница?

— Хлебный элеватор.

— Удивляюсь я вам, американцам... Все вы сводите на деньги да на элеваторы. Могли бы хоть тут последовать влечению сердца. Каковы они собою?

— Одна миниатюрная, небольшого роста, килограммов около пятидесяти весу, другая высокая, хорошо развитая девушка.

— Килограммов в семьдесят?

— Да, около этого. Вот вы тут и посоветуйте!..

— И советовать нечего. Женитесь на той, которая весит больше.

Он с сомнением посмотрел на меня — не смеюсь ли я.

— Однако... Это, мне кажется, несколько меркантильный взгляд...

— Ничуть! — горячо возразил я.— Вы подумайте. Что такое жена? Это нечто такое, что дороже всего человеку. И если этого дорогого, прекрасного будет на двадцать процентов больше, то не ясно ли даже не умеющему считать, что от этого счастье обладания любимым существом подымется на такое же количество процентов.

Он снисходительно пожал плечами:

— Эти европейцы неисправимые идеалисты. Впрочем... Пароход наш уже подходит к Генуе... Мы сейчас расстанемся. Я совершенно незаметно провел с вами два часа сорок семь минут. Очень рад. Не откажитесь принять от меня на память эту любопытную вещицу!

Джошуа вынул из бумажника зубочистку и благоговейно протянул ее мне.

— Это что такое?

— Это замечательные зубочистки. Их всего у меня три, и каждая обошлась мне в 300 долларов.

— Из чего же они сделаны? — изумился я.

Он самодовольно улыбнулся.

— Из пера на шляпе Наполеона Первого, на той самой шляпе, в которой он был на Аркольском мосту. Мне было очень трудно достать эту вещь!

Джошуа Перкинс пожал мне руку, надел пиджак, засвистал фальшиво и зашагал за носильщиком.

Я подошел к борту парохода, бросил наполеоновскую зубочистку в воду и стал смотреть на закат...

ГЕНУЯ

Генуя знаменита своим Campo Santo; Campo Santo знаменито мраморными памятниками; памятники знамениты своей скульптурой, а так как скульптура эта — невероятная пошлятина, то о Генуе и говорить не стоит.

Впрочем, есть люди, которые с умилением взирают на такие, например, скульптурные мотивы:

1) Мраморный детина, в мешковатом сюртуке, брюках старого покроя и громадных ботинках стоит у чайницы, долженствующей, по мысли скульптора, изображать могилу отца детины; детина, положив под мышку котелок, плачет. Ангел, сидя на чайнице, тычет в нос безутешному молодцу какую-то ветку.

2) Огромный барельеф: внизу на крышке гроба стоит ангел и передает, вытянув руки, парящему наверху ангелу — покойника, с безмолвной просьбой распорядиться им по своему усмотрению.

3) Безносая смерть тащит упирающуюся девицу в склеп.

4) А вот девица, судьба которой лучше — ее просто два ангела ведут под руки к вечному блаженству.

5) Целая композиция: мраморный хозяин умирает на мраморной кровати, окруженный домочадцами; налево господин в мраморном галстуке не то утешает, не то щекочет пальцем даму, возведшую глаза горе.

Всюду невероятное смешение старомодных сюртуков и панталон с ангельскими крыльями, ангельскими хитонами, ангельскими факелами в руках.

Ангельское терпение нужно, чтобы пересмотреть всю эту бессмыслицу.

Во время нашего путешествия по этому бесконечному морю испорченного мрамора произошел странный инцидент.

Именно: Крысаков, который задержался около стучащейся в райские двери девицы, вдруг догнал нас бледный и в ужасе зашептал:

— Со мной что-то случилось...

— Что такое?

— Сколько кьянти выпили мы за завтраком? — спросил Крысаков, дрожа от страха.

— Сколько каждому хотелось — ни на каплю больше. А что случилось?

— Дело в том — я не знаю, что со мной сделалось, но я сразу стал понимать по-итальянски.

— Как так? Почему?

— Видите ли, около той «девушки у врат» стоит публика. Вдруг кто-то из них заговорил — и я сразу чувствую, что понимаю все, что он говорит!

— Какой вздор! Этого не может быть.

— Уверяю вас! Другой ему ответил — и что же! Я чувствую, что понял и ответ.

— Тут что-то неладно... Пойдем к ним!

Мы подошли.

— Слышите, слышите? Я прекрасно сейчас понимаю, о чем они говорят... О том, что такой сюжет они уже встречали в Риме... Хотите, я вам буду переводить?

— Не стоит. Это излишне.

— По... почему?

— *Потому что они говорят по-русски.*

Мифасов оглядел фигуру смущенного Крысакова и уронил великолепное:

— Удивительно, как вы еще понимаете по-русски.

СТРАШНЫЙ ПУТЬ

Путь из Генуи в Ниццу был ужасен. Отвратительные грязные вагоны, копоть, духота.

Все мы грязные, немытые — и умыться негде.

Едим ветчину, разрывая ее пальцами, и пьем кьянти из апельсинных шкурок и свернутых в трубочку визитных карточек.

Солнце склонялось к закату. Все мы сидели злые, мрачные и все время поглядывали подстерегающими взорами друг на друга, только и ожидая удобного случая к чему-нибудь придраться.

В вагоне сразу стемнело.

— Удивительно, как на юге быстро наступает ночь,— заметил Мифасов.— Не успеешь оглянуться, как уже и стемнело.

— Удивительно, как вы все знаете,— саркастически заметил Сандерс.

— В вас меня удивляет обратное,— возразил Мифасов.

Вдруг в вагоне стало проясняться, и опять дневной свет ворвался в окно.

— Удивительно,— захихикал Сандерс,— как на юге быстро светлеет.

Поезд опять нырнул в туннель.

— Удивительно,— сказал Крысаков,— как на юге быстро темнеет...

— Черт возьми,— проворчал Сандерс,— как быстро время летит. Сегодня только выехали, и уже прошло три денечка.

— Опять темнеет! Четвертая ночка!

— А вот уже и рассвет... Четвертый денечек. С добрым утром, господа.

Угрюмо озираясь, сидел затравленный Мифасов.

Чем дальше, тем туннели попадались чаще, и до границы мы проехали их не меньше сотни.

Когда, по выражению Крысакова, «наступила ночка», я вдруг почувствовал, что какое-то тяжелое тело навалилось на меня и стало колотить меня по спине. Я с силой ущипнул неизвестное тело за руку, оно взризгнуло и отпрыгнуло.

Поезд вылетел из туннеля — все смирно сидели на своих местах, апатично поглядывая друг на друга.

— Хорошо же,— подумал я.

Едва только поезд нырнул в следующий туннель, как я вскочил и стал бешено колотить кулаками куда попало.

— Ой, кто это? Черрт!

Опять светло... Все сидят на своих местах, подозрительно поглядывая друг на друга.

— Кто это дерется? Что за свинство,— спросил сонный Сандерс.

— Действительно, подхватил я,— безобразие! Вести себя не умеют.

Тьма хлынула в окна. И опять поднялась в вагоне неимоверная возня, рев, крики и протесты.

— Стойте! — раздался могучий голос Крысакова.— Я поймал того, который нас бьет. Держу его за руку... Нет, голубчик, не вырвешься!

Засиял свет — и мы увидели бьющегося в крысаковских руках Сандерса.

Все набросились на него с упреками, но я заметил, как змеилась хитрая улыбочка на губах Мифасова.

От Монте-Карло к нам в купе подсели две француженки.

Одна из них обвела нас веселым взглядом и вдруг нахлобучила Крысакову на нос его шляпу.

— Ура! — гаркнул Крысаков из-под шляпы.— Отселе, значит, начинается Франция!

НИЦЦА

Ницца — небольшой городок, утыканный пальмами.

Мы попали в него в такое время, когда все приезжее народонаселение состояло из шести человек: нас четырех и тех двух француженок, которых мы встретили в вагоне.

У бедняжек, очевидно, в сезоне были такие плохие дела, что уехать было не на что, и поэтому они влачили вдвоем жалкое существование, надеясь на случай.

Но случай не подвертывался, потому что, кроме нас, никого не было, а наши принципы удерживали нас от легкомысленных поступков и преступного общения с женщинами.

Нам не нужно было тратить много времени, чтобы заметить, что вся Ницца живет только нами и для нас; все гостиницы были закрыты, кроме одной, в которой жили мы; все извозчики бездельничали, кроме двух, которые возили нас, магазины отпирались для нас, музыка по праздникам на площади гремела для нас, и только легкомысленные бабочки, кружившиеся около нас, были вне этого распорядка — спрос на женскую привязанность стоял до смешного низко.

Когда мы уезжали, было такое впечатление, что душа Ниццы отлетает и тело сейчас замрет в последней агонии.

В Париж! В Париж!

ПАРИЖ

Тоска по родине.— Мы четверо.— Призрак голода.— Муки.— 14 июля.— Лирическое отступление. — Деньги отыскиваются.— Последние усилия.— Драка.— Победа.— В Россию.— Последнее merci...

Наиболее остро это началось с Парижа.

Первым был пойман Мифасов: пойман на месте преступления, в то время когда, сидя в маленьком кафе на бульваре

Мишель и увидя нас, пытался со сконфуженным видом спрятать в карман клочок бумаги.

— Погодите! — строго сказал Крысаков.— Давайте-ка сюда. Ну конечно, я так и подозревал.

Это был обрывок русской газеты.

— А наше слово? Наше слово — не читать русских газет, не вспоминать о России, не пить русской водки?..

Опустив голову, смущенно шаркал ногой по цементному полу Мифасов.

Вторым попался Сандерс.

Однажды, идя по улице впереди него и неожиданно оглянувшись, мы заметили, что он отмахнулся два раза от какого-то попрошайки, а потом вдруг остановился, прислушался к его словам, и лицо его, как будто очарованное сладкой музыкой, распустилось в блаженную улыбку.

— О! — сказал Сандерс,— вы говорите — вы русский! Неужели? Не обманываете ли вы меня?

— Русский! Ей-Богу! Поверьте, третий день уже хожу — ни шиша...

— Как? Как вы сказали? «Ни шиша»? О, это очень мило! Какое образное русское слово! Это очень хорошо, что вы русский. Это благородно с вашей стороны!

— Обносился, оборвался я, как босявка...

Склонив голову набок, Сандерс сладко слушал...

— О, что за язык! «Босявка»... «оборвался»... Почему никто из товарищей моих не говорит так по-русски? Давно я не слыхал от них русского слова. Все стараются французить... Русский! Я желаю вас выручить, русский. Вот вам пять франков.

Крысакова однажды поймали ночью уже на лестнице в то время, когда он, крадучись, со своим распухшим, больным чемоданом пробирался к выходу...

— Неужели, господа, вы не можете потерпеть несколько дней? — возмущался я.— До нашего срока отпуска — двух месяцев — осталось всего шесть суток.

Но в тот же вечер я сам, подойдя к открытому окну, увидел на небе нашу русскую добродушную луну. И мне захотелось, как собаке, положить лапы на подоконник, вытянуть кверху голову, да как завыть!.. Завыть от тоски по нашей несчастной, милой родине...

В предыдущих очерках я уделял наибольшее внимание этнографическим описаниям; Париж настолько всем известен, что я считаю себя вправе заняться главным образом путешественниками — Мифасовым, Крысаковым, Сандерсом и мною.

Всякий, конечно, был верен себе: Сандерс однажды задремал с булкой в руках, остановившись на полпути между прилавком и нашим столиком; он же, заспорив как-то о том: какой из двух путей, ведущих к Лувру, ближе,— встал в шесть часов утра и пошел проверять тот и другой путь; среди сна все трое были разбужены и оповещены о том, какой хороший, умный человек Сандерс и как он всегда бывает прав.

Всякий, конечно, был верен себе: Мифасов после обеда потащил нас в кафешантан Марини; он же возмутился бешеными ценами на места в этом учреждении; он же предложил поехать в какой-нибудь из маленьких шантанчиков на Севастопольском бульваре, утверждая, что хотя это далеко, но зато дешевизна тамошних кабачков баснословная, он же, в ответ на наши сомнения, сказал, что ему приходилось бывать там и что спорить с ним, опытным кутилой, глупо. «За свои слова я ручаюсь головой». По приезде на место выяснилось, что цены в кафе-концерте на Севастопольском бульваре выше цен Марини на 40%.

Всякий, конечно, был верен себе: шокируя Мифасова и Сандерса, мы с Крысаковым присаживались за столиком в третьеклассном кафе, требовали пива, а потом Крысаков мчался к тележке, развозившей всякую снедь, подкупал на 10 су паштета из телячьей печенки, на 3 су хлеба, и мы устраивали такой пир, что все с восхищением глядели на нас, кроме Мифасова и Сандерса.

— Кушайте,— добродушно угощал Крысаков, похлопывая ладонью по своему паштету.— Битте-дритте.

Должен заметить, что паштетом питались и наши антагонисты — Мифасов и Сандерс. Должен заметить, что и насыщение паштетами за 10 су и хлебом за 3 су, и возмущение ценами шантана — все это имело под собой основательную почву: дело в том, что мы разорились.

Кто был виноват в этом? Что было причиной этому: склонность ли Мифасова к фешенебельным ресторанам, «обедам под гонг», страсть ли Сандерса к эффектным одеждам,

покупка ли массы оружия, которое всякий из нас приобрел для защиты жизни от могущих посягнуть на нее врагов? Вероятно, все вместе повредило нам.

Правда, мы ждали солидного перевода на Лионский кредит, и перевод этот должен был получиться в Париже 12 июля. Но 12 июля банки были закрыты потому, что через два дня предстояло огромное празднование 14 июля — день взятия Бастилии; 13 июля банки не открывались потому, что оставался всего один день до 14-го;

14-го праздновали Бастилию; 15-го отпраздновали первый день после взятия Бастилии, а 16-го была какая-то генеральная проверка всех банковских касс; так как 17-го было воскресенье — то мы, очутившись 11-го без денег,— могли ожидать их получения только 18-го.

Грозный призрак толода протянул к нам свои костлявые, когтистые лапы.

Первые признаки бедствия выяснились неожиданно: 11-го июля, после роскошного завтрака в ресторане на Итальянском бульваре, мы взяли мотор и полетели в Булонский лес.

Сандерс был задумчив. Вдруг на полдороге он хлопнул ладонью по доске мотора и с несвойственной ему энергией воскликнул:

— Стойте! Сколько показывает таксометр?

— 6 франков 50.

— Мотор! Назад!

— Что случилось?

И, как гробовой молоток, прозвучали слова Сандерса:

— У нас всего 8 франков... (общественными суммами заведовал Сандерс).

Раздались крики ужаса; мотор повернули, и он, как вестник бедствия, полетел со страшным ревом и плачем в город.

— Стойте! До дому версты полторы. Дойдем пешком,— предложил благоразумный Крысаков.— Шоферу нужно, конечно, заплатить полным рублем, но на чай, ввиду исключительности положения, не давать; пусть каждый пожмет ему руку; это все, чем мы можем располагать.

Все с чувством пожали шоферу руку и поплелись домой.

Вечером прибегли к паштету с пивом, а утром на другой день Мифасов засел за большую композицию «Голодающие в Индии».

— Как жаль, что нет с нами Мити,— заметил Крысаков.— Его можно бы послать собирать милостыню. Самим нам неудобно, а он мог бы поработать на бедных хозяев.

— Бедный Митя! — вздохнул Мифасов.— Он, вероятно, умирает от голоду в Берлине, мы — в Париже. О, жизнь! Ты шутишь иногда жестоко, и твоя улыбка напоминает часто гримасу смерти.

Сандерс обошел кругом Крысакова и, щелкнув зубами, сказал:

— Думал ли я, что рагу из Крысакова будет казаться мне таким заманчивым?!

Крысаков, взволнованный, встал, поцеловал Сандерса в темя и выбежал из нашей комнаты в свою.

Потом вернулся, положил на стол золотой и сурово сказал:

— Последний! Прятал на похороны. Берите!

Радостный крик сотряс наши груди.

— Беру в кассу,— сказал Сандерс.— Что мы сделаем на эти деньги?

— Тут я на углу видел один ресторанчик...— несмело заметил Мифасов.

«Голодающие» на его рисунке сразу пополнели. Он приделал им животы, округлил щеки, прибавил мяса на руках и ногах и сказал:

— Произведения художника есть продукт его настроения. Налево за углом, вход с бульвара. Обед два франка с вином!!

— Браво, Мифасов! Он заслуживает качанья. В первую же хорошую качку на море вы будете вознаграждены! За угол, господа, за угол!!

Было 13-е число. Весь Париж наряжался, украшался, обвешивался разноцветными лампочками; на улицах строили эстрады для музыкантов, драпируя их материей национального цвета. Уже приближался вечер, и пылкие французы не могли дождаться завтрашнего дня, зажгли кое-где иллюминацию и плясали на улице под теплым небом, под звуки скрипок и флейт.

А мы сидели в комнате Мифасова без лампы, озаренные светом луны, и тоска — этот спутник сирых и голодных — сжимала наши сердца, которые теперь переместились вниз и свили себе гнездо в желудке.

Недоконченный этюд «Голодающие в Индии», снова реставрированный в сторону худобы и нищенства, смут-

но белел на столе своими страшными скелетообразными фигурами.

— Мама, мама,— прошептал я.— Знаешь ли ты, что испытывает твой сын, твой милый первенец?

— Постойте,— сказал Мифасов, очевидно, после долгой борьбы с собой.— У меня есть тоже мать, и я не хочу, чтобы ее сын терпел какие-нибудь лишения. В тот день, когда голод подкрадывался к нам,— у меня были запрятанные 50 франков. Я спрятал их на крайний случай... на самый крайний случай, когда мы начнем питаться кожей чемоданов и безвредными сортами масляных красок!.. Но больше я мучиться не в силах. Музыка играет так хорошо, и улицы оживлены, наполнены веселыми лицами... сотни прекрасных дочерей Франции освещают площади светом своих глаз, их мелодичный смех заставляет сжиматься сердца сладко и мучи...

— По 12 с половиной франков,— сказал Сандерс.— Господи! Умываться, бриться! Черт возьми! Да здравствует Бастилия!

И мы, как подтаявшая льдина с горы, низринулись с лестницы на улицу.

Какое-то безумие охватило Париж. Все улицы были наполнены народом, звуки труб и барабанов прорезали волны человеческого смеха, тысячи цветных фонариков кокетливо прятались в темной зелени деревьев, и теплое летнее небо разукрасилось на этот раз особенно роскошными блистающими звездами, которые весело перемигивались, глядя на темные силуэты пляшущих, пьющих и поющих людей.

Милый, прекрасный Париж!..

Как танцуют на улице? Играют оркестры?!

Невероятным кажется такое веселье русскому человеку.

Бедная, темная Русь!.. Когда же ты весело запляшешь и запоешь, не оглядываясь и не ежась к сторонке?

Когда твои юноши и девушки беззаботно сплетутся руками и пойдут танцевать и выделывать беззаботные скачки?

Желтые, красные, зеленые ленты серпантина взвиваются над толпой и обвивают намеченную жертву, какую-нибудь черномазую модистку или простоволосую девицу, ошалевшую от музыки и веселья.

На двести тысяч разбросает сегодня щедрый Париж бумажных лент — целую бумажную фабрику, миллион сгорит

на фейерверке и десятки миллионов проест и пропьет простолюдин, празднуя свой национальный праздник.

Сандерс тоже не дремлет. Он нагрузился серпантином, какими-то флажками, бумажными чертями и сам, вертлявый, как черт, носится по площади, вступая с девицами в кокетливые битвы и расточая всюду улыбки; элегантный Мифасов взобрался верхом на карусельного слона и летит на нем с видом завзятого авантюриста. Мы с Крысаковым скромно пляшем посреди маленькой кучки поклонников, вполне одобряющих этот способ нашего уважения к французам. Писк, крики, трубный звук и рев карусельных органов.

А на другое утро Сандерс, найдя у себя в кармане обрывок серпантина, скорбно говорил:

— Вот если бы таких обрывков побольше, склеить бы их, свернуть опять в спираль, сложить в рулон и продать за 50 сантимов; двадцать таких штучек изготовить — вот тебе и 10 франков.

Крысаков вдруг открыл рот и заревел.

— Что с вами?

— Голос пробую. Что если пойти нынче по кафе и попробовать петь русские национальные песни; франков десять, я думаю, наберешь.

— Да вы умеете петь такие песни?

— Еще бы!

И он фальшиво, гнусавым голосом запел:

Матчиш прелестный танец —
Шальной и жгучий..
Привез его испанец —
Брюнет могучий

— Если бы были гири,— скромно предложил я. — Я мог бы на какой-нибудь площади показать работу гирями... Мускулы у меня хорошие.

— Неужели вы бы это сделали? — странным, дрогнувшим голосом спросил Сандерс.

Я вздохнул:

— Сделал бы.

— Гм,— прошептал он, смахивая слезу.— Значит, дело действительно серьезно. Вот что, господа! Мифасов берег деньги на случай питания масляными красками и кожей чемоданов. Я заглянул дальше; на самый крайний, на крайнейший слу-

чай,— слышите? — когда среди нас начнет свирепствовать цинга и тиф — я припрятал кровные 30 франков. Вот они!

— Браво! — крикнул, оживившись, Крысаков.

— У меня как раз цинга!

— А у меня тиф!

Мифасов сказал:

— Тут... на углу... я...

— Пойдем.

Грохот восьми ног по лестнице разбудил тишину нашего мирного пансиона.

Когда мы были в «Кабачке мертвецов» и Сандерс, уходя, сказал шутовскому привратнику этого кабачка, где слуги поносили гостей как могли: «Прощайте, сударь», тот ответил ему привычным, заученным тоном: «Прощайте, туберкулезный!»

Конечно, это была шаблонная шутка, имевшая успех в этом заведении, но сердце мое сжалось: что если в самом деле слабый здоровьем Сандерс заболеет с голодухи и умрет?..

Последние десять франков ухлопали мы на это кощунственное жилище мертвых, будто бы для того придя сюда, чтобы привыкнуть постепенно к неизбежному концу.

— Удивляюсь я вам,— сказал мне Крысаков.— Человек вы умный, а не догадались сделать того, что сделал каждый из нас! Припрятать деньжонок про запас. Вот теперь и голодай. До открытия банков два дня, а я уже завтра с утра начинаю питаться верблюжьим хлебом.

— Чем?

— Верблюжьим хлебом. В зоологическом саду верблюдов кормят. Я пробовал — ничего. Жестко, но дешево. Хлебец стоит су.

— Ну,— принужденно засмеялся я.— У вас, вероятно, у кого-нибудь найдется еще несколько припрятанных франков «уже на самый крайний случай — чумы или смерти».

— Я отдал все! — возмутился Мифасов.— Запасы имеют свои границы.

— И я.

— И я!

— Я тоже все отдал,— признался я.— Натура я простодушная, без хитрости, я не позволю утаивать что-нибудь от товарищей «на крайний случай». А тут — чем я вам по-

могу? Не этой же бесполезной теперь бумажонкой, которая не дороже обрывка газеты, раз все меняльные учреждения закрыты.

И я, вынув из кармана русскую сторублевку, пренебрежительно бросил ее наземь.

— В Олимпию,— взревел Крысаков.— В Олимпию — в это царство женщин! Я знаю — там меняют всякие деньги!

Как нам ни противно было очутиться в этом царстве кокоток и разгула — пришлось пойти.

Меняли деньги... Крысаков был очень вежлив, но его «битте-дритте» звучало так сухо, что все блестящие ночные бабочки отлетали от него, как мотыльки от электрического фонаря, ударившись о твердое стекло.

В тот момент, когда наконец для французов красные, а для нас черные дни кончились и наступили будни, мы получили пачку разноцветных кредиток и золота.

И в тот же момент в один истерический крик слились четыре голоса:

— В Россию!

— Домой!

— В Петроград!

— К маме!

Но кто проследит пути судьбы нашей?

Кто мог бы предсказать нам, что именно в день отъезда случится такой яркий потрясающий факт, который до сих пор вызывает в нас троих смешанное чувство ужаса, восторга и удивления?!

Милый, веселый, неприхотливый Крысаков... Ты заслуживаешь пера не скромного юмориста с однотонными красками на палитре, а, по крайней мере, могучего орлиного пера Виктора Гюго или героического размаха автора «Трех мушкетеров».

Постараюсь быть просто протокольным,— иногда протокол действует сильнее всего.

Было раннее утро. Крысаков накануне вечером сговорился с нами идти на Центральный рынок поглазеть на «чрево Парижа», но, конечно, каждый из нас придерживался совершенно новой оригинальной пословицы: «вечер утра мудренее». Вечером можно было строить какие угодно мудрые, увлекательные планы, а утром — владычествовал один тупой, бессмысленный стимул: спать!

Крысаков собрался один. Жил он в другом пансионе с женой, приехавшей из Ниццы; с утра обыкновенно заходил к нам и не расставался до вечера.

В шесть часов утра хозяйка пансиона видела жильца, который на цыпочках, стараясь не шуметь, пробирался к выходу с вещами (ящик для красок и этюдник); в девять часов утра та же хозяйка заметила жену жильца, выходившую из своей комнаты с картонкой в руках.

Хозяйка преградила ей путь и сказала:

— Прежде чем тайком съезжать, милые мои,— надо бы уплатить денежки.

— С чего вы взяли, что мы съезжаем? — удивилась жена Крысакова.— Я еду к модистке, а муж поехал на этюды, на рынок.

— На этюды? Все вы, русские, мошенники. И ваш муж мошенник.

— Не больше, чем ваш муж,— вежливо ответила жена нашего друга.

Затем произошло вот что: хозяйка раскричалась, толкнула квартирантку в грудь, отобрала ключ от комнаты, несмотря на уверения, что деньги лежат в комнате и могут быть заплачены сейчас, а потом квартирантка была изгнана из коридора и поселилась она в помещении гораздо меньшем, чем раньше — именно на уличной тумбочке у парадных дверей, где она плача просидела до двух часов дня.

Она не знала, где найти мужа, который в это время, ничего не подозревая, весело завтракал с нами на полученные из Лионского кредита денежки.

Позавтракав, он вспомнил о семейном очаге, поехал домой и наткнулся на плачущую жену на тумбочке.

Наскоро расспросив ее, вошел побледневший Крысаков в зал пансиона, где за общим табль д'от сидело около двадцати человек аборигенов.

Мирно завтракали ветчиной и какой-то зеленью.

— Где хозяин? — спросил Крысаков.

— Я.

— Почему ваша жена безо всякого повода позволила себе толкнуть в грудь мою жену?

— О,— возразил хозяин, пренебрежительно махнув рукой.— Вы русские?

— Да.

— Так ведь русских всегда бьют. Русские привыкли, чтобы их били.

Привычному человеку, конечно, не особенно больно, когда его бьют. Но непривычный француз, получив удар кулаком в живот, заревел как бык и обрушился на маленький столик с цветочным горшком.

Несколько французов вскочили и бросились на славного, веселого, кроткого Крысакова.

Крысаков повел могучими плечами, ударил ногой по громадному столу, и все слилось в одну ужасающую симфонию звона разбитой посуды, стона раненых и яростного крика взбешенного Крысакова.

Вот подите ж: глупые разные «Земщины» и «Колоколы» с истинно дурацким постоянством из номера в номер уверяют десяток своих читателей, что сатириконцы — это жиды (?!) без всякого национального чувства и достоинства.

А Крысаков безрассудно, без всякого колебания, полез один на двадцать человек именно за одну нотку в голосе хозяина, которая показалась ему безмерно горькой и обидной.

И вот когда зажиревший в свободах француз поднял, по примеру всероссийского городового, руку на русского — в голове должно помутиться и рассудок должен отойти в сторону...

— Мерзавцы,— гремел голос нашего товарища.

— Русских бьют? Не так ли вот? Или, может быть, этак?

Двое пытались уползти от него в дверь, один выскочил в раскрытое окно; какой-то глупец схватил палку, взбежал по винтовой лестнице в углу комнаты и пытался поразить оттуда всесокрушающего Крысакова; но тот схватил палку, стащил ее вместе с обладателем с лестницы и, задав ему солидную трепку, бросил палку под ноги двум последним удиравшим противникам.

Поломанные стулья, разбитая посуда, хрустящим ковром покрывавшая пол, и посредине Крысаков с мужественно поднятыми руками и ногой на животе лежащего без чувств хозяина...

Момент — и он забился в шести дюжих руках... Три полисмена схватили его, приглашенные расторопной хозяйкой пансиона.

— Полиция? — сказал Крысаков.— Сдаюсь. Это уже закон!

Но когда его привели в участок и комиссар предложил в резкой форме снять шляпу, Крысаков с любопытством спросил:

— А почему вы в шляпе?

Полисмен сзади ударом ладони сбил с Крысакова шляпу, но Крысаков повернулся и в один момент посбивал с полисменов кепи (по своей теории — «иногда и русские бьют»).

Нужно ли говорить еще что-нибудь?

Личное задержание, штраф, убытки за поломанную посуду и поврежденных французов — одним словом, мы уехали вдвоем с Сандерсом, оставив Крысакову для подкрепления Мифасова.

Потом они передавали нам, что русский консул, к которому Крысаков обратился за заступничеством, сказал:

— Знаете что? Не стоит поднимать истории... Заплатите им штраф и убытки. Правда, они первые оскорбили вашу жену... Но если бы недалеко были наши броненосцы, я бы говорил с ними. А так, что я могу сказать?! Что мы можем сказать?

Жалкое, забитое существо этот консул.

Нам говорили опытные люди, что если русский человек хочет найти серьезное заступничество — он должен обратиться к английскому консулу.

И вот мы едем в Россию.

В Вержболове поздоровались с жандармом, а Сандерс, изнемогая, остановил носильщика и сказал:

— Я хочу услышать от тебя хоть одно русское слово. Истосковался. Скажи мне его, это слово, вот тебе за это целковый.

— Мерси,— ответил расторопный носильщик.

Пахло щами.

КОНЕЦ



ОДЕССКИЕ РАССКАЗЫ (1911)

зайчики на стене



ОДЕССА

I

Однажды я спросил петербуржца:

— Как вам нравится Петербург?

Он сморщил лицо в тысячу складок и обидчиво отвечал:

— Я не знаю, почему вы меня спрашиваете об этом? Кому же и когда может нравится гнилое, беспросветное болото, битком набитое болезнями и полутора миллионами чахлых идиотов? Накрахмаленная серая дрянь!

Потом я спрашивал у харьковца:

— Хороший ваш город?

— Какой город?

— Да Харьков!

— Да разве же это город?

— А что же это?

— Это? Эх... не хочется только сказать, что это такое — дамы близко сидят.

Я так и не узнал, что хотел харьковец сказать о своем родном городе. Очевидно, он хотел повторить мысль петербуржца, сделав соответствующее изменение в эпитетах и количестве «чахлых идиотов».

Спрошенный мною о Москве добродушный москвич объяснил, что ему сейчас неудобно высказывать мнение о своей родине так как в то время был Великий пост и москвич говел.

— Впрочем, — сказал москвич, — если вам уж так хочется услышать что-нибудь об этой прокл... об этом городе — приходите ко мне на первый день Пасхи... Тогда я отведу свою душеньку!

В Одессе мне до сих пор не приходилось бывать. Несколько дней тому назад я подъезжал к ней на пароходе — славном симпатичном черноморском пароходе — и, увидев вдали зеленые одесские берега, обратился к своему соседу (мы в то время стояли рядом, опершись на перила и поплевывали в воду) за некоторыми справками.

Я рассчитывал услышать от него самое настоящее мнение об Одессе, так как вблизи дам не было и никакой пост не мог связать его уст. И, кроме того, он казался мне очень общительным человеком.

— Скажите, обратился я к нему,— вы не одессит?

— А что? Может быть, я по ошибке надел, вместо своей, вашу шляпу?

— Нет, нет... что вы!

— Может быть,— тревожно спросил он,— я нечаянно сунул себе в карман ваш портсигар?

— Причем здесь портсигар? Я просто так спрашиваю.

— Просто так? Ну, да. Я одессит.

— Хороший город — Одесса?

— А вы никогда в ней не были?

— Еду первый раз.

— Гм... На вид вам лет тридцать. Что же вы делали эти тридцать лет, что не видели Одессы?

Не желая подробно отвечать на этот вопрос я уклончиво спросил:

— Много в Одессе жителей?

— Сколько угодно. Два миллиона сто сорок три тысячи семнадцать человек.

— Неужели?! А жизнь дешевле?

— Жизнь? На тридцать рублей в месяц вы проживете, как Ашкинази! Нет ничего красивее одесских улиц. Одесский театр — лучший театр в России. И актеры все играют хорошие, талантливые. Пьесы все ставятся такие, что вы нигде таких не найдете. Потом Александровский парк... Увидите — ахнете.

— А, говорят, у вас еще до сих пор нет в городе электрического трамвая?

— Зато посмотрите нашу конку! Лошади такие, что пустите ее сейчас на скачки — первый приз возьмет. Кондукторы вежливые, воспитанные. Каждому пассажиру отдельный билет полагается. Очень хорошо!

— А одесские женщины красивы?

Одессит развел руками, и, прищурясь, сострадательно поник головой.

— Он еще спрашивает!

— А климат хороший?

— Климат? Климат такой, что вы через неделю станете такой толстый, здоровый, как бочка!

— Что вы! — испугался я.— Да я хочу похудеть.

— Ну, хорошо. Вы будете такой худой, как палка. Сделайте одолжение! А если бы вы знали, какое у нас в Одессе пиво! А рестораны!

— Значит, я ничего не теряю, собравшись в Одессу?

Он, не задумываясь, ответил:

— Вы уже потеряли! Вы даром потеряли тридцать лет вашей жизни.

Одесситы не похожи ни на москвичей, ни на харьковцев. Мне это нравится.

II

Во всех других городах принято, чтобы граждане с утра садились за работу, кончали ее к заходу солнца и потом уже предавались отдыху, прогулкам и веселью.

А в Одессе настоящий одессит начинает отдых, прогулки и веселье с утра — так часов с девяти.

К этому времени все главные одесские улицы уже полны праздным народом, который бредет по тротуарам ленивыми, заплетающимися шагами, останавливается у всякой витрины, у всякого окна, и с каким-то упорным равнодушием заинтересовывается каждой мелочью, каждым пустяковым случаем, на который петербуржец не обратил бы никакого внимания.

Нянька тащит за руку ревущую маленькую девочку. Одессит остановится и станет следить с задумчивым видом за нянькой, за девочкой, за другим одесситом, заинтересовавшимся этим, и побредет дальше тогда, когда нянька с ребенком скроется в воротах, а второй одессит застынет около фотографической витрины.

Стоит какому-нибудь извозчику остановить лошадь, с целью поправить съехавшую на бок дугу, как экипаж сейчас же окружается десятком равнодушных, медлительных

прохожих, начинающих терпеливо следить за движениями извозчика.

Спешить им, очевидно, некуда, а извозчик, поправляющий дугу — зрелище, которое с успехом может занять десять-пятнадцать праздных минут.

Сначала я думал, что одесситы совершают прогулку только ранним утром, рассчитывая заняться делами часов с одиннадцати-двенадцати.

Ничуть не бывало.

В одиннадцать часов все рассаживаются на террасах многочисленных кафе и погружаются в чтение газет. Свои дела совершенно никого не интересуют. Все поглощены Англией или Турцией, или просто бюджетом России за текущий год. Особенно заинтересовываются бюджетом России те одесситы, собственный бюджет которых не позволяет потребовать второй стакан кофе.

Двенадцать часов. Другие города в это время дня погружены в лихорадочную работу. Но только не Одесса. Только не одесситы.

В двенадцать часов, к общей радости, в ресторанах начинает греметь музыка, раздается веселое пение, и одесситы, думая, в простоте душевной, что их трудовой день уже кончен, гурьбой отправляются в ресторан.

Нет лучшего города для лентяя, чем Одесса. Поэтому, здесь, вероятно, так много у всех времени и так мало денег.

III

Недавно я встретил на улице того самого одессита, который ехал со мной на пароходе. Он не узнал меня. А я подошел, приподнял шляпу и сказал:

— Здравствуйте. Не узнаете?

— А! — радостно вскричал он...— Сколько лет, сколько зим!..

Порывисто обнял меня, крепко поцеловал и потом с любопытством стал всматриваться.

— Простите, что-то не могу вспомнить...

— Как же! На пароходе вместе...

— А! Вот счастливая встреча!

Мимо проходил еще какой-то господин.

Мой одессит раскланялся с ним, схватил меня за руку и представил этому человеку.

— Позвольте вас представить...

Мимо проходил еще какой-то господин.

— А! — крикнул ему одессит.— Здравствуйте. Позвольте вас познакомить.

Мы познакомились. Еще проходили какие-то люди, и я познакомился и с ними. Потом решили идти в кафе.

В кафе одессит потащил меня к хозяину и познакомил с ним. Какая-то девица сидела за кассой. Он поздоровался с ней, осведомился о здоровье ее тетки и потом сказал, похлопывая меня по плечу:

— Позвольте вас познакомить с моим приятелем.

Нет более общительного, разбитного человека, чем одессит. Когда люди незнакомы между собой — это ему действует на нервы.

Климат здесь очень жаркий и, поэтому, все созревает с головокружительной быстротой. Для того, чтобы подружиться с петербуржцем нужно от двух до трех лет. В Одессе мне это удавалось проделывать в такое же количество часов. И при этом сохранялись все самые мельчайшие стадии дружбы; только развитие их шло другим темпом. Вкусы и привычки изучались в течение первых двадцати минут, десять минут шло на оказывание друг другу взаимных услуг, так скрепляющих дружбу (на севере для этого нужно спасти другу жизнь, выручить его из беды, а одесский темп требует меньшего: достаточно предложить папиросу или поднять упавшую шляпу, или придвинуть пепельницу), а в начале второго часа отношения уже были таковы, что ощущалась настоятельная необходимость заменить холодное, накрахмаленное «вы» теплым дружеским «ты». Случалось, что к концу второго часа дружба уже отцветала, благодаря внезапно вспыхнувшей ссоре, и таким образом, полный круг замыкался в течение двух часов.

Многие думают, что нет ничего ужаснее ссор на юге, где солнце кипятит кровь и зной туманит голову.

Я видел, как ссорились одесситы, и не нахожу в этом особенной опасности.

Их было двое и сидели они в ресторане, дружелюбно разговаривая.

Один, между прочим, сказал:

— Да вспомнил: вчера видел твою симпатию... Она ехала с каким-то офицером, который обнимал ее за талию.

Второй одессит побагровел и резко схватил первого за руку.

— Ты врешь! Этого не могло быть!

— Во-первых, я не вру а, во-вторых, прошу за руки меня не хватать!

— Что-о? Замечания?! Во-первых, если ты это говоришь, ты негодяй, а, во-вторых, я сейчас хвачу тебя этой бутылкой по твоей глупой башке.

И он, действительно, схватил бутылку за горлышко и поднял ее.

— О-о! — бледнея от ярости и вскакивая, просвистел другой.— За такие слова ты мне дашь тот ответ, который должен дать всякий порядочный человек.

— Сделай одолжение — какое угодно оружие!

— Прекрасно! Завтра мои свидетели будут у тебя. Петя Березовский и Гриша Попандопуло!!

— Гриша? А разве он уже приехал?

— Конечно. Еще вчера.

— Ну, как же его поездка в Симферополь? Не знаешь?

— Он говорит — неудачно. Только деньги даром потратил.

— Вот дурак! Говорил же я ему — пропащее дело... А, скажи, видел он там Финкельштейна?

Противники сели и завели оживленный разговор о Финкельштейне. Так как один продолжал машинально держать бутылку в воздухе, то другой заметил:

— Что ж ты так держишь бутылку? Наливай.

Оскорбленный вылил пиво в стаканы, чокнулся и, как ни в чем не бывало, стал расспрашивать о делах Финкельштейна.

Тем и кончилась эта страшная ссора, сулившая тяжелые кровавые последствия.

IV

Та быстрота темпа, которая играет роль в южной дружбе, применяется также и к южной любви.

Любовь одессита так же сложна, многообразна, полна страданиями, восторгами разочарованиями, как и любовь северянина, но разница та, что, пока северянин мямлит и топчется около одного своего чувства, одессит успеет перестрадать, перечувствовать около 15 романов.

Я наблюдал одного одессита.

Влюбился он в 6 час. 25 мин. вечера в дамочку, к которой подошел на углу Дерибасовской и еще какой-то улицы.

В половине 7-го они уже были знакомы и дружески беседовали.

В 7 час. 15 мин. дама заявила, что она замужем и ни за какие коврижки не полюбит никого другого.

В 7 час. 30 мин она была тронута сильным чувством и постоянством своего собеседника, а в 7 час. 45 мин. ее верность стала колебаться и трещать по всем швам. Около 8 час. она согласилась пойти в кабинет ближайшего ресторана, и то только потому, что до этих пор никто из окружающих ее не понимал и она была одинока, а теперь она не одинока и ее понимают.

Медовый месяц влюбленных продолжался до 9¾ час., после чего отношения вступили в фазу тихой, прочной, спокойной привязанности. Привязанность сменилась привычкой, за ней последовало равнодушие (10½ час.), а там пошли попреки (10¾ час.), слезы (10 час. 50 мин.), и к 11 часам, после замеченной с одной стороны попытки изменить другой стороне, этот роман был кончен!

К стыду северян нужно признать, что этот роман отнял у действующих лиц ровно столько времени, сколько требуется северянину на то, чтобы решиться поцеловать своей даме руку.

Вот какими кажутся мне прекрасные, порывистые, экспансивные одесситы.

Единственный их недостаток — это, что они не умеют говорить по-русски, но так как они разговаривают больше руками, этот недостаток не так бросается в глаза.

Одессит скажет вам:

— Вместо того чтоби с мине смеяться, ви би лучше указали дли мине виход...

И если бы даже вы его не поняли — его конечности, пущенные в ход с быстротой ветряной мельницы, объяснят вам все непонятные места этой фразы.

Если одессит скажет слово:

— Мило.

Вы не должны думать, что ему что-нибудь понравилось. Нет. Сопровождающая это слово жестикуляция руками, объяснит вам, что одесситу нужно мыло, чтобы вымыть руки.

Игнорирование одесситом буквы «ы» сбивает с толку только собак. Именно, когда одессит скажет при собаке слово «пиль», она, обыкновенно, бросается, сломя голову, по указанному направлению.

А бедный одессит просто указывал на лежащий по дороге слой пыли...

Одесситы приняли меня так хорошо, что я, с своей стороны, был бы не прочь сделать им в благодарность небольшой подарок.

Преподнести им в вечное и постоянное пользование букву «ы».

ОДЕССКОЕ ДЕЛО

I

— Я тебе говорю: Франция меня еще вспомнит!

— Она тебя вспомнит? Дожидайся!..

— А я тебе говорю — она меня очень скоро вспомнит!!

— Что ты ей такое, что она тебя будет вспоминать?

— А то, что я сотый раз спрашивал и спрашиваю: Франции нужно Марокко? Франции нужно бросать на него деньги? Это самое Марокко так же нужно Франции, как мне лошадиный хвост! Но... она меня еще вспомнит!

Человек, который надеялся, что Франция его вспомнит, назывался Абрамом Гидалевичем; человек, сомневающийся в этом, приходился родным братом Гидалевичу и назывался Яков Гидалевич.

В настоящее время братья сидели за столиком одесского кафе и обсуждали положение Марокко.

Возражения рассудительного брата взбесили порывистого Абрама. Он раздражительно стукнул чашкой о блюдце и крикнул:

— Молчи! Ты бы, я вижу, даже не мог быть самым паршивым министром! Мы еще по чашечке выпьем?

— Ну, выпьем. Кстати, как у тебя дело с лейбензоновским маслом?

— Это дело? Это дрянь. Я на нем всего рублей двенадцать, как заработал.

— Ну, а что ты теперь делаешь?

— Я? Покупаю дом для одной там особы.

В этом месте Абрам Гидалевич солгал самым беззастенчивым образом — никакого дома он не покупал и никто ему не поручал этого. Просто излишек энергии и непоседливости заставил его сказать это.

— Ой, дом? Для кого?

— Ну да... Так я тебе сейчас и сказал.

— Я потому спрашиваю,— возразил, нисколько не обидевшись, Яков,— что у меня есть хороший продажный домик. Поручили продать.

— Ну?! Кто?

Яков хладнокровно пожал плечами.

— Предположим, что сам себе поручил. Какой он умный, мой брат. Ему сейчас скажи фамилию, и что, и как.

Солгал и Яков. Ему тоже никто не поручал продавать дом. Но сказанные им слова уже имели под собой некоторую почву. Он не бросил их на ветер так, здорово живешь. Он рассуждал таким образом: если у Абрама есть покупатель на дом, то это, прежде всего, такой хлеб, которым нужно и следует заручиться. Можно сначала удержать около себя Абрама с его покупателем, а потом уже подыскать продажный дом.

Услышав, что у солидного, не любящего бросать слова на ветер Якова оказался продажный дом, Абрам раздул ноздри, прищелкнул под столом пальцами и тут же решил, что такого дела упускать не следует.

«Если у Якова есть продажный дом,— размышлял, поглядывая на брата, Абрам,— то я сделаю самое главное: заманю его своим покупателем, чтобы он совершил продажу через меня, а потом уже можно найти покупателя. Что значит можно найти? Нужно найти! Нужно перерваться пополам, но найти. Что я за дурак, чтобы не заработать полторы-две тысячи на этом?»

«Кое-какие знакомые у меня есть,— углубился в свои мысли Яков.— Если у Абрашки в руках покупатель — почему я через знакомых не смогу найти домовладельца, который бы хотел развязаться с домом? Отчего мне не сделать себе тысячи полторы?»

— Так что ж ты... продаешь дом? — спросил с наружным равнодушием Абрам.

— А ты покупаешь?

— Если хороший дом — могу его и купить.

— Дом хороший.

— Ну, это все-таки нужно обсмотреть. Приходи сюда через три дня. Мне еще нужно поговорить с моим доверителем.

— Молодец, Абрам. Мне тоже нужно сделать кое-какие хлопоты. Я уже иду. Кто платит за кофе?

— Ты.

— Почему?

— Ты же старше.

II

В течение последующих трех дней праздные одесситы с изумлением наблюдали двух братьев Гидалевичей, которые как бешеные носились по городу, с извозчика перескакивали на трамвай, с трамвая прыгали в кафе, из кафе опять на извозчика, а Абрама один раз видели даже несущимся на автомобиле...

Дело с домом, очевидно, завязалось нешуточное.

Похудевшие, усталые, но довольные сошлись, наконец, оба брата в кафе, чтобы поговорить «по-настоящему».

— Ну?

— Все хорошо. Скажи, Абрам, кто твой покупатель и в какую, приблизительно, сумму ему нужен дом?

— Ему? В семьдесят тысяч.

— Ой! У меня как раз есть дом на семьдесят пять тысяч. Я думаю, еще можно и поторговаться. А кто?

— Что кто?

— Кто твой покупатель? Ну, Абрам! Ты не доверяешь собственному брату?

— Яша! Ты знаешь знаменитую латинскую поговорку: «Платон! Ты мне брат, но истина мне гораздо дороже». Так пока я тебе не могу сказать. Ведь ты же мне не скажешь!

Яков вздохнул.

— Ох, эти коммерческие дела... Ты уже получил куртажную расписку?

— Нет еще. А ты?

— Нет. Когда мы их получим, тогда можно не только фамилию его сказать, а более того: и сколько у него детей, и с кем живет его жена даже! О!

— Скажи мне, Яша... Так, знаешь, положа руку на сердце, почему твой доверитель продает дом? Может, это такая гадость, которую и на слом покупать не стоит?

— Абрам! Гадость? Стоит тебе только взглянуть на него, как ты вскрикнешь от удовольствия — новенький, сухой домик, свеженький, как ребеночек, и, по-моему, хозяин сущий идиот, что продает его. Он, правда, потому и продает, что я уговорил. Я ему говорю: тут место опасное, тут могут быть оползни, тут, вероятно, может быть, под низом каменоломни были — дом ваш сейчас же провалится! Ты думаешь, он не поверил? Я ему такое насказал, что он две ночи не спал и говорит мне, бледный, как потолок: продавайте тогда эту дрянь, а я найду себе другой дом, чтобы без всякой каменоломни.

— Послушай... ты говоришь — дом, дом, но где же он, твой дом? Ты его хочешь продать, так должны же мы его с покупателем видеть?! Может, это не дом, а старая коробка из-под шляпы. Как же?

— Сам ты старая коробка! Хорошо, мы покажем твоему покупателю дом, а он посмотрит на него и скажет: «Домик хороший, я его покупаю; здравствуйте, господин хозяин, как вы поживаете, а вы, Гидалевичи, идите ко всем чертям, вы нам больше не нужны». А когда мы получим куртажные расписки, мы скажем: «Что? А где ваши два процента?»

— Ну, хорошо... скажи мне только, на какую букву начинается твой домовладелец?

— Мой домовладелец? На «це». А твой покупатель?

— На «бе».

И соврали оба.

Тут же оба дельца условились взять у своих доверителей куртажные расписки и собраться через два дня в кафе для окончательных переговоров.

— Кто сегодня платит за кофе? — полюбопытствовал Абрам.

— Ты.

— Почему?

— Потому что я тобой угощаюсь, — отвечал мудрый Яша.

— Почему ты угощаешься мною?

— Потому что я старше!

III

Это был торжественный момент... Две куртажных расписки, покоившихся в карманах братьев Гидалевичей, были большими, важными бумагами: эти бумаги приносили с собой всеобщее уважение, почет месяца на четыре, сотни чашек кофе в громадном уютном кафе, несколько лож в театре, к которому каждый одессит питает настоящую страсть, ежедневную ленивую партию в шахматы «по франку» и ежедневный горячий спор о Марокко, Китае и мексиканских делах.

Братья сели за дальний столик, потребовали кофе и, весело подмигнув друг другу, вынули свои куртажные расписки.

— Ха! — сказал Яков. — Теперь посмотрим, как мой субъект продаст свой дом помимо меня.

— А хотел бы я видеть, как мой покупатель купит себе домик без Абрама Гидалевича.

Братья придвинулись ближе друг к другу и заговорили шепотом...

....

Из того угла, где сидели братья Гидалевичи, донеслись яростные крики и удары кулаками по столу.

— Яшка! Шарлатан! Почему твоего продавца фамилия Огурцов?

— Потому что он Огурцов. А разве что?

— Потому что мой тоже Огурцов!! Павел Иваныч?

— Ну да. С Продольной улицы. Так что?

— Ой, чтоб ты пропал!

— Номер тридцать девятый?

— Да!

— Так это же он! Которому я хочу продать твой дом.

— Кому? Огурцову? Как же ты хочешь продать Огурцову дом Огурцова?

— Потому что он мне сказал, что покупает новый дом, а свой продает.

— Ну? А мне он говорил, что свой дом он продает, а покупает новый.

— Идиот! Значит, мы ему хотели его собственный дом продать? Хорошее предприятие.

Братья сидели молча, свесив усталые от дум, хлопот и расчетов головы.

— Яша? — тихо спросил убитым голосом Абрам. — Как же ты сказал, что его фамилия начинается на «це», когда он Огурцов?

— Ну, кончается на «це»... А что ты сказал? На «бе»? Где тут «бе»?

— Яша... Так что? Дело, значит, лопнуло?

— А ты как думаешь? Если ему хочется еще раз купить свой собственный дом, то дело не лопнуло, а если один раз ему достаточно — плюнем на это дело.

— Яша! — вскричал вдруг Абрам Гидалевич, хлопнув рукой по столику. — Так дело еще не лопнуло!.. Что мы имеем? Одного Огурцова, который хочет продать дом и хочет купить дом! Ты знаешь, что мы сделаем? Ты ищи для дома Огурцова другого покупателя, не Огурцова, а я поищу для Огурцова другого дома не огурцовского. Ну?

Глаза печального Яши вспыхнули радостью, гордостью и нежностью к младшему брату.

— Абрам! К тебе пришла такая гениальная идея, что я... сегодня плачу за твой кофе!!

КОСТЯ ЗИБЕРОВ

I

В Одессе мне пришлось прожить недолго, и все-таки я успел составить об этом городе самое лестное для него мнение. Тамошняя жизнь мне очень понравилась, улицы, бульвары и море привели меня в восхищение, а об одесситах я увез самые лучшие, тихие, дружеские воспоминания.

Костя Зиберов навсегда останется в моей памяти как символ яркого, блещущего, переливающегося разными цветами пятна на тусклом фоне жизни, пятна, рассыпавшегося целым каскадом красивых золотых искр.

Впервые я увидел Костю Зиберова в Александровском парке. Я скромно сидел за столиком, допивая бутылку белого вина и меланхолично, со свойственным петербуржцу мелким скептицизмом посматривая на открытую сцену.

Когда показался Костя Зиберов, он сразу привлек мое внимание. Одет он был в синий пиджак, серые брюки, белый жилет и на груди имел прекрасный лиловый галстук — ко-

стюм немного пестрый с точки зрения чопорного франта, но чрезвычайно шедший к смуглому красивому лицу Кости Зиберова. Черные кудри Кости прикрывала элегантная панама, поля которой были спущены и бросали прозрачную темную тень на прекрасные Костины глаза.

Ботинки у него были желтые, с модными тупыми носками.

Костя, легко скользя между занятыми публикой столиками, приблизился к одному свободному, по соседству со мной, сел за него и громко постучал палкой с серебряным набалдашником.

Метрдотель подобострастно склонился над ним.

— Эге! — подумал я.— Этот господин пришел с серьезными намерениями... Я уверен, сейчас появится две-три этуали, и веселый кутеж протянется до утра. Будет от него хозяину нажива.

Действительно, палкой он постучал так громко и заложил ногу за ногу так решительно, будто бы хотел потребовать все самое лучшее, что есть в погребе, в кухне и на сцене.

— Что позволите? — замотал невидимым хвостом метрдотель.

Костя поднял на него рассеянные, томные глаза.

— А? Дайте-ка мне... стакан чаю с лимоном. Только покрепче!

Нигде не умеют с таким толком тратить деньги, как в Одессе. Каждый гривенник тратится там ясно, наглядно, вкусно, с блеском и экстравагантностью, которых петербуржцу никогда не достичь, даже истратив сто рублей.

Бутылка дешевого белого вина, поданная одесситу в серебряном ведре со льдом, и пятиалтынный, врученный за это лакею на чай, произведет всегда более громкое, более потрясающее по своей шикарности впечатление, чем пара бутылок шампанского петербуржца. Потому что петербуржцу неважно, будет ли вино стоять на его столе или на стуле в двух шагах от него, прикрытое до неузнаваемости белой салфеткой, неважно — считают ли это вино принадлежащим ему или его соседу, и неважно — видел ли кто-нибудь, когда он сунул лакею в ладонь два рубля на чай...

С рублем в кармане одессит проведет праздничный день так полно, разнообразно, блестяще и весело, как не приснится жителю другого города и с десятком рублей. С самого утра одессит посидит в кафе, потом пойдет на бульвар по-

слушать музыку и выпить бокал пива, поедет куда-нибудь на Фонтан к знакомым; вернувшись, съест пару бутербродов в Квисисане, а вечером он сидит в парке, пьет свой «стакан чаю, но покрепче» и слушает пение шикарных шансонеток, изредка мелодично подпевая им.

И все это он делает с таким независимым видом, будто он мог бы на Фонтан поехать и в автомобиле, но для курьеза хочет испытать и трамвайную езду... На бульваре он мог бы плотно пообедать с бутылочкой бургондского, но доктора строго-настрого запретили ему излишествовать в пище... И вечером в парке — что стоило бы ему пригласить к своему обильному столу пару певиц, но зачем? Все это одно и то же, все это надоело, всем этим он пресытился...

Вид у него — принца, путешествующего инкогнито, колоссально богатого, но который избрал себе, разочаровавшись жизнью, странную забаву: имея в кармане сотенные билеты, тратить пятачки и гривенники, иногда торгуясь даже в самых безнадежных случаях.

II

Когда Костя Зиберов потребовал стакан чаю, я, будучи еще мало знаком с одесской жизнью, подумал:

— Вероятно, он стесняется и не хочет устраивать сразу шум и треск, предпочитая начать со скромного стакана чаю...

Но Костя и кончил этим стаканом. Вместе с последним номером программы на сцене Костя допил остатки холодного чаю и опять громко постучал палкой по столу.

— Что прикажете?

— Человек! Счет!

— Один стакан чаю-с. Пятнадцать копеек.

Боюсь, что, если бы Косте подали счет, он подписал бы его. Но счета ему не подали, и он, вынув из кармана двугривенный, с громким звоном бросил его на блюдце.

— Возьмите. Сдачи не надо!

И с развинченными манерами неисправимого кутилы и расточителя, просадившего не одно наследство, Костя вышел из сада.

Расплатившись, ушел и я.

В конке нам пришлось сидеть рядом.

Костя приветливо взглянул на меня и, со свойственной всем южанам общительностью, спросил:

— Далеко изволите ехать?

С такими вопросами обращаются обыкновенно пассажиры поездов, едущие без пересадки дня два-три. Когда предстоит совместный трехдневный путь, интересно познакомиться с соседями и узнать их планы, намерения.

Костя попытался сделать это, хотя мы должны были расстаться через двадцать минут.

— На Преображенскую,— отвечал я.

— Хорошая улица. Прекрасная... Мне хотя нужно через две улицы слезать, но я провожу вас до Преображенской. Кстати, зайду в Квисисану закусить... Вы приезжий?

Как-то случилось, что зашли мы вместе, каким-то образом вышло, что съели мы салат, котлет и выпили две бутылки вина, и еще вышло так, что заплатил я. Правда, Костя очень горячо спорил, желая взять эти расходы на себя, я горячо возражал, но наконец, когда мое упорство было сломлено, я согласился:

— Ну хорошо, сегодня платите вы, а следующий раз я.

Костя тогда сказал, добродушно пожав плечами:

— Ну ладно. Платите вы, если уж так хотите. А следующий раз заплачу уж я.

Когда мы вышли, Костя, держа меня под руку, восхищенно говорил:

— Так ты, значит, петербуржец... Вот оно что. Очень рад! Я все собирался в Петербург, да все как-то не мог собраться. Хочешь, приеду теперь, а?

— Приезжай,— согласился я.

— Право, приеду. Все-таки свой человек теперь есть в столице.

III

Я думал, что Костя Зиберов говорил о своем приезде в Петербург просто так, чтобы сказать мне что-нибудь приятное и удовлетворить палящую ненасытную жажду общительности и дружелюбия. Так, один господин из Кишинева, встретив меня случайно в Петербурге и познакомившись, пригласил к себе в Кишинев «денька на два». И он знал прекрасно, что никогда я к нему не приеду, и все-таки

приглашал, а я был твердо уверен, что нет такой силы, которая повлекла бы меня за тысячи верст к еле знакомому человеку «денька на два»,— и все-таки я обещал. Впрочем, сейчас же мы оба и забыли об этом.

Но Костя Зиберов сдержал свое обещание: он приехал в Петербург.

Никогда я не видел интереснее, забавнее и курьезнее зрелища, чем *Костя Зиберов в Петербурге.*

Среди горячей, сверкающей декоративной природы юга Костя Зиберов был красив, уместен и законен со своим ярким, живописным костюмом, размашистыми жестами, неожиданными оборотами языка и болезненным влечением к знакомству и дружбе. В Петербурге он казался сверкающим павлином среди скромных серых воробьев. Все пугались его яркости, стремительности, дружелюбия и шумливости...

Он поселился у меня.

В первый день мы пошли обедать в один из ближайших ресторанов и произвели там фурор... Блестящий костюм Кости, его походка разочарованного миллионера и властный стук палкой по столу собрали у нашего стола целую группу: двух метрдотелей, мальчишку и четырех лакеев.

— Что изволите приказать, ваше сиятельство?

Его сиятельство с брезгливой миной взял карточку, скептически взглянул на нее и проворчал:

— Воображаю... Чем вы тут накормите!..

— Помилуйте-с... Все оставались довольны...

— Да... знаем мы... Все вы так говорите!

Он наклонился ко мне и шепнул:

— Нам хватит на обед и вино? Я, признаться, не при деньгах.

— Не беспокойся,— улыбнулся я.— Распоряжайся.

Костя оживился и сразу дал почувствовать метрдотелю, что с ним нужно держать ухо востро и накормить вас нужно по-княжески.

Он забросал метрдотеля самыми необычными названиями вин, ошеломил его какими-то тефтелями, «которые у вас, наверное, делают черт знает как!» и, успокоившись немного, обратился ко мне:

— С кем это ты сейчас раскланялся?

— Это скульптор. Князь Трубецкой.

— Как?! И ты говоришь об этом так спокойно? Ты с ним знаком?

— Да,— сказал я.— Знаком. А что?

— Чего же ты молчал все время? — ахнул Зиберов.— Вот чудак! Приехал в Одессу и молчит.

— А чего ж мне. Не бродить же мне было с утра до вечера по одесским улицам, кричать до хрипоты: «А я знаком с князем Паоло Трубецким!»

Тут же я вспомнил, как Костя прожужжал мне уши тем, что он знаком с известным борцом — каким-то Кара-Меметом, и даже как-то, расщедрившись, дал мне благосклонное обещание познакомить меня с ним.

Известность его прельщала. Чья-нибудь слава туманила ему голову, и знакомство с популярным человеком доставляло ему вакхическую радость.

Пришлось познакомить его и с Трубецким. Разговор их чрезвычайно меня позабавил.

— Так вы, значит, и есть тот самый Трубецкой? — лихорадочно спросил Костя.

— Тот самый и есть,— улыбнулся князь.

— А я представлял вас совсем другим. Думал — вы с большой бородой.

— Напрасно!

— Ну, что — трудно, вообще, лепить?

— Сущие пустяки. Привычка, и больше ничего.

В этом месте Косте Зиберову захотелось сказать князю что-нибудь приятное.

— Отчего вы никогда не приедете в Одессу?

— А что?

— Помилуйте! Прекрасный город! Море, вообще, суша... Вас бы там встретили по-царски. Помилуйте — князь Трубецкой!.

— Merci,— скромно поклонился князь.

— Да чего там! Конечно, приезжайте. Прямо ко мне... У меня можете и остановиться.

— К сожалению, я не знаю — что же я там буду делать?

— Господи! Мало ли... Право, приезжайте. Беру с вас слово... Стаканчик вина можно вам предложить? Я так рад, право...

Глаза Кости затуманились. Наступал тот психологический момент, когда Костя должен был предложить князю выпить с ним на «ты».

IV

Вечером Костя изъявил желание повеселиться, и я повез его в летний «Буфф».

У кассы театра я остановился.

— Зачем? — удивился Костя.

— Билеты взять!

— Вот чепуха! С какой стати платить. Нам и так дадут места.

— Да с какой же стати...

Костя властно взял меня под руку.

— Пойдем!

Он вел меня, глядя рассеянно, задумчиво прямо перед собою.

У входа человек нерешительно остановил его:

— Ваши билеты, господа!

Костя очнулся, вышел из задумчивости, обернул к привратнику изумленно-оскорбленное лицо и процедил сквозь зубы, с непередаваемым выражением презрения, исказившим его красивое лицо:

— Бол-ван!

— Извините-с,— засуетился привратник.— Я не знал... Пожалуйте! Программку не прикажете ли?

В саду Костя быстро ориентировался. Он повлек меня за кулисы, отыскал какого-то режиссера или управляющего и потребовал:

— Два места в партере поближе.

— Для кого?

— Как,— изумился Костя, указывая на меня.— Вы его не знаете? Этого человека не знаете?! Полноте! Вы должны бы дать ему два постоянных места, а не спрашивать — для кого? Вы только и держитесь прессой, пресса создает вам успех, а вы спрашиваете — для кого?

Через пять минут мы сидели в креслах третьего ряда.

Первое действие Костя просмотрел с пренебрежительной гримасой, мрачно, а в середине второго действия возмутился.

— Черт знает что! — громко воскликнул он.— Какую дрянь преподносят публике... Только деньги даром берут.

— Замолчи,— прошептал я.— Ну чего там...

— Не замолчу я! Хор отвратительный, режиссерская часть хромает, и певицы безголосые... Да у нас бы в Одессе пяти минут не прожила такая оперетка!

В третьем акте Костя выразил еще более недвусмысленное неудовольствие и даже попытался намекнуть, что мы можем потребовать возврата напрасно брошенных денег.

— Да ведь мы не платили,— возразил я.

— Мало что — не платили... Так они этим и пользуются?

Зрители после Костиной критики, вероятно, нашли, что никогда им не случалось видеть более шикарного, изысканного посетителя, чем Костя...

* * *

Прожил Костя у меня неделю. Денег у меня он брал мало — на самое необходимое — и тратил их с таким вкусом, что все относились к нему подобострастно и почтительно, а на меня не обращали никакого внимания... Он был так ослепителен, что я все время являлся серым, однотонным контрастом ему.

Уезжая, взял у меня на дорогу.

— Были деньги,— небрежно улыбнулся он своими прекрасными губами,— да вчера как раз просвистел их все в «Аквариуме». Безобразие, в сущности. Посмотри-ка, счет какой!..

Он вынул из кармана измятый счет и показал итог: 242 р. 40 к.

Меня удивило, что отдельные строчки, когда я бросил на счет быстрый взгляд, были такого содержания:

Шницель по гамбур .... 1 р. —
Водка и бутер ....— 70 к.
Папирос ....— 20 к.
Сифон ....— 50 к.

И, кроме того, мне показалось, что первые две цифры итога — 242 р. 40 к.— были написаны более темными чернилами, чем последующие три.

Но я ничего не сказал, сочувственно покачал головой, обнял на прощанье Костю Зиберова, сердечно простился с ним, и он уехал в свою веселую Одессу.

Очень часто вспоминал я Костю Зиберова и, сказать ли правду, частенько скучаю по Косте Зиберове...

ОДИН ГОРОД...

I

Считается признаком дурного тона писать о частной жизни лиц, которые еще живы и благополучно существуют на белом свете.

То же самое можно применить и к городам.

Мне бы очень не хотелось поставить в неловкое положение тот небольшой городок, о котором я собираюсь написать. Именно потому, что он еще жив, здоров и ему будет больно читать о себе такие вещи.

Поэтому, я полагаю, самое лучшее — не называть его имени. Жители сами догадаются, что речь идет об их городе, и им будет стыдно. Если же жители других городов, которых я не имел в виду, примут все на свой счет, я нисколько не буду смущен... Пусть! На воре шапка горит.

В том городке, о котором я хочу писать и который не назову ни за какие коврижки, мне нужно было пробыть всего один день.

Подъезжая к нему, я лениво поинтересовался у соседа по месту в вагоне: что из себя в сущности представляет этот город?

— Скверный городишко... Мог бы быть красивым и интересным, но городская дума сделала из него черт знает что...

— А почему?

Сосед ехидно подмигнул мне.

— Покрали деньги.

— Кто покрал?

— Да члены думы. А первый вор — городской голова... Такого вора, как ихний городской голова, и свет не производил! Не только все деньги из кассы покрал, но даже самую кассу на куски разломал и домой к себе свез.

— А чего же ихняя полиция смотрит?

— Ихняя полиция? Ха-ха!.. Ихняя полиция... В этом городе такая полиция, что с живого и мертвого взятки дерет...

— Ну уж и с мертвого...— усомнился я.

— А ей-Богу. Собираются родственники хоронить покойника, а их сейчас за шиворот: «Стой — куда? Хоронить? А разрешение от департамента торговли и мануфактур имеешь?» — «Нет».— «Ну вот видишь... Давай десять рублей поспектакльного сбору — тогда волоки».

И дают.

— Ну, это вы, кажется, слишком...

— Нет, не слишком! Не слишком... С жидов взяли все, что можно было взять. Теперь русских стали ловить. Поймают: «Ты жид?» — «Нет, не жид!» — «Нет, жид». — «Сколько?» — «Десять». — «Подавись!» Всего и разговору.

— Но как же при таких порядках могут существовать жители?

Он опять ехидно подмигнул мне.

— Жители? А вот увидите.

В этот момент поезд подошел к городку, имени которого я упорно не хочу назвать... Так как вещей у меня с собой почти не было, я решил до ближайшей гостиницы дойти пешком. Взял ручной сак и пошел.

II

Впереди меня шел человек простоватой наружности и вел энергичную беседу с бабой в платке.

— Да ты говори толком — сколько хочешь?

— Да двадцать же рублей! Слепой, что ли? Чистое золото.

— Мало что чистое. Небось, украла — дешево досталось! У меня только десятка и есть — хочешь за десятку?

Я приблизился.

— Да вот спросим у барина, — сказал простоватый человек. — Нешто за краденую вещь можно столько просить?

Баба подозрительно оглянулась на меня и спрятала золотые часы под платок.

Простоватый человек дружелюбно нагнулся ко мне и шепнул:

— Дура баба! А не хотелось бы вещицу выпускать... Часы рублей двести стоют, а она двадцать просит. Десятки только у меня и не хватает... Эх, жалость!

И сказал бабе громко:

— Так не отдашь за десять? Ну и шут с тобой.

Он махнул рукой и отошел. А я, оставшись с бабой, решил купить дешевые часы.

— Вот что, сударыня, — сказал я. — Если эти часы действительно ваши и если вы считаете для себя возможным отдать за такую цену...

Я вынул бумажник...

Какой-то человек, видом похожий на дворника, спешно приближался к нам, размахивая руками и крича:

— Постойте! Обождите, господин... Вы, верно, приезжий?

— Приезжий,— робко отвечал я.

— Оно и видно. Ах ты, старая ведьма! Пошла вон, пока я тебя в участок не отправил. Ну и жулье же, прости Господи!..

Старая баба запахнулась в платок и испуганно убежала, а мой новый знакомый сострадательно посмотрел на меня и сказал:

— Эй вы! Вот бы и влопались, если бы купили часики. Ведь они медные.

— А как же тот человек сам хотел купить...

— Да он ее муж. Вместе работают, по уговору. О-о... Тут нужно держать ухо востро!

Я горячо поблагодарил своего спасителя, а он добродушно махнул рукой и сказал:

— Ну чего там! Вы где думаете остановиться?

— Я... еще не знаю.

— У нас во дворе хорошая гостиница. Чисто и безопасно. А в других гостиницах — не только обворуют, а еще и придушить могут.

Я затрясся от ужаса и еще раз пожал руку моему новому знакомому.

— Пойдем, я вас провожу.

Когда мы вошли в арку под воротами, с нами столкнулся солидный изящный господин в цилиндре.

Он перевел взгляд с моего провожатого на меня и с неподдельным ужасом всплеснул руками:

— Боже мой! Боже мой! Послушайте, господин... На одну минутку...

Он схватил меня за руку и отвел в темный угол.

— Извините, что я так... не будучи представленным... Вы, конечно, приезжий? Я это вижу. Скажите,— не приглашал ли вас этот человек в его «гостиницу» и не сулил ли он вам разных благ?

— Да... А что?

— Мой долг, долг порядочного человека, предупредить вас: знаете ли вы, что вас хотели затащить в гнуснейший притон и, напоив, обобрать, избить и выбросить. О, я такие сцены наблюдал неоднократно!.. И всегда при участии этого негодяя, который вас поджидает у ворот.

— Господи! — застонал я. — Какой ужас! Кому же после этого верить?..

— Совершенно верно. Для приезжего человека — здесь прямо гибель. Всякая гостиница — клоака...

— Ах! Но что же мне делать?

— Если бы мое предложение не показалось вам назойливым... я пригласил бы вас к себе. У меня семейная квартира... Правда, нет той роскоши, как в гостиницах, но моя жена хорошая хозяйка...

— Я не знаю, — горячо воскликнул я, хватая его руку, — чем и отблагодарить вас за такую любезность к почти незнакомому человеку. Спасибо!

— О, не стоит благодарить, — полу смущенно, полусмеясь покачал головой мой спаситель. — Интеллигентный человек должен помогать интеллигентному человеку. Это как масоны... Не правда ли?

Мы зашагали по улице, и я, чувствуя искреннюю признательность к этому господину, взял его под руку.

На углу двух улиц к нам приблизился молодой, бледный человек в жокейской шапочке, уперся руками в бока и сказал, обращаясь к моему спутнику:

— Здравствуй, карточный шулер Арефьев! Здравствуй, мерзавец Арефьев, обыгравший меня в своем притоне. Что я вижу? Ты поймал приезжего и тянешь его на буксире в свою шулерскую компанию, которую ты выдаешь за свое семейство... По-прежнему ли ты, Арефьев, торгуешь своей любовницей, выдавая ее за жену, и по-прежнему ли ловишь доверчивых простачков вроде этого? Ха-ха-ха!

И бледный человек разразился саркастическим хохотом. Мой спаситель выдернул свою руку из моей и принялся улепетывать вдоль по улице, сопровождаемый свистом и улюлюканьем бледного человека.

— Ах, мерзавец... — прошептал он, когда господин в цилиндре скрылся из глаз. — Впрочем, этот город полон негодяями.

Потом бледный господин печально улыбнулся.

— Вероятно, — сказал он, — вы и меня считаете таким же? О, не протестуйте... Вероятно, около вокзала с вами уже пытались проделать фокус с помощью медных часов или подкидки бумажника? И, вероятно, вас уже заманивали в какие-нибудь притоны? Я вас понимаю: это город мошенников, и поэтому вы должны бы и ко мне отнестись недоверчиво.

III

Он сел на ступеньки подъезда и, опустив бледную голову, тяжело закашлялся.

— Конечно!.. — сказал он откашлявшись. — Вы вовсе не обязаны верить незнакомому человеку. И у меня нет никаких доказательств в пользу моей порядочности. Но я доволен уж и тем, что вырвал вас из когтей этого негодяя Арефьева! Я не буду приглашать вас ни в гостиницу, ни к себе, но очень прошу вас — не доверяйте и мне! Вы не имеете права доверять мне, неизвестному вам, в городе, где все построено на обмане! Предположим, что я тоже жулик. Но, откровенно говоря, я хотел бы, чтобы вы скорее уехали из этого города!

— Почему? — спросил я.

— Три года тому назад я приехал сюда такой же наивный, доверчивый и простой. Через пять минут я уже был обобран, раздет и вот с тех пор не могу выбраться из этого города, перебиваясь с хлеба на квас. О, ради Бога, не доверяйте мне! Но все-таки мой вам совет — проваливайте из этого города.

— Да я приехал, в сущности, по делам...

— Дела? В этом городе? Изумительно!

— Мне нужно устроить сделку с купцом Семипядевым по покупке оптом ста бочек масла и сговориться с адвокатом Бумажкиным по поводу одного взыскания.

— Что?!! Вы... без шуток? Скажу заранее, что они вам сделают: от Семипядева вы действительно получите сто бочек масла, но в бочках вместо масла будут кирпичи, а Бумажкин — взыскать-то он взыщет, но деньги эти немедленно растратит. Вы их и не понюхаете... Господи! Сколько с ними уже было этих примеров.

— Что же мне делать?

— В память того человека, каким я был три года тому назад, хочу спасти вас. Кажется, ведь в моем предложении нет подвоха — идите сейчас же на вокзал и немедленно уезжайте.

Слова бледного молодого человека заставили меня призадуматься... Действительно, не лучше ли поскорее убраться из города, где все так входят в положение приезжего, хлопочут о нем — и так конкурируют в этом, что приезжий может через час остаться без сапог.

— Так Семипядев и Бумажкин действительно такие? — переспросил я.

— А то какие же. Такие. Что мне за расчет врать вам?

— А вы меня проводите до вокзала?

— Так и быть. Провожу. Если бы вы не подумали, что я способен сейчас же убежать с вашим саком — я попросил бы у вас его донести до вокзала, чтобы облегчить вас. Но вы, конечно, должны подумать, что я такой же, как и другие, что я убегу...

В словах бледного человека слышалась затаенная горечь...

Я вспыхнул, смутился, как школьник, пойманный учителем.

— О, что вы! Как можно говорить так... Чтобы доказать, что я этого не думаю, на-те, возьмите сак... Хотя мне и неловко затруднять вас...

Бледный человек взял сак, покачал печально головой и вдруг бросился опрометью бежать по пустынной улице, стараясь избежать, как можно скорее, моего растерянного взгляда...

* * *

Когда я брал на вокзале билет, кассир обсчитал меня на двугривенный.

Едучи обратно, я задумался о судьбах этого города, который только и можно встретить на святой Руси...

Как кончит этот город? Плохо кончит.

Будет, вероятно, так: чужестранцы перестанут туда ездить, а туземцы украдут друг у друга все, что у них было, сдерут один у другого кожу взятками, поборами и обманом, а потом, когда проживут все это, поумирают с голоду.

Неприятно говорить людям правду в глаза. И меня сначала смущало то, что жители этого города получат книгу с моим рассказом, прочтут — и будут чрезвычайно обижены.

Но потом я успокоился. Наверное, ни одна книга с моим рассказом не дойдет до них, так как будет утащена почтовыми чиновниками на ихней же городской почте.

ЗАПИСКИ МОРСКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Читая еще в детстве о морских путешествиях и приключениях, я хорошо усвоил в себе отличительные признаки того сорта людей, который носит с давних времен образную, живописную кличку:

— Старый морской волк.

Когда я впервые садился на пароход, я ни себе, ни окружающим ни на минуту не напомнил одного из этих людей.

Наоборот, мне более всего подходила противоположная кличка:

— Молодой сухопутный медведь.

Если бы мне дали такую кличку, я безропотно снес бы ее, потому что, зная хорошо корабельное и морское дело в теории, я на практике мореплавания совершенно никуда не годился. Стыжусь признаться, но я не знаю даже, где находится та пружина, с помощью которой приводится в действие машина парохода. Этим и объясняется моя исключительная осторожность, с которой я притрагивался к разным металлическим ручкам, каким-то блестящим пуговицам и кнопкам, рассеянным по всем закоулкам парохода. Может быть, это были украшения, а, может быть, при нажатии какой-нибудь такой штучки пароход сделал бы бешеный скачок и помчался бы слепо — куда глаза глядят.

Я не знаю. Бог его знает.

Мне много приходилось слышать о том, что из всех ругателей и богохульников наибольшими ругателями на нашей грешной земле считаются моряки. В этом они виртуозны, изобретательны и терпеливы.

Я наблюдал, как переругиваются моряки и, мне кажется, что они изобрели даже для этого свой особый жаргон, чтобы уши сухопутных людей не были шокированы той отвратительной бранью, которую придется им случайно услышать.

Пароход стоял еще у пристани и нагружал свое брюхо какими-то ящиками и бочонками, с помощью лебедки, ловко вертевшей хоботом направо, налево, вверх и вниз. Движениями лебедки управлял один моряк, а около трюма стоял другой, совершенно праздный, и с любопытством заглядывал вниз.

Когда хобот лебедки опустился, праздный моряк пришел почему то в страшное бешенство и заорал во все горло на трудолюбивого моряка у лебедки:

— Вира!!

Тот был, очевидно, страшно оскорблен, но не подал вида, умея владеть собой так, как только умеют моряки. Но ругателю показалось мало этого.

Он выждал минуту и, наконец, собравши всю силу своих легких, бросил прямо в лицо врагу страшное, незабываемое у самолюбивых морских волков слово:

— Майна!!!!

Лебедка бешено, оглушительно застучала, и я, не будучи в силах вынести сцену поножовщины, которая должна была сейчас произойти, закрыв уши, отбежал на другой конец парохода.

Как они разделались друг с другом — я так и не узнал.

Я стоял у борта, задумавшись, мечтая о том блаженном времени, когда все люди полюбят друг друга, как братья, и прекратят, наконец, свои ужасные ссоры, брань и оскорбления, как вдруг около меня прозвучал сердитый голос:

— Отдай концы!

Я оглянулся.

К кому относилось это требование? Если ко мне, то совесть моя была совершенно чиста: никаких концов я не брал и, вообще, с детства имею привычку, беря какую-нибудь вещь, спрашивать у ее владельца разрешения на это.

Что он называл концами? В ту минуту я стоял, держась руками за перила парохода. Не думаю, чтобы он называл эти перила концами. Я не видел даже их начала.

На всякий случай я отнял руки от перил и спрятал их в карманы.

— Отдай концы!! — проревел тот же голос.

Около меня стоял какой-то господин, делая вид, что он машет кому-то на берегу шляпой.

Я строго обратился к нему:

— Если вы взяли — отдайте. Нехорошо.

— Что отдать? Кому?

— Какие-то концы. Вот, человек требует.

— Провалитесь вы к дьяволу,— нагло засмеялся этот человек.

— Майна! — крикнул я, дрожа от бешенства.— Майна!

И, боясь насилия, поспешно убежал в каюту.

Очень печально, что у меня нет жены и дочери — девочки, так, лет семи.

Обыкновенно, когда муж уезжает в морское путешествие, жена в переднике с маленькой девочкой, прижавшейся к ней (так я видел на картинке «Отъезд моряка») стоит на берегу и глазами, полными слез, следит за отъезжающими. Свежий ветер треплет ее платье и хлопает передником, как парусом, девочка плачет, а в голове жены сидит мысль:

— Вернется ли?

В ту же ночь в море разыгрывается обычная буря, и жена моряка прибегает с девочкой на берег, с целью увидеть, в крайнем случае, обломки корабля.

И подряд несколько дней выходит жена смотреть на далекий морской горизонт: не едет ли муж? Ветер хлопает ее платьем, передник надувается, как пузырь... Тут же стоит и плачет девочка.

Ничего этого я не устроил, хотя очень ценю жизненный комфорт и традиционные морские обычаи. Была у меня мысль нанять для этой цели обыкновенную безработную женщину с девочкой, но, поразмыслив, я решил, что это — далеко не то...

Едва пароход отошел от берега, как я с головой окунулся в повседневную жизнь моряка: вынул из кармана пару папирос, разломал их, высыпал табак на ладонь и, сунув его в рот, стал усиленно жевать.

Мне случалось читать, что табачная жвачка — любимое лакомство моряка. Моряки жуют, жуют табак, а потом искусно сплевывают слюну. Мне пришлась по душе только вторая часть этого занятия.

Перевесившись за борт, я сплевывал жвачку так усиленно, что забыл обо всем окружающем.

Есть такая пословица:

— Кто на море не бывал, тот горя не видал.

Это верно.

Я люблю моряков, этих взрослых детей, этих добродушных суеверных морских волков.

Люблю их трогательные, суеверные обычаи, которые переходят от одного поколения к другому.

Больше всего мне нравится и забавляет меня странный, почти дикарский обычай, начало которого теряется в глубине прошлых веков.

Называется он:

— Выкинуть флаг.

Моряки верят в существование какого-то морского бога и, от времени до времени, с целью умилостивить его, выкидывают в море флаг.

Я сам, своими ушами, слышал, как один человек спросил другого, рассматривавшего в бинокль проходившее мимо судно:

— Какой флаг они выкинули?

— Господи! — возразил я.— Будто бы это так важно. Всякая жертва от чистого сердца угодна Богу.

На некоторых судах, кроме того, еще бьют склянки.

Берется несколько склянок от лекарств и разбивается. Некоторые суда бьют даже до восьми склянок.

К сожалению, мне до сих пор не удалось выяснить значения этого бесцельного традиционного обычая, ясно показывающего, что суеверие может уживаться рядом с громадными машинами, электричеством и двенадцатидюймовыми орудиями.

Я сидел на палубе и читал газету.

Мимо меня прошли, пошатываясь, два господина, два типичных алкоголика со слабыми ногами и развинченными неуверенными движениями.

Я улыбнулся про себя и подумал:

— Нализались, голубчики. Бросает вас из стороны в сторону, точно на пароходе во время качки. Эх, ты! Русский народ...

За ними прошла какая-то девица, шатаясь и держась за стенки каюты.

Я не мог найти в себе силы улыбнуться. Сердце мое сжалось...

— Негодяи! Пили бы сами... Но зачем спаивать это несчастное, юное существо.

Скоро я уже перестал улыбаться, удивляться и возмущаться: мимо меня дефилировала целая процессия алко-

голиков, молодых, стариков, детей с потухшими глазами и деревянными, независевшими от их воли движениями.

Это было страшное зрелище. На одну минуту мне пришла в голову мысль, что пассажиры взбунтовались, убили капитана, разбили бочонки с водкой и перепились.

С целью выяснить положение я встал, сделал шаг и, шатаясь, упал на плечи маленькому господину.

— О, черт возьми! — испуганно пролепетал я.— Что это такое?

Маленький человек поднял измученное, бледное лицо и судорожно прошептал:

— Кач...

И стремглав бросился к перилам борта. Перегнулся так низко, как будто бы хотел разглядеть устрицу, прилепившуюся к килю корабля, и стоял так минуты три.

Потом поднял голову, обернулся ко мне, смертельно белый, и докончил:

—... Ка!

— Ага! — подумал я.— Знаменитая морская качка, о которой я столько слышал.

Меня обрадовало, что я переносил ее совершенно спокойно.

Недалеко от меня стоял, опершись на борт, хладнокровный человек, и равнодушно посматривал на волны, кипевшие внизу.

— Вы вероятно, моряк? — спросил я его.

— Вероятно.

Мне давно хотелось потолковать с настоящим моряком тем самым языком, который у них в таком ходу.

Я облокотился рядом с ним на перила и спросил:

— Каким мы сейчас едем румбом?

Я видел ясно, что он изумился, найдя во мне человека своей специальности.

— Каким румбом? Темно-зеленым!!

Я кивнул с довольным видом, головой.

— Ага! А траверсы уже спущены на форштевень?

Самое искреннее изумление отпечатлелось на его лице. Никогда, вероятно, он не мог предположить, чтобы я, человек сухопутного вида, так хорошо знал все эти замысловатые вещи.

— Не знаете ли вы,— внутренне торжествуя, продолжал я,— сколько кубических тонн имеет наш пакетбот? Так как

начинает дуть сильный вымпел, то я очень опасаюсь за ватерлинию... Как бы ее не сломало. Не лучше ли скрепить ее парой-другой морских узлов в час.

— Пожалуй, это будет самое лучшее,— согласился он, весело улыбаясь.— Я никогда бы не подумал об этом.

— Э, пустяки! — махнул я рукой.— Пока вымпел не перешел в брейд-вымпел и дует с норд-оста — мы успеем сделать это.

Я обернулся назад и закричал зычным голосом:

— Все на вахту! Рулевые к бакборту! Перенести бакборт на штирборт!! Жива-а-а!

Я одушевился.

В глазах моего моряка мелькнуло что-то, похожее на легкий испуг. Я полагаю, он почувствовал во мне опасного конкурента в морском деле.

— Успокойтесь,— с вымученной ласковостью сказал он, кладя свою руку на мою.— Все будет сделано, как вы сказали. Я распоряжусь. Вы пошли бы лучше спать. Если вымпел усилится и будет дуть с кормы, я разбужу вас.

Я взял с него слово, что он сделает это и, успокоенный, побрел вниз, с целью лечь в дрейф (дрейфом называется койка в каюте, привинченная к стене).

Утром мы уже подходили к Севастополю.

Втайне я был сильно польщен, когда моряк, которому я отдавал вечером морские приказания, окруженный большой толпой, указал на меня пальцем и с каким-то суеверным страхом прошептал:

— Вот он! Тот самый, о котором я говорил!!!

Толпа расступилась передо мной, а я усмехнулся и обратился к помощнику капитана:

— Видите! Оказывается, можно обойтись без выбрасывания флагов и битья склянок!

Потом обвел толпу взглядом и нравоучительно добавил:

— Нужно быть более экономными и менее суеверными!

Так началась моя морская карьера...

. . . .



КОММЕНТАРИИ



зайчики на стене



Во второй том сочинений Аркадия Аверченко включены книги, выпущенные писателем в 1910–1911 гг.: «Зайчики на стене. Рассказы (юмористические). Книга вторая» (1910), «Рассказы (юмористические). Книга третья» (1911), «Одесские рассказы» (1911), а также книга «Экспедиция в Западную Европу сатириконцев: Южакина, Сандерса, Мифасова и Крысакова» (1911).

ЗАЙЧИКИ НА СТЕНЕ РАССКАЗЫ (ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ). КНИГА ВТОРАЯ (1910)

Книга вышла в 1910 г. в издательстве «Шиповник» в Санкт-Петербурге.

В настоящем издании печатается по 10 изданию (1916).

Отец. – Впервые – Сатирикон, 1910. № 12.

Городовой Сапогов. – Впервые – Сатирикон, 1910. № 14.

С. 13. ... *занимается ли... еврей тем ремеслом, которое... давало... право жить среди чудесной ялтинской природы...* – В России в 1791–1917 гг. существовала черта оседлости, граница тех территорий, на которых разрешалось постоянное жительство евреям. Черта оседлости охватывала 15 губерний (из 78 к началу XX в.) Царства Польского, Литвы, Белоруссию, Бессарабию, Курляндию (часть нынешней Латвии), большую часть Украины, Кавказа и Средней Азии. В ряде городов (в том числе в двух столицах, некоторых городах Крыма и т. д.) проживание евреям разрешалось в тех случаях, когда их профессия была полезна городу (например, сапожники, часовщики, стекольщики и т. п.).

Граф Калиостро.

С. 21. *Всякое бывало, как говорит Бен-Акиба.* – Рабби (иудейский законоучитель) Бен Акиба – один из главных персонажей

трагедии «Уриэль Акоста» (1847, рус. перев. 1872) немецкого журналиста, богослова, прозаика и драматурга, вождя литературного течения «Молодая Германия» Карла Гуцкова. Слова «все бывало» (или «все было») он действительно произносит в пьесе, отстаивая приверженность традиции. Трагедия, посвященная мыслителю XVII в., борцу против религиозного гнета «Уриэль Акоста» была поставлена во многих театрах России в конце XIX — начале XX вв. и пользовалась громадным успехом.

Можно сказать меткими словами великого русского поэта Никитина:

...Вырыта заступом яма глубокая... — Здесь приводится начальная строка стихотворения Ивана Саввича Никитина (1824–1861), написанного в 1860 г.

«Негр сделал свое дело, негр может уходить» — не точная цитата из драмы Фридриха Шиллера (1759–1805) «Заговор Фиеско в Генуе» (1783) (действие III, явление 4). Там эти слова принадлежат мавру, который принимал участие в организации заговора республиканцев против тирана Генуи дожа Дория. Когда цель была достигнута, мавр оказался никому не нужным.

Незаметный подвиг. — Впервые — Сатирикон, 1910. № 22.

Геракл.

С. 37. *... борьба этого древнегреческого Антиноя... достойный резца Праксителя...* — Аверченко в этом рассказе больше издевается над стилем и безграмотностью желтой прессы, чем над невежеством русского борца: так, Антиной — (год рожд. неизвестен — ум. в 130 г.) — юноша, отличавшийся необычайной красотой, любимец римского императора Адриана. После смерти Антиноя, утонувшего в Ниле, Адриан приказал обожествить его. В честь Антиноя воздвигались храмы, в Египте был построен город Антинополь; его именем было названо одно из созвездий.

А Пракситель — действительно греческий скульптор, который жил в первой половине IV в. до н.э.

С. 38. *Вчера негра назвал эбеновым деревом, на прошлой неделе про него же написал: сын Тимбукту...* — Эбеновое дерево — древесина нескольких видов тропических деревьев, имеющая черную (иногда зеленую) окраску. Древесина некоторых деревьев имеет высокую плотность, необычайную твердость и по удельному весу тяжелее воды. Тимбукту (Томбукту) — город в Мали, один из древних культурно-экономических центров Африки, узел караванных путей.

Сухая масленица. — Впервые — Сатирикон, 1910. № 9.

По ту сторону... — Впервые — Сатирикон, 1909. № 44.

Магнит. — Впервые — Сатирикон, 1910. № 2

Ихневмоны. — Впервые — Сатирикон, 1910. № 11.

С. 54. *Ихневмоны* — паразитические перепончатокрылые насекомые. Обозначив этим названием направление в модернистском искусстве, Аверченко тем самым указывает, что оно паразитирует на подлинном, реалистическом искусстве.

С. 58. *Стулов ушел от Гогена, но его не манит и Зулоага.* — Гоген Поль (1848–1903) — французский художник, проделавший путь от импрессионизма к символизму. Зулоага Игнасио (Сулоага-и-Савалета) (1870–1945) — испанский живописец, один из ярких представителей символизма.

Жена. — Впервые — Сатирикон, 1910. № 18.

Два преступления господина Вопягина. — Впервые — Сатирикон, 1910. № 27. Подпись: Медуза — Горгона.

В зеленой комнате (послеобеденные разговоры). — Впервые — Сатирикон, 1910. № 10.

Исчадие города. — Впервые — Сатирикон, 1910. № 8.

Анекдоты из жизни великих людей.

Рассказ, посвященный памяти Марка Твена (1835–1910), написан вскоре после его смерти 21 апреля 1910 г.

Марк Твен был одним из самых любимых писателей Аркадия Аверченко и потому вскоре после его кончины в издательстве «Сатирикона» вышло несколько сборников американского писателя, а затем и собрание сочинений.

Дурная наследственность. — Впервые — Сатирикон, 1909. № 36.

Одинокий Гржимба. — Впервые — Сатирикон, 1910. № 19.

Чудеса. — Впервые — Сатирикон, 1910. № 16.

С. 118. *Эта.. Сирано-де-Бержерак.* — Имеется в виду пьеса «Сирано де Бержерак» (1897) французского поэта и драматурга Эдмона Ростана (1868–1918). В центре пьесы образ французского поэта и философа, бунтаря XVII в., восставшего против мира подлости и пошлости. Пьеса с огромным успехом шла на русской сцене.

Петухов. — Впервые — Сатирикон, 1910. № 25. Место написания: Севастополь.

Случай с Патлецовыми. — Впервые — Сатирикон, 1910. № 28.

С. 129. *Что может быть хорошего из Назарета?* — Неточная цитата из Евангелия от Иоанна (гл. I, ст. 46). Назарет согласно евангелиям — место рождения Иисуса Христа.

Аргонавты.

С. 138. *... я ответил в «почтовом ящике»...* — «Почтовый ящик» — раздел в журналах «Сатирикон» и «Новый Сатирикон», в котором публиковались шутливые (а иногда и серьезные) ответы на присланные в эти журналы произведения. Большин-

ство ответов принадлежит перу самого Аверченко, который не отмахивался от так называемого самотека, а стремился по возможности выявить действительно талантливое в, как правило, сером потоке. И некоторые из начинающих авторов стали впоследствии сотрудниками журналов.

Мальчик с затекшим глазом. — Рассказ высмеивает стремление, присущее многим критикам, сравнивать, сопоставлять произведения молодых (а порой и опытных авторов) с совершенно несопоставимыми ни по духу, ни по таланту, ни по направленности писателями. Критики уходили от анализа собственно произведения, находя ему как бы аналог или антитезу в существующей литературе. В большинстве случаев это свидетельствовало о неспособности критиков дать самостоятельную оценку тому или иному литературному явлению, а отнюдь не об их эрудиции.

С. 152. ... *подражает Мопассану и Горбунову.* — Горбунов Иван Федорович (1831–1895/96) — русский писатель и актер; играл на сцене Александринского театра; позже выдвинулся как мастер устных комических рассказов, с которыми выступал как автор и исполнитель. Знаток русского быта, русской песни, народной речи, он создал в своих рассказах колоритные образы представителей разных сословий. Многие выражения его героев сделались крылатыми.

С. 153. ... *не похож на... Октава Мирбо.* — Октав Мирбо (1850–1917) — французский писатель; первые его романы выражали анархо-бунтарский протест против обезличения человека в буржуазном обществе; позже антибуржуазные мотивы в его творчестве вытесняются эротикой и патологией: «Сад пыток» (1899), «Дневник горничной» (1900), вершина его творчества — пьеса «Дела есть дела» (1903) шла в России под названием «Рабы наживы».

РАССКАЗЫ (ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ) КНИГА ТРЕТЬЯ (1911)

Книга эта была выпущена издательством «Шиповник» в Санкт-Петербурге в 1911 г., и ее состав полностью повторяет одну из первых книг писателя «Юмористические рассказы», изданную в 1910 г.

В настоящем собрании сочинений печатается по 10-му изданию (Петроград, 1916).

Дебютант. — Аверченко проявлял значительный интерес к театру не только как зритель и критик, но и как актер-

любитель, режиссер и драматург. Этим объясняется большое число произведений писателя, сюжеты которых так или иначе посвящены театру.

С. 160. ... *рожден... Тамберликом...* — Тамберлик Энрико (1820–1889) — итальянский певец (драматический тенор); в одном из театров Италии есть мраморная доска с надписью, что такую-то оперу после Тамберлика никто не смеет петь. Неоднократно гастролировал в России.

... *рассуждаете, как Гаррик!* — Гаррик Дэйвид (1717–1779) — английский актер и драматург; много гастролировал в Европе, оказал большое влияние на развитие мирового актерского искусства. Исполнял роли, как трагические, так и комедийные, в 25 пьесах Шекспира.

С. 161. ... *играть отца Хлестакова...* — Разумеется, никакой роли отца Хлестакова в «Ревизоре» нет, и, следовательно, ни один Каратыгин — будь то трагик Василий Андреевич (1802–1853) или его брат, выступавший в комических ролях, Петр Андреевич (1805–1879), — не мог ее играть. Здесь Аверченко прибегает к приему усиления комического эффекта посредством приписывания историческим персонажам неожиданных фактов их биографии.

Коса на камень. — Впервые — Сатирикон, 1908. № 6.

С. 169. ... *Резон д'этр* (фр.) — буквально «смысл существования», здесь: разумное основание, смысл.

Сплетня. — Впервые — Стрекоза, 1908. № 22.

С. 174. .... *заменить домашний очаг неизбежным винтом или chemin de fer'ом.* — Винт и chemin de fer (фр., буквально железная дорога, «железка») — названия карточных игр.

Дурак. — Впервые — Сатирикон, 1908. № 11.

В этом рассказе впервые появляются персонажи Подходцев и Клинков, которые впоследствии вместе с третьим персонажем — Громовым — станут героями многих произведений Аверченко, в том числе единственной его повести «Подходцев и двое других» (войдет в последний том Собрания сочинений). В характерах и внешности персонажей отражены черты реальных лиц — сотрудников «Сатирикона» — художников А. Радакова и Н. Ремизова (Ре-Ми), а также самого Аверченко. Клинков почти до мелочей списан с Радакова. Общая любовь ко всякого рода шуткам и розыграшам тоже нашла отражение в этом рассказе.

Жалкое существо. — Впервые — Сатирикон, 1908. № 13.

С. 187. ... *фребелевский метод обучения...* — немецкий педагог, теоретик дошкольного воспитания Фридрих Фребель (1782–1852) разработал систему воспитания детей, начиная

с младшего возраста, в основе которого — развитие способностей и задатков путем игр и активного общения с товарищами, с преподавателями, приобщения к музыке, искусству, гимнастике и т.п. Организация детских садов, по его идее, распространилась во всех странах.

Друг. — Впервые — Сатирикон, 1908. № 17.

Люди четырех измерений. — Впервые — Сатирикон, 1908. № 24.

Новоселье. — С. 195. ... *не приглашать особ первых четырех классов...* — Имеются в виду первые четыре класса согласно Табелю о рангах, а именно: канцлер, действительный тайный советник, тайный советник и действительный статский советник, а также соответствующие им военные чины: генерал-фельдмаршал, генерал от инфантерии (а также от кавалерии, артиллерии), генерал-лейтенант и генерал-майор.

Оскорбление действием. — Впервые — Сатирикон, 1908. № 33.

История одиого рассказа. — Впервые — Сатирикон, 1908. № 35.

Поездка в театр. — Впервые — Сатирикон, 1909. № 2.

Пьяный. — Впервые — Сатирикон, 1909. № 6.

Настоящие парни. — Впервые — Сатирикон, 1909. № 10–11, 13.

С. 229. ... *как говорил старик Смит и Вессон...* — Смит-Вессон — одна из систем револьвера.

Вы читали «Ника Картера»? — В конце XIX — начале XX века огромной популярностью как за границей, так и в России пользовались небольшие книжки о приключениях сыщика Ника Картера. Авторы этих книжек были разные, безвестные, но весьма плодовитые. Поскольку книжки пользовались спросом, издатели нанимали бедных писателей, и те изготовляли к нужной дате очередную книжку. Автором многих из них был действительно американский писатель Ник Картер.

С. 229–230. *«Путешествие Пипина Короткого к истокам африканской реки Какао-Шуа».* — Разумеется это название — чистейшая белиберда. — Пипин Короткий (714–768) — первый король франков из династии Каролингов; захватив в 751 г. королевскую власть, он значительно расширил территорию Франкского государства. Никаких путешествий по Африке он не совершал, а Какао-Шуа — марка ликера.

С. 230. *...на мотив «По дорожке зимней, скучной» пел «Прибежали в избу дети».* — «По дорожке зимней, скучной» — начало второй строфы стихотворения Пушкина «Зимняя дорога» (1826) (у Пушкина «по дороге»). Стихотворение было положено на музыку Алябьевым (1831), Афанасьевым, Кюи и др. композиторами.

«Прибежали в избу дети» — начальная строка стихотворения Пушкина «Утопленник» (1828), далее приводятся цитаты из этого стихотворения.

«Одних уж нет, а те далече» — цитата из «Евгения Онегина» (гл. восьмая, строфа LI) (у Пушкина — «Иных»).

...как некогда... выразился Сади Карно. — У Пушкина: «Как Сади некогда сказал» (подразумевается знаменитый восточный поэт Саади (или Сади) (1184–1291)). Сади Карно (1837–1894), французский политический деятель, президент Франции в 1887–1894 гг., здесь совершенно ни при чем.

Солидное предприятие. — Впервые — Сатирикон, 1908. № 32.

Впоследствии был включен автором в сборник «Шалуны и ротозеи». Рассказы для детей. Петроград. Новый Сатирикон [1916].

С. 241. ... *ставить дело слишком en grand...* — En grand — на широкую ногу (фр.)

Жертва цивилизации. — Впервые — Сатирикон, 1908. № 7.

Бойкий разговор. — Впервые — Сатирикон, 1908. № 8.

С. 246.... *двух длиннейших боа...* — Боа (лат. — змея) — женский шарф из меха или перьев, например, страусовых.

С. 249. *«Веселую вдову» видели?* — «Веселая вдова» (1905) — оперетта австро-венгерского композитора Франца (Ференца) Легара (1870–1948); ее постановка в Петербурге имела большой зрительский успех.

В ресторане. — Впервые — Стрекоза, 1908. № 17.

С. 250. ... *как его... пре-сти-ди-жи-да-тор...* — Престидижидатор — фокусник, развивший необыкновенную ловкость и быстроту пальцев.

Камень на шее. — Впервые — Сатирикон, 1909. № 48.

Воздухоплавательная неделя в Коркине. — Впервые — Сатирикон, 1909. № 36.

Пинхус Розенберг. — Впервые — Сатирикон, 1909. № 16.

Наследственность. — Впервые — Сатирикон, 1909. № 36.

Тихое помешательство. — Впервые — Сатирикон, 1909. № 32.

Впоследствии рассказ был включен в сборник «О маленьких — для больших».

С. 294. *Компрене? Анфана!.. анфан террибль!* — Понимаете? Ребенка!.. ужасный ребенок (фр.)

ЭКСПЕДИЦИЯ В ЗАПАДНУЮ ЕВРОПУ САТИРИКОНЦЕВ: ЮЖАКИНА, САНДЕРСА, МИФАСОВА И КРЫСАКОВА (1911)

Впервые книга в виде богато иллюстрированного альбома вышла в 1911 г. в Петербурге в качестве бесплатного приложения для подписчиков журнала «Сатирикон» на 1911 г. Потом неоднократно переиздавалась. В настоящем издании печатается по тексту книги «Экспедиция в Западную Европу сатириконцев...» (Петроград, 1915).

Книга написана на основе впечатлений от более чем двухмесячной поездки сатириконцев по странам Западной Европы летом 1911 г. Идея поездки долго вынашивалась Аверченко, решение было принято, когда в коллектив редакции «Сатирикона» вошел новый сотрудник — Георгий Александрович Ландау (1883–1974). Составителю данного Собрания сочинений довелось на протяжении более десятка лет неоднократно встречаться и беседовать с Георгием Ландау. В одной из бесед он поведал, что среди сатириконцев было мало людей, владевших иностранными языками, и поэтому, когда в редакцию журнала принес свои забавные рассказы молодой инженер-путеец, в совершенстве владевший немецким, французским и английским языками, Аверченко тут же зачислил его в штат. А уже через неделю предложил поехать за границу в группе сотрудников.

Ландау, закончившего помимо Института путей сообщения в Петербурге Политехнический институт в Цюрихе, предложение окрылило.

В составе путешественников указаны Южакин, Сандерс, Мифасов и Крысаков. Псевдонимы раскрываются следующим образом: Южакин — Аверченко, Сандерс — Ландау, Мифасов — художник Ре-Ми (наст. имя Ремизов Николай Владимирович (1887–1962), постоянный карикатурист журналов «Сатирикон» и «Новый Сатирикон», после революции эмигрировал), Крысаков — Радаков Алексей Александрович (1879–1942) — художник, график, поэт; один из создателей «Сатирикона» и его первый редактор.

Иллюстрации к альбому были выполнены Ре-Ми и Радаковым, текст принадлежал Аверченко и Ландау.

С. 310. *a part* (фр.) — наедине, с глазу на глаз, отдельно.

С. 315.— *Коммензи мейн либер фрейлен, их либези, данке, зицен-зи, гиб мир эйн кусс.* — Иди ко мне, моя милая, я люблю тебя, спасибо, садись, подари мне один поцелуй (нем.).

С. 321. *Настоящая книга написана до войны с немцами. (Примеч. авт.)* – Имеется в виду Первая Мировая война 1914–1918 г. Авторские примечания объясняются тем, что издание, текст которого воспроизводится в настоящем собрании сочинений, было выпущено в разгар войны, когда антинемецкие настроения широко распространились в русском обществе, и любое доброе слово в адрес Германии воспринималось как предательство.

С. 325. *«Lustige Blatter»* – «Веселые страницы» (нем.).

...«бутер» и «брудер», «шинкен» и «тринкен»... – «масло» и «брат», «ветчина» и «выпить» (нем.).

С. 326. *... решили посвятить... Вертгейму.* – Имеется в виду большой универмаг торговой компании Георга Вертгейма (1857–1939).

С. 328. – *Мейн герр! Битте цаллен.* – Мой господин! Пожалуйста, заплатите (нем.).

Was? – что? (нем.).

Цузамен – вместе (нем.).

С. 331. *Ферейн* – союз, общество (нем.).

С. 336. *Трегер* – носильщик (нем.).

С. 338. *canale grande* – большой канал (ит.).

С. 339. *Cartolina postale* – почтовая открытка (ит.).

С. 340. *Molto bene* – очень хорошо (ит.).

Алевузан – убирайся, проваливай (фр. груб.).

С. 341. *forestieri russo* – здесь: русские туристы (ит.).

С. 342. *бульон «мит-ай»* – бульон с яйцом (нем.).

братвурст мит-краут – жареная колбаса с капустой (нем.).

С. 343. *... затащили их в такую остерию...* – Остерия – трактир, кабачок, закусочная в Италии.

С. 345. *Нон каписко.* – Не понимаю (ит.).

С. 346. *«прего, синьоре камерьере, дате мио гляччио вермуто»* – кроме первых трех слов (прошу господина официанта) (ит.), остальное – конструкция из искаженного русского в смеси с итальянским – дать мне горячий вермут.

Субито, синьоре... – Сейчас же, господин (ит.).

морген фри – бессмысленная конструкция из немецкого «утро» и английского «свободный».

На пьяцетте, у берега... – Пьяцетта (ит.) – маленькая площадь.

С. 348. *... Барбаросса стоял перед папой на коленях.* – Барбаросса – Фридрих I Барбаросса (букв. Рыжая Борода) (ок. 1125–1190) – германский король и император Священной Римской империи; на престоле с 1147 г.; боролся против пап и ломбардских городов. В 1189 г. предпринял крестовый по-

ход, но утонул в реке Санефе в Киликии. О нем сохранилось много легенд как о добром короле.

С. 354. *Помните кьянти?.. А асти?* — Кьянти, асти — марки известнейших итальянских вин.

А мартаделла, а гарганзола! — Мартаделла (правильно, мортаделла) — вареная колбаса, преимущественно свиная. Гарганзола — марка сыра, покрытого плесенью.

С. 356. *... знакомому факкино...* — Факкино — носильщик (ит.).

С. 365. *... по Куковскому маршруту...* — имеются в виду поездки, организуемые известным старинным туристским английским агенством Т. Кука.

С. 370. *любителем dolce far niente* — любителем сладостного безделья (ит.)

«sole mio» — мое солнце (ит.), популярная неаполитанская песня.

С. 373. *Эввива, руссо!* — Да здравствует русский! (ит.)

С. 376. *синьорита беллисима! Рариссима!* — синьорита прекраснейшая! Редчайшая! (ит.)

О, mio Dio! — О, мой Бог! (ит.)

С. 382. *... напоминая смешную пародию на штуковскую картину «Бог войны».* — Штук Франц фон (1863–1928) — немецкий живописец и скульптор, представитель экспрессионизма, под влиянием Ф. Ницше создавал произведения, проникнутые культом грубой силы, что отразилось и в его картине «Бог войны».

С. 412. *... за общим табль д'от сидело...* — Табльдот — общий стол в пансионах, ресторанах и т. п. (фр.)

ОДЕССКИЕ РАССКАЗЫ
(1911)

Книга «Одесские рассказы» вышла в Дешевой юмористической библиотеке «Сатирикона» в 1911 году. Все рассказы, включенные в ее состав, публиковались впервые.

В настоящем издании печатается по первой публикации.

Одесское дело.

С. 426. *«Платон! Ты мне брат, но истина мне гораздо дороже».* — Слегка переиначенное крылатое выражение: «Платон мне друг, но истина дороже» из 51 главы 2 части романа Сервантеса «Дон-Кихот» (1615). Смысл этой фразы в том, что при выборе, чему отдать предпочтение: друзьям, родным, близким или же истине, следует выбирать истину.



Содержание

ЗАЙЧИКИ НА СТЕНЕ

Рассказы (юмористические)
Книга вторая (1910)

Рассказы (юмористические)
Книга третья (1911)

Экспедиция в Западную Европу Сатириконцев: Южакина, Сандерса, Мифасова и Крысакова (1911)

Одесские рассказы (1911)



АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО

Собрание сочинений

Том 2

ЗАЙЧИКИ НА СТЕНЕ

Редактор Е.Б. Егорова
Художественный редактор И.А. Шиляев
Технический редактор Т.В. Иванникова

Подписано в печать 01.04.2012.
Гарнитура «Таймс». Формат 84×108 1/32
Печать офсетная. Усл. печ. л. 24,36
Тираж 1000 экз. Заказ № 2366.

ООО «Издательство «Дмитрий Сечин»
Ул. Ирины Левченко, 2. Москва, 123298, а/я 33.
Тел. 8(985)995-79-70
E-mail: secninbook@mail.ru

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «Дом печати — ВЯТКА» в полном соответствии
с качеством предоставленных материалов
610033, г. Киров, ул. Московская, 122
Факс: (8332) 53-53-80, 62-10-36
http://www.gipp.kirov.ru; e-mail: order@gipp.kirov.ru

ISBN 978-5-904962-15-9

9 785904 962159